

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й  
М И Р

4

Н О В Ы Й М И Р

1990

4



1990



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1925 г.

№ 4

Апрель, 1990 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЮРИЙ УВАРОВ — Трамвайное кольцо, стихотворение	3
ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ — Анамнез и Эпикриз, рассказ	5
В. БРАЙНИН-ПАССЕК — Ледяной смычок, стихи	21
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН — В круге первом, роман. Продолжение	23
ИВАН ШЕПЕТА — Неизвестные поэты, стихи	121
ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ — Шаги из круга, стихи	122
СОЛ БЕЛЛОУ — Лови момент, повесть. Перевела с английского Е. Суриц. Предисловие А. Мулярчика	123

### ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР ЦИПКО — Хороши ли наши принципы? Предисловие С. Залыгина	173
---	-----

### ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

*Из истории русской общественной мысли*

С. Л. ФРАНК — По ту сторону «правого» и «левого». Статьи по социальной философии. Составление, вступительная статья и комментарии А. Казакова	205
--	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА — Сквозь звезды к терниям. Смена литературных циклов	242
--	-----

(См на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Политика и наука</i>	
Виктор Леглер. Ненавязчивая мудрость.	263
<b>ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ</b>	
Г. ЦОМЕРАНЦ — Мнимые загадки	266
<b>КОРОТКО О КНИГАХ:</b>	
Андрей Василевский.— Вавилонская башня и другие древние легенды. Под общей редакцией Корнея Чуковского. Библейские легенды в пересказе Михаила Бартечева	271
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	272

---

### К СВЕДЕНИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВ И РЕДАКЦИЙ

Обращаемся с просьбой ко всем советским и зарубежным издательствам, а также к редакциям газет и журналов всякий раз ставить нас в известность о намерениях перепечатать произведения, помещенные на страницах нашего журнала.

Редакционная коллегия.

---

---

ЮРИЙ УВАРОВ

\*

## ТРАМВАЙНОЕ КОЛЬЦО

Всю жизнь по кольцевой, вот и забылся  
На миг, и тут же лунный сад приснился,  
Но без подробностей, так — общий фон...  
Снег падал, падал, на свету роился,  
Парил, скользил, у фонарей кренился  
По грани тьмы и подмывал, как берег,  
Глухую ночь, обрыв стены, вагон.  
Москва, Москва, и мы не из Америк...  
Трамвай качает, горстка медных денег  
В железном ящике — о чем звенишь?  
Заснуть бы, но не спит небесный мельник,  
К тому же скоро Чистый понедельник,  
И если мы с тобой с пути не сбились,  
Савеловский вокзал, да хоть Париж —  
Равно, где жить, но лучше, где родились.  
Последний бомж за круг, согревшись, вылез,  
Оглянешься — развозим пустоту,  
Впадаем в сон, впадаем в суету.  
И пусть твердят: мол, молодцы поляки.  
Бастуют гданьцы или краковяки —  
Глядь, у Европы вылезли глаза.  
Но и у наших собственная гордость:  
У них страна, у нас всего лишь область.  
Рванет на Украине в Чернобыле,  
Европа — что? — на целый мир гроза!  
«Держава» скажем — словно кол забили.  
Давно генералиссимус в могиле,  
Ислел, поди, а до сих пор смердит.  
Вот и заносит рельсы. Остановка,  
Хотя с метлой приставлен инвалид —  
Ну ветеран, редактор «Перековки»,  
Служил в Бутырках, врет, что на Петровке,  
Конечно, ворошиловский стрелок.  
Слаб человек, когда убрали стержень,  
Куда там из-за острова на стрежень!  
Жаль, что не ВОХР, но все-таки смотритель,  
Такой не прозевал бы «Огонек»  
Иль «Новый мир» какой-то, извините.  
Сейчас в тулупе, но наденет китель —  
Орел.

Москва, Москва моя, вдова,  
Прости детей своих, мы виноваты  
За то, что слепы, глухи, простоваты,  
Жестоки были, но тебя любили.  
За все воздастся всем, а ты права.

Где сорок сороков свое отбили,  
Асфальт, во льду воронки снежной пыли,

Да не затынет в Лету третий Рим,  
 Покуда у кремлевского забора  
 Горит ночная радуга собора,  
 Как мученика нимб над Лобным местом.  
 Снимите шапки, молча постоим.  
 Что на дрожжах страданий веры тесто  
 Сильней подходит, издавна известно,  
 А если подогреть да в ко-ло-кол?  
 Сколь славен русский путь от бунта к дыбе,  
 Лишишься языка — на том спасибо,  
 А то — сгоришь. Но пеплом Аввакума,  
 Как дуб корнями, жив стальной раскол.  
 Все тот же блеск в глазах и желть на скулах,  
 Быть может, наша вся литература  
 Из неприятья кукиша идет.  
 Веди, веди, кровавая полоска,  
 От Курбского к двуперстью Пустозерска,  
 Где проступали сквозь решетки лица  
 И юшкой умывался мой народ.  
 Терпи, терпи, родной, — как вещей птице,  
 Твоей душе нельзя не возродиться.  
 В каком обличье?

Может, этот снег —  
 Ее предвестник. Спит великий город —  
 Как бы сказал поэт: спят серп и молот,  
 Кузнец и пахарь, Воробьевы горы...  
 Не спит в пустом вагоне человек.  
 Ночные мысли или разговоры  
 Всегда подробны, вспомним поезд скорый  
 И темы без конца, а тут трамвай...  
 Метельный век, не к ночи будь помянут,  
 Смолчать захочешь — за язык не тянут;  
 Твое с тобой, лишь Крест и Плащаница  
 Одни на всех, что ад и божий рай.  
 Но почему всю ночь душа томится:  
 Как Гефсиманский сад, темна столица.  
 Какая есть — такую принимай.



---

---

ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ

\*

## АНАМНЕЗ И ЭПИКРИЗ

*Рассказ*

**В** нашем отделении проживали два самостоятельных кота по кличкам Анамнез и Эпикриз. Мы, то есть двенадцатая палата, понятия не имели, что это были именно самостоятельные животные, издавна обитавшие на территории инфекционной больницы имени Гамалеи, и поэтому купили котов за пятерку у сантехника Константина; этот, видимо, нечистый на руку Константин все продавал почему-то за пять рублей — от таблетки намбунала до смесителей югославского производства; возможно, это у него был такой пункт, вроде клаустрофобии или слепой веры в тринадцатое число. Котов наша палата купила для препровождения времени, поскольку мы тогда еще не успели хорошенько перезнакомиться и нам было не о чем говорить, разве что о нашей общей болезни, до того, впрочем, потешной, равно как и опасной, что о ней не очень-то хотелось и говорить; для заинтересованной публики намекну, что это такая болезнь, при которой спиртное противопоказано под страхом лишения живота; еще намекну, что от нее скончался в Таганроге император Александр I Благословенный.

Анамнез с Эпикризом оказались замечательными котами: они были дружны, как братья, меланхоличны, как продавцы, забавны, как говорящие куклы, и сообразительны, как королевские пуделя. Заведующая отделением Вера Сергеевна Осипчук наших котов гоняла, но они либо прятались от нее в автоклавах, где процедурные сестры стерилизовали медицинский инструментарий, либо вообще исчезали и возвращались в отделение вечером, примерно за пять минут до того, как дежурная сестра запирала ход.

Вот сейчас даже не соображу, что это я заикнулся на котах? Ведь дело совсем не в них, а в том, что нас в палате собралось шестеро, так сказать, разноплановых мужиков; сначала мы жили сравнительно мирно, а потом поделились на два враждующих лагеря и кончили отвратительным инцидентом. Собственно, в этом не было ничего удивительного, что мы кончили отвратительным инцидентом, потому что советская больница — и впрямь демократическое учреждение, если исключить специальные лечебницы для ханов, нойонов, нукеров и прочего политического актива, и это немудрено, что в нашей палате оказалось всякой твари по паре да еще и самой разнообразной ориентации в смысле моралитэ. А именно: с левой стороны, как войдешь в палату, лежал милиционер Афанасий Золкин, за ним грузчик из мебельного магазина Сергей Чегодаев и у окна какой-то мелкий профсоюзный работник по фамилии Оттоманчик; с правой стороны, как войдешь в палату, лежал, что называется, ваш покорный слуга, за мною слесарь-наладчик с завода «Манометр» Ваня Сабуров и у окна профессиональный вор Эдуард Маско. Как я уже упоминал, все это были люди в высшей степени непохожие, со своими причудами, слабостями, несимпатичными и приятными сторонами. О каждом из них в отдельности можно рассказать следующее... Милиционер Золкин был славный малый со светлым чубом и как бы взыскующими глазами, хо-

тя с лица немного придурковатый; в отличие от всех нас, он ничего не читал, а просто валялся, часами глядячи в потолок, или ходил стрелять воробьев, вооружившись пригоршней пуль от пистолета Макарова и рогаткой. Грузчик Чегодаев был мало похож на грузчика, ибо и комплекцией он отличался самой обыкновенной, и книги читал по теории малых чисел, и ел деликатно, словно какой-нибудь атташе. Профсоюзный работник по фамилии Оттоманчик представлял собой пожилого, неказистого, лысого человека с аккуратным пузцом, который читал газеты и еще такой был темнила, что мы даже не знали его по имени; мы и фамилию-то его выяснили из какой-то медицинской бумажки, случайно завалявшейся на посту. Ваня Сабуров читал что попало, тоже был мужиком в годах, но, как говорится, хорошо сохранившимся, моложавым, и выделялся тем складом славянской физиономии, которая вызывает безотчетное расположение, плюс еще такая композиция ее черт, точно он все время вспоминал счастливейшие мгновения своей жизни; к нам Иван попал прямехонько из Боткинской больницы, где ему сначала вырезали две трети желудка, а потом заразили нашей болезнью посредством одноразового шприца. Вор Маско, который, между прочим, нисколько не стеснялся своей профессии, хотя и не особенно ею хвастал, был невзрачный мужичок лет тридцати пяти с брезгливым выражением лица и оттопыренными ушами; он носил шелковый домашний халат с китайским иероглифом на спине и читал исключительно детективы, которых у него была целая походная библиотека, но говорил путаным, уродливым языком, точно он перенес инсульт. О себе я, разумеется, умолчу.

К нашей компании нужно еще прибавить тихого сумасшедшего Виктора Семеновича Перцинского из четвертой палаты, который вечно ходил к нам играть в шахматы и в буру.

Время мы следующим образом проводили: утром — процедуры, кому какие, потом хождения по коридору, курение в туалете, звонки домой по единственному телефонному автомату, висевшему при выходе из нашего отделения, занятия с котами — наконец завтрак, на который нам всегда давали манную кашу; после завтрака чтение, игривые разговоры с дежурной сестрой Ниной, единственной из сестер, вступавшей с нами в игривые разговоры, хождения по коридору, курение в туалете, самовольные прогулки компаниями вокруг корпуса, занятия с котами и вот наконец — обед, на который нам давали воду с капустой, котлетку с перловой кашей и преподобный компот из... вот даже и не скажешь, из чего точно, а впрочем, вор Маско уверял, что кормят нас куда лучше, чем подследственных и тем более заключенных; вторая половина дня проходила содержательнее, занятней: в так называемый тихий час мы разбирались по своим койкам и брались за книги, но почти сразу же их откладывали, потому что сами собой заводились веселые разговоры.

— Вот интересно, — предположим, заведу я, — почему у тебя, Афанасий, такое ископаемое имечко — Афанасий?

Наш милиционер мне ответил:

— Потому что мой дед был из староверов Рогожского древлеправославленного согласия. Я-то еще что, вот у моего брата имечко — Януарий, вот это да!

— Вообще с этими предками одно горе, — скажем, вступит Иван Сабуров. — Дед мой, представьте, в тридцать шестом году под машину попал, потом отец на войне под машину попал, потом старший брат Николай тоже под машину попал, причем под «скорую помощь», потому что они ездят как чумовые. А я вот сейчас лежу и удивляюсь, что у меня оказалась язва желудка, от которой я, наверное, и помру. Я почему удивляюсь: потому что под машину попасть — это у нас вроде как наследственная болезнь.

Потом настала черед профсоюзного деятеля Оттоманчика, который всегда рассказывал разные необыкновенные истории, например:

— А вот у меня в семьдесят четвертом году была какая-то несурзная, загадочная болезнь, я ее даже до поликлиники не донес — вот какая была болезнь! Иду я, значит, как-то по улице, и что-то мне страсть захотелось пить — дело-то было летом, в умопомрачительную жару. Значит, напился я из-под крана в какой-то уборной, потому что повсюду были несурзные очереди за газированной водой, и иду себе дальше, иду, иду и вдруг — здравствуйте, я ваша тетя: что-то во мне внезапно заговорило!.. Вот прямо так и заговорило ясным голосом в области живота, как будто у меня там радио завелось. Так, значит, прямо и говорит: «А вот если бы инженер по технике безопасности, товарищ Ломейко, добросовестно исполнял свои непосредственные обязанности и следил бы за изоляцией проводов...» «Погоди! — значит, говорю я этому чуждому голосу.— Ты, собственно, кто такой и почему ты из меня рассказываешь про технику безопасности?» Голос мне соответственно отвечает: «Я,— говорит,— сменный мастер с завода «Электролит» Григорий Аркадьевич Иванов, а ты кто такой?» Я говорю: «А вот это не ваше дело! Какой тоже, понимаешь, напелся гусь, залез контрабандным образом в человека и еще вопросы разные задает!»

— Ну, волки позорные! — иногда заорет Маско на самом затейном месте.

В таком случае кто-нибудь его спросит:

— Ты чего это неистуешь, Эдуард?

— Да вот у этого... как его...— и он поворачивает книгу к себе обложкой,— у Буалонерсежака, менты ихние... в плане делового одного прихватили на ровном месте. Ему бы, дураку, это... временно затаиться, а он, бес такой, на рожон! Его и взяли за суету! Ну, повсеместно свирепствуют менты, хоть ты эпоха застоя, хоть ты это... капитализм!

Милиционер Золкин непременно на это скажет:

— Мало вас, гадов, давят! Моя бы власть, я бы всю вашу шоблу сгноил на урановых рудниках!

А Маско в ответ:

— Это ты умоешься, мент позорный!

— Да погодите вы, честное слово! — предположим, Чегодаев погасит склоку.— Дайте дослушать про загадочную болезнь...

— Ну, значит, я ему говорю,— продолжит Отгоманчик с воодушевлением в голосе: — «Какой тоже, понимаешь, гусь, залез контрабандным образом в человека и еще вопросы разные задает!» Он мне отвечает, но уже без гонора, а как бы примиренчески отвечает: «Положим, я в вас не по своей воле залез, а в силу круговорота воды в природе. Потом, у меня масса вопросов накопилась к социалистическому способу производства. Почему в полном загоне находится техника безопасности? Почему рабочему человеку платят гроши? Почему станочный парк у нас на уровне фантастики восемнадцатого столетия?» Я тогда ему говорю: «Поскольку я являюсь профсоюзным работником, то на такие злопыхательские вопросы отказываюсь отвечать. И вообще я по своей линии отвечаю только за спецодежду. Но поскольку со спецодеждой у нас никак, то я, считай, ни за что конкретно не отвечаю». «То-то и оно,— говорит этот зловредный голос,— что ни за что вы, баламуты, не отвечаете и поэтому до ручки довели большее великое государство! Вас бы всех по-хорошему надо разбросать по овощным базам картошку перебирать, пока вы не развалили СССР до международного положения какой-нибудь Эфиопии». «Я,— говорю,— отказываюсь слушать такую махровую антисоветчину, да еще исходящую непосредственно из меня! Это возмутительно,— говорю,— я человек партийный, беззаветно преданный делу социалистического строительства, а вы из меня делаете какого-то диссидента! Я,— говорю,— сейчас в милицию пойду, сволочь антисоветская!..» Голос отвечает: «От вас-то и все наше народное горе, от преданных социалисти-



ческому строительству, потому что вы сами не знаете, что это за овощ и к чему его прикажете отнести. А в милицию ты иди, я там при дежурном еще не такое скажу, чтобы тобою заинтересовались компетентные органы. Ведь тебя, дурака, в Лефортово упекут!»

В это время, то есть что-то посредине тихого часа, к нам в палату обычно приходит сумасшедший Перцинский, молча усаживается за стол и начинает расставлять шахматные фигуры.

— В милицию я, конечно же, не пошел, поскольку это был бы несуразный поступок: ну как я докажу компетентным органам, что это не я распространяю заведомую клевету на наш общественный строй, а та зараза, которая засела внутри меня! А он все зудит, понимаете ли, зудит в разрезе обывательских настроений... Делать нечего, думаю, надо идти в нашу районную поликлинику, пускай врачи разбираются что к чему, все-таки у них существует врачебная тайна, и может быть, эта катавасия до Лефортова не дойдет. И тут мне вдруг захотелось по малой надобности. Ну, нету мочи терпеть, а до ближайшей общественной уборной, как вы сами понимаете, минимум четыре троллейбусные остановки. Делать нечего: помочился я в первой попавшейся подворотне. И вот ведь чудеса какие: только я помочился, как чуждый голос во мне замолк. Вот что это было?! Лично я до сих пор не могу понять, какая это обрушилась на меня несуразная, загадочная болезнь...

Я могу на это предположить:

— Возможно, вы перенесли временное помешательство, вот как бывает временный паралич, но только, так сказать, мимолетное, вроде секундного обморока на ногах.

— Нет,— возразит Перцинский,— это что-то другое было, в литературе по психиатрии такие случаи не описаны. Я это со всей уверенностью заявляю, потому что по психиатрии я прочитал все. Потом, вы, товарищ Оттоманчик, совершенно на сумасшедшего не похожи. Они все квелые какие-то и одновременно враждебно-задумчивые, точно они вынашивают план политического убийства.

— А ты откуда знаешь? — обязательно подначит его Маско.

— Как же мне не знать, когда я сам сумасшедшим был! Я, товарищи, извините за откровенность, все психбольницы прошел и даже после этого жив остался. В Куйбышеве, например, отличные условия, там и не знали, что это за животное — тараканы. А в Матросской Тишине по палатам ходит медбрат вот с такой здоровенной плеткой — как ударит разок, так сразу позабудешь, какой у тебя диагноз! А диагнозы у многих ребят были заковыристые, потому что у них и пункты заковыристые были: один у Ганнушкина даже всю дорогу разговаривал на панкрите<sup>1</sup> — он, наверное, себя Буддой воображал.

— Ничего себе медбрат,— задумчиво скажет Ваня Сабуров.— Это по-настоящему медвраг какой-то, а не медбрат!..

— Кстати, о Будде,— поддержит разговор Чегодаев.— Это скорее всего в тебя, Оттоманчик, по случайности вселился дух какого-то мертвеца. Ведь у буддистов человеческая душа то и дело переселяется в разные предметы и организмы, скажем, из человека в дерево, из дерева в рыбу, из рыбы в воду...

— Ну, это уже мистика пошла! — открестится от чегодаевской гипотезы Оттоманчик.

— Ну почему? — не согласится с ним Чегодаев.— Недаром же тот самый мужик, который по ошибке в тебе засел, обмолвился насчет круговорота воды в природе. Небось был себе действительно Григорий Аркадьевич Иванов, сменный мастер с завода «Электролит», а потом его убило током по недосмотру инженера Ломейко, ответственного за технику безопасности, потом Иванова похоронили, и душа его, согласно буддийскому учению, ушла в грунтовые воды, потом ты,

<sup>1</sup> Разговорный язык древних ариев.

Оттоманчик, сменного мастера, так сказать, вышил, и он в тебе начал критику наводить. А в финале ты от него освободился, пописав в первой попавшейся подворотне. По-моему, вполне логическая вырисовывается картина...

Оттоманчик, предположительно, будет некоторое время соображать, как бы ему опровергнуть эту фантастическую теорию и заодно отомстить насмешнику, но ему ничего не придет на ум и он только отвернется от нас к стене, притворяясь, будто его охватила дрема.

После тихого часа и вплоть до ужина наши играли на двухкопеечные монеты в шахматы и в буру, иногда устраивая краткосрочные перерывы, потому что обычно в это время наших игроков навещали, так сказать, пришельцы из большой жизни — знакомые и родня. Только меня, бедолагу, ни одна собака не навещала, а впрочем, я сам запретил строго-настрою таскаться ко мне в больницу, ибо стеснялся показаться уважающим меня людям в той шутовской, издевательской униформе, в которую облачают у нас больных; я имею в виду исподнюю рубаху солдатского образца, какие, наверное, носили еще суворовские чудо-богатыри, широченные шаровары из байки бледно-пасмурного оттенка и прекомичную курточку с подростковыми рукавами, которая прилична разве что вокзальному попрошайке. Чтобы отвлечься от тихой тоски по ослушнику-посетителю, я начинал заниматься с котами и сразу же забывался. Это немудрено: Анамнез, вроде бы беспорядочно ширкая лапами, умел из спичек складывать разные геометрические фигуры, а Эпикриз их по вредности разрушал; или я сажал котов на постель и пересказывал им «Алису в стране чудес», а они внимательно слушали и, сдается мне, глазами отыгрывали сюжет; или я учил их делать стойку на голове, чего они, правду сказать, терпеть не могли, однако же терпели из почтения к человеку.

Самой томительной, грустной порой было время от ужина до полуночи, когда отделение отходило ко сну и постепенно распространялась какая-то именно больничная, хворающая тишина. Мы бродили поодиночке, мусоля в голове невеселые свои мысли, то и дело курили в уборной и подолгу смотрели в черные окна, предвкушая кто бессоницу, кто кошмары. До сна мы еще успевали устроить коллективное сафари на комаров, которых в нашем отделении водилось неистовое количество, и уничтожали таковых до последней особи из того законного опасения, что они переносят заразу с пятого этажа, где у нас угасали больные СПИДом. Ближе к полуночи вору Маско начинались экзотические звонки, и он удалялся на пост для каких-то своих темных переговоров — это при том, что пользоваться служебным телефоном больным категорически воспрещалось, — затем Иван уходил к сестре Нине, с которой они запирались в помещении, обозначенном табличкой «Лаборатория», затем являлась медичка из административного корпуса и делала Чегодаеву загадочную инъекцию — Чегодаев лукавил, будто ему колют некий сомнамбулин, — отчего лицо его в скором времени приобретало несвойственные черты и начинало изображать такое глубокое удовлетворение, точно он лежал, а голос свыше нашептывал ему приятные предсказания. Что-то около полуночи мои однопалатники засыпали, постепенно умиротворялось и все наше обширное отделение, вообще смолкали все звуки жизни, и только тихий сумасшедший Перцинский еще долго бродил по коридору туда-сюда и разговаривал сам с собой. Ночью бредили почти все; не знаю, бредил ли я, но когда мне вдруг случилось проснуться посреди ночи, в палате, можно сказать, стоял дикий бессвязный говор:

— Руки за голову, ноги на ширину плеч... — положим, командовал милиционер Золкин.

— Козел! — свирепо шипел во сне Ваня. — Тут же резьба **ноль** два, а ты взял плашку на **ноль** четыре!..

— Кворума нет, нет кворума!.. — неприятно взвизгивал **Оттоманчик**.

Маско снился лагерь, и он орал:

— Пятый отряд, становись на шмон!..

Утром мы просыпались по той причине, что дежурная сестра совала нам градусники, и день начинался по заведенному образцу.

А потом мы поделались на два враждующих лагеря и довраждовались со временем до того, что дело закончилось отвратительным инцидентом. Уже сворачивалась весна, была середина мая, и я отчетливо помню, что накануне похолодало и вдруг вылезла защитная зелень дуба. В тот памятный день мы всей палатой нарочно ходили смотреть на эту причуду отечественной природы, то есть мы еще до завтрака отправились к двум молодым дубкам, которые произрастали у входа в морг, причем Эдуард Маско даже несколько раз погладил новорожденные листочки своими несправедливыми руками; и чего это на нас напала такая ботаническая чувствительность — не пойму; но, возможно, она напала из-за того, что наша палата как бы эмблемизировала жизнь если не угасающую, то неверную, и нас с нехорошим уклоном в ревность волновала жизнь практически здоровая, молодая.

Вернувшись в палату, мы разлеглись по койкам, и только Ваня Сабуров сказал, ни к кому отдельно не обращаясь:

— А чего это сегодня лекарства нам не несут? — как в нашу палату зашла дежурная сестра Нина и объявила, что медикаментозное лечение временно отменяется, поскольку лекарства не завезли. Маско на это объявление невнятно заголосил, так как он вообще трепетно относился к любому ущемлению своих прав, но мы его успокоили — дескать, не завезли, и не надо, и хрен с ним, что не завезли. Однако Афанасий Золкин все же поинтересовался:

— Хотелось бы знать, между прочим, почему это сегодня лекарства не завезли?

Нина ему сказала:

— Вопрос не ко мне. Вопрос к нашему главврачу, который в Ильинском возводит дачу.

— Это, ребята, целая славянская тайна! — с печальным восторгом заметил я. — Ну, кому на Западе будет понятна такая зависимость: больные в больницах болеют, в частности, потому, что главные врачи себе строят дачи... Это для Запады прямо головоломка, вот как если бы было доказано, что Луна вращается вокруг Земли по причине отсутствия в продаже стирального порошка...

— Просто у них там мозгов по две чайных ложки на человека, — откликнулся на мое замечание Оттоманчик. — Поэтому им ничего не понятно, а нам — благодаря природной смекалке — все понятно как божий день.

До завтрака к нам еще заглянул Константин, сантехник, и предложил купить у него за пятерку целую подшивку больничных бланков, которые приобрел Эдуард Маско; при этом он поинтересовался у Константина, почему на все его товары установлена одинаковая цена, но сантехник таинственно промолчал.

После завтрака был обход: явилась заведующая отделением Вера Сергеевна Осипчук в сопровождении длинноногой дежурной врачихи, которую мы не знали по имени-отчеству, и они стали нас по очереди обходить. Когда очередь дошла до вора Маско и Вера Сергеевна по обыкновению спросила его:

— Как дела? — он ответил на своем ломаном языке:

— Дела все у Чебрикова. Мы... у нас... это — одни делишки.

Когда очередь дошла до милиционера Золкина, он заявил претензию:

— Ну у вас порядки, Вера Сергеевна, — сказал он. — Вы в курсе, что сегодня в отделение лекарства не завезли?

— Ничего, — сказала ему Вера Сергеевна, — не помрете. Вот в наш овощной магазин вторую неделю овощи не завозят, и ничего, как-то продолжаем существование. Тем более что лекарства вам дают,

так сказать, для проформы, потому что ваша болезнь медикаментозно все равно не лечится, а проходит сама собой. Для вас настоящее лекарство — это только покой и сон.

На это я сказал:

— Отлично устроилась советская медицина!

— А чем вы, собственно, недовольны? — обратилась ко мне длинноногая врачиха и недобро скривила бровь.

— Да нет, я, собственно, всем доволен и даже счастлив: глаза видят, уши слышат, сердце гоняет кровь — то есть выживу я у вас, и на том спасибо. Я единственно изумляюсь на советскую медицину, которая только и знает, что наблюдать за деятельностью природы. Или это у нее такое стратегическое направление? Или она у нас тоже дошла до ручки?

— По бедности это все, — как-то скучно сказал Иван. — Они, может быть, и рады нас всевозможными лекарствами завалить, да где ты их возьмешь при такой разрухе...

Длинноногая врачиха дала совет:

— В вашем положении, товарищи больные, надо тихонечко лежать и думать о приятном, а не критику наводить.

— И вообще хворать не надо, — добавила Осипчук.

И они ушли, ненароком позабыв посмотреть Чегодаева и меня.

В полдесятого мы позавтракали, потом ходили звонить домой, курили в уборной, заводили игривые разговоры с Ниной, бродили по коридору и читали кто что, разобравшись по своим койкам. После того как у меня открылась жестокая рябь в глазах — мой томик Кляйста был издан до реформы правописания, — я затащил на свою постель Анамнеза с Эпикризом; намерение мое было продолжить пересказ «Алисы в стране чудес», но что-то коты меня слушали без внимания; тогда я умолк и призадумался на тот счет, что быть котом — это не самая скверная участь, не самая скверная хотя бы по той причине, что нормальный кот безошибочно ставит себе диагноз, абсолютно точно выходит на нужное лекарственное растение, и, следовательно, ему нипочем разные главврачи, которые строят дачи; за несколько минут до обеда ход моих мыслей уперся в то, что, может быть, создатель дал маху, избрав именно обезьяну как полуфабрикат для совершения человека.

После обеда, во время тихого часа, в нашей палате случился диспут, который и привел нас к расколу на два враждующих лагеря, о чем я уже выше упоминал.

— Главное, что пожаловаться практически некому, — вдруг начал говорить Оттоманчик, — они там наверху в гробу видали наши жалобы и предложения, это я по горькому опыту говорю. Куда я только в свое время не писал, вплоть до штаб-квартиры ЮНЕСКО, и то они мне прислали из-за границы бюрократическую отписку, дескать, так и так, не имеем права вмешиваться в ваши внутренние дела, хотя они у вас как сажа бела — это известно всем...

Чегодаев его прервал:

— Я, командир, не ожидал от тебя таких отщепенческих настроений, а главное, я от тебя переписки с врагами не ожидал.

— Так ведь я на что жаловался? — начал отбояриваться Оттоманчик. — Я ведь не на советскую власть жаловался, а вскрывал отдельные безобразия, искажающие лицо развитого социализма! Значит, как-то произошел у нас такой случай...

— Опять кто-нибудь в тебя вселился? — спросил его Иван и сделал как бы юмористическое лицо.

— Ну, дайте человеку договорить! — возмутился Золкин. — Пускай он договорит, а потом вы ему хоть «ласточку» сделайте, если он что-нибудь нереальное наплетет.

— Ты... это... — сказал Маско, — ты, в натуре, отвечай за свои слова. Все-таки ты не в дежурной части.

Оттоманчик продолжил свою историю:

— Так вот, году, что ли, в восьмидесятом открылась у нас, значит, вакансия начальника управления. Бывший начальник попался на крупной взятке, то есть он кому-то не тому дал, и его потихоньку ушли на персональную пенсию со всем набором номенклатурных благополучий. Поэтому у нас открылась вакансия начальника управления. Ну, мы все, конечно, в трансе, поскольку неизвестно, какого крокодила накачают на нашу шею. Старый-то был миляга; он и възщедит, и приласкает, и не выдаст, и наградит — и все это, значит, как-то по-родственному, точно он тебе не начальник, а шурин по женской линии. Обычно такие назначения затягиваются как минимум на квартал, а тут буквально на третий день является несуразный такой человек лет тридцати пяти, причесанный, аккуратенький, и прямым ходом занимает кабинет начальника управления. Мы все, конечно, в трансе, потому что уж больно он несуразный какой-то, неположительный, я бы сказал — чреватый, и, главное, на номенклатурного работника вот столечко не похож...

И Оттоманчик показал ноготок на своем мизинце.

— Ну ладно: день проходит нормально, второй проходит нормально, а на третий день начинается Вавилон! Оказывается, этот хмырь придумал какую-то неистовую организацию труда, при которой лишней раз не перекинешься словом с товарищем по работе. Значит, вместо нормального производственного процесса крутимся все как белки в колесе, думаем до седьмого пота, какие-то графики составляем, одним словом — началась древнеегипетская эксплуатация человеческого труда. И если тебя, положим, застали за вязанием или ты смотался куда на часок-другой, то сразу будьте любезны, заявление по собственному желанию...

Терпели мы, терпели, а потом начали строчить жалобы. Я даже в штаб-квартиру ЮНЕСКО заявление написал, потому что наши инстанции никак не реагировали на действия этого врага народа, но капиталисты мне прислали бюрократическую отписку, дескать, не имеем права вмешиваться в ваши внутренние дела, хотя они как сажа белая — это известно всем. Пробовали также испытанное оружие пролетариата, то есть деятельно игнорировали производственные обязанности, но и это не помогло: потому наш новый хмырь взял и выкинул на улицу с десятков отцов семейств, обре... обре... ну, как это говорится — обрекая малолетних детей на голодное прозябание. Вроде бы он полностью демаскировал себя как вражеского наймита, но наши инстанции ни гугу.

И вот что-то через полгода, когда мы уже давали такой экономический эффект, что к нам прислали проверку из министерства, вдруг выясняется, что наш иуда на самом деле Аждемитрий и самозванец. Один мужик из отдела кадров как-то охотился вместе с одним влиятельным референтом и по пьяной лавке его спросил: что это вы — положим, Иван Иванович — такого к нам сельджука прислали, от которого народ стонет и разбегается кто куда? А референт по пьяной лавке ему в ответ: никого мы к вам покуда не присылали, кандидатура на пост начальника управления еще только прорабатывается в верхах. «Как же не присылали, — интересуется кадровик, — когда нам был ответственный звонок из Совета Министров, когда сам — положим, Петр Петрович — нам этого бандита рекомендовал?..» Тогда референт в свою очередь интересуется: а кто этот самый Петр Петрович будет? И тут выясняется, что черт его знает, кто он есть такой, этот самый Петр Петрович!

Словом, вывели гада на чистую воду! Оказывается, он был простой кандидат наук, который выдумал древнеегипетскую систему эксплуатации человеческого труда и пошел на прямой подлог личности, чтобы внедрить эту систему в жизнь. Конечно, пришили ему, мерзавцу, какое-то постороннее преступление, кажется, подделку облига-

ций государственного займа, и вlepили солидный срок. Если я не ошибаюсь, лет семь усиленного режима.

— Это... — отозвался Маско на прослушанную историю, — при усиленном режиме тоже, это самое... ничего. В плане, если ты деловой, то клали мы с прибором на их режим.

Золкин сказал:

— Скоро нам разрешат стрелять по деловым без предупреждения. Вот тогда ты заляпнешь, как вошь на сковороде!

— Господи! — сказал я. — Как интересно жить!

— Это вы о чем? — почему-то настороженно спросил меня Чегодаев.

Я немного задержался с ответом, потому что в тот момент к нам в палату зашел тихий сумасшедший Перцинский и начал расставлять шахматные фигуры.

— Я о том, — после паузы сказал я, — что вот опять наступила пора разброда, а в такие эпохи всегда интересно жить. Ведь у нас испокон веков так: пятьдесят лет прозябания, потом — жизнь, пятьдесят лет прозябания, потом — жизнь. Христиане против язычников, Суздаль против Новгорода, опичники против земцев, крестьяне против дворян, красные против белых, разная сволочь против нормальных людей — разве это не интересно?!

— Сволочь — это вы про кого? — спросил меня Оттоманчик.

— Ни про кого, — уклончиво сказал я.

— Нет, вы точно мягкотелая интеллигенция, — обратившись ко мне, заявил Иван. — Я на вас надежды не возлагаю, я возлагаю надежды на всесоюзный пролетариат, который рано или поздно отберет власть у политических мандаринов!

— Вы уже один раз отбирали власть, — ехидно сказал ему Чегодаев. — И так вы ее хитроумно взяли, что до сих пор непонятно, где она находится и кому на самом деле принадлежит.

— У меня, честно говоря, тоже закралась такая мысль, — сознался Оттоманчик с убитым видом. — Вот мне один генерал армии рассказывал, которых у нас, между прочим, всего пять человек на страну, что собирался он, значит, отдохнуть на Крымском побережье, да, как говорится, не тут-то было. Посылает он предварительно своего порученца за железнодорожным билетом, а тот возвращается и докладывает: нету, мол, билетов вплоть до четвертого ноября. Генерал дал порученцу несколько суток ареста и самолечником звонит в свою военную кассу — требует билет на крымское направление. А ему, понимаете ли, отвечают: нет билетов и не предвидится вплоть до четвертого ноября. Он туда, сюда, уж и ЦК партии подключил — все-таки он генерал армии, а не хвост собачий — и, значит, в конце концов своего добился, дали ему билет на какой-то несуразный, строго закрытый поезд специального назначения. Собрался он, приехал на Курский вокзал, нашел свой закрытый поезд, зашел в вагон, а там, представьте себе, сплошь чернявые ребята с Центрального рынка, которые распродали дары природы и едут от трудов праведных отдыхать. Спрашивается: кто же у нас в действительности командует парадом? Я прямо весь в раздумье — ведь надо же как-то подстраиваться под реальность, под тех, кто действительно правит бал...

— Что правда, то правда, — сказал Иван. — Как только дали народу понюхать волю, сразу все кверху ногами перевернулось, то есть какая-то туманная пошла жизнь.

— А это... менты распоясались... это как?! — подхватил Маско. — В плане раньше ему это... стальной в зубы, и все дела. А теперь они, волки позорные, даже разговаривать не хотят!.. Зарплату им прибавили, что ли...

— Держи карман шире! — озлился Золкин. — Под вапи бандитские пули идем, можно сказать, за нищенскую зарплату. И вообще,

кто кого сегодня искореняет — в смысле милиция уголовный элемент или уголовный элемент милицию — это еще вопрос!

На этих словах к нам в палату как раз заглянула дежурная сестра Нина и сказала нашему милиционеру, что его пришла навестить невеста. Золкин взбодрился, то есть он моментально избавился от огорченного выражения на лице, заинтересованно рассмотрел себя в зеркале, пригладил волосы, выщипнул из носа несколько волосков, одолжил у Чегодаева приличные тапочки и отправился на свидание, что-то такое мурлыча себе под нос.

— Если бы не мать-старушка,— сказал вдруг Перцинский, который все еще расставлял шахматные фигуры,— я бы в этой жизни минуты лишней не задержался. Открыл бы кингстоны, и на дно.

— Ты у нас прямо человек-пароход,— сказал ему Чегодаев.— Ты не Нетте будешь, случаем, по фамилии?

— Вы, Перцинский, оставьте эти суицидальные настроения,— сказал я,— не к лицу это приличному человеку. Первая обязанность приличного человека состоит в том, чтобы жить. Вторая его обязанность состоит в том, чтобы жить прекрасно. Вот вам и все заповеди приличного человека.

— Ну, прямо Нагорная проповедь,— опять съехидничал Чегодаев.— Ваша фамилия, случаем, не Христос?

— А чего ты все подначиваешь?! — вступился за меня Ваня.— Подначиваешь-то ты чего?! Или тебе очень весело здесь лежать? Так я тебе быстро настроение-то испорчу. Думаешь, я не понимаю, что никакой ты не грузчик из мебельного магазина, а жулик чистой воды, враг трудового народа и паразит?! Ну, чего ты на меня смотришь, как лошадь на велосипед, ща как вот стулом дам тебе по балде, сразу придешь в себя!

— Ты... это... мужик, в натуре! — сказал Маско.— Ты лучше закройся... в плане не сучи ногами, а то я тебя умою.

— И ты утихни, паразит, ворюга! — стоял на своем Иван.— Я, если понадобится, вашу шайку безо всякой милиции разгоню!

Тут, легок на помине, вернулся в палату милиционер Золкин, задумчивый и печальный.

— Ты что это, Афоня, такой печальный? — спросил его Оттоманчик.

— Да ну ее, дуру! — ответил Золкин и как-то отрешенно махнул рукой.— Дай, говорю ей, хоть подержаться-то за интимные места — не дает!.. говорит, ты заразный, подцепишь еще чего.

— А ты бы ей сказал,— посоветовал Оттоманчик,— что, во-первых, мы давно уже не заразные, а во-вторых, что через щупанье никакая зараза не пристаёт. Вот, мол, спидники с пятого этажа, вот этих, мол, обходи.

— Да ей все доходчиво объяснил! Все равно не дает — ну, дура дуруй, чего с нее взять!

— Чего ж ты такую выбрал?

— А я ее и не выбирал, я ее выручил, когда человек пятнадцать пацанят ее насиловать собрались. Ну, она потом сама приходит в общежитие и говорит: «Давай, герой, будем с тобой дружить».

— Во, гады, что делают! — с чувством сказал Иван.— Бабам уже никакого прохода нету, хоть ты их выгуливай на укороченном поводке!..

— Распоясались, мерзавцы, это точно,— подтвердил я.— Пора, ох пора эту публику приструнить!

— Ну, это, положим, напрасны ваши совершенства,— сказал мне Чегодаев как бы из одолжения.— Сильные люди неистребимы, это я вам по-соседски, со всей откровенностью говорю. Пока существует ваш бардак — а он существовал вечно и будет существовать вечно,— до тех пор хозяином жизни останется сильный, предприимчивый чело-

век. Так что не нервничайте понапрасну, как говорят в Одессе, не рвите сердце.

Золкин спросил Чегодаева с откровенной ненавистью на лице:

— А про РП-73 ты слышал?

— Это еще что такое? — живо заинтересовался Чегодаев и даже приподнялся в своей постели.

— Это такое против вас новое оружие: резиновая палка длиной в семьдесят три сантиметра!

— Испугал ежа голой ж...! — горестно ухмыльнувшись, сказал Иван. — Да ты что, Афоня, в своем уме? У них на вооружении небось уже легкая артиллерия, а вы собираетесь от них палками отбиваться!

— Забубенная какая-то у нас страна, — тоже с горечью сказал я. — И милиция наша — бедствующий отряд неимущего населения.

— Ну, ничего, — заявил Иван, — булыжник, он тоже оружие пролетариата. Если каждый рабочий возьмет по булыжнику, то эту уголовную сволочь даже тяжелая артиллерия не спасет.

— Это ты умоешься, работяга, — спокойно сказал Маско.

На некоторое время все замолчали, а потом Перцинский сделал интересное примечание:

— Какие же мы, русские, между собой недружественный народ! Вот венгры или немцы все между собою по петушкам, и египтянин за египтянина будет стоять горой, а русские ведь недолюбливают друг друга, безо всякой даже классовой подоплеки, а просто недолюбливают, и все.

— Есть за что, — мрачно сказал Иван.

— Ну, что вы, ребята, все ссоритесь да ссоритесь! — взмолился вдруг Оттоманчик. — Вот поглядите на наших котов: и они тоже русские, а сидят себе на подоконнике и сидят...

Действительно, Анамнез с Эпикризом дружественно возлежали на подоконнике, соединившись в один меховой клубок, и грелись под майским солнцем.

— Ну да! — сказал Чегодаев. — Ты им только кошку подпусти, тогда посмотрим, какие между ними сложатся отношения.

Золкина живо заинтересовал этот эксперимент, и он побежал отыскивать для него кошку. Он что-то очень быстро сыскал ее на больничном дворе, и я даже не успел получить ответ на вопрос:

— Интересно, зачем вы воруете, Эдуард? Ведь все равно сейчас ничего не купишь... — как Золкин явился с потасканной кошкой, которую он брезгливо ташил за загривок, и поместил ее на подоконнике рядом с нашими огольцами. Анамнез с Эпикризом решительно оживились, однако дальше так называемых телячьих нежностей дело у этой тройцы не пошло: коты просто-напросто облизали нечаянную подругу, да и то с прохладцей, как будто для профилактики, или по какому-то кошачьему неписаному закону, или же с тем подтекстом, чтобы мы оставили их в покое.

От разочарования наши принялись за шахматы и за излюбленную бурю. А я прикорнул и проснулся уже в результате скандала, который разгорелся к тому времени за столом.

— Ты... это... — говорил Маско бедняге Перцинскому на какой-то нежно-опасной ноте, — сумасшедший-то ты сумасшедший, а это... как здравомыслящий, выгоду свою в состоянии понимать. В плане ты зачем вместо семерки трэф сбросил пикового короля? Или ты это... думаешь, я гудок?! Вот тоже бес, в натуре, выдает себя за придурка, а шельмует, как деловой.

— Что вы себе позволяете?! — воскликнул Перцинский, и в голосе у него вернулось психопатическое рыдание. — Я, конечно, человек душевнобольной, но жульничать я сроду не жульничал, потому что я еще и порядочный человек.

Чегодаев сказал:



— Оставь его, Эдик. Если этот пассажир бравировывает тем, что он порядочный человек, значит, он точно душевнобольной.

— Ну, нет, братишка,— с чувством возразил Ваня,— ты, пожалуйста, не передергивай! Душевнобольные — это вы, жулики разные и ворье, а Перцинский сравнительно нормалек, потому что он не обидит даже навозной мухи.

— Ты, бес, это... совершенно раздухарился,— грозно сказал Маско.— Если ты, в натуре, не возьмешь себя в руки, то я тебе голову оторву!

Тут в перепалку вмешался я:

— Послушайте, Эдуард: вы все-таки тоже держите себя в руках.

— А гнилой интеллигенции мы вообще не давали слова,— отбрил меня Чегодаев.

— Откровенно говоря, уже две статьи налицо,— объявил Афанасий Золкин и бросил карты,— угроза применения насилия и словесное оскорбление. Хотите, сукины дети, чтобы вас прямо из больницы в наручниках увезли?!

— Ты... это...— начал было Маско, но Чегодаев его прервал.

— Остынь, Эдик,— посоветовал он,— а то этот придурок действительно вызовет наряд и нас с тобой забьют в изоляторе за день до того, как начнут раздавать конфеты.

Маско нехотя скрепил сердце, но Золкин, судя по всему, серьезно загорелся своей идеей.

— Нет, я вас спрашиваю: хотите, сукины дети, чтобы вас прямо из больницы в наручниках увезли?!

Трудно сказать, чем бы закончился наш скандал, если бы на этой угрозе к нам в палату не явился сантехник Константин и не предложил за пятерку десять разрозненных томов Брокгауза и Ефрона. Я приобрел эти книги и заодно поинтересовался:

— А не продадите ли вы мне за ту же цену подержанный автомобиль?

Константин изобразил глазами нечто такое, из чего могло следовать, что у него найдется и пятирублевый автомобиль, что он даже принимает к сведению мою неистовую заявку.

На нас этот эпизод произвел умиротворяющее воздействие: внезапно палата угомонилась, и все взызлось за свои книги, исключая Афанасия Золкина, который достал из тумбочки рогатку и пошел стрелять воробьев на двор, а также беднягу Перцинского, который еще немного посидел среди нас, влажно глядя в какую-то интересную точку на потолке, и затем тяжелой, нездоровой походкой потащился в свою палату; по всему было видно, что обвинением в нечистой игре он остался нешуточно оскорблен.

Часа через два мы уже ужинали, строго глядя в свои тарелки, потом наступило то самое томительное время суток, когда некуда себя деть, ну, положительно некуда себя деть, тем более что из-за разговора мы в тот вечер не устраивали сафари на комаров. Часов так в десять с мелочью Ваня Сабуров сходил к дежурной сестре Нине, около одиннадцати Нина сама заглянула к нам и сказала Маско:

— Маско, тебя вызывает по международному Монте-Карло...— и больше примечательного не было ничего. Однако что-то нехорошее витало в пахучем больничном воздухе, что-то предвещающее, коварное, или это ломалось атмосферное давление, или же просто я себя чувствовал нездорово. Ближе к полуночи наша палата уже спала, и только я один томился в своей постели. Я уже помаленьку стал соловеть, когда Анамнез с Эпикризом вдруг затеяли какую-то диковинную, пугающую игру: они то с не кошачьим ревом подпрыгивали на невероятную высоту, то бросались на стены, царапая их когтями, то ползали... попластунски, что ли, на животах, издавая при этом змеиный шип. Я на них цыкнул и, нацепив шлепанцы, отправился в коридор, надеясь нагулять сон. Какая-то возле четвертой палаты суматоха происходила —

сестры метались, мудреные медицинские аппараты привозили и увозили, являлись и исчезали незнакомые мне врачи; я направился к месту действия, раззадоренный любопытством, и, заглянув в четвертую палату, прежде всего увидел, что койка Перцинского пустовала, и даже постельные принадлежности унесли, и даже полосатый матрас был свернут.

— А Перцинский-то где? — спросил я у случайно подвернувшегося кардиолога, который катил перед собой явно кардиологический аппарат.

— Загнулся твой Перцинский, — немного помедлив, ответил тот. — Только что отправили его в морг.

Сказав это, кардиолог ловким движением вправил себе неожиданно вывалившуюся челюсть.

— Жалко мужика, — сказал я, и по мне пробежало то, что всегда пробегает по человеку, когда он внезапно сталкивается с кончиной недавно еще бродившего, говорившего в буру, оскорблявшегося тебе подобного существа, то есть вроде бы и жутко и одновременно легкомысленно сделалось на душе; причем какая-то часть меня, предположим одна шестая, пристыдила прочие пять шестых за то, что они не так уж и потрясены кончиной тебе подобного существа. — А отчего он умер-то, бедолага?

— А шут его знает, — сказал кардиолог. — Мы в таких случаях пишем — «острая коронарная недостаточность». Но это, конечно, то же самое, что удавку назвать причиной смерти самоубийцы.

И он опять вправил себе вывалившуюся челюсть. Тут только я заметил, что кардиолог пьян, как говорится, до положения риз и, вероятно, упал где-нибудь или ему вышибли челюсть в драке; впрочем, пьян он был чисто по-медицински: если бы не вывихнутая челюсть, не странная бледность лица и не замедленная реакция на вопросы, сразу не скажешь, что он был пьян.

Напоследок я его ни с того ни с сего спросил:

— Вы, случаем, не знаете, почему здешний сантехник продает вещи за пять рублей? Он что, дальше пяти не выучился считать?

— Да нет, — последовало в ответ, — просто тут у нас в угловом магазине торгуют портвейном по четыре пятьдесят две.

Я сказал:

— Логика, разумеется, никакой.

— Да уж какая там логика! — с возмущением разделил мою позицию кардиолог.

Смерть Перцинского на меня, конечно, подействовала угнетающе, но вернувшись в палату и улегшись в свою постель, я еще долго на себя удивлялся, дескать, какой я все-таки толстокожий, бесчувственный человек, дескать, товарищ умер, а я как ни в чем не бывало интересуюсь логикой прохиндеев. Через некоторое время я прикорнул, и мне приснилась такая гадость, что я проснулся в липкой испарине от испуга; снилось мне, будто заведующая отделением Вера Сергеевна Осипчук что-то решила постричь мне ногти и, вооружившись огромными шортновскими ножницами, принялась отстригать мне фаланги пальцев. Проснувшись, я вытерся полотенцем и опять отправился в коридор. Там было по-неприятному тихо и сумрачно, как в пещере, освещенной отдаленным смоляным факелом, поскольку ночами в нашем коридоре горела только лампа над конторкой поста, дававшая какое-то именно средневековое освещение. Я походил немного туда-сюда, а потом уселся возле открытого торцового окошка и закурил; я сидел, курил, смотрел в темный больничный двор, из которого тянуло майским благоуханием, и небрежно, так сказать, спустя рукава, размышлял о том, что на крайний случай всегда остается смерть в качестве выхода из пикового российского положения. Потом ко мне подошел грузин из третьей палаты и попросил закурить — я угостил его сигаретой; потом подошла сестра Нина и попросила закурить — я уго-

стил ее сигаретой; потом подошел Перцинский и тоже попросил закурить — я и его наделил сигаретой, но при этом задал вопрос:

— Вы ведь, кажется, некурящий?

— Тут закуришь,— злобно сказал Перцинский и немедленно испарился.

— Позвольте!..— произнес я вслед, сообразив, что только что разговаривал с привидением, но было поздно, и мое восклицание нелепо повисло в воздухе, как парус в безветренную погоду; самое любопытное — это то, что явление Перцинского меня несколько не ошеломило — не ошеломило, и все дела.

Наутро я проснулся оттого, что дежурная сестра сунула мне градусник и таким образом разбудила. Я сел в постели и сказал товарищам по болезни:

— Ребята, я сегодня ночью видел настоящее привидение! Причем даже на том свете у нас бардак: представьте, привидение приходило стрельнуть сигарету — значит, и у них там бедность и дефицит.

— А чего вы удивляетесь, что встретили привидение? — не без ехидства охладил меня Чегодаев.— Если у нас можно купить за пять рублей подержанный автомобиль, то привидения — это так же неудивительно, как бедность и дефицит.

Ваня мне сказал:

— Ты, парень, еще, наверное, не проснулся.

— А? — зайкнулся я.— То есть да, конечно. Я хотел сказать, что Перцинский вчера скончался.

— Не понял? — как-то ответственно сказал Золкин.

— Я говорю, Перцинский вчера ночью умер от острой коронарной недостаточности, ты что, не понимаешь русского языка?

Какое-то время прошло в молчании, а затем Ваня Сабуров воскликнул, указывая в сторону Маско чугунным жестом Юрия Долгорукого:

— Это ты, паскуда, до смерти его довел! Сам ворюга, а хорошего человека шулером обозвал! Ведь Перцинский точно умер от переживаний, в смысле оттого, что ты, собака, его шулером обозвал!

— Ну... это... все! — грозно сказал Маско.— В плане терпение мое лопнуло! Щас я буду тебя мочить...

Я предупредил:

— Только попробуйте тронуть Ивана пальцем!

— А ты помалкивай, пассажир,— пригрозил мне Чегодаев и полез под подушку — возможно, даже за пистолетом; к счастью, оказалось, что под подушкой он просто держал конфеты.

— Не бэ, ребята! — сказал нам с Иваном повеселевший Афоня Золкин.— Сейчас я эту мафию укрошу.

Понятное дело, тут началось побоище. Сначала битва была ручная, а впоследствии в ход пошли стулья, бутылки из-под глюкозы, разная мелкая больничная утварь и даже шахматная доска. Золкин спрашивал Оттоманчика в пылу боя:

— А ты чего отлыниваешь, не борешься за интересы трудящихся? Еще называется — профсоюз!..

— Нет,— отговаривался Оттоманчик,— я погожу пока. Я погляжу, куда ветер дует.

Меня Афоня Золкин, так надо полагать, изначально не брал в расчет как представителя мягкотелой интеллигенции, неспособного физически бороться за справедливость; и правильно делал, что изначально не брал в расчет.

Между тем Анамнез с Эпикризом были до такой степени запуганы нашей дракой, что в панике забились под мою тумбочку и только выглядывали из-под нее, выказывая на мордах смесь жутки и детского удивления. Я изредка заглядывал под тумбочку и думал о том, что коты, должно быть, счастливейшие создания; мало того что они наделены кое-какими сверхъестественными качествами с точки зрения

человека, например, способностью дематериализации сразу же после смерти, они еще и сравнительно добродушные, мирные существа...

Вообще я страдаю дурной повадкой воспарять мыслью, как нарочно, при самых неблагоприятствующих обстоятельствах. Вокруг бушевала схватка, стекла звенели, трещала, ломаясь, мебель, свирепые выкрики будоражили отделение, а я лежал в своей койке и умственно присматривался к следующей идее: видимо, принципиальное отличие русского народа от всех прочих народов состоит в том, что русские... как бы это выразиться поосторожнее, друг друга не обожают. Вот голландцы друг за друга стоят горой, и скорее папа римский отречется от католичества, чем голландец отречется от соголландца. Даже ворон ворону глаз не выклюет, а русский русского не упустит при случае наказать.

Я думаю, такая недружественность имеет свою историческую подоплеку: в силу некоторых особенностей нашего прошлого мы зарвались в своем развитии, мы до того доразвивались за последние двести лет, что у нас вывелись десятки подвидов русских, одни из которых суть безусловно русские, а другие тоже русские, но иначе. Скажем, на Западе быгуют только два подвида человека разумного — работники и акционеры, между которыми возможны персональные неудовольствия, у нас же шагу нельзя ступить, чтобы не нарваться на чужака. Отсюда, конечно, разных масштабов умышленное вредительство, разбой среди бела дня, боевые выражения физиономий и, главное, халатное отношение ко всему. Причем сумма противоречий, созревшая между различными подвидами русского человека, настолько сугуба и многозначна, что противоречия между трудом и капиталом в сравнении с ней — милые ссорятся, только тешатся.

Так что же хорошо было бы предпринять, чтобы умиротворить русскоязычное население? Нужна какая-то всеобъединяющая идея. Но, конечно, не в духе Николая Федорова с его пунктом коллективного воскрешения мертвецов, и, конечно, не «грабь награбленное», а нечто не в такой степени бредовое и разбойное, нечто деликатное, общедоступное и, главное, легко исполнимое, как утренний туалет. Это может быть политическая идея, дескать, давайте, товарищи, прекратим наконец развиваться в разрушительном направлении; давайте, сохраняя чувство человеческого достоинства, даже отступим на десять шагов назад, к аристократии, которой можно доверить власть, к понятию «несчастный», под которым у народа проходили уголовные элементы, к авторитетам, которые созидаются гениальностью и убийственными трудами, а не средствами массовой информации, к баснословной оплате умственного труда... ну, и так далее, вплоть до «Первого философического письма», чтобы хорошенько присмотреться, где уважаемый Петр Яковлевич действительно сгустил краски, а где угодил, как говорится, не в бровь, а в глаз. Или это может быть простая экономическая идея, дескать, поскольку все же бытие определяет сознание, ни слова, ни полслова из красноречивого сборника заклинаний, ни единого вздоха с идеологической подоплекой, покуда на каждом гражданине не появятся положительные штаны и не нужно будет бороться за элементарные блага цивилизации; вот оденемся, обуедемся, отъедемся, тогда и наговоримся владыку о преимуществах социалистического способа производства. Впрочем, есть опасение, что в одетом, обутом, сытом обличье нам уже не так захочется сердечно поговорить. А, собственно, чем нам не угодил текущий момент?.. Ну, не любят русские друг друга, ну, идет к распаду национальный модус вивенди, ну, бедность, синдром безотцовщины, повальная меланхолия — ну и что?! Всегда это было, как говорится, на том стоим, свидетельницей чему наша литература, но зато, господи боже мой — как интересно жить! Наверное, дело в том, что мы слышком люди для своего времени, поскольку развиваемся очертя голову и всё норввим проскочить то ли поперек батьки в пекло, то ли впереди бога в рай,

и поэтому в русской среде созревают противоречия такой исполинской силы, что ужасно заманчиво — просто жить. Вот по ту сторону Эльбы только и развлечений что с толком потратить деньги, а у нас... ну точно мы преждевременно завершили штатный виток развития и ввалились в бодрую античную жизнь, только под другим знаком: то у нас то, то се, то пятое, то десятое, того и гляди опять древяне что-нибудь учудят, а главное, с замиранием сердца все время чего-то ждешь — не то великолепного праздника, не то трубного знака архангела Гавриила.

Так, может быть, в том-то наше преимущество и судьба, что мы живем в таком животрепещущем, остром стиле? Тогда не надо нам никаких всеобъединяющих идей, кроме родного русского языка, который помимо наших слепых усилий сам все решит и все определит на свои места. Вон как Анамнез с Эпикризом безотчетно веряются своему инстинкту, так и нам следует беспрекословно верить русскому языку...

Как раз на этом месте мне в голову нечаянно угодили бутылкой из-под нарзана, и я потерял сознание. Впоследствии мне рассказывали, что схватка продолжалась минут пятнадцать, покуда наших бойцов не разняли врачи и сестры. Результаты побоища были внушительными: у меня обнаружили сотрясение мозга, у Ивана Сабурова — множественные раны на голове, у Маско — смещение таза относительно позвоночника, у Чегодаева оказалось кровоизлияние в брюшной полости и перелом предплечья, у Оттоманчика, которого сторяча задела стояком капельницы, — ушиб генитальной части; Золкин же как профессионал отделался синяками.

К обеду нас всех доставили в клинику имени Склифосовского, и вот что самое интересное: положили нас снова в одну палату...



---

---

В. БРАЙНИН-ПАССЕК

\*

## ЛЕДЯНОЙ СМЫЧОК

\* \* \*

Здесь персть твоя, а духа нет.

*Державин.*

Я ехал на трамвае в морг,  
была библейская жара,  
и я никак понять не мог —  
где та, которая жила?  
Что где-то быть она должна,  
я знал, не зная, где она,  
та, что вчера еще была  
по эту сторону жерла.

Витало что-то надо мной,  
я думал — тополиный пух,  
а это некто неземной  
тревожил мой смятенный слух.  
Я твердо знал, что я умру  
и этим самым нос утру  
тому, кто шепчет: «...в никуда  
ничто не сгинет без следа,

никто не канет в никуда...»  
Матерьялист, впадая в транс,  
бубнил я: нонсенс, ерунда! —  
и смертной головою тряс.  
И так общались мы, пока  
шли над трамваем облака,  
гудроном пахло и травой  
нагретой, молодой, живой.

Всем этим умиротворен,  
я ехал вещи получать,  
на документ для похорон  
поставить подпись и печать.  
Мне скорбно вынесли ее  
пальто, и платье, и белье,  
и я тогда увидеть смог  
существования итог.

Я расписался за тряпье,  
и это было свыше сил,  
и у Того, кто взял ее,  
я слез целительных просил,  
но не нашлось ни слез, ни слов,  
которым внять я был готов,  
чтобы смутили душу мне  
в астральной синей глубине.

\* \* \*

Литье золотое из глиняных форм  
 ушло в закрома словаря,  
 чтоб выйти оттуда скотине на корм  
 свинцовыми каплями, лужей из ртути.  
 Тот — пробует на зуб, тот — сразу в карман,  
 но время потратит не зря,  
 кто жизнью готов заплатить за обман,  
 за каждую букву отдав по минуте.

Законник и вор, Робин Гуд и палач  
 найдут утешение в том,  
 что слово строптиво уносится вскачь  
 глухой повиликой, некошеным лугом.  
 В ладонях останутся три волоска,  
 получится — вставишь потом  
 в невинную трость ледяного смычка,  
 готового грезить о луке упругом.

Привет вам, девицы преклонных годов,  
 жующие соску стиха,  
 привет и тому, кто признаться готов,  
 что всякая книга — незнания источник.  
 Пускай, задыхаясь, глядит человек  
 на адское пламя греха  
 и знает, что лошади вольный пробег —  
 неявного счастья жестокий подстрочник.

1987.

\* \* \*

В коконе гладком таится душа,  
 тянется сладко.  
 Жизнь неизведанная хороша  
 вся без остатка.

Кровью зеленой сочатся хвои,  
 травы и листья.  
 Чашечку с пенным нектаром ищи,  
 что подушистей.

Звонкие крыльшки — как витражи  
 готики колкой.  
 Сухоньким тельцем навеки свяжи  
 рамку с иголкой.

1986.



## АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

\*

# В КРУГЕ ПЕРВОМ

Роман

59

### УЛЫБКА БУДЫ

**Д**ействие нашего замечательного повествования относится к тому многославному пышущему жаром лету 194... года, когда арестанты в количестве, значительно превышающем легендарные сорок бочек, изнывали в набедренных повязках от неподвижной духоты за тускло-рыбьими намордниками всемирно-известной Бутырской тюрьмы.

Что сказать об этом полезном налаженном учреждении? Родословную свою оно вело от екатерининских казарм. В жестокий век императрицы не пожалели кирпича на его крепостные стены и сводчатые арки.

Почтенный замок был построен,  
Как замки строиться должны.

После смерти просвещённой корреспондентки Вольтера эти гулкие помещения, где раздавался грубый топот карабинерских сапог, на долгие годы пришли в запустение. Но по мере того, как на отчизну нашу надвигался всеми желаемый прогресс, царственные потомки упомянутой властной дамы почли за благо помещать там равно: еретиков, колебавших православный престол, и мракобесов, сопротивлявшихся прогрессу.

Мастерок каменщика и тёрка штукатурка помогли разделить эти анфилады на сотни просторных и уютных камер, а непревзойдённое искусство отечественных кузнецов выковало негибаемые решётки на окна и трубчатые дуги кроватей, опускаемых на ночь и поднимаемых днём. Лучшие умельцы из числа наших талантливых крепостных внесли свой драгоценный вклад в бессмертную славу Бутырского замка: ткачи ткали холщёвые мешки на дуги коек; водопроводчики прокладывали мудрую систему стока нечистот; жестианщики клепали вместительные четырёх- и шестиведерные *параши* с ручками и даже крышками; плотники прорезали в дверях *кормушки*; стекольщики вставляли *глазки*; слесари навешивали замки; а особые мастера стекло-арматурщики в сверхновое время наркома Ежова залили мутно-стекольный раствор по проволоочной арматуре и воздвигли уникальные в своём роде *намордники*, закрывшие от зловредных арестантов последний видимый ими уголок тюремного двора, здание острожной церкви, тоже пригидившейся под тюрьму, и клочок синего неба.

Соображения удобства — иметь надзирателей большей частью без законченного высшего образования, подвинули опекунов Бутырского санатория к тому, чтобы в стены камер вмуровывать ровно по двадцать пять коечных дуг, создавая основы простого арифметического расчёта: четыре камеры — сто голов, один коридор — двести.

И так долгие десятилетия процветало это целительное заведение, не вызывая ни нареканий общественности, ни жалоб арестантов. (Что не было нареканий и жалоб, мы судим по редкости их на страницах



«Биржевых ведомостей» и полному отсутствию в «Известиях рабочих и крестьянских депутатов».)

Но время работало не в пользу генерал-майора, начальника Бутырской тюрьмы. Уже в первые дни Великой Отечественной войны пришлось нарушить узаконенную норму двадцать пять голов в камере, помещая туда и излишних жителей, которым не доставалось койки. Когда избыток принял грозные размеры, койки были раз и навсегда опущены, парусиновые мешки с них сняты, поверх застланы деревянные щиты, и торжествующий генерал-майор со товарищи вталкивал в камеру сперва по пятьдесят человек, а после всемирно-исторической победы над гитлеризмом и по семьдесят пять, что опять-таки не затрудняло надзирателей, знавших, что в коридоре теперь шестьсот голов, за что им выплачивалась премияльная надбавка.

В такую густоту уже не имело смысла давать книг, шахмат и домино, ибо их всё равно не хватало. Со временем уменьшалась врагам народа хлебная пайка, рыбу заменили мясом амфибий и перепончатокрылых, а капусту и крапиву — кормовым силосом. И страшная Пугачёвская башня, где императрица держала на цепи народного героя, теперь получила мирное назначение башни силосной.

А люди текли, приходили всё новые, бледнела и искажалась изустная арестантская традиция, люди не помнили и не знали, что их предшественники не жили на парусиновых мешках и читали запрещённые книги (только из тюремных библиотек их и забыли изъять). Вносился в камеру в дымящемся бачке бульон из ихтиозавра или силосная крошка — арестанты забирались с ногами на щиты, из-за тесноты поджимали колени к груди и, опершись ещё передними лапами около задних, в этих собачьих телоположениях с оскаленными зубами зорко, как дворняжки, следили за справедливостью разливки хлёбова по мискам. Миски разыгрывали, отвернувшись, — «от парашки к окну» и «от окна к радиатору», после чего жители нар и поднарных конур, едва не опрокидывая хвостами и лапами мисок друг другу, в семьдесят пять пастей жвакали живительною баландою — и только один этот звук нарушал философское молчание камеры.

И все были довольны. И в профсоюзной газете «Труд» и в «Вестнике московской патриархии» — жалоб не было.

Среди прочих камер была и ничем не примечательная 72-я камера. Она была уже обречена, но мирно дремавшие под её нарами и матюгавшиеся на её нарах арестанты ничего не знали об ожидавших их ужасах. Накануне рокового дня они, как обычно, долго укладывались на цементном полу близ парашки, лежали в набедренных повязках на щитах, обмахиваясь от застойной жары (камера не проветривалась от зимы до зимы), били мух и рассказывали друг другу о том, как хорошо было во время войны в Норвегии, в Исландии, в Гренландии. По внутреннему ощущению времени, выработавшемуся долгим упражнением, эки знали, что оставалось не более пяти минут до того момента, когда дежурный вертухай промычит им в кормушку: «Ну, ложись, отбой был!»

Но вдруг сердца арестантов вздрогнули от отпираемых замков! Распахнулась дверь — и в двери показался стройный пружинящий капитан в белых перчатках, чрез-вы-чайно взволнованный. За ним гудела свита лейтенантов и сержантов. В гробовом молчании эсков вывели с вещами в коридор. (Шёпотом эски тут же родили промеж собой парашу, что их ведут на расстрел.) В коридоре отсчитали из них пять раз по десять человек и втолкнули в соседние камеры как раз вовремя, так что они успели там захватить себе кусочек спального плаца. Эти счастливицы избежали страшной участи двадцати пяти остальных. Последнее, что видели оставшиеся у своей дорогой 72-й камеры, — была какая-то адская машина с пульверизатором, въезжавшая в их дверь. Потом их повернули через правое плечо и под звяканье надзирательских ключей о пряжки поясов и щёлканье пальцами (то были приня-

тые в Бутырках надзирательские сигналы «веду ээка!») повели через многие внутренние стальные двери и, спускаясь по многим лестницам, — в холл, который не был ни подвалом расстрелов, ни пыточным подземельем, а широко был известен в народе эзков как предбанник знаменитых бутырских бань. Предбанник имел коварно-безобидный повседневный вид: стены, скамьи и пол, выложенные шоколадной, красной и зеленой метлахской плиткой, и с грохотом выкатываемые по рельсам вагонетки из прожарок с адскими крючками для навешивания на них вшивых арестантских одежд. Легко ударяя друг друга по скулам и по зубам (ибо третья арестантская заповедь гласит: «Дают — хватай!»), эзки разобрали раскалённые крючки, повесили на них свои многострадальные одеяния, полинявшие, порывевшие, а места ми и прогоревшие от ежедекадных прожарок, — и разгорячённые служанки ада — две старые женщины, презирая постылую им наготу арестантов, с грохотом укатали вагонетки в тартар и захлопнули за собой железные двери.

Двадцать пять арестантов остались запертыми со всех сторон в предбаннике. Они держали в руках только носовые платки или заменяющие их куски разорванных сорочек. Те из них, чья худоба всё же сохранила ещё тонкий слой дублёного мяса в той неприязнательной части тела, посредством которой природа наградила нас счастливым даром *сигеть* — те счастливики сидели на тёплых каменных скамьях, выложенных изумрудными и малиново-коричневыми изразцами. (Бутырские бани по роскоши оформления далеко оставляют позади себя Сандуновские, и говорят, некоторые любознательные иностранцы специально предавали себя в руки ЧеКа, чтобы только помыться в этих банях.)

Другие же арестанты, исхудавшие до того, что не могли уже сидеть иначе, как на мягком, — ходили из конца в конец предбанника, не закрывая своей срамоты и жаркими спорами пытались проникнуть за завесу происходящего.

Давно уж их воображенье  
Алкало пи-щи роковой.

Однако, их столько часов продержали в предбаннике, что споры утихли, тела покрылись пупырышками, а желудки, привыкшие с десяти часов вечера ко сну, тоскливо зывали о наполнении. Среди арестантов победила партия пессимистов, утверждавших, что через решётки в стенах и в полу уже втекает отравленный газ, и сейчас все они умрут. Некоторым уже стало дурно от явного запаха газа.

Но загремела дверь — и всё переменилось! Не вошли, как всегда, два надзирателя в грязных халатах с засоренными машинками для стрижки овец и не швырнули пары тупейших в мире ножниц для того, чтобы переламывать ими ногти, — нет! — четыре парикмахерских подмастерья ввели на колёсиках четыре зеркальные стойки с одеколоном, фиксатуаром, лаком для ногтей и даже театральными париками. И четыре очень почтенных дородных мастера, из них два армянина, вошли следом. А в парикмахерской, тут же, за дверью, арестантам не только не стригли лобков, изо всех сил нажимая стригущими плоскостями на нежные места, — но пудрили лобки розовой пудрой. Легчайшим полётом бритв касались измождённых арестантских ланит и щекотали в ухо шёпотом: «Не беспокоит?» Их голов не только не стригли наголо, но даже предлагали парики. Их подбородков не только не скальпировали, но оставляли по желанию клиентов начатки будущих бород и бакенбардов. А парикмахерские подмастерья, распротёртые ниц, тем временем обрезали им ногти на ногах. Наконец, в дверях бани им не влили в ладони по двадцать грамм растекающегося вонючего мыла, а стоял сержант и под расписку выдавал каждому губку, дщерь коралловых островов, и полновесный кусок туалетного мыла «Фея сирени».

После этого, как всегда, их заперли в бане и дали мыться всласть. Но арестантам было не до мытья. Их споры были горячей бутырского кипятка. Теперь среди них победила партия оптимистов, утверждавших, что Сталин и Берия бежали в Китай, Молотов и Каганович перешли в католичество, в России временное социал-демократическое правительство, и уже идут выборы в Учредительное Собрание.

Тут с каноническим грохотом была открыта всем вам известная выходная дверь бани — и в фиолетовом вестибюле их ждали самые невероятные события: каждому выдавалось мохнатое полотенце и... по полной миске овсяной каши, что соответствует шестидневной порции лагерного работяги! Арестанты бросили полотенца на пол и с изумительной быстротой без ложек и других приспособлений поглотили кашу. Даже присутствовавший при этом старый тюремный майор удивился и велел принести ещё по миске каши. Съели и ещё по миске. Что было после — никто из вас никогда не угадает. Принесли не мороженую, не гнилую, не чёрную — да просто, можно сказать, съедобную картошку.

— Это исключено! — запротестовали слушатели. — Это уже неправдоподобно!

— Но это было именно так! Правда, она была из сорта свинячьей, мелкая и в мундирах, и, может быть, насытившиеся зэки не стали бы её есть, — но дьявольское коварство состояло в том, что принесли её не поделенной на порции, а в одном общем ведре. С ожесточённым воем, нанося тяжёлые ушибы друг другу и карабкаясь по голым спинам, зэки бросились к ведру — и через минуту, уже пустое, оно с брэнчанием прокатилось по каменному полу. В это время принесли ещё соли, но соль была уже ни к чему.

Тем временем голые тела обсохли. Старый майор велел зэкам поднять с пола мохнатые полотенца и обратился с речью.

— Дорогие братья! — сказал он. — Все вы — честные советские граждане, изолированные от общества лишь временно, кто на десять, кто на двадцать пять лет за свои небольшие проступки. До сих пор, несмотря на высокую гуманность марксистско-ленинского учения, несмотря на ясно выраженную волю партии и правительства, несмотря на неоднократные указания лично товарища Сталина, руководством Бутырской тюрьмы были допущены серьёзные ошибки и искривления. Теперь они исправляются. (Распустят по домам! — нагло решили арестанты.) Впредь мы будем содержать вас в курортных условиях. (Остаёмся сидеть! — поникли они.) Дополнительно ко всему, что вам разрешалось и раньше, вам разрешается:

- а) молиться своим богам;
- б) лежать на койках хоть днём, хоть ночью;
- в) беспрепятственно выходить из камеры в уборную;
- г) писать мемуары.

Дополнительно к тому, что вам запрещалось, вам запрещается:

- а) сморкаться в казённые простыни и занавески;
- б) просить по второй тарелке еды;
- в) при входе в камеру высоких посетителей противоречить начальству тюрьмы или жаловаться на него;
- г) брать без спросу со стола папирсы «Казбек».

Всякий, кто нарушит одно из этих правил, будет подвергнут пятнадцати суткам холодного карцера-строгача и сослан в дальние лагеря без права переписки. Понятно?

И едва лишь майор окончил речь — не гремящие вагонетки выкатили из прожарки бельё и драные телогрейки арестантов, нет! — ад, поглотивший лохмотья, не возвращал их! — но вошли четыре молоденькие кастелянши, потупяся, краснея, милыми улыбками подбодряя арестантов, что не всё ещё для них потеряно, как для мужчин, — и

стали раздавать голубое шёлковое бельё. Затем энкам выдали штапельные рубашки, галстуки скромных расцветок, ярко-жёлтые американские ботинки, полученные по ленд-лизу, и костюмы из поддельного коверкота.

Немые от ужаса и восторга, арестанты в строю парами были проведены вновь в свою 72-ю камеру. Но, Боже, как она преобразилась!

Ещё в коридоре ноги их ступили на ворсистую ковровую дорожку, заманчиво ведущую в уборную. А при входе в камеру их овеули струи свежего воздуха, и бессмертное солнце сверкнуло прямо в их глаза (за хлопотами прошла ночь, и воссияло уже утро). Оказалось, что за ночь решётки покрашены в голубой цвет, намордники с окон сняты, а на бывшей бутырской церкви, стоящей внутри двора, укреплено поворотное отражательное зеркало, и специально приставленный к нему надзиратель регулирует его так, чтоб отражённый солнечный поток всё время бы падал в окна 72-й камеры. Стены камеры ещё вечером оливково-тёмные, теперь были обрызганы светлой масляной краской, по которой живописцы во многих местах вывели голубей и ленточки с надписью: «Мы — за мир!» и «Миру — мир!»

Деревянных щитов с клопами не было и помину. На рамы кровати были натянуты холщёвые подвески, в них лежали перины, пуховые подушки, а из-за кокетливо-отвёрнутого края одеяла сверкали белизной пододеяльник и простыня. У каждой из двадцати пяти коек стояли тумбочки, по стенам тянулись полки с книгами Маркса, Энгельса, блаженного Августина и Фомы Аквинского, посреди камеры стоял стол под накрахмаленной скатертью, на нём — ваза с цветами, пепельница и нераспечатанная пачка «Казбека». (Всю роскошь этой волшебной ночи удалось оформить через бухгалтерию и только сорт папирос «Казбек» нельзя было подогнать ни под одну расходную статью. Начальник тюрьмы решил шикнуть «Казбеком» на свои деньги, оттого и кара за него была назначена такая строгая.)

Но более всего преобразился тот угол, где прежде стояла параша. Стена была отмыта добела и выкрашена, вверху теплилась большая лампада перед иконой Богородицы с младенцем, сверкал ризами чудотворец Николай Мирликийский, возвышалась на этажерке белая статуя католической мадонны, а в неглубокой нише, оставленной ещё строителями, лежали Библия, Коран, Талмуд и стояла маленькая тёмная статуэтка Будды — по грудь. Глаза Будды были немного сощурены, углы губ отведены назад, и в потемневшей бронзе чудилось, что Будда улыбался.

Сытые кашей и картошкой и потрясённые невместимым обилием впечатлений, энки разделались и сразу заснули. Лёгкий Эол колебал на окнах кружевные занавеси, не допуская мух. Надзиратель стоял в приотворенных дверях и следил, чтобы никто не спёр «Казбека».

Так они мирно нежились до полудня, когда вбежал чрез-вы-чай-но разгорячённый капитан в белых перчатках и объявил подъём. Энки проворно оделись и заправили койки. Поспешно в камеру ещё втокнули круглый столик под белым чехлом, на нём разложили «Огонёк», «СССР на стройке» и журнал «Америка», вкатили на колёсиках два старинных кресла, тоже под чехлами — и наступила зловещая невыносимая тишина. Капитан ходил между кроватями на цыпочках и красивой белой палочкой бил по пальцам тех, кто протягивал руку за журналом «Америка».

В томительной тишине арестанты слушали. Как вам хорошо известно по собственному опыту, слух — это важнейшее чувство арестанта. Зрение арестанта обычно ограничено стенами и намордником, обоняние насыщено недостойными ароматами, осязанию нет новых предметов. Зато слух развивается необыкновенно. Каждый звук даже в дальнем углу коридора тотчас же опознаётся, истолковывает происходящие в тюрьме события и отмеряет время: разносят ли кипяток, водят ли на прогулку или принесли кому-то передачу.

Слух и донёс начало разгадки: со стороны 75-й камеры загремела стальная переборка, и в коридор вошло много людей. Слышался их сдержанный говор, шаги, заглушаемые коврами, потом выдвинулись голоса женщин, шорох юбок, и у самой двери 72-й камеры начальник Бутырской тюрьмы приветливо сказал:

— А теперь госпоже Рузвельт, вероятно, будет интересно посетить какую-нибудь камеру. Ну, какую же? Ну, первую монавшуюся. Например, вот 72-ю. Откройте, сержант.

И в камеру вошла госпожа Рузвельт в сопровождении секретаря, переводчика, двух почтенных матрон из среды квакеров, начальника тюрьмы и нескольких лиц в гражданской одежде и в форме МВД. Капитан же в белых перчатках отошёл в сторону. Вдова президента, женщина тоже передовая и проникательная, много сделавшая для защиты прав человека, госпожа Рузвельт задалась целью посетить доблестного союзника Америки и увидеть своими глазами, как расширяется помощь ЮНРРА (Америки достигли зловредные слухи, будто продукты ЮНРРА не доходят до простого народа), а также — не ущемляется ли в Советском Союзе свобода совести. Ей уже показали тех простых советских граждан (переодетых партработников и чинов МГБ), которые в своих грубых рабочих спецовках благодарили Соединённые Штаты за бескорыстную помощь. Теперь госпожа Рузвельт настояла, чтоб её провели в тюрьму. Желание её исполнилось. Она уселась в одно из кресел, свита устроилась вокруг, и начался разговор через переводчика.

Солнечные лучи от поворотного зеркала всё так же били в камеру. И дыхание Эола шевелило занавеси.

Госпоже Рузвельт очень понравилось, что в камере, выбранной наудачу и застигнутой врасплох, была такая удивительная белизна, полное отсутствие мух, и, несмотря на будний день, в святом углу теплилась лампада.

Заключённые поначалу робели и не двигались, но когда переводчик перевёв вопрос высокой гостьи, неужели, щадя чистоту воздуха, никто из заключённых даже не курит, — один из них с развязным видом встал, распечатал коробку «Казбека», закурил сам и протянул папиросу товарищу.

Лицо генерал-майора потемнело.

— Мы боремся с курением, — выразительно сказал он, — ибо табак — это яд.

Ещё один заключённый пересел к столу и стал просматривать журнал «Америка», почему-то очень торопливо.

— За что же наказаны эти люди? Например, вот этот господин, который читает журнал? — спросила высокая гостья.

(«Этот господин» получил десять лет за неосторожное знакомство с американским туристом.)

Генерал-майор ответил:

— Этот человек — активный гитлеровец, он служил в Гестапо, лично сжёг русскую деревню и, простите, изнасиловал трёх русских крестьянок. Число убитых им младенцев не поддаётся учёту.

— Он приговорён к повешению? — воскликнула госпожа Рузвельт.

— Нет, мы надеемся, что он исправится. Он приговорён к десяти годам честного труда.

Лицо арестанта выражало страдание, но он не вмешивался, а продолжал с судорожной поспешностью читать журнал.

В этот момент в камеру ненароком зашёл русский православный священник с большим перламутровым крестом на груди — очевидно, с очередным обходом, и очень был смущён, застав в камере начальство и иностранных гостей.

Он хотел было уже уйти, но скромность его понравилась госпоже Рузвельт, и она попросила его выполнять свой долг. Священник тут

же всучил одному из растерявшихся арестантов карманное Евангелие, сам сел на кровать ещё к одному и сказал окаменевшему от удивления:

— Итак, сын мой, в прошлый раз вы просили рассказать вам о страданиях Господа нашего Иисуса Христа.

Госпожа Рузвельт попросила генерал-майора тут же при ней задать заключённым вопрос — нет ли у кого-нибудь из них жалоб на имя Организации Объединённых Наций?

Генерал-майор угрожающе спросил:

— Внимание, заключённые! А кому было сказано про «Казбек»? Строгача захотели?

И арестанты, до сих пор зачарованно молчавшие, теперь в несколько голосов возмущённо загалдели:

— Гражданин начальник, так курица нет!

— Уши пухнут!

— Махорка-то в тех брюках осталась!

— Мы ж-то не знали!

Знаменитая дама видела неподдельное возмущение заключённых, слышала их искренние выкрики и с тем большим интересом выслушала перевод:

— Они единодушно протестуют против тяжёлого положения негров в Америке и просят рассмотреть этот вопрос в ООН.

Так в приятной взаимной беседе прошло минут около пятнадцати. В этот момент дежурный по коридору доложил начальнику тюрьмы, что принесли обед. Гостья попросила, не стесняясь, раздавать обед при ней. Распахнулась дверь, и хорошенькие молоденькие официантки (кажется, те самые переодетые кастелянши), внеся в судах обыкновенную куриную лапшу, стали разливать её по тарелкам. Во мгновение словно порыв первобытного инстинкта преобразил благообразных арестантов: они вспрыгнули в ботинках на свои постели, поджали колени к груди, оперлись ещё руками около ног и в этих собачьих телоположениях с оскаленными зубами зорко наблюдали за справедливостью разливки лапши. Дамы-патронессы были шокированы, но переводчик объяснил им, что таков русский национальный обычай.

Невозможно было уговорить арестантов сесть за стол и есть мельхиоровыми ложками. Они уже вытащили откуда-то свои облезлые деревянные, и едва лишь священник благословил трапезу, а официантки разнесли тарелки по постелям, предупредив, что на столе — блюдо для сбрасывания костей, — одновременно раздался страшный втягивающий звук, затем дружный хруст куриных костей — и всё, наложенное в тарелки, навсегда исчезло. Блюдо для сбрасывания костей не понадобилось.

— Может быть, они голодны? — высказала нелепое предположение встревоженная гостья. — Может быть, они хотят ещё?

— Д о б а в к и никто не хочет? — хрипло спросил генерал.

Но никто не хотел добавки, зная мудрое лагерное выражение «прокурор добавит».

Однако, тефтели с рисом эски проглотили с той же неопикуемой быстрой.

Компота же в этот день не полагалось, так как день был будний.

Убедившись в ложности инсинуаций, распускаемых злопыхателями в западном мире, миссис Рузвельт со всею свитой вышла в коридор и там сказала:

— Но как грубы их манеры и как низко развитие этих несчастных! Можно надеяться, однако, что за десять лет они приучатся здесь к культуре. У вас великолепная тюрьма!

Священник выскочил из камеры между свитой, торопясь, пока не захлопнули дверь.

Когда гости из коридора ушли, в камеру вбежал капитан в белых перчатках:

— Вста-ать!— закричал он.— Становись по два! Выходи в коридор!

И заметив, что слова его не всеми правильно поняты, он ещё подошвою сапога дополнительно разъяснял отстающим.

Только тут обнаружилось, что один хитроумный зэк буквально понял разрешение писать мемуары и, пока все спали, с утра уже накатал две главы: «Как меня пытали» и «Мои лефортовские встречи».

Мемуары были тут же отобраны, и на ретивого писателя заведено новое следственное дело — о подлой клевете на органы госбезопасности.

И снова с пощёлкиванием и позвякиванием «веду зэка» их отвели сквозь множество стальных дверей в предбанник, всё так же переливавшийся своею вечной малахитово-рубинной красотой. Там с них снято было всё, вплоть до шелкового голубого белья, и произведен был особо-тщательный обыск, во время которого у одного зэка под щекой нашли вырванную из Евангелия Нагорную проповедь. За это он тут же был бит сперва в правую, а потом в левую щеку. Ещё отобрали у них коралловые губки и «Фею сирени», в чём опять-таки заставили каждого расписаться.

Вошли два надзирателя в грязных халатах и тупыми засоренными машинками стали выстригать арестантам лобки, потом теми же машинками — щёки и темени. Наконец, в каждую ладонь влили по 20 граммов жидкого вонючего заменителя мыла и заперли всех в бане. Делать было нечего, арестанты ещё раз помылись.

Потом с каноническим грохотом отворилась выходная дверь, и они вышли в фиолетовый вестибюль. Две старые женщины, служанки ада, с громом выкатили из прожарок вагонетки, где на раскалённых крючках висели знакомые нашим героям лохмотья.

Понуро вернулись они в 72-ю камеру, где снова на клопьях щитах лежали пятьдесят их товарищей, стораая от любопытства узнать о происшедшем. Окна вновь были забиты намордниками, голубки покрашены тёмно-оливковой краской, а в углу стояла четырёхведерная параша.

И только в нише, забытый, загадочно улыбался маленький бронзовый Будда...

## 60

В то время, как рассказывалась эта новелла, Щагов, наблестив не новые, но ещё приличные хромовые сапоги, натянув подглаженное, бывшее своё парадное, обмундирование с привинченными начищенными орденами, с пришитыми нашивками ранений (увы, мода на военную форму катастрофически устаревала в Москве, и скоро предстояло Щагову вступить в нелёгкое состязание по костюмам и ботинкам) — поехал в другой конец города на Калужскую заставу, куда был зван через своего фронтового знакомого Эрика Саунькина-Голованова на торжественный вечер в семью прокурора Макарыгина.

Вечер был сегодня для молодёжи и вообще для семьи по тому поводу, что прокурор получил орден Трудового Красного Знамени. Собственно, молодёжь попадала туда довольно отдалённая, но папаша отпускал денжат. Должна была там быть и та девушка, которую Щагов назвал Наде своей невестой, но с которой ещё окончательно не было решено и надо было дожимать. Из-за того Щагов и звонил Эрику, чтобы тот устроил ему приглашение на этот вечер.

Теперь с приготовленными несколькими первыми фразами он поднимался по той самой лестнице, где Кларе всё виделась моющая женщина, и в ту квартиру, где четыре года назад, елозя на коленях в рваных ватных брюках, наступал паркет тот самый человек, у которого он только что едва не отнял жену.

Домá тоже имеют свою судьбу...

Помимо того, что надо было держать и приблизить свою наметенную невесту, главной надеждой и желанием Щагова в этот вечер было — вкусно, разнообразно и досыта поесть. Он знал, что будет приготовлено всё лучшее и расставлено в непоглотимых количествах, но по заклятью званых пиршеств гости зададутся не тем, чтобы с полным вниманием и наслаждением есть, а — забавлять друг друга, мешать, выказывая пище мнимое пренебрежение. Щагову надо было суметь, занимая свою соседку и сохраняя равномерно-любезное выражение, успевая шутить и отвечать на шутки — тем временем утолять и утолять свой желудок, иссыхающий в студенческой столовой.

Там, на вечере, он не предполагал увидеть ни одного подлинного фронтовика, своего брата по минным проходам, своего брата по гадкой мелкой усталой трусце перепаханым полем — трусце, оглушительно именуемой атакою. От своих товарищей — рассеянных, канувших и убитых на конопельных задах деревни, под стенкой сарая, на штурмовых плотиках, — он шёл один сюда, в тёплый благополучный мир — не для того, чтобы спросить: «сволочи! а где вы были?», но — примкнуть самому, но — наестся.

Да не устаревают ли он с этим делением людей: солдат — не солдат? Ведь вот уже стесняются люди носить и фронтовые ордена, которые так стоили и горели когда-то. Не будешь каждого трясти: «А где ты был?» Кто воевал, кто прятался — это теперь смешивается, уравнивается. Есть закон времени, закон забвения. Мёртвым — слава, живым — жизнь.

Щагов надавил кнопку звонка. Открыла ему Клара, как он догадался.

В тесном маленьком коридорчике уже висело в меру мужских и дамских пальто. Уже сюда достигал весь тёплый дух сборища: весёлый гул голосов, и радиолы, и позвякиванье посуды, и смешанные радостные запахи кухни.

Клара ещё не успела пригласить гостя раздеться, как зазвонил висевший тут же телефон. Клара сняла трубку, стала говорить, а левой рукой усиленно показывала Щагову, чтоб он раздевался.

— Инк?.. Здравствуй... Как? Ты ещё не выехал?.. Сейчас же!.. Инк, ну папа обидится... Да у тебя и голос вялый... Ну что ж делать, а ты через «не могу»!.. Тогда подожди, я Нару позову... Нар! — крикнула она в комнату. — Твой благоверный звонит, иди! Раздевайтесь! — (Щагов уже снял шинель.) — Снимайте галоши! — (Он пришёл без них.) — ...Слушай, он ехать не хочет.

Вея духами не нашего небосклона, в коридор вошла сестра Клары — Дотнара, жена дипломата, как предворял Щагова Голованов. Не красотой поражала она, но той вальяжностью, тем плытием по воздуху, который создал славу русского женского типа. Притом не была она толста или дородна, а просто — не пигалица, которая жмётся, вертится и подбирается, неуверенная в себе. Эта женщина ступала так, что равно ей принадлежали прежний и новый кусок пола под ногами, прежний и новый объём пространства, занятый её фигурой.

Она взяла трубку и стала ласково говорить с мужем. Щагову она отчасти мешала теперь пройти, но он не спешил миновать это ароматное препятствие, он рассматривал. От отсутствия грубых ложных накладных плеч, какие были у всех женщин теперь, Дотнара казалась особенно женственной: её плечи спадали в руки той линией, которую дала природа и лучше которой придумать нельзя. Ещё что-то странное было в её наряде: платье без рукавов, но зато полунакидка, отороченная мехом, — с рукавами, туготой обливающими у кистей, а выше разрезанными.

И никому из них, толпившихся на ковре в уютном коридорчике, не могло и в голову прийти, что в этой безобидной чёрной полированной трубке, в этом ничтожном разговоре о приезде на вечеринку, та-



иась та таинственная погибель, которая подстерегает нас даже в ко-  
стях мёртвого коня.

С тех пор, как сегодня днём Рубин заказал записать ещё теле-  
фонных разговоров каждого из подозреваемых, — трубка телефона в  
квартире Володина сейчас была впервые снята им самим — и в цент-  
ральном узле связи министерства госбезопасности зашуршала лента  
магнитофона с записью голоса Иннокентия Володина.

Осторожность, правда, подсказывала Иннокентию не звонить эти  
дни по телефону, но жена уехала из дому без него и оставила запис-  
ку, что обязательно надо быть вечером у тестя.

Он позвонил, чтобы не поехать.

Вчера — да разве вчера? как давно-давно-давно... — после звонка  
в посольство в нём стало накручиваться, накручиваться. Он и не  
ждал, что так разволнуется, он не предполагал, что так боится за се-  
бя. Ночью его охватила страх верного ареста — и он не знал, как дож-  
даться утра, чтобы было куда уехать из дому. Целый день он прожил  
в смятении, не понимал и не слышал тех людей, с которыми разгова-  
ривал. Досада на свой порыв и гадкий расслабляющий страх сложи-  
лись в нём — а к вечеру выродились в безразличие: будь, что будет.

Иннокентию было бы, наверно, легче, если бы этот бесконечный  
день был не воскресным, а будним. Он бы тогда на службе мог до-  
гадываться по разным признакам, продвигается или отменена его от-  
правка в Нью-Йорк, в главную квартиру ООН. Но о чём можно су-  
дить в воскресенье — покой или угроза таится в праздничной непо-  
движности дня?

Все эти минувшие сутки ему так представлялось, что его звонок  
был безрассудство, самоубийство — к тому же и не принесшее нико-  
му пользы. Да судя по этому растяпе атташе — и вообще недостой-  
ны были те, чтобы их защищать.

Ничто не показывало, что Иннокентий разгадан, но внутреннее  
предчувствие, неведомо вложенное в нас, щемило Володина, в нём  
росло предощущение беды — от него-то никуда и не хотелось ехать  
веселиться.

Он уговаривал теперь в этом жену, растягивал слова, как всегда  
делает человек, говоря о неприятном, жена настаивала, — и отчётли-  
вые «форманты» его «индивидуального речевого лада» ложились на  
узкую коричневую магнитную плёнку, чтобы к утру быть превращён-  
ными в звуковиды и мокрою лентою распростереться перед Рубиным.

Дотти не говорила в категорическом тоне, усвоенном послед-  
ние месяцы, а, тронутая ли усталым голосом мужа, очень мягко  
просила, чтоб он приехал хоть на часик.

Иннокентий уступил, что приедет.

Однако, положи трубку, он не сразу отнял руку от неё, а замер,  
ещё как бы пальцами себя на ней отпечатывая, замер, чего-то не  
досказав.

Ему стало жаль не ту жену, с которой он жил и не жил сейчас  
и которую через несколько дней собирался покинуть навсегда, — а  
ту десятиклассницу белокурую, с кудрями по плечи, которую он во-  
дил в «Метрополь» танцевать между столиками, ту девочку, с кем  
они когда-то вместе начали узнавать, что такое жизнь. Между ними  
накалялась тогда раззарчивая страсть, не признающая никаких до-  
водов, не желающая слышать об отсрочке свадьбы на год. Инстинк-  
том, руководящим нами среди обманчивых наружностей и лгущих  
нарядов, они верно угадали друг друга и не хотели упустить. Этому  
браку сопротивлялась мать Иннокентия, тогда уже больная тяжело  
(но какая мать не сопротивляется женитьбе сына?), сопротивлялся  
и прокурор (но какой отец с лёгким сердцем отдаст восемнадцати-  
летнюю престелную дочурку?). Однако, всем пришлось уступить!

Молодые люди поженились и были счастливы до такой полноты, что это вошло в поговорку среди их общих знакомых.

Их брачная жизнь началась при наилучших предзнаменованиях. Они принадлежали к тому кругу общества, где не знают, что значит ходить пешком или ездить в метро, где ещё до войны беспересадочному спальному вагону предпочитали самолёт, где даже об обстановке квартиры нет заботы: в каждом новом месте — под Москвой ли, в Тегеране, на сирийском побережье или в Швейцарии, молодых ждала обставленная дача, вилла, квартира. Взгляды на жизнь у молодожёнов совпали. Взгляд их был, что от желания до исполнения не должно быть запретов, преград. «Мы — естественные человеки, — говорила Дотнара. — Мы не притворяемся и не скрываемся: чего хотим — к тому и руку тянем!» Взгляд их был: «нам жизнь даётся только раз!» Поэтому от жизни надо было взять всё, что она могла дать, кроме пожалуй рождения ребёнка, потому что ребёнок — это идол, высасывающий соки твоего существа и не воздающий за них своею жертвой или хотя бы благодарностью.

С подобными взглядами они очень хорошо соответствовали обстановке, в которой жили, и обстановка соответствовала им. Они старались отпробовать каждый новый диковинный фрукт. Узнать вкус каждого коллекционного коньяка и отличие вин Роны от вин Корсики и ещё от всех иных вин, давимых на виноградниках Земли. Одеться в каждое платье. Оттанцевать каждый танец. Искупаться на каждом курорте. Побывать на двух актах каждого необычного спектакля. Пролистать каждую нашумевшую книжку.

И шесть лучших лет мужского и женского возраста они давали друг другу всё, чего хотел другой из них. Эти шесть лет почти все были — те самые годы, когда человечество рыдало в разлуках, умирало на фронтах и под обвалами городов, когда обезумевшие взрослые крали у детей корки хлеба. И горе мира никак не оваяло лиц Иннокентия и Дотнары.

Ведь жизнь даётся нам только раз!..

Однако, на шестом году их брачной жизни, когда приземлились бомбардировщики и умолкли пушки, когда дрогнула к росту забитая чёрной гарью зелень, и всюду люди вспомнили, что жизнь даётся нам только раз, — в эти месяцы Иннокентий над всеми материальными плодами земли, которые можно обонять, осязать, пить, есть и мять, — ощутил безвкусное отвратное пресыщение.

Он испугался этого чувства, он перебарывал его в себе, как болезнь, ждал, что пройдёт, — но оно не проходило. Главное — он не мог разобраться в этом чувстве — в чём оно? Как будто всё было доступно ему, а чего-то не было совсем. В двадцать восемь лет, ничем не больной, Иннокентий ощутил во всей своей и окружающей жизни какую-то тупую безвыходность.

И весёлые приятели его, с которыми он так прочно был дружен, стали разравливать ему, один показался не умным, другой грубым, третий — слишком занятым собой.

Но не от друзей только, а от белокурой Дотти, как давно на европейский манер он называл Дотнару, — от жены своей, с которой привык ощущать себя слитно, он теперь отделил себя и отличил.

Эта женщина, когда-то вонзившаяся в него, никогда его не пресыщавшая, чьи губы не могли ему надоесть даже в самом иссиленном расположении, — других таких губ он никогда не знал, не встречал, и потому Дотти была единственная среди всех красивых и умных, — эта женщина вдруг обнаружилась перед ним отсутствием тонкости и невыносимостью суждений.

Особенно о литературе, о живописи, о театре замечания её все теперь оказывались невпопад, драли ухо своей грубостью, непониманием — а произносились при этом так уверенно. Только молчать с ней оставалось по-прежнему хорошо, а говорить — всё трудней.

Их устоявшаяся шикарная жизнь стала стеснять Иннокентия, но Дотти и слышать не хотела что-нибудь изменять. Больше того, если раньше она проходила сквозь вещи и без жалости покидала одни для других, лучших, — то теперь в ней возникла ненасыть удерживать в своём постоянном обладании все вещи на всех квартирах. Два года в Париже Дотти использовала для того, чтоб отправлять в Москву большие картонки с отрезами, туфлями, платьями, шляпами. Иннокентию было это неприятно, он говорил ей — но чем явнее расходились их намерения, тем категоричнее она была убеждена в своей правоте. Появилась ли в ней теперь? — или была, да он не замечал? — манера неприятно жевать, даже чавкать, особенно, когда она ела фрукты.

Но не в друзьях, конечно, было дело и не в жене, а в самом Иннокентии. Ему не хватало чего-то, а чего — он не знал.

Давно за Иннокентием утвердилось звание эпикурейца — так называли его, и он принимал это охотно, хотя сам толком не знал, что это такое. И вот однажды в Москве, дома, по безделью, пришла ему в голову такая насмешливая мысль — почитать, а что, собственно, проповедовал *учитель*? И он стал искать в шкафах, оставшихся от умершей матери, книгу об Эпикуре, которая, помнилось ему с детства, там была.

Самую эту работу — разборку старых шкафов, Иннокентий начал с отвратительным ощущением скованности в движениях, лени к тому, что надо было наклоняться, переключивать тяжести, дышать пылью. Он не привык даже и к такому труду и очень утомился. Но всё же совладал с собой — и обновляющим ветерком потянуло на него из глубины этих старых шкафов с их особенным устоявшимся запахом. Нашёл он между прочим и книгу об Эпикуре и позже как-то прочёл её, но не в ней обнаружил для себя главное, а в письмах и жизни своей покойной матери, которой он никогда не понимал, да и привязан был только в детстве. Даже смерть её он перенёс почти равнодушно.

С детскими ранними годами, с посеребрёнными горнами, взброшенными к лепному потолку, со «Взвейтесь кострами, синие ночи!» слышлось у Иннокентия первое представление об отце. Самого отца Иннокентий не помнил, тот погиб в двадцать первом году в Тамбовской губернии при подавлении мятежа, но все вокруг не уставали говорить сыну об отце — о знаменитом герое, прославленном в гражданскую войну матросском военачальнике. Ото всех и везде слыша эти похвалы, Иннокентий и сам привык очень гордиться отцом, его борьбой за простой народ против богатеёв, погрязших в роскоши. Зато к вечно озабоченной, о чём-то грустящей, всегда обложенной книжками и грелками матери он относился почти свысока и, как это обычно для сыновей, не задумывался о том, что у матери не только был он, его детство и его надобности, но и ещё какая-то своя жизнь; что вот она страдает от болезней; что вот она скончалась в сорок семь лет.

Родителям его почти не пришлось жить вместе. Но мальчишке и об этом не было повода задуматься, не приходило в голову расспросить мать.

А теперь это всё разворачивалось перед ним из писем и дневников матери. Их женитьба была не женитьба, а что-то вихреподобное, как всё в те годы. Грубо и коротко их столкнули внезапные обстоятельства, и обстоятельства же мало давали им видиться, и обстоятельства же развели. А мать из этих дневников оказалась не просто дополнением к отцу, как привык сын, но — отдельным миром. И узнавал теперь Иннокентий, что мать всю жизнь любила другого человека, так и не сумев никогда с ним соединиться. Что может быть только из-за карьеры сына она до смерти носила чужое ей имя.

Перевязанные разноцветными тесёмками из нежных тканей, в шкафах хранились связки писем от подруг матери, от друзей, знакомых, артистов, художников и поэтов, чьи имена были теперь вовсе забыты или вспоминались ругательно. В старинных тетрадах с синими сафьяновыми обложками шли по-русски и по-французски дневниковые записи странным маминим почерком — как будто раненая птичка металась по листу бумаги и неверно процарапывала свой причудливый след коготком. По многу страниц занимали воспоминания о литературных вечерах, о драматических спектаклях. Брало за сердце описание, как мать восторженной девушкой в толпе таких же плачущих от радости почитателей встречала белой июньской ночью на петербургском вокзале труппу Художественного театра. Бескорыстное искусство ликовало с этих страниц. Сейчас не знал Иннокентий такой театральной труппы, да нельзя себе было и представить, чтобы, встречая её, кто-то не спал бы ночь, кроме тех, кого погонит Отдел Культуры, выписав через бухгалтерию букеты. И уж конечно никому не придёт в голову плакать при встрече.

А дневники вели его дальше и дальше. Были такие странички: «Этические записи».

«Жалость — первое движение доброй души», — говорилось там.

Иннокентий морщил лоб. Жалость? Это чувство постыдное и унижительное для того, кто жалеет, и для того, кого жалеют, — так вынес он из школы, из жизни.

«Никогда не считай себя правым больше, чем других. Уважай чужие, даже враждебные тебе мнения».

Довольно старомодно было и это. Если я обладаю правильным мировоззрением, то разве можно уважать тех, кто спорит со мной?

Сыну казалось, что он не читает, а ясно слышит, как мать говорит, её ломкий голос:

«Что дороже всего в мире? Оказывается: сознавать, что ты не участвуешь в несправедливостях. Они сильнее тебя, они были и будут, но пусть — не через тебя».

Шесть лет назад Иннокентий если б и открыл дневники, — даже не заметил бы этих строк. А сейчас он читал их медленно и удивлялся. Ничего в них не было как будто уж сокровенного, и даже прямо неверное было — а он удивлялся. Старомодны были и самые слова, которыми выражались мама и её подруги. Они всерьёз писали с больших букв: Истина, Добро и Красота; Добро и Зло; этический императив. В языке, которым пользовался Иннокентий и окружающие его, слова были конкретней и понятней: идейность, гуманность, преданность, целеустремлённость.

Но хотя Иннокентий был безусловно идеен, и гуманен, и предан, целеустремлён (целеустремлённость больше всего ценили в себе и воспитывали все его сверстники), а сидя на низкой скамеечке у этих шкафов, он почувствовал, как подступает что-то из нехватавшего ему.

И фотоальбомы были тут, с чёткой ясностью старинных фотографий. И несколько отдельных пачек составляли театральные программки Петербурга и Москвы. И ежедневная театральная газета «Зритель». И «Вестник кинематографии» — как? это уже всё было в то время? И стопы, стопы разнообразных журналов, от одних названий пестрило в глазах: «Аполлон», «Золотое Руно», «Гиперборей», «Пегас», «Мир искусства». Репродукции неведомых картин, скульптур (и духа их не было в Третьяковке!), театральные декораций. Стихи неведомых поэтов. Бесчисленные книжечки журнальных приложений — с десятками имён европейских писателей, никогда не слышанных Иннокентием. Да что писателей! — здесь были целые издательства, никому не известные, как провалившиеся в тартарары: «Гриф», «Шиповник», «Скорпион», «Мусaget», «Альциона», «Сирин», «Слохохи», «Логос».

Несколько суток просидел он так на скамеечке у распахнутых шкафов, дыша, дыша и отравляясь этим воздухом, этим маминым мирком, в который когда-то отец его, опоясанный гранатами, в чёрном дождевике, вошёл по ордеру ЧК на обыск.

В пестроте течений, в столкновении идей, в свободе фантазии и тревоге предчувствий глянула на Иннокентия с этих желтеющих страниц Россия Десятих годов, последнего предреволюционного десятилетия, которое Иннокентия в школе и в институте приучили считать самым позорным, самым бездарным во всей истории России — таким безнадёжным, что не протяни большевики руку помощи — и Россия сама собой сгнила бы и развалилась.

Да оно и было слишком говорливо, это десятилетие, отчасти слишком самоуверенно, отчасти слишком немощно. Но какое разбрасывание стеблей! но какое расколосье мыслей!

Иннокентий понял, что был обокраден до сих пор.

А Дотнара пришла звать мужа на какой-то прикремлёвский вечер. Иннокентий посмотрел на неё бессмысленно, потом собрал лоб, вообразил себе это напыщенное сборище, где все будут друг с другом совершенно согласны, где все проворно встанут на ноги для первого тоста за товарища Сталина, а потом будут много есть и пить уже без товарища Сталина, а потом играть в карты глупо, глупо.

Из невнятной дали он вернулся к жене глазами — и попросил её ехать одну. Дотнаре дико показалось, что живой жизни званого вечера можно предпочесть ковыряние в старых альбомах. Связанные со смутными, но никогда не умирающими воспоминаниями детства, все эти находки в шкафах много говорили душе Иннокентия и ничего — его жене.

Мать добилась своего: встав из гроба, она отняла сына у невестки.

Стронувшись раз, Иннокентий уже не мог остановиться. Если его обманули в одном — то, может, и ещё в чём-нибудь? и ещё?

За последние годы разленившийся, отохотившийся учиться (лёгкость во французском, который вёз его карьеру, он приобрёл ещё в младенчестве от матери), Иннокентий теперь набросился на чтение. Все пресыщенные и притупленные страсти заменились в нём одною: читать! читать!

Но оказалось, что и читать — это тоже умение, это не просто бегать глазами по строчкам. Иннокентий открыл, что он — дикарь, выросший в пещерах обществоведения, в шкурах классовой борьбы. Всем своим образованием он приучен был одним книгам верить, не проверяя, другие отвергать, не читая. Он с юности был ограждён от книг неправильных и читал только заведомо правильные, оттого укоренилась в нём привычка: верить каждому слову, вполне отдаваться на волю автора. Теперь же, читая авторов противоречащих, он долго не мог восстать, не мог не поддаваться сперва одному автору, потом другому, потом третьему. Трудней всего было научиться — отложивши книгу, размыслить самому.

...Почему даже выпала из советских календарей как незначительная подробность Семнадцатого года эта революция, её и революцией стесняются называть — Февральская? Лишь потому, что не работала гильотина? Свалился царь, свалился шестисотлетний режим от единого толчка — и никто не бросился поднимать корону, и все пели, смеялись, поздравляли друг друга — и этому дню нет места в календаре, где тщательно размечены дни рождения жирных свиней Жданова и Щербакова?

Напротив, вознесён в величайшую революцию человечества — Октябрь, ещё в двадцатые годы во всех наших книгах называемый *переворотом*. Однако, в октябре Семнадцатого в чём были обвинены Каменев и Зиновьев? В том, что они предали буржуазии *тайну революции!* Но разве извержение вулкана остановишь, увидевши в кра-

тере? разве перегородишь ураган, получив сводку погоды? Можно выдать тайну? только узкого заговора! Именно стихийности всенародной вспышки не было в Октябре, а собрались заговорщики по сигналу...

Тут вскоре назначили Иннокентия в Париж. Ко всем оттенкам мировых мнений и ко всей эмигрантской русской литературе у него здесь был доступ (только всё же оглядываясь около книжных киосков). Он мог читать, читать и читать! — если б не надобно было прежде того служить.

Свою службу, свою работу, которую он до сих пор считал наилучшим, наиудачным жизненным жребием, — он впервые ощутил как нечто гадкое.

Служить советским дипломатом — это значило не только каждый день декламировать убогие вещи, над которыми смеялись люди со здоровым мозгом, это значило ещё иметь те две грудные стенки и два лба, о которых он сказал Кларе. Главная-го работа была вторая, тайная: встречи с зашифрованными личностями, сбор сведений, передача инструкций и выплата денег.

В весёлой молодости, до своего кризиса, Иннокентий не находил эту заднюю деятельность предосудительной, а даже — забавной, легко её выполнял. Теперь она стала ему — против души, постылой.

Раньше истина Иннокентия была, что жизнь даётся нам только раз.

Теперь созревшим новым чувством он ощутил в себе и в мире новый закон: что и советь тоже даётся нам один только раз.

И как жизни отданной не вернуть, так и испорченной совести. Но не было, не было вокруг Иннокентия. кому он мог бы всё издуманное рассказать, ни даже жене. Как не поняла и не разделила она его вернувшейся нежности к умершей матери, так не понимала дальше, зачем можно интересоваться событиями, которые, пройдя однажды, уже не вернуться больше. А что он стал презирать свою службу — это в ужас бы её привело, ведь именно на этой службе была основана вся их сверкающая успешливая жизнь.

Отчуждённость с женою дошла в прошлом году до того угла, когда открывать себя становилось уже опасно.

Но и в Союзе, в отпуске, тоже не было близких у Иннокентия. Тронутый наивным рассказом Клары о поломойке на лестнице, он порывом понадеялся, что может быть хоть с нею будет хорошо говорить. Однако, с первых же фраз и шагов той прогулки, Иннокентий увидел, что — невозможно, непродёрные заросли, слишком многое расплетать, разрывать. И даже к тому, что вполне естественно, что сблизило бы их — сестре жены пожаловаться на жену, — он почему-то не расположился.

Вот почему. Тут ещё обнаружился странный закон: бесплодно пытаться развивать понимание с женщиной, если она тебе не нравится телесно — почему-то замыкаются уста, охватывает бессилие всё просказать, проговорить, не находятся самые открытые откровенные слова.

А к дяде он в тот раз так и не поехал, не собрался, да и что? — одна потеря времени. Будут пустые надоедливые расспросы о загранице, аханье.

Прошёл ещё год — в Париже и в Риме. В Рим он устроился ехать без жены, она была в Москве. Зато вернувшись, узнал, что уже делил её с одним офицером генштаба. С упрямой убеждённостью она и не отрекалась, а всю вину перекладывала на Иннокентия: зачем он оставлял её одну?

Но не ощутил он боли потери, скорей — облегчение. С тех пор четыре месяца он служил в министерстве, всё время в Москве, но жили они как чужие. Однако о разводе не могло быть речи — развод

губителен для дипломата. Иннокентия же предполагалось переводить в сотрудники ООН, в Нью-Йорк.

Новое назначение нравилось ему — и пугало. Иннокентий полюбил идею ООН — не устав, а какой она могла бы быть при всеобщем компромиссе и доброжелательной критике. Он вполне был и за мировое правительство. Да что другое могло спасти планету?.. Но так шли в ООН шведы, или бирманцы, или эфиопы. А его толкал в спину железный кулак — не для того. Его и туда толкали с тайным заданием, задней мыслью, второй памятью, ядовитой внутренней инструкцией.

В эти московские месяцы нашлось время и поехать к дяде в Тверь.

## 61

Не случайно не было квартиры на адресе, чему удивлялся Иннокентий, — искать не пришлось. Это оказался в мощёном переулке без деревьев и палисадников одноэтажный кривенький деревянный дом среди других подобных. Что не так ветхо, что здесь открывается — калитка при воротах или скособоченная, с узорными филёнками, дверь дома — не сразу мог Иннокентий понять, стучал туда и сюда. Но не открывали и не отзывались. Потряс калитку — заколочено, толкнул дверь — не поддавалась. И никто не выходил.

Убогий вид дома ещё раз убеждал его, что зря он приехал.

Он обернулся, ища, кого бы спросить в переулке — но весь квартал в полуденном солнце в обе стороны был пустынен. Впрочем, из-за угла с двумя полными вёдрами вышел старик. Он нёс напряжённо, однажды приспоткнулся, но не останавливался. Одно плечо у него было приподнято.

Вслед за своей тенью, наискосок, как раз он сюда и шёл и тоже глянул на посетителя, но тут же под ноги. Иннокентий шагнул от чемодана, ещё шагнул:

— Дядя Авенир?

Не столько нагнувшись спиной, сколько присев ногами, дядя аккуратно, без проплеска, поставил вёдра. Распрямился. Снял блин желто-грязной кепчёнки со стриженной седой головы, тем же кулаком вытер пот. Хотел — сказать, не сказал, развёл руки, и вот уже Иннокентий, склоняясь (дядя на полголовы ниже), уколол свою гладкую щеку о дядины запущенные бородку и усы, а ладонью попал как раз на угловато-выпершую лопатку, из-за которой и плечо было кривое.

Обе руки на отстоянии дядя положил снизу вверх на плечи Иннокентию и рассматривал.

Он собирался торжественно.

А сказал:

— Ты... что-то худенек...

— Да и ты...

Он не только худ, он был, конечно, со многими немочами и недомогами, но сколько видно было за солнцем, глаза дядины не покрылись старческим туском и отрешённостью. Он усмехнулся, больше правой стороной губ:

— Я-то!.. У меня банкетов не бывает... А ты — почему?

Иннокентий порадовался, что по совету Клары купил колбас и копчёной рыбы, чего в Твери не должно быть ни за что. Вдохнул:

— Беспокойства, дядя...

Дядя разглядывал глазами живыми, хранящими силу:

— Смотря — от чего. А то так — и ничего.

— И далеко воду носишь?

— Квартал, квартал, ещё половинка. Да небольшие.

Иннокентий нагнулся донести вёдра, оказались тяжёлые, будто донья из чугуна.

— Хе-е-е...— шёл дядя сзади,— из тебя работничек! Непривычка...

Обогнал, отпер дверь. В коридорце, подхватывая за дужки, помог ведрам на лавку. А щегольский синий чемодан опустился на косою пол из шатких несогнанных половиц. Тут же заложена была дверь засовом, как будто дядя ждал, что ворвутся.

Были в коридорце низкий потолок, скудное окошко к воротам, две чуланных двери да две человеческих. Иннокентию стало тоскливо. Он никогда так не попадал. Он досадовал, что приехал, и подыскивал, как бы соврать, чтобы здесь не ночевать, к вечеру уехать.

И дальше, в комнаты и между комнатами, все двери были косые, одни обложены войлоком, другие двустворчатые, со старинной фигурной строжкой. В дверях во всех надо было кланяться, да и мимо потолочных ламп голову обводить. В трёх небольших комнатках, все на улицу, воздух был нелёгкий, потому что вторые рамы окон навечно вставлены с ватой, стаканчиками и цветной бумагой, а открывались лишь форточки, но и в них шевелилась нарезанная газетная лапша: постоянное движение этих частых свисающих полосок пугало мух.

В такой перекошенной придавленной старой постройке с малым светом и малым воздухом, где из мебели ни предмет не стоял ровно, в такой унылой бедности Иннокентий никогда не бывал, только в книгах читал. Не все стены были даже белены, иные окрашены темноватой краской по дереву, а «коврами» были старые пожелтевшие пропыленные газеты, во много слоёв зачем-то навешенные повсюду: ими закрывались стёкла шкафов и ниша буфета, верхи окон, запечья. Иннокентий попал как в западню. Сегодня же уехать!

А дядя, нисколько не стыдясь, но даже чуть ли не с гордостью водил его и показывал угодыя: домашнюю выгребную уборную, летнюю и зимнюю, ручной умывальник и как улавливается дождевая вода. Уж тем более не пропадали тут очистки овощей.

Ещё какая придёт жена! И что за бельё у них на постелях, можно заранее вообразить!

А с другой стороны это был родной мамин брат, он знал жизнь мамы с детства, это был вообще единственный кровный родственник Иннокентия — и сорваться сейчас же, значит недоузнать, недодумать даже о себе.

Да самого-то дяди простота и правобокая усмешка располагали Иннокентия. С первых же слов что-то почувствовалось в нём больше, чем было в двух коротких письмах.

В годы всеобщего недоверия и проданности кровное родство даёт уже ту первую надёжность, что этот человек не подослан, не приставлен, что путь его к тебе — естественный. Со светлыми разумниками не скажешь того, что с кровным родственником, хоть и тёмным.

Дядя был не то, что худ, но — сух, только то и оставалось на его костях, безо чего никак нельзя. Однако такие-то и живут долго.

— Тебе точно сколько ж лет, дядя?

(Иннокентий и неточно не знал.)

Дядя посмотрел пристально и ответил загадочно:

— Я — ровесничек.

И всё смотрел, не отрываясь.

— Кому?

— Са-мо-му.

И смотрел.

Иннокентий со свободю улыбнулся, это-то было для него пройденное: даже в годы восторгов кряду всем, Сам оскорблял его вкус дурным тоном, дурными речами, наглядной тупостью.

И не встретив почтительного недоумения или благородного запрета, дядя посветлел, хмыкнул шутливо:



— Согласись, нескромно мне первому умирать. Хочу на второе место потесниться.

Засмеялись. Так первая искра открыто пробежала между ними. Дальше уже было легче.

Одет дядя был ужасно: рубаха под пиджаком непоказуемая; у пиджака облохмачены, обшиты и снова обтёрты воротник, лацканы, обшлага; на брюках больше латок, чем главного материала, и цвета различались — просто серый, клетчатый и в полоску; ботинки столько раз чинены, наставлены и нашиты, что стали топталами колодника. Впрочем, дядя объяснил, что этот костюм — его рабочий, и дальше водяной колонки и хлебного магазина он так не выходит. Впрочем, и переодеться он не спешил.

Не задерживаясь в комнатах, дядя повёл Иннокентия смотреть двор. Стояло очень тепло, безоблачно, безветрено.

Двор был метров тридцать на десять, но зато весь целиком дядин. Плохонькие сарайчики да заборцы со щелями отделяли его от соседей, но — отделяли. В этом дворе было место и мощёной площадке, мощёной дорожке, резервуару дождевой, корытному месту, и дровяному, и летней печке, было место и саду. Дядя вёл и знакомил с каждым стволом и корнем, кого Иннокентий по одним листьям, уже без цветов и плодов, не узнал бы. Тут был куст китайской розы, куст жасмина, куст сирени, затем клумба с настурциями, маками и астрами. Были два раскидистых пышных куста чёрной смородины, и дядя жаловался, что в этом году они обильно цвели, а почти не уродили — из-за того, что в пору опыления ударили холода. Была одна вишня и одна яблоня, с ветвями, подпёртыми от тяжести колышками. Дикие травинки были всюду вырваны, а каким полагалось — те росли. Тут много было ползано на коленях и работано пальцами, чего Иннокентий и оценить не мог. Всё же он понял:

— А тяжело тебе, дядя! Это сколько ж нагибаться, копать, таскать?

— Этого я не боюсь, Иннокентий. Воду таскать, дрова колоть, в земле копаться, если в меру — нормальная человеческая жизнь. Скорей удушишься в этих пятиэтажных клетках в одной квартире с передовым классом.

— С кем это?

— С пролетариатом.— Ещё раз проверяюще примерился старик.— Кто домино как гвозди бьёт, радио не выключает от гимна до гимна. Пять часов пятьдесят минут остаётся спать. Бутылки бьют прохожим под ноги, мусор высыпают вон посреди улицы. Почему они — передовой класс, ты задумывался?

— Да-а-а,— покачал Иннокентий.— Почему передовой — этого и я никогда не понимал.

— Самый дикий! — сердился дядя.— Крестьяне с землёй, с природой общаются, оттуда нравственное берут. Интеллигенты — с высшей работой мысли. А эти — всю жизнь в мёртвых стенах мёртвыми станками мёртвые вещи делают — откуда им что придёт?

Шли дальше, приседали, разглядывали.

— Это — не тяжело. Здесь все работы мне — по совести. Помои выливаю — по совести. Пол скребу — по совести. Золу выгребать, печку топить — ничего дурного нет. Вот на службах — на службах так не поживёшь. Там надо гнущься, подличать. Я отовсюду отступал. Не говорю учителем — библиотекарем, и то не мог.

— А что так трудно библиотекарем?

— Пойди попробуй. Хорошие книги надо ругать, дурные хвалить. Незрелые мозги обманывать. А какую ты назовёшь работу по совести?

Иннокентий просто не знал никаких вообще работ. Его единственная — была против.

А дом этот — Раисы Тимофеевны, давно уже. И работает — только Раиса Тимофеевна, она медсестра. У неё взрослые дети, они отделились. Она дядю подобрала, когда ему было очень худо — и душевно, и телесно, и в нищете. Она его выходила, и он ей всегда благодарен. Она работает на двух ставках. Нисколько дяде не обидно готовить, мыть посуду и все женские домашние работы. Это — не тяжело.

За кустами, у самого забора, как полагается настоящему саду, была врыта укромная скамья, дядя с племянником сели.

Это не тяжело, вёл и вёл своё дядя с упрямством яснорассудочной старости. Это — естественно, жить не на асфальте, а на клочке земли, доступном лопате, пусть весь клочок — три лопаты на две. Он уже десять лет так живёт, и рад, и лучшего жребия ему не надо. Какие б заборы ни хилые, ни щелястые — а это крепость, оборона. Снаружи входит только вредное — или радио, или повестка о налоге, или распоряжение о повинностях. Каждый чужой стук в дверь — всегда неприятность, с приятным ещё не приходили.

Это не тяжело. Есть тяжелее гораздо.

Что же?

В своём перелатанном, в кепчёнке-блине, дядя с выдержкой и с последним ещё недоверием косился на Иннокентия. Ни за два часа, ни за два года нельзя было достигнуть до того с чужим. Но этот мальчик уже кое-что понимал, и свой был, и — вытрани, вытрани, мальчик!

— Тяжелей всего, — завершил дядя с нагоревшим, накалённым чувством, — вывешивать флаг по праздникам. Домовладельцы должны вывешивать флаг. — (Дальше всё будет открыто или всё закрыто!) — Принудительная верность правительству, которое ты, может быть... не уважаешь.

Вот тут и имей глаза! — безумец или мудрец заикается перед тобой в затёрханном истощённом обличьи. Когда он откормлен, в академической мантии и говорить не торопится — тогда все соглаются, что мудрец.

Иннокентий не откинулся, не пустился возражать. Но всё же дядя вильнул за проверенную широкую спину:

— Ты — Герцена сколько-нибудь читал? По-настоящему?

— Да что-то... вообще... да.

— Герцен спрашивает, — набросился дядя, наклонился со своим косым плечом (ещё в молодости позвоночник искривил над книгами), — где границы патриотизма? Почему любовь к родине надо распространять и на всякое её правительство? Пособяять ему и дальше губить народ?

Просто и сильно. Иннокентий переспросил, повторил:

— Почему любовь к родине надо распро...?

Но это уже было у другого забора, там дядя оглядывался на щели, соседи могут подслушать.

Хорошо они стали с дядей говорить, Иннокентий уже и в комнатах не задыхался, и не собирался уезжать. Странно, шли часы — и незаметно, и всё интересно. Дядя даже бегал живо — в кухню и назад, в кухню и назад. Вспоминали и маму, и старые карточки смотрели, и дядя дарил. Но он был намного старше мамы, и общей юности не было у них.

Пришла с работы Раиса Тимофеевна, крутая женщина лет пятидесяти, неприветливо поздоровалась. Иннокентию передалось замешательство дяди, и он тоже ощутил странную робость, что она сейчас всё развалит им. За стол под тёмной клеёнкой сели не то обедать, не то ужинать. Непонятно, что б они тут ели, если б Иннокентий не привёз полчемодана с собой и ещё не отрядил бы дядю за водкой. Своих подрезали они помидоров только. Да картошку.

Но щедрость родственника и редкостная еда вызвали радость в глазах Райсы Тимофеевны и избавили Иннокентия от ощущения вины — своих неприездов раньше, своего приезда теперь. Выпили по рюмочке, по другой. Райса Тимофеевна стала высказывать обиду, как неправильно живёт её непутёвый: не только не может ужиться нигде в учреждении из-за своего плохого характера, но ладно бы, хоть бы дома спокойно сидел! Нет, его тянет последние двугривенные нести покупать какие-то газеты, а то «Новое время», а оно дорогое — и газеты ведь не для удовольствия, а бесится над ними, потом ночами сидит, строчит ответы на статьи, но и в редакции их не посылает, а через несколько дней даже и сжигает, потому что и хранить их немислимо. Этим пустописательством у него поддня занято. Ещё ходит слушать заезжих лекторов по международному положению — и каждый раз страх, что домой не вернётся, что подымется и задаст вопрос. Но нет, не задаёт, ворочается цел.

Дядя почти не возражал молодой жене, посмеивался виновато. Но и надежды на исправление не подавала его правобокая усмешка. Да Райса Тимофеевна будто и жалилась не всерьёз, отчаялась давно. И двугривенных последних не лишала.

Темноватый, с неукрашенными стенами, голый и скупой дом их стал уютней, когда закрыли ставни — успокоительное отделение от мира, потерянное нашим веком. Каждая ставня прижималась железной полосой, а от неё болт через прорезь просовывался в дом, и здесь его проушина заклинивалась костыльком. Не от воров это надобилось им, тут бы и через распахнутые окна нечем поживиться, но при запертых болтах размягчалась настороженность души. Да им бы нельзя иначе: тротуарная тропка шла у самых окон, и прохожие как в комнату входили всякий раз своим топотом, говором и руганью.

Райса Тимофеевна рано ушла спать, а дядя в средней комнате, тихо двигаясь и тихо говоря (слышал он тоже безущербно), открыл племяннику ещё одну свою тайну: эти жёлтые газеты, во много слоёв навешенные будто от солнца или от пыли, — это был способ некриминального хранения самых интересных старых сообщений. «А почему вы именно эту газету храните, гражданин?» — «А я её не храню, какая попалась!» Нельзя было ставить пометок, но дядя на память знал, что в каждой искать. И удобной стороной они были повешены, чтобы каждый раз не разнимать пачку.

Ставши на два стула рядом, дядя в очках, они над печкой прочли в газете 1940 года у Сталина: «Я знаю, как германский народ любит своего фюрера, поэтому я поднимаю тост за его здоровье!» А в газете 1924 года на окне Сталин защищал «верных ленинцев Каменева и Зиновьева» от обвинений в саботаже октябрьского переворота.

Иннокентий увлёкся, втянулся в эту охоту, и даже при слабой сорокаваттной лампочке они бы долго ещё лазали и шелестели, разбирая выблекшие полустёртые строчки, но по укорному кашлю жены за стеной дядя смешался и сказал:

— Ещё завтра день будет, ты ж не уедешь? А сейчас тушить надо, нагорает много. И скажи, почему так дорого за электричество берут? Сколько ни строим электростанций — не дешевет.

Погасили. Но спать не хотелось. И в третьей маленькой комнатке, где Иннокентию было постлано, а дядя сел к нему на постель, они шёпотом ещё часа два проговорили с захваченностью влюблённых, которым не нужно освещения для воркотни.

— Только обманом, только обманом! — настаивал дядя. В темноте его голос без дребезга ничем не выявлял старика. — Никакое правительство, ответственное за свои слова... «Мир народам, штык в землю!» — а через год уже «Губдезертир» ловил мужичков по лесам да расстреливал напоказ! Царь так не делал... «Рабочий контроль над производством» — а где ты хоть месяц видел рабочий контроль? Сра-

зу всё зажал государственный центр. Да если б в семнадцатом году сказали, что будут нормы выработки и каждый год увеличиваться — кто б тогда за ними пошёл? «Конец тайной дипломатии, тайных назначений» — и сразу гриф «секретно» и «совсекретно». Да в какой стране, когда знал народ о правительстве меньше, чем у нас?

В темноте особенно легко перепрыгивались десятилетия и предметы, и вот уже толковал дядя, что всю войну 41-го года во всех областных городах простояли крупные гарнизоны НКВД, не шевелимые на фронт. А царь всю гвардию перемолол, внутренних войск против революции не имел. А бестолковое Временное и вовсе никакими войсками не владело.

И — ещё об этой последней, советско-германской. Как ты её понимаешь?

Легко говорилось! Иннокентий как привычное свободно формулировал такое, до чего без диалога никогда не доходила надобность:

— Я так понимаю: трагическая война. Мы родину отстаивали — и мы её потеряли. Она окончательна стала вотчиной Усача.

— Мы уложили, конечно, не семь миллионов! — торопился и дядя. — И для чего? Чтобы крепче затянуть на себе петлю. Самая несчастная война в русской истории...

И опять — о Втором съезде советов: он был от трёхсот совдепов из девяти сот, он не был полномочен и никак не мог утверждать Совнарком.

— Да что ты говоришь?..

Уже по два раза «спокойной ночи» сказали, и дядя спрашивал, оставить ли дверь открытой, душновато, — но тут про атомную бомбу почему-то всплыло, и он вернулся, шептал яро:

— Ни за что сами не сделают!

— Могут и сделать, — чмокал Иннокентий. — Я даже слышал, что на днях будет испытание первой бомбы.

— Брехня! — уверенно говорил дядя. — Объявят, а — кто проверит?.. Такой промышленности у них нет, двадцать лет делать надо.

Уходил и ещё возвращался:

— Но если сделают — пропали мы, Инок. Никогда нам свободы не видать.

Иннокентий лежал навзничь, глотал глазами густую темноту.

— Да, это будет страшно... У них она не залежится... А без бомбы они на войну не смеют.

— Но и никакая война — не выход, — возвращался дядя. — Война — гибель. Война страшна не продвижением войск, не пожарами, не бомбёжками — война прежде всего страшна тем, что отдаёт всё мыслящее в законную власть тупоумия... Да впрочем, у нас и без войны так. Ну, спи.

Домашние дела не терпят небрежения: на завтра к своим чередным добавились обойденные сегодня. Утром, уходя на рынок, дядя снял две газетных пачки, и Иннокентий, уже зная, что вечером не считаешь, спешил посмотреть их при дневном свете. Высушенные пропыленные листы неприятно осызались, противный налёт оставался на подушечках пальцев. Сперва он их мыл, оттирал, потом перестал замечать налёт, как перестал замечать все недостатки дома, кривые полы, малый свет оконок и дядину обтрёпанность. Чем давнее год, тем дивнее было читать. Он уже знал, что и сегодня не уедет.

Поздно к вечеру опять пообедали втроем, дядя пободрил, повеселел, вспоминал студенческие годы, философский факультет и весёлое шумное студенческое революционерство, когда не было места интереснее тюрьмы. А к партии он никогда не примкнул ни к какой, видя во всякой партийной программе насилие над волей человека и не признавая за партийными вождями пророческого превосходства над человечеством.

Вперебой его воспоминаниям Раиса Тимофеевна рассказывала про свою больницу, про всеобщую огрызливую ожесточённую жизнь.

Снова закрыли ставни и заложили болты. Теперь дядя открыл сундук в чулане и оттуда, при керосиновой лампе — сюда проводки не было, вынимал пронафталиненные тёплые вещи и просто тряпье. И, подняв лампу, показал племяннику своё сокровище на дне: крашеное гладкое дно устилала «Правда» второго дня октябрьского переворота. Шапка была: «Товарищи! Вы своею кровью обеспечили созыв в срок хозяина земли Русской — Учредительного Собрания!»

— Ведь голосования ещё не было тогда, понимаешь? Ещё не знали, как мало их выберут.

Снова долго, аккуратно укладывал сундук.

На Учредительном Собрании скрестились судьбы родственников Иннокентия: отец его Артём был среди главных сухопутных матросов, разогнавших поганую *учредилку*, а дядя Авенир — манифестант в поддержку заветного Учредительного.

Та манифестация, где шагал дядя, собиралась у Троицкого моста. Стоял мягкий пасмурный зимний день без ветра и снегопада, так что у многих раскрыты были груди из-под шуб. Очень много студентов, гимназистов, барышень. Почтовики, телеграфисты, чиновники. И просто отдельные разные люди, как дядя. Флаги — красные, флаги социалистов и революции, один-два кадетских бело-зелёных. А другая манифестация, от заводов Невской стороны — та вся социал-демократическая и тоже под красными флагами.

Этот рассказ опять пришёлся на позднее вечернее время, снова в темноте, чтобы не раздражать Раису Тимофеевну. Дом был закрыт и тревожно тёмно, как все дома России в глухое потерянное время раздоров и убийств, когда прислушивались к уличным грозным шагам и выглядывали в щёлки ставен, если была луна.

Но сейчас не было луны, и уличный фонарь неблизко, и ставенные доски сплочены — и такое месиво темноты внутри, что только через распахнутую дверь слабый боковой из коридора отсвет дворового незагороженного окна позволял отличить от ночи не контуры дядиной головы, а иногда лишь её движения. Не поддержанный блистаньем глаз, ни мукой лицевых складок, тем безвозрастней и убеждёней внедрялся дядин голос:

— Мы шли невесело, молча, не пели песен. Мы понимали важность дня, но если хочешь даже и не понимали: что это будет единственный день единственного русского свободного парламента — на пятьсот лет назад, на сто лет вперёд. И кому ж этот парламент был нужен? — сколько нас изо всей России набралось? Тысяч пять... Стали по нас стрелять — из подворотен, с крыш, там уже и с тротуаров — и не в воздух стрелять, а прямо в открытые груди... С упавшим выходило двое-трое, остальные шли... От нас никто не отвечал, и револьвера ни у кого не было... До Таврического нас и не допустили, там густо было матросов и латышских стрелков. Латыши выправляли нашу судьбу, что с Латвией будет — они не догадывались... На Литейном красногвардейцы перегородили дорогу: «Расходитесь! На панель!» И стали пачками стрелять. Одно красное знамя красногвардейцы вырвали... ещё тебе о тех красногвардейцах бы рассказать... древко сломали, знамя топтали... Кто-то рассеялся, кто-то бежал назад. Так ещё в спину стреляли и убивали. Как легко этим красногвардейцам стрелялось — по мирным людям и в спину, ты подумай — ведь ещё никакой гражданской войны не было! А нравы — уже были готовы.

Дядя подышал громко.

— ...А теперь Девятое января — чёрно-красное в календаре. А о Пятом даже шептать нельзя.

Ещё подышал.

— И уже тогда этот подлый приём: демонстрацию нашу, мол,

почему расстреливали? Потому что — калединская!.. Что в нас было калединского? Внутренний противник — это не всем понятно: ходит среди нас, говорит на нашем языке, требует какой-то свободы. Надо обязательно отделить его от нас, связать его с внешним врагом — и тогда легко, хорошо в него стрелять.

И молчание в темноте — особенно ясное, нерассеянное.

Скрипя старой сеткой, Иннокентий подтянулся выше, к спинке. — А в самом Таврическом?

— Крещенская ночь? — Дядя дух перевёл. — Что в Таврическом? — охлос, толпа. Оглушу тебя трёхпалым свистом... Мат стоял громче и гуще ораторов. Прикладами грохали об пол, надо, не надо. Ведь — охрана! Кого — от чего?.. Матросики и солдаттики, половина пьяных — в буфете блевали, на диванах спали, по фойе лузгали семечки... Нет, ты стань на место какого-нибудь депутата, интеллигента, и скажи — как с этими стервами быть? Ведь даже за плечо его потрогать нельзя, ведь даже мягко нельзя ему выговорить — это будет наглая контрреволюция! оскорбление святой охлократии! Да у них пулемётные ленты крест-накрест. Да у них на поясах гранаты и маузеры. В зале заседаний Учредительного они и среди публики сидят с винтовками и в проходах стоят с винтовками — и на ораторов наводят, целятся в виде упражнения. Там про какой-то демократический мир, про национализацию земли — а на него двадцать дул наведено, мушка совмещена с прорезью прицела, убьют — дорого не возьмут и извиняться не будут, выходи следующий!.. Вот это надо понять: оратору винтовкой в рот! — в этом их суть! Такими они Россию взяли, такими всегда были, такими и помрут! В чём другом, в этом — никогда не переменятся... А Свердлов рвёт звонок у старейшего депутата, отталкивает его, не даёт открыть. Из ложи правительства Ленин посмеивается, наслаждается, а нарком Карелин, левый эсер, — так хочет!! Ума ж не хватает, что дорого — начать, через полгода и ваших передуют... Ну, а дальше сам знаешь, в кино видел... Комиссар тупенко-дубенко-Дыбенко послал закрыть ненужное заседание. С пистолетами и в лентах поднимаются матросики к председателю...

— И мой отец?!

— И твой отец. Великий герой гражданской войны. И почти в те самые дни, когда мама... уступила ему... Они очень любили лакомиться нежными барышнями из хороших домов. В этом и видели они сласть революции.

Иннокентий весь горел — лбом, ушами, щеками, шеей. Его обливал огонь как будто собственного участия в подлости.

Дядя упёрся об его колено и — ближе, ближе — спросил:

— А ты никогда не ощущал правоту этой истины: грехи родителей падают на детей?.. И от них надо отмываться?

## 62

Первая жена прокурора, покойница, прошедшая с мужем гражданскую войну, хорошо стрелявшая из пулемёта и жившая последними постановлениями партячейки, не только не была бы способна довести дом Макарыгина до его сегодняшнего изобилия, но не умри она при рождении Клары — трудно даже себе представить, как она бы приладилась к сложным изгибам времени.

Напротив, Алевтина Никаноровна, нынешняя жена Макарыгина, восполнила прежнюю узость семьи, напоила соками прежнюю сухость. Алевтина Никаноровна не очень ясно представляла себе классовые схемы и мало в жизни просидела на кружках политучёб. Но зато она нерушимо знала, что не может процветать хорошая семья без хорошей кухни, без добротного обильного столового и постельного белья. А с укреплением жизни как важный внешний знак бла-

госостояния должны войти в дом серебро, хрусталь и ковры. Большим талантом Алевтины Никаноровны было умение приобретать это всё недорого, никогда не упустить выгодных продаж — на закрытых торгах, в закрытых распределителях судебно-следственных работников, в комиссионных магазинах и на толкучках свежеприсоединённых областей. Она специально ездила во Львов и в Ригу, когда ещё нужны были для того пропуска, и после войны, когда там старухи-латышки охотно и почти за бесценок продавали тяжёлые скатерти и сервизы. Она очень успела в хрустале, научилась разбираться в нём — в глушёном, иоризованном, в золотом, медном и селеновом рубине, в кадмиевой зелени, в кобальтовой сини. Не теперешний хрусталь Главпосуды собирала она — перекособоченный, прошедший конвейер равнодушных рук, но хрусталь старинный, с искорками своего мастера, с особенностью своего создателя, — в двадцатые — тридцатые годы его много конфисковали по судебным приговорам и продавали среди своих.

Так и сегодня отлично обставлен и обилён был стол, и с переменной блюд едва справлялись две прислуги-башкирки: одна своя, другая взятая на вечер от соседей. Обе башкирки были почти девочки, из одной и той же деревни и прошлым летом кончившие одну и ту же десятилетку в Чекмагуше. Напряжённые, разрумяненные от кухни лица девушек выражали серьёзность и старание. Они были довольны своею службой здесь и надеялись не к этой, но к следующей весне подзаработать и одеться так, чтобы выйти замуж в городе и не возвращаться в колхоз. Алевтина Никаноровна, статная, ещё не старая, следила за прислугой с одобрением.

Особой заботой хозяйки было ещё то, что в последний час изменился план вечера: он затевался для молодёжи, а среди старших — просто семейный, потому что для сослуживцев Макарыгин уже дал банкет два дня назад. Поэтому приглашён был старый друг прокурора ещё по гражданской войне серб Душан Радович, бывший профессор давно упразднённого Института Красной Профессуры, и ещё допущена была приехавшая в Москву за покупками простоватая подруга юности хозяйки, жена инструктора райкома в Зареченском районе. Но внезапно вернулся с Дальнего Востока (с громкого процесса японских военных, готовивших бактериологическую войну) генерал-майор Словута, тоже прокурор и очень важный человек по службе, — и обязательно надо было его пригласить. Однако перед Словутой стыдно было теперь за этих полуполюгальных гостей — за этого почти уже и не приятеля, за эту почти уже и не подругу. Словута мог подумать, что у Макарыгиных принимают рвань. Это отравляло и осложняло вечер Алевтине Никаноровне. Свою несчастную из-за придурковатого мужа подругу она посадила от Словуты подальше и заставляла её тише говорить и не с такой видимой жадностью кушать; с другой стороны хозяйке приятно было, как та пробовала каждое блюдо, спрашивала рецепты, всем кряду восхищалась, и сервировкой, и гостями.

Ради Словуты и стали так настойчиво звать Иннокентия и непременно в дипломатическом мундире, в золотом шитье, чтобы вместе с другим зятем, знаменитым писателем Николаем Галаховым, они составили бы вылающуюся компанию. Но к досаде тестя дипломат приехал с опозданием, когда уже и ужин кончился, когда молодёжь рассеялась танцевать.

А всё же Иннокентий уступил, надел этот проклятый мундир. Он ехал потерянный, ему равно невозможно было и дома оставаться, ему невыносимо было везде. Но когда он вошёл с кислой физиономией в эту квартиру, полную людей, оживлённого гула, смеха, красок — он ощутил, что именно здесь его арест никак не возможен! — и к нему быстро вернулось не только нормальное, но ощущение особенной лёгкости. Он охотно выпил налитое ему и охотно принимал

в тарелку с одного блюда и с другого — сутки он почти не мог глотать, зато сейчас радостно восстал в нём голод.

Его искреннее оживление освободило и тестя от досады и облегчило разговор на их почётном конце стола, где Макарыгин напряжённо маневрировал, чтобы Радович не выпалил какой-нибудь резкости, чтобы Словуте было всё время приятно и Галахову не скучно. Теперь, придерживая свой густой голос, он стал шутливо пенять Иннокентию, что тот не потешил его старости внучатами.

— Ведь они что с женой? — жаловался он. — Подобралась парочка, баран да ярочка, — живут для себя, жируют и никаких забот. Устроились! Прожигатели жизни! Вы его спросите, ведь он, сукин сын, эпикуреец. А? Иннокентий, признайся — Эпикура исповедуешь?

Невозможно было даже в шутку назвать члена всесоюзной коммунистической партии — младо-гегельянцем, нео-кантианцем, субъективистом, агностиком или, упаси боже, ревизионистом. Напротив, «эпикуреец» звучало так безобидно, что вовсе не мешало человеку быть правоверным марксистом.

Тут и Радович, любовно знавший всякую подробность из жизни Основоположников, не преминул вставить:

— Что ж, Эпикур — хороший человек, материалист. Сам Карл Маркс писал об Эпикуре диссертацию.

На Радовиче был вытертый полувоенный френч, кожа лица — тёмный пергамент на колодке черепа. (Выходя же на улицу, он до последней поры надевал будённовский шлем, пока не стала задерживать милиция.)

Иннокентий горячел и задорно оглядывал этих ничего не ведающих людей. Какой был смелый шаг — вмешаться в борьбу титанов! Любимцем богов он казался себе сейчас. И Макарыгин, и даже Словута, которые в другой момент могли вызвать у него презрение, сейчас были ему по-человечески милы, были участниками его безопасности.

— Эпикура? — с посверкивающими глазами принял он вызов. — Исповедую, не отрекаюсь. Но я, вероятно, вас удивлю, если скажу, что «эпикуреец» принадлежит к числу слов, не понятых во всеобщем употреблении. Когда хотят сказать, что человек непомерно жаден к жизни, сластолюбив, похотлив и даже попросту свинья, говорят: «он — эпикуреец». Нет, подождите, я серьёзно! — не дал он возразить и возбуждённо покачивал пустой золотой фужер в тонких чутких пальцах. — А Эпикур как раз обратен нашему дружному представлению о нём. Он совсем не зовёт нас к оргиям. В числе трёх основных зол, мешающих человеческому счастью, Эпикур называет *ненасытные желания!* А? Он говорит: на самом деле человеку надо мало, и именно поэтому счастье его не зависит от судьбы! Он осваивает человека от страха перед ударами судьбы — и поэтому он великий оптимист, Эпикур!

— Да что ты! — удивился Галахов и вынул кожаную записную книжечку с белым костяным карандашиком. Несмотря на свою шумную славу, Галахов держался простецки, мог подмигнуть, хлопнуть по плечу. Белые сединки уже живописно светились над его чуть смугловатым, несколько расплывшимся лицом.

— Налей, налей ему! — сказал Словута Макарыгину, тыча в пустой фужер Иннокентия, — а то он нас разговорит.

Тесть налил, и Иннокентий снова выпил с наслаждением. Ему и самому в этот момент философия Эпикура показалась достойной исповедания.

Словута с нестарым отекившим лицом держался чуть свысока по отношению к Макарыгину (Словуте уже была подписана вторая генеральская звезда), но знакомством с Галаховым был крайне доволен и представлял, как сегодня же вечером, в том доме, куда ещё наме-



ревался попасть, он запросто передаст, что час назад выпивал с Колькой Галаховым, и тот ему рассказывал... Но и Галахов тоже приехал недавно, тоже опоздал и как раз ничего не рассказывал, наверно придумывал новый роман? И Словута, убедясь, что ничего от знаменитости не почерпнёт, собрался уходить.

Макарыгин уговаривал Словуту побыть ещё и обломал на том, что надо поклониться «табачному алтарю» — коллекции, содержимой в кабинете. Сам Макарыгин курил болгарский трубочный, доставаемый по знакомству, да вечерами пробивал себя сигарами. Но гостей любил поражать, поочередно угасивая каждым сортом.

Дверь в кабинет была тут же, хозяин открыл её и приглашал Словуту и зятьёв. Однако, зятья отговорились от стариковской компании. Теперь особенно опасаясь, что Душан там ляпнет лишнее, Макарыгин в дверях кабинета, пропустив Словуту вперёд, погрозил Радовичу пальцем.

Свояки остались на пустом конце стола вдвоём. Они были в том счастливом возрасте (Галахов на несколько лет постарше), когда их ещё принято было считать молодыми, но никто уже не тянул танцевать — и они могли отдаться наслаждению мужского разговора меж недопитых бутылок под отдалённую музыку.

Галахов действительно на прошлой неделе задумал писать о заговоре империалистов и борьбе наших дипломатов за мир, причём писать в этот раз не роман, а пьесу — потому что так легче было обойти многие неизвестные ему детали обстановки и одежды. Сейчас ему было как нельзя кстати проинтервьюировать свояка, заодно ища в нём типические черты советского дипломата и вылавливая характерные подробности западной жизни, где должно было происходить всё действие пьесы, но где сам Галахов был лишь мельком, на одном из прогрессивных конгрессов. Галахов сознавал, что это не вполне хорошо — писать о жизни, которой не знаешь, но последние годы ему казалось, что заграничная жизнь, или седая история, или даже фантазия о лунных жителях легче поддадутся его перу, чем окружающая истинная жизнь, заминированная запретами на каждой тропинке.

Прислуга шумела сменяемой к чаю посудой. Хозяйка поглядывала и, с уходом Словуты, уже не сдерживала голос подруги, досказывавшей ей, что и в Зареченском районе лечиться вполне можно, доктора хорошие, а партактивские дети с грудного возраста отделяются от обыкновенных, для них бесперебойно молоко и без отказа пенициллиновые уколы.

Из соседней комнаты пела радиода, а из следующей — металлически бубнил телевизор.

— Привилегия писателей — допрашивать, — кивал Иннокентий, сохраняя всё тот же удачливый блеск в глазах, с каким он защищал Эпикура. — Вроде следователей. Всё вопросы, вопросы о преступлениях.

— Мы ищем в человеке не преступления, а его достоинства, его светлые черты.

— Тогда ваша работа противоположна работе совести. Так ты, значит, хочешь писать книгу о дипломатах?

Галахов улыбнулся.

— Хочешь — не хочешь — не решается, Инк, так просто, как в новогодних интервью. Но запастись заранее материалами... Не всякого дипломата расспросишь. Спасибо, что ты — родственник.

— И твой выбор доказывает твою проникательность. Посторонний дипломат, во-первых, наврёт тебе с три короба. Ведь у нас есть, что скрывать.

Они смотрели глаза в глаза.

— Я понимаю. Но... этой стороны вашей деятельности... отражать не придётся, так что она меня...

— Ага. Значит, тебя интересует главным образом — быт посольств, наш рабочий день, ну там, как проходят приёмы, вручение грамот...

— Нет, глубже! И — как преломляются в душе советского дипломата...

— А-а, как преломляются... Ну, уже всё! Я понял. И до конца вечера я тебе буду рассказывать. Только... объясни и ты мне сперва... Военную тему ты что же — бросил? исчерпал?

— Исчерпать её — невозможно, — покачал головой Галахов.

— Да, вообще с этой войной вам подвезло. Коллизии, трагедии — иначе откуда б вы их брали?

Иннокентий смотрел весело.

По лбу писателя прошла забота. Он вздохнул:

— Военная тема — врезана в сердце моё.

— Ну, ты же и создал в ней шедевры!

— И, пожалуй, она для меня — вечная. Я и до смерти буду к ней возвращаться.

— А может — не надо?

— Надо! Потому что война поднимает в душе человека...

— В душе? — я согласен! Но посмотри, во что вылилась ваша фронтовая и военная литература. Высшие идеи: как занимать боевые позиции, как вести огонь на уничтожение, «не забудем, не простим», приказ командира есть закон для подчинённых. Но это гораздо лучше изложено в военных уставах. Да, ещё вы показываете, как трудно беднякам полководцам водить рукой по карте.

Галахов омрачился. Полководцы были его излюбленные военные образы.

— Ты говоришь о моём последнем романе?

— Да нет, Николай! Но неужели художественная литература должна повторять боевые уставы? или газеты? или лозунги? Например, Маяковский считал за честь взять газетную выдержку эпиграфом к стиху. То есть, он считал за честь не подняться выше газеты! Но зачем тогда и литература? Ведь писатель — это наставник других людей, ведь так понималось всегда?

Своими нечасто встречались, знали друг друга мало. Галахов осторожно ответил:

— То, что ты говоришь, справедливо лишь для буржуазного режима.

— Ну, конечно, конечно, — легко согласился Иннокентий. — У нас совсем другие законы... Но я не то хотел... — Он вертнул кистью руки. — Коля, ты поверь, — мне что-то симпатично в тебе... И поэтому я сейчас в особом настроении спросить тебя... по-свойски... Ты — задумывался?.. как ты сам понимаешь своё место в русской литературе? Вот тебя можно уже издать в шести томиках. Вот тебе тридцать семь лет. Пушкина в это время уже ухлопали. Тебе не грозит такая опасность. Но всё равно, от этого вопроса ты не уйдёшь — кто ты? Какими идеями ты обогатил наш измученный век?.. Сверх, конечно, тех неоспоримых, которые тебе даёт социалистический реализм. Вообще, скажи мне, Коля, — уже не зубоскально, уже со страданием спрашивал Иннокентий, — тебе не бывает стыдно за наше поколение?

Переходящие складочки, как желвачки, прошли по лбу Галахова, по щеке.

— Ты... касаешься трудного места... — ответил он, глядя в ска-терть. — Какой же из русских писателей не примерял к себе втайне пушкинского фрака?.. толстовской рубахи?.. — Два раза он повернул свой карандашик плашмя по скатерти и посмотрел на Иннокентия нескрывчивыми глазами. Ему тоже захотелось сейчас высказать, чего в литературских компаниях невозможно было. — Когда я был пацаном, в начале пятилеток, мне казалось — я умру от счастья, если уви-

жу свою фамилию, напечатанную над стихотворением. И, казалось, это уже и будет начало бессмертия... Но вот...

Огибая и отодвигая пустые стулья, к ним шла Дотнара.

— Ини! Коля! Вы меня не прогоните? У вас не очень умный разговор?

Она совсем была здесь некстати.

Она подходила — и вид её, самая неизбежность её в жизни Иннокентия вдруг напомнили ему всю ужасную истину, что его ждёт, а этот званный вечер, и эти застольные перебросные шуточки — всё пустота. Сердце его сжалось. Горячей сухостью охватило горло.

А Дотти стояла и ждала ответа, поигрывая свободными концами блузы-реглан. Через узкий меховой воротничок перепадали всё те же её свободные светлые локоны, за девять лет не переиначенные модными подражаниями — своё хорошее она умела сохранять. Она рдела вся, но может быть от вишнёвой блузы? И ещё чуть подёргивалась её верхняя губа — это оленьё подёргивание, так знакомое и так любимое им, — когда слушала похвалу или когда знала, что нравится. Но почему сейчас?..

Так долго она старалась подчёркивать свою независимость от него, особенность своих взглядов на жизнь. Что же переломилось в ней? — или предчувствие разлуки вошло в её сердце? — отчего такой покорной и ласковой она стала? И это оленьё подёргивание губы...

Иннокентий не мог бы ей простить, да не задумывался прощать долгой полосы непонимания, отчуждённости, измены. Он сознавал, что и не могла она перемениться враз. Но эта её покорность прошла теплом по его сжатой душе, и он за руку притянул жену сестрой — движение, которого всю осень между ними не было, невозможно было совсем.

И Дотти с чуткостью, гибкостью, послушностью сразу села рядом с мужем, прильнула к нему ровно настолько, чтоб это оставалось приличным, но всем бы было видно, как она любит мужа и как ей с ним хорошо. У Иннокентия мелькнуло, правда, что для будущего Дотти было бы лучше не показывать этой несуществующей близости. Однако, он мягко поглаживал её руку в вишнёвом рукаве.

Белый костяной карандашик писателя лежал без дела.

Облокотясь о стол, Галахов смотрел мимо супругов в большое окно, освещённое огнями Калужской заставы. Говорить откровенно о себе при бабах было невозможно. Да и без баб вряд ли.

...Но вот... его стали печатать целыми поэмами; сотни театров страны, перенимая у столичных, ставили его пьесы; девушки списывали и учили его стихи; во время войны центральные газеты охотно предоставляли ему страницы, он испробовал силы и в очерке, и в новелле, и в критической статье; наконец, вышел его роман. Он стал лауреат сталинской премии, и ещё раз лауреат, и ещё раз лауреат. И что же? Странно: слава была, а бессмертия не было.

Он сам не заметил, когда, чем обременил и приземлил птицу своего бессмертия. Может быть, взмахи её только и были в тех немногих стихах, заучиваемых девушками. А его пьесы, его рассказы и его роман умерли у него на глазах ещё прежде, чем автор дожил до тридцати семи лет.

Но почему обязательно гнаться за бессмертием? Большинство товарищей Галахова ни за каким бессмертием не гналось, считая важней своё сегодняшнее положение, при жизни. Шут с ним, с бессмертием, говорили они, не важней ли влиять на течение жизни сейчас? И они влияли. Их книги служили народу, издавались многонольными тиражами, фондами комплектования рассылались по всем библиотекам, ещё проводились специальные месячники проталкивания. Конечно, очень многой правды нельзя было написать. Но они утешали себя, что когда-нибудь обстоятельства изменятся, они непременно вернутся ещё раз к этим событиям, переосветят их истинно, переиз-

дадут, исправят старые книги. А сейчас следовало писать хоть ту четвёртую, восьмую, шестнадцатую, ту, чёрт её подери, тридцать вторую часть правды, которую разрешалось, хоть о поцелуях и о природе — хоть что-нибудь лучше, чем ничего.

Но угнетало Галахова, что всё трудней становилось писать каждую новую хорошую страницу. Он заставлял себя работать по расписанию, он боролся с зевотой, с ленивым мозгом, с отвлекающими мыслями, с прислушиванием, что пришёл, кажется, почтальон, пойти бы посмотреть газетки. Он следил, чтобы в кабинете было проветрено и восемнадцать градусов Цельсия, чтобы стол был чисто протёрт — иначе он никак не мог писать.

Начиная новую большую вещь, он вспыхивал, клялся себе и друзьям, что теперь никому не уступит, что теперь-то напишет настоящую книгу. С увлечением садился он за первые страницы. Но очень скоро замечал, что пишет не один — что перед ним вспыхнул и всё маячит в воздухе образ того, для кого он пишет, чьими глазами он невольно перечитывает каждый только что написанный абзац. И этот Тот был не Читатель, брат, друг и сверстник читатель, не критик вообще — а почему-то всегда прославленный, главный критик Ермилов.

Так и воображал себе Галахов Ермилова с расширенным подбородком, лежащим на груди, как он прочтёт эту новую вещь и разразится против него огромной (уже бывало) статьёй на целую полосу «Литературки». Назовёт он статью: «Из какой подворотни эти веяния?» или «Ещё раз о некоторых модных тенденциях на нашем испытанном пути». Начнёт он её не прямо, начнёт с каких-нибудь самых святых слов Белинского или Некрасова, с которыми только злодей может не согласиться. И тут же остороженько вывернет эти слова, перенесёт их совсем в другом смысле — и выяснится, что Белинский или Герцен горячо засвидетельствуют, что новая книга Галахова вываляет нам его как фигуру антиобщественную, антигуманную, с шаткой философской основой.

И так абзац за абзацем стараясь угадать контраргументы Ермилова и приноровиться к ним, Галахов быстро ослабевал выписывать углы, и книга сама малодушно обкатывалась, ложилась податливыми кольцами. И, уже зайдя за половину, видел Галахов, что книгу ему подменили, опять она не получилась...

— А черты нашего дипломата?— всё же досказал Иннокентий, но голосом потеряннным и с кислой кривой улыбкой, когда вот-вот растечётся лицо.— Ты и сам можешь их себе хорошо представить. Высокая идейность. Высокая принципиальность. Беззаветная преданность нашему делу. Личная глубокая привязанность к товарищу Сталину. Неукоснительное следование инструкциям из Москвы. У некоторых сильное, у других — слабое знание иностранных языков. Ну, и ещё — большая привязанность к телесным удовольствиям. Потому что, как говорят, жизнь даётся нам — один только раз...

## 63

Радович был давнишний и коренной неудачник: уже в тридцатые годы лекции его отменялись, книги не печатались, и сверх всего ещё терзали его болезни: в грудной клетке он носил осколок колчаковского снаряда, пятнадцать лет у него тянулась язва двенадцатиперстной, да много лет он каждое утро делал себе мучительную процедуру промывания желудка через пищевод, без чего не мог есть и жить.

Но знающая мера в своих щедротах и в своих преследованиях, судьба этими самыми неудачами и спасла Радовича: заметное лицо в коминтерновских кругах, он в самые критические годы уцелел из-за того, что не выползал из больницы. За болезнями же перехоронился он

и в прошлом году, когда всех сербов, оставшихся в Союзе, или загнали в антититовское движение, или сажали в тюрьму.

Понимая подозрительность своего положения, Радович сдерживался чрезвычайным усилием, не давал себе говорить, не давал вводить себя в фанатическое состояние спора, а пытался жить бледной жизнью инвалида.

И сейчас он сдержался с помощью табачного столика. Такой столик — овальный, из чёрного дерева, стоял в кабинете особо с гильзами, машинкой для набивки гильз, набором трубок в штативе и перламутровой пепельницей. А около столика стоял табачный же шкафчик из карельской берёзы с многочисленными выдвигаемыми ящичками, в каждом из которых жил особый сорт папирос, сигарет, сигар, табаков трубочных и даже нюхательных.

Молча слушая теперь рассказ Словуты о подробностях подготовки бактериологической войны, об ужаснейших преступлениях японских офицеров против человечности, — Радович сладострастно разбирался и принимался к содержимому табачных ящичков, не решаясь, на чём остановиться. Курить ему было самоубийственно, курить ему категорически запрещалось всеми врачами, — но так как ему запрещалось ещё и пить, и есть (сегодня за ужином он тоже почти не ел) — то обоняние и вкус его были особенно изопрены к оттенкам табака. Жизнь без курения казалась ему бескрылой, он частенько кручивал газетные цыгарки из базарной махорки, которую предпочитал в своих стеснённых денежных обстоятельствах. В Стерлитамаке во время эвакуаций он ходил к дедám на огороды, покупал лист, сам сушил и резал. В его холостом досуге работа над табаком способствовала размышлениям.

Собственно, если бы Радович и встрял в разговор — он не сказал бы ничего ужасного, ибо и сам он думал недалеко от того, что государственно необходимо было думать. Однако, непримиримая к малейшим отливам больше, чем к противоположным цветам, сталинская партия тотчас бы срубилá ему голову именно за то малое, в чём он отличался.

Но благополучным образом он смолчал, и разговор перешёл от японцев к сравнительным качествам сигар, в которых Словута ничего не понимал и чуть не лишился дыхания от неосторожной затяжки. Затем к тому, что нагрузка у прокуроров с годами не только не уменьшается, но даже, при росте числа прокуроров, увеличивается.

— А что говорит статистика преступлений? — спросил бесстрастно по виду Радович, закованный в броню своей пергаментной кожи.

Статистика ничего не говорила: она была и нема, и невидима, и никто не знал, жива ли она ещё.

Но Словута сказал:

— Статистика говорит, что число преступлений у нас уменьшается.

Он не читал самой статистики, но читал, как в журнале выражались о ней.

И так же искренне добавил:

— А всё-таки ещё порядочно. Наследие старого режима. Испорчен народ очень. Испорчен буржуазной идеологией.

Три четверти шедших через суды выросли уже после семнадцатого года, но Словуте это не приходило в голову: он нигде этого не читал.

Макарыгин тряхнул головой — его ли в этом убеждают!

— Когда Владимир Ильич говорил нам, что культурная революция будет гораздо трудней Октябрьской — мы не могли себе представить! И вот теперь мы понимаем, как далеко он предвидел.

У Макарыгина был тупой окат головы и оттопыренные уши.

Курили, дружно наполняя кабинет дымом.

Половину небольшого полированного письменного столика Мака-

рыгина занимал крупный чернильный прибор с изображением, чуть не в полметра высотой, Спасской башни с часами и звездой. В двух массивных чернильницах (как бы вышках кремлёвской стены) было сухо: Макарыгину давно уже не приходилось что-нибудь дома писать, ибо на всё хватало служебного времени, а письма он писал авторучкой. В книжных рижских шкафах за стёклами стояли кодексы, своды законов, комплекты журнала «Советское государство и право» за много лет, Большая советская энциклопедия старая (ошибочная, с врагами народа), Большая советская энциклопедия новая (всё равно с врагами народа) и Малая энциклопедия (тоже ошибочная и тоже с врагами народа).

Всего этого Макарыгин давно уже не открывал, так как, включая и ныне действующий, но уже безнадежно отставший от жизни уголовный кодекс 1926 года, всё это успешно заменено пачкою самых главных, в большинстве своём секретных инструкций, известных ему каждая по своему номеру — 083 или 005 дробь 2742. Инструкции эти, сосредоточившие в себе всю мудрость судопроизводства, подшиты были в одной небольшой папке, хранимой у него на работе. А здесь, в кабинете, книги держались не для чтения, а для почтения. Литература же, которую Макарыгин единственно читал — на ночь, а также в поездах и санаториях, укрывалась в непрозрачном шкафу и была детективная.

Над столом прокурора висел большой портрет Сталина в форме генералиссимуса, а на этажерке стоял маленький бюст Ленина.

Утробистый, выпирающий из своего мундира и переливающийся шеей через стоячий воротник, Словута осмотрел кабинет и одобрил:

— Хорошо живёшь, Макарыгин!

— Да где хорошо... Думаю в областные переводиться.

— В областные? — прикинул Словута. Не мыслителя было у него лицо, сильное челюстью и жиром, но главное хватывал он легко.— Да может и есть смысл.

Смысл они понимали оба, а Радовичу знать не надо: областному прокурору кроме зарплаты дают пакеты, а в Главной Военной до этого надо высоко дослужиться.

— А зять старший — лауреат трижды?

— Трижды, — с гордостью отозвался прокурор.

— А младший — советник не первого ранга?

— Ещё пока второго.

— Но боек, чёрт, до посла дослужит! А самую младшую за кого выдавать думаешь?

— Да упрямая девка, Словута, уж выдавал её — не выдаётся.

— Образованная? Инженера ищет? — Словута, когда смеялся, отпыхивался животом и всем корпусом.— На восемьсот рубликов? Уж ты её за чекиста, за чекиста выдавай, надёжное дело.

Ещё б Макарыгин этого не знал! Он и свою-то жизнь считал неудачливой из-за того, что не пробился в чекисты. Последний замызганный оперуполномоченный в тёмной дыре имеет больше силы и получает зарплату побольше столичных видных прокуроров. Всю прокуратуру считают балаболкой, кормить её не за что. Это рана была, тайная рана Макарыгина, что ему не удалось в чекисты...

— Ну, спасибо, Макарыгин, что не забыл, не держи меня больше, ждут. А ты, профессор, тоже бувай здоров, не болей.

— Всего хорошего, товарищ генерал.

Радович встал попрощаться, но Словута не протянул ему руки. Радович оскорблённым взглядом проводил круглую объёмную спину гостя, которого Макарыгин пошёл довести до машины. И, оставшись один с книгами, тотчас потянулся к ним. Проведя рукой вдоль полки, он после колебания вытянул один из томиков и уже нёс в кресло, да заметил на столе ещё книжечку в пестроватом чёрно-красном переплёте, прихватил и её.

Но книга эта обожгла его неживые пергаментные руки. Это была только что изданная (и сразу в миллионе экземпляров) новинка: «Тито — главарь предателей» какого-то Рено де Жувенеля.

За последнюю дюжину лет попадали в руки Радовича тьмы и тьмы книг хамских, холопских, насквозь лживых, но, кажется, такой мерзости он давно в руках не держал. Опытным взглядом старого книжника пробега страницы новинки, он в две минуты выхватил себе — кому и зачем такая книга понадобилась, и что за гадина её автор, и сколько новой жёлчи поднимет она в душах людей против безвинной Югославии. И после фразы, оставшейся у него в глазах: «Нет нужды подробно останавливаться на мотивах, побудивших Ласло Райка сознаться; раз он признался — значит, был виноват», — Радович с гадливостью положил книгу на прежнее место.

Конечно! Нет нужды подробно останавливаться на мотивах! Нет нужды подробно останавливаться, как следователи и палачи били Райка, морили голодом, бессонницей, а может быть, распростерши на полу, носком сапога отщепляли ему половые органы (в Стерлитамаке старый арестант Абрамсон, оказавшийся Радовичу с первых же слов тесно-близким, рассказывал ему о приёмчиках НКВД). Раз он признался — значит, был виноват!.. — *summa summarum* сталинского правосудия!

Но слишком большим местом была Югославия, чтобы сейчас задевать её в разговоре с Петром. И когда тот вернулся, невольным любовным взглядом косясь на новый орден рядом с потускневшими прежними, Душан затаённо сидел в кресле и читал том энциклопедии.

— Не балуют прокуратуру орденами, — вздохнул Макарыгин, — к тридцатилетию выдавали, а так редко кому.

Ему очень хотелось поговорить об орденах и почему сейчас получил именно он, но Радович согнулся вдвое и читал.

Макарыгин вынул новую сигару и с размаху опустил на диван.

— Ну, спасибо, Душан, ничего не ляпнул. Я боялся.

— А что я мог ляпнуть? — удивился Радович.

— Что ляпнуть! — обрезал сигару прокурор. — Мало ли что! У тебя всё куда-то выпирает. — Закурил. — Вон он про японцев рассказывал — у тебя губы дрожали.

Радович распрямился:

— Потому что гнусная полицейская провокация, за десять тысяч километров пованивает!

— Да ты с ума сошёл, Душан! Ты — при мне не смей так! Как ты можешь о нашей партии...

— Я не о партии! — отгородился Радович. — Я — о Словутах. А почему именно сейчас, в сорок девятом году, мы обнаружили японскую подготовку сорок третьего года? Ведь они у нас четыре года уже в плену. А колорадского жука нам сбрасывают американцы с самолётов? Всё так и есть?

Оттопыренные уши Макарыгина покраснели:

— А почему нет? А если что немного не так — значит, государственная политика требует.

Пергаментный Радович нервно залистал свой том.

Макарыгин молча курил. Зря он его приглашал, только позорился перед Словутой. Все эти старые дружбы — чепуха, лишь в воспоминаниях хороши. Человек не может проявить даже простой гостевой вежливости, вникнуть, чему хозяин рад, чем озабочен.

Макарыгин курил. Пришли на ум неприятные ссоры с младшей дочерью. За последние месяцы если обедали втроём без гостей, то не отдых, не семейный уют получался за столом, а собачья свалка. А на днях забивала гвоздь в туфле и при этом пела какие-то бессмысленные слова, но мотив показался отцу слишком знакомым. Он заметил, стараясь спокойнее:

— Для такой работы, Клара, можно другую песню выбрать. А «Слезами залит мир безбрежный» — с этой песней люди умирали, шли на каторгу.

Она же из упрямства, или чёрт знает из чего, ошетибилась:

— Подумаешь, благодетели! На каторгу шли! И теперь идут!

Прокурор даже осел от наглости и неоправданности сравнения. То есть до такой степени потерять всякое понимание исторической перспективы. Едва сдерживаясь, чтобы только не ударить дочь, он вырвал у неё туфлю из рук и хлопнул об пол:

— Да как ты можешь сравнивать! Партию рабочего класса и фашистское отребье!..

Твердолобая, хоть кулаком её в лоб, не заплачет! Так и стояла, одной ногой в туфле, а другой в чулке на паркете:

— Брось ты, папа, декламировать! Какой ты рабочий класс? Ты два года когда-то был рабочим, а тридцать лет уже прокурором! Ты — рабочий, а в доме молотка нет! Бытие определяет сознание, сами нас научили.

— Да общественное бытие, дура! И сознание — общественное!

— Какое это — общественное? У одних хоромы, у других — сарай, у одних — автомобили, у других — ботинки дырявые, так какое из них общественное?

Отцу не хватало воздуха от извечной невозможности доступно и кратко выразить глупым юным созданиям мудрость старшего поколения:

— Ты вот глупа!.. Ты.. ничего не понимаешь и не учишься!..

— Ну, научи! Научи! На какие деньги ты живёшь? За что тебе тысячи платят, если ты ничего не создаёшь?

И вот тут не нашёлся прокурор; очень ясно — а сразу не скажешь. Только крикнул:

— А тебе в твоём институте тысячу восемьсот — за что?..

— Душан, Душан, — размягчённо вздохнул Макарыгин. — Что мне с дочерью делать?

Лицу Макарыгина большие отставленные уши были как крылья сфинксу. Странно выглядело на этом лице растерянное выражение.

— Как это могло случиться, Душан? Когда мы гнали Колчака — могли мы думать, что такая будет нам благодарность от детей?.. Ведь если приходится им с трибуны в чём-нибудь поклясться перед партией, они, сукины дети, эту клятву такой скороговоркой бормочут, будто им стыдно.

Он рассказал сцену с туфлей.

— Как я правильно должен был ей ответить, а?

Радович достал из кармана грязноватый кусок замши и протирал им стёкла очков. Когда-то всё это Макарыгин знал, но до чего же стал дремуч.

— Надо было ответить?.. Накопленный труд. Образование, специальность — накопленный труд, за них платят больше. — Надел очки. И посмотрел на прокурора решительно: — Но вообще, девчénка права! Нас об этом предупреджали.

— Кто-о? — изумился прокурор.

— Надо уметь учиться и у врагов! — Душан поднял руку с сухим перстом. — «Слезами залит мир безбрежный»? А ты получаешь многие тысячи? А уборщица двести пятьдесят рублей?

Одна щека Макарыгина задёргалась отдельно. Зол стал Душан, из зависти, что у самого ничего нет.

— Ты — обезумел в своей пещере! Ты утратил связь с реальной жизнью! Ты так и пропадёшь! Что же мне — идти завтра и просить, чтобы мне платили двести пятьдесят? А как я буду жить? Да меня выгонят как сумасшедшего! Ведь другие-то не откажутся!

Душан показал рукой на бюст Ленина:



— А как Ильич в гражданскую войну отказывался от сливочного масла? От белого хлеба? Его не считали сумасшедшим?

Слеза послышалась в голосе Душана.

Макарыгин защитился распыленной ладонью:

— Тш-ш-ш! И ты поверил? Ленин без сливочного масла не сидел, не беспокойся. Вообще в Кремле уже тогда была неплохая столовая.

Радович поднялся и отсиженной ногой хромнул к полочке, схватил рамку с фотографией молодой женщины в кожанке с маузером:

— А Лена со Шляпниковым не была заодно, не помнишь? А рабочая оппозиция что говорила, не помнишь?

— Поставь! — приказал побледневший Макарыгин. — Памяти её не шевели! Зубр! Зубр!

— Нет, я не зубр! Я хочу ленинской чистоты! — Радович снизил голос. — У нас ничего не пишут. В Югославии — рабочий контроль на производстве. Там...

Макарыгин неприязненно усмехнулся.

— Конечно, ты — серб, сербу трудно быть объективным. Я понимаю и прощаю. Но...

Но — дальше была грань. Радович погас, смолк, съёжился снова в маленького пергаментного человечка.

— Договаривай, договаривай, зубр! — враждебно требовал Макарыгин. — Значит, полуфашистский режим в Югославии — это и есть социализм? А у нас значит — перерождение? Старые словечки! Мы их давно слышали, только уж на том свете те, кто их произносил. Тебе осталось ещё сказать, что в схватке с капиталистическим миром мы обречены на гибель. Да?

— Нет! Нет! — убеждённый и озарённый лучами провидения, снова всплеснулся Радович. — Этому не бывать! Капиталистический мир разъедается несравненно худшими противоречиями! И, как гениально предсказывал Владимир Ильич, я твёрдо верю: мы скоро будем свидетелями вооружённого столкновения за рынки сбыта между Соединёнными Штатами и Англией!

## 64

А в большой комнате танцевали под радиолу, нового типа, как мебель. Пластинок у Макарыгиных был целый шкафик: и записи речей Отца и Друга с его растягиваниями, мычанием и акцентом (как во всех благонастроенных домах, они тут были, но, как все нормальные люди, Макарыгины их никогда не слушали); и песни «о самом родном и любимом», о самолётах, которые «первым делом», а «девушки потом» (но слушать их здесь было бы так же неприлично, как в дворянских гостиных всерьёз рассказывать о библейских чудесах). Заводились же на радиоле сегодня пластинки импортные, не поступающие в общую продажу, не исполняемые по радио, и были среди них даже эмигрантские с Лещенкой.

Мебель не давала простору сразу всем парам, и танцевали по-сменно. Среди молодёжи были кларины бывшие сокурсницы; и один сокурсник, который после института работал теперь на *заглушке* иностранных радиопередач; та девушка, родственница прокурора, из-за которой был тут Шагов; племянник прокурорши, лейтенант внутренней службы, которого за зелёный кант все звали пограничником (а была их рота расквартирована при Белорусском вокзале и поставляла наряды для проверки документов в поездах и на случай необходимых арестов в пути); и особенно выделялся государственный молодой человек уже с колодочкой ордена Ленина чуть небрежно, наискосок, без самого ордена, с приглаженными, уже редкими волосами.

Этому молодому человеку было года двадцать четыре, но он старался себя вести по крайней мере на тридцать, очень сдержанно шевелил руками и с достоинством подбирал нижнюю губу. Это был один

из ценных референтов в секретариате президиума Верховного Совета, основная работа его была — предварительная подготовка текстов речей депутатов Верховного Совета на будущих сессиях. Эту работу молодой человек находил очень скучной, но положение много обещало. Даже заполучить его на этот вечер было удачей Алевтины Никаноровны, женить же на Кларе — недостижимая мечта.

Для этого молодого человека единственно интересное на сегодняшнем вечере составляло присутствие Галахова и его жены. Во время танцев он уже третий раз пригласил Динэру, всю в импортном чёрном шёлке «лакэ», только алебастровые руки вырывались ниже локтя из этой лакированной блестящей как бы кожи. Испытывая лестность внимания такой знаменитой женщины, референт с повышенной значительностью ухаживал за ней и также после танца старался остаться с нею.

А она увидела в углу дивана одинокого Сауныкина-Голованова, не умевшего ни танцевать, ни свободно держаться где-нибудь кроме своей редакции, и решительно направилась к этой квадратной голове поверх квадратного туловища. Референт скользил за нею.

— Э-рик! — с весёлым вызовом подняла она алебастровую руку. — А почему я вас не видела на премьере «Девятьсот Девятнадцатого»?

— Был вчера, — оживился Голованов. И с охотой подвинулся к боковинке прямоугольного дивана, хоть и без того сидел на краю.

Села Динэра. Опустился референт.

Да уклониться от спора с Динэрой было и невозможно, ещё хорошо, если она возражать давала. Это о ней ходила эпиграмма по литературной Москве:

Мне потому приятно с вами помолчать,  
Что вымолвить вы слова не дадите.

Динэра, не связанная никаким литературным постом и никакой партийной должностью, смело (но в рамках) нападала на драматургов, сценаристов и режиссёров, не щадя даже своего мужа. Смелость её суждений, сочетаясь со смелостью туалетов и смелостью всем известной биографии, очень к ней шла и приятно оживляла пресные суждения тех, чья мысль подчинена их литературной службе. Нападала она и на литературную критику вообще и на статьи Эрнста Голованова в частности, Голованов же с выдержкой не уставал разъяснять Динэре её анархические ошибки и мелкобуржуазные вывихи. Эту шутливую враждебность-близость с Динэрой он охотно длил ещё потому, что самого его литературная судьба зависела от Галахова.

— Вспомните, — с налётом мечтательности откинулась Динэра, но спинка озеркаленного дивана очень уж была пряма и неудобна, — у того же Вишневого в «Оптимистической» этот хор из двух моряков — «не слишком ли много крови в трагедии?» — «не больше, чем у Шекспира» — ведь это же остро, какая выдумка! И вот опять идёшь на пьесу Вишневого, и ждёшь! А тут что же? Конечно, реалистическая вещь, впечатляющий образ Вождя, но и, но и... всё?

— Как? — огорчился референт. — Вам мало? Я не помню, где ещё такой трогательный образ Иосифа Виссарионовича. Многие плакали в зале.

— У меня у самой слёзы стояли! — осадила его Динэра. — Я не об этом. — И продолжала Голованову: — Но в пьесе почти нет имён! Участвуют: безличные три секретаря парторганизаций, семь командиров, четыре комиссара — протокол какой-то! И опять эти примелькавшиеся матросы-«братишки», кочующие от Белоцерковского к Лавренёву, от Лавренёва к Вишневскому, от Вишневого к Соболеву, — Динэра так и качала головой от фамилии к фамилии с зажмуренными глазами, — заранее знаешь, кто хороший, кто плохой и чем кончится...

— А почему это вам не нравится? — изумился Голованов. При

деловом разговоре он очень оживлялся, в его лице появлялось нанюхивающее выражение, и он шёл по верному следу.— Зачем вам непременно внешняя ложная занимательность? А в жизни? Разве в жизни отцы наши сомневались, чем кончится гражданская война? Или мы разве сомневались, чем кончится Отечественная, даже когда враг был в московских пригородах?

— Или драматург разве сомневается, как будет принята его пьеса? Объясните, Эрик, почему никогда не проваливаются наши премьеры? Этого страха — провала премьеры, почему нет над драматургами? Честное слово, я когда-нибудь не сдержусь, заложу два пальца в рот, да как засвищущу!!

Она мило показала, как это сделает, хотя ясно было, что свиста не полуются.

— Объясню! — не только не смущался Голованов, но всё увереннее идя по следу.— Пьесы у нас никогда не проваливаются и не могут провалиться, потому что между драматургом и публикой наличествует единство как в плане художественном, так и в плане общего мироощущения...

Это уже стало скучно. Референт поправил свой палево-голубой галстук один раз, другой раз — и поднялся от них. Одна из кларинных сокурсниц, художавенькая приятная девушка весь вечер откровенно не сводила с него глаз, и он решил теперь потанцевать с ней. Им достался тустеп. А после него одна из девочек-башкирок стала разносить мороженое. Референт отвёл девушку в углубление балконной двери, куда были задвинуты два кресла, усадил там, похвалил, как она танцует.

Она готовно улыбалась ему и порывалась к чему-то.

Государственный молодой человек не первый раз встречал женскую доступность, но ещё не успела она ему надоесть. Вот и этой девушке только надо назначить, когда и куда прийти. Он оглядел её нервную шею, ещё не высокую грудь и, пользуясь тем, что занавеси частью скрывали их от комнаты, благосклонно застиг её руку на колене.

Девушка взволнованно заговорила:

— Виталий Евгеньевич! Это такой счастливый случай — встретить вас здесь! Не сердитесь, что я осмеливаюсь нарушить ваш досуг. Но в приёмной Верховного Совета я никак не могла к вам попасть.— (Виталий снял свою руку с руки девушки.) — У вас в секретариате уже полгода находится лагерная активировка моего отца, он разбит в лагере параличом, и моё прошение о его помиловании.— (Виталий беззащитно откинулся в кресле и ложечкой сверлил шарик мороженого. Девушка же забыла о своём, неловко задела ложечку, та кувыркнулась, поставила пятно на её платки и упала к балконной двери, где и осталась лежать.) — У него отнята вся правая сторона! Ещё удар — и он умрёт. Он — обречённый человек, зачем вам теперь его заключение?

Губы референта перекривились.

— Знаете, это... неактично с вашей стороны — обращаться ко мне здесь. Наш служебный коммутатор — не секрет, позвоните, я назначу вам приём. Впрочем, отец ваш по какой статье? По пятьдесят восьмой?

— Нет, нет, что вы! — с облегчением воскликнула девушка.— Неужели бы я посмела вас просить, если б он был политический? Он по закону от Седьмого Августа!

— Всё равно и для седьмого августа активировка отменена.

— Но ведь это ужасно! Он умрёт в лагере! Зачем держать в тюрьме обречённого на смерть?

Референт посмотрел на девушку в полные глаза.

— Если мы будем так рассуждать — что же тогда останется от законодательства? — Он усмехнулся.— Ведь он осуждён по суду!

Вдумайтесь! Так что значит — «умрёт в лагере»? Кому-то надо умирать и в лагере. И если подошла пора умирать, так не всё ли равно, где умирать?

Он встал с досадой и отошёл.

За остеклённой балконной дверью сновала Калужская застава — фары, тормозные сигналы, красный, жёлтый и зелёный светофор под падающим, падающим снегом.

Нетактичная девушка подняла ложечку, поставила чашку, тихо пересекла комнату, не замеченная Кларой, ни хозяйкой, прошла столовую, где собирался чай и торты, оделась в коридоре и ушла.

А навстречу, пропустив помрачённую девушку, из столовой вышли Галахов, Иннокентий и Дотнара. Голованов, оживлённый Динэрою, с вернувшейся находчивостью остановил своего покровителя:

— Николай Аркадьевич! Halt! Признайтесь! — в самой-рассамой глубине души ведь вы не писатель, а кто?.. — (Это было как повторение вопроса Иннокентия, и Галахов смутился.) — Солдат!

— Конечно, солдат! — мужественно улыбнулся Галахов.

И сощурился, как смотрят вдаль. Ни от каких дней писательской славы не осталось в его сердце столько гордости и, главное, такого ощущения чистоты, как ото дня, когда его чёрт понёс с нежалимую головой добираться до штаба полуотрезанного батальона — и попасть под артиллерийский шквал и под минный обстрел, и потом в блиндажике, расстрясанном бомбёжкой, поздно вечером обедать из одного котелка вчетвером с батальонным штабом — и чувствовать себя с этими обгорелыми вояками на равной ноге.

— Так разрешите вам представить моего фронтowego друга капитана Щагова!

Щагов стоял прямой, не унижая себя выражением неравного почтения. Он приятно выпил — столько, что подошвы уже не ощущали всей тяжести своего давления на пол. И как пол стал более податлив, так податливее, приёмистее стала ощущаться и вся тёплая светлая действительность, и это закоренелое богатство, изостланное и уставленное вокруг, в которое он с занывающими ранами, с сухотою жёлудка вошёл ещё пока разведчиком, но которое обещало стать и его будущим.

Щагов уже стыдился своих скромных орденишек в этом обществе, где безусый пацан небрежно наискосок носил планку ордена Ленина. Напротив, знаменитый писатель при виде боевых орденов Щагова, медалей и двух нашивок ранений с размаху ударил рукой в рукопожатие:

— Майор Галахов! — улыбнулся он. — Где воевали? Ну, сядем, расскажите.

И они уселись на ковровой тахте, потеснив Иннокентия и Дотти. Хотели усадить тут же и Эрнста, но он сделал знак и исчез. Действительно, встреча фронтовиков не могла же произойти насухую! Щагов рассказал, что с Головановым они подружились в Польше в один сумасшедший денёк пятого сентября сорок четвёртого года, когда наши с ходу вырвались к Нареву и заскочили за Нарев, чуть не на брёвнах переправлялись, зная, что в первый день легко, а потом и зубами не возьмёшь. Пёрли нахально сквозь немцев в узком километровом коридорчике, а немцы лезли перекусить коридор и с севера сунули триста танков, а с юга двести.

Едва начались фронтowe воспоминания, Щагов потерял тот язык, на котором он ежедневно разговаривал в университете, Галахов же — язык редакций и секций, а тем более — тот взвешенный нарочитый авторский язык, которым пишутся книги. На вытертых и закруглённых этих языках не было возможности передать сочное дымное фронтowe бытие. И даже после десятого слова им очень взнадобились ругательства, не мыслимые здесь.

Тут появился Голованов с тремя рюмками и бутылкой недопитого коньяка. Он пододвинул стул, чтобы видеть обоих, и в руках стал им разливать.

— За солдатскую дружбу! — произнёс Галахов, щурясь.

— За тех, кто не вернулся! — поднял Щагов.

Выпили. Пустая бутылка пошла за тахту.

Новое опьянение добавилось к старому. Голованов свернул рассказ в свою сторону: как в этот памятный день он, новоиспечённый военный корреспондент, за два месяца до того окончивший университет, впервые ехал на передовую, и как на попутном грузовичке (а грузовичок тот вёз Щагову противотанковые мины) проскочил под немецкими миномётами из Длугоседло в Кабат коридорчиком до того узким, что «северные» немцы жажали минами в расположение немцев «южных», и как раз в том же месте в тот же день один наш генерал возвращался из отпуска с семьёй на фронт — и на виллисе занёсся к немцам. Так и пропал.

Иннокентий прислушивался и спросил об ощущении страха смерти. Разогнанный Голованов поспешил сказать, что в такие отчаянные минуты смерть не страшна, о ней забываешь. Щагов поднял бровь, поправил:

— Смерть не страшна, пока тебя не трахнет. Я ничего не боялся, пока не испытал. Попал под хорошую бомбёжку — стал бояться бомбёжки, и только её. Контузило арталётом — стал бояться арталётов. А вообще: «не бойся пули, которая свистит», раз ты её слышишь — значит, она уже не в тебя. Той единственной пули, которая тебя убьёт, — ты не услышишь. Выходит, что смерть как бы тебя не касается: ты есть — её нет, она придёт — тебя уже не будет.

На радиоле завели «Вернись ко мне, малютка!».

Для Галахова воспоминания Щагова и Голованова были безынтересны — и потому, что он не был свидетелем той операции, не знал Длугоседло и Кабата; и потому, что он был не из мелких корреспондентов, как Голованов, а из корреспондентов стратегических. Бои представлялись ему не вокруг одного изгнившего дощаного мостика или разбитой водокачки, но в широком обхвате, в генеральско-маршальском понимании их целесообразности.

И Галахов сбил разговор:

— Да. Война-война! Мы попадаем на неё нелепыми горожанами, а возвращаемся с бронзовыми сердцами... Эрик! А у вас на участке «Песню фронтовых корреспондентов» пели?

— Ну, как же!

— Нэра! Нэра! — позвал Галахов. — Иди сюда! «Фронтовую корреспондентскую» — споём, помогай!

Динэра подошла, трянула головой:

— Извольте, друзья! Извольте! Я и сама фронтовичка!

Радиолу выключили, и они запели втроём, недостаток музыкальности искупая искренностью:

От Москвы до Бреста  
Нет на фронте места...

Стягивались слушать их. Молодёжь с любопытством глазела на знаменитость, которую не каждый день увидишь.

От ветров и водки  
Хрипели наши глотки,  
Но мы скажем тем, кто упрекнёт...

Едва началась эта песня, Щагов, сохраняя всё ту же улыбку, внутренне охолодел, и ему стало стыдно перед теми, кого здесь, конечно, не было, кто глотал днепровскую волну ещё в Сорок Первом и грыз новгородскую хвойку в Сорок Втором. Эти сочинители мало знали тот фронт, который обратили теперь в святыню. Даже смелейшие из

корреспондентов всё равно от строевиков отличались так же непреходимо, как пашущий землю граф от мужика-пахаря: они не были уставом и приказом связаны с боевым порядком, и потому никто не возбранил им и не поставил бы в измену испуг, спасение собственной жизни, бегство с плацдарма. Отсюда зияла пропасть между психологией строевика, чьи ноги вросли в землю передовой, которому не деться никуда, а может быть тут и погибнуть,— и корреспондента с крыльшками, который через два дня поспеет на свою московскую квартиру. Да ещё: откуда у них столько водки, что даже хрипли глотки? Из пайка командарма? Солдату перед наступлением дают двести, сто пятьдесят...

Там, где мы бывали,  
 Нам танков не давали,  
 Репортёр погибнет — не беда,  
 И на «эмке» драной  
 С кобурой нагана  
 Первыми вступали в города!

Это «первыми вступали в города» были — два-три анекдота, когда, плохо разбираясь в топографической карте, корреспонденты по хорошей дороге (по плохой «эмка» не шла) заскакивали в «ничей» город и, как ошпаренные, вырывались оттуда назад.

А Иннокентий, со священною головою, слушал и понимал песню ещё по-своему. Войны он не знал совсем, но знал положение наших корреспондентов. Наш корреспондент совсем не был тем бедняго-репортёром, каким изображался в этом стихе. Он не терял работы, опоздав с сенсацией. Наш корреспондент, едва только показывал свою книжечку, уже был принимаем как важный начальник, как имеющий право давать установки. Он мог добыть сведения верные, а мог и неверные, мог сообщить их в газету вовремя или с опозданием,— карьера его зависела не от этого, а от правильного мировоззрения. Имея же правильное мировоззрение, корреспондент не имел большой нужды и лезть на такой плацдарм или в такое пекло: свою корреспонденцию он мог написать и в тылу.

Дотти охватом кисти обмыкала руку мужа и тихо сидела рядом, не претендуя ни говорить, ни понимать умные вещи — самое приятное из её поведений. Она только хотела сидеть послушною женой, и чтобы видели все, как они живут хорошо.

Не знала она, как скоро будут её трепать, как стращать — всё равно, возьмут ли Иннокентия тут, или он вырвется и останется там.

Пока она заботилась только о себе, была груба, властна, стремилась сокрушить, навязать свои низкие суждения — Иннокентий думал: и хорошо, пусть пострадает, пусть образуется, ей полезно.

Но вот вернулась мягкость её — и защемила к ней жалость. Недоумение.

Да всё щемило, всё не мило, и с этого глупого вечера пора была уходить — если б дома не ждало ещё худшее.

Из полутёмной комнаты, от маленького телевизора со сбивчивым искривлённым изображением, кой-как наладив его для желающих, Клара вышла в большую комнату и стала в дверях.

Она изумилась, как хорошо, ладком сидят Иннокентий с Нарой, и ещё раз поняла, что неисследимы и некасаемы все тайны замужества.

Этому вечеру, устроенному, по сути, для неё одной, она несколько не оказалась рада, но ранена им, сбита. Она металась всех встретить и занять — а сама пустела. Ничто не было ей забавно, никто из гостей интересен. И новое платье из матово-зелёного креп-сатена с блестящими резными накладками на воротнике, груди и запястьях, может быть так же мало ей шло, как все прежние.

Навязанное и принятое знакомство с этим квадратненьким критиком, без ласки, без нежности, не давало никакого ощущения под-

линности, даже противоестественное что-то. Полчаса он букой просидел на диване, полчаса по-пустому поспорил с Динэрой, потом пил с фронтовиками,— у Клары не было порыва захватить его, увлечь, оттащить.

А между тем пришла её последняя пора, и именно нынешняя, только сейчас. Наступило её предельное созревание, и если сейчас упустить, то дальше будет старше, хуже или ничего.

И неужели это сегодня утром? — сегодня утром! и в той же самой Москве! — был такой захватывающий разговор, восторженный взгляд голубоглазого мальчика, душу переворачивающий поцелуй — и клятва *ждать?* Это сегодня — она три часа плела корзиночку на ёлку?..

То не было на земле. То не было во плоти. То четверть века не могло овеществиться. То — приснилось.

## 65

На верхней койке, наедине то с круглым сводчатым потолком, как купол небес раскинувшимся над ним, то уткнувшись в разгорячённую подушку, которая была ему лоном клариного тела, Ростислав изнывал от счастья.

Уже полдня прошло от поцелуя, стомившего его с ног, а ему всё ещё было жаль осквернить свои счастливые губы пустой речью или жадной едой.

«Ведь вы не могли бы меня *ожидать!*» — сказал он ей.

И она ответила:

«Почему не могла бы? Могла бы...»

— ...Такие допотопности, как ты, только на *вере* и держатся,— рвался почти под ним сочный молодой голос, но с пригашенной звонкостью, чтоб слышно не было далеко.— Именно на *вере*, да на какой *вере* — *ложной!* А *науки* у вас отроду не было!

— Ну, знаешь, спор становится беспредметным. Если марксизм — не наука, что ж тогда наука? Откровения Иоанна Богослова? Или Хомяков о свойствах славянской души.

— Да не нюхали вы настоящей науки! Вы — не *жигители!* И поэтому совсем даже не знакомы с наукой! Предметы всех ваших рассуждений — призраки, а не вещи! А в истинной науке все положения с предельной строгостью выводятся из исходного!

— Золотко! Ком-иль-фончик! Так так у нас и есть всё экономическое учение выводится из товарной клетки. Вся философия — из трёх законов диалектики.

— Вещное знание подтверждается умением применять выводы на деле!

— Детка! Что я слышу? Критерий практики в гносеологии? Так ты стихийный,— Рубин вытянул крупные губы трубочкой и нарочно сюсюкал,— материалист! Хотя немного примитивный.

— Вот ты всегда ускользаешь от честного мужского спора! Ты опять предпочитаешь забрасывать собеседника птичьими словами!

— А ты опять не говоришь, а заклинаешь! Пифия! Марфинская пифия! Почему ты думаешь, что я горю желанием с тобой спорить? Мне это, может быть, так же скучно, как вдальбивать старику-песочнику, что Солнце не ходит вокруг Земли. Нехай себе дотрусывает, як знает!

— Тебе не хочется со мной спорить потому, что ты не умеешь спорить! Вы все не умеете спорить, потому что избегаете *инакомыслящих* — а чтоб не нарушить стройности мировоззрения! Вы собираетесь все свои и выкобениваете друг перед другом в толковании отцов учения. Вы набираетесь мыслей друг от друга, они совпадают и раскачиваются до размеров... Да на воле — (глухо) — при наличии ЧК, кто с вами осмелится спорить? Когда же вы попадаете в тюрьму, вот сюда,— (звонко) — здесь вы встречаетесь с настоящими

спорщиками! — и тут-то вы оказываетесь как рыба на песке! И вам остаётся только лаяться и ругаться.

— По-моему, до сих пор ты облаял меня больше, чем я тебя.

Сологдин и Рубин, как сворожённые своими вечными разногласиями, всё сидели у опустевшего именинника. Абрамсон давно ушёл читать «Монте-Кристо»; Кондрашён-Иванов — размышлять о величии Шекспира; Пряничков убежал листать прошлогодний у кого-то. «Огонёк»; Нержин отправился к дворнику Спиридону; Потапов, исполняя до конца обязанности хозяйки дома, помыл посуду, разнёс тумбочки и лёг, накрывшись подушкой от света и шума. Многие в комнате спали, другие тихо читали или переговаривались, и был тот час, когда уже сомневаешься — не пропустил ли дежурный выключить свет, заменив его на синий. А Сологдин и Рубин всё сидели на пустой постели Пряничкова в закутке у последней оставленной тумбочки.

Однако тянуло к спору одного Сологдина: у него сегодня был день побед, они бурлили в нём, не улегались. Да и вообще по его расписанию всякий воскресный вечер отводился забавам. А какая забава могла быть распотешней, чем — срамить и загонять в тупик защитника царствующего скудоумия!

Для Рубина же спор сегодня был тягостен, нелеп. Не завершённая только что работа была у него, а напротив — навалилась новая сверхтрудная задача, создание целой науки, за которую в одиночку приходилось приниматься завтра с утра, а для этого уже с вечера причёсать бы силы. Ещё звали его два письма: одно от жены, другое от любовницы. Когда же было и ответить, как не сегодня! — жене дать важные советы о воспитании детей, любовнице — нежные заверения. А ещё звали Рубина монголо-финский, испано-арабский и другие словари, Чапек, Хемингуэй, Лоуренс. И ещё сверх: то за комическим спектаклем суда, то за мелкими подколками соседей, то за именинным обрядом целый вечер он не мог добраться до окончательной разработки одного важного проекта общегражданского значения.

Но тюремные законы спора хватко держали его. Ни в одном споре Рубин не должен был быть побеждён, ибо представлял тут, на шаражке, передовую идеологию. И вот, как связанный, он вынужденно сидел с Сологдиным, чтобы втолковывать ему азбуку, доступную дошкольникам.

Тише и мягче Сологдин увещевал:

— Настоящий спор, говорю тебе из лагерного опыта, производится как поединок. По согласию выбираем посредника — хоть Глеба сейчас позовём. Берём лист бумаги, делим его отвесной чертой пополам. Наверху, через весь лист, пишем содержание спора. Затем, каждый на своей половине, предельно ясно и кратко, выражаем свою точку зрения на поставленный вопрос. Чтобы не было случайной ошибки в подборе слова — время на эту запись не ограничивается.

— Ты из меня дурака делаешь, — полусонно возразил Рубин, опуская сморщенные веки. Лицо его над бородой выражало глубочайшую усталость. — Что ж мы, до утра будем спорить?

— Напротив! — весело воскликнул Сологдин, блестя глазами. — В этом-то и замечательность подлинного мужского спора! Пустые словопроения и сотрясения воздуха могут тянуться неделями. А спор на бумаге иногда кончается в десять минут: сразу же становится очевидно, что противники или говорят о совершенно разных вещах, или ни в чём не расходятся. Когда же выявляется смысл продолжать спор — начинают поочерёдно записывать доводы на своих половинках листа. Как в поединке: удар! — ответ! — выстрел! — выстрел! И вот: невозможность увилывать, отказываться от употреблённых выражений, подменять слова словами — приводит к тому, что в две-три записи явно преступает победа одного и поражение другого.

— И время — не ограничивается?

— Для одержания истины — нет!



— А ещё на эскадронах мы драться не будем?

Воспламенённое лицо Сологодина омрачилось:

— Вот так я и знал. Ты первый насакаливаешь на меня...

— По-моему, ты первый!..

— ...даёшь мне всякие клички, у тебя их в сумке много: мракобес! попятник! — (он избегал иноземного непонятого слова «реакционер») — увенчанный прислужник — (значило: «дипломированный лакей») — поповщины! У вас набралось бранных слов больше, чем научных определений. Когда же я беру тебя за жабры и предлагаю честно спорить, — у тебя нет времени, нет охоты, ты устал! Однако, у вас нашлось время и охота перепотрошить целую страну!

— Уже полмира! — вежливо поправил Рубин. — Для дела у нас всегда есть время и силы. А — болтать языком? О чём нам с тобой? Уже между нами всё сказано.

— О чём? Предоставляю выбор тебе! — галантным широким жестом (род оружия! место дуэли!) ответил Сологдин.

— Так я выбираю: ни о чём!

— Это не по правилам!

Рубин затеребил отстругек чёрной бороды:

— По каким таким правилам? Что ещё за правила? Что за инквизиция? Пойми ты: чтобы плодотворно спорить, надо же иметь хотя какую-то общую основу, в каких-то основных чертах всё же иметь согласие...

— Вот, вот! я ж и говорю: чтоб оба признавали прибавочную стоимость и владычество рабочих! — (Так на Языке Предельной Ясности обозначалась «диктатура пролетариата».) — И спорили бы только о том, написал ли закорючку Маркс натошак или Энгельс после обеда.

Нет, невозможно было избавиться от этого издевателя! Рубин вскипел:

— Да пойми ты, пойми ты, что — глупо! Ты и я — о чём мы можем говорить? Ведь куда ни копни, за что ни возьмись — мы с тобой с разных планет. Ведь для тебя, например, дуэли и сейчас ещё лучший способ решения обид!

— А попробуй доказать обратное! — откинулся Сологдин, сияя. — Если бы были дуэли — кто бы решился клеветать? Кто бы решился отталкивать слабых локтями?

— Да твои ж драчуны! Лыцари!.. Для тебя вообще мрак Средних веков, тупое надменное рыцарство, крестовые походы — это зенит истории!

— Это — вершина человеческого Духа! — выпрямляясь, подтвердил Сологдин и помавал над головою пальцем. — Это великолепное торжество духа над плотью! Это с мечом в руках неустойчивое стремление к святыням!

— И выюки награбленного добра? Ты — докучный гидальго!

— А ты — библейский фанатик!.. то есть, *оержжумец!* — парировал Сологдин.

— Ведь для тебя Белинский ли, Чернышевский ли, все наши лучшие просветители — недоучившиеся поповичи?!

— Долгополье семинаристы! — ликуя, добавил Сологдин.

— Ведь для тебя не говорят уже — наша, но даже Французская революция, через сто пятьдесят лет после неё — тупой бунт черни, наваждение дьявольских инстинктов, истребление нации — не так ли?

— Разумеется!! И попробуй доказать обратное! Всё величие Франции кончается восемнадцатым веком! А что было после бунта? Пяток заблудившихся великих людей? Полное вырождение нации! Чехарда правительств на потеху всему миру! Бессилие! безволие! ничтожество!! праж!!!

Сологдин демонически захохотал.

— Дикарь! пещерный житель! — возмущался Рубин.

— И никогда уже Франция не поднимется! Разве только с помощью римской церкви!

— И вот ещё: для тебя Реформация — не естественное освобождение человеческого разума от церковных вериг, а...

— Безумное ослепление! лютеранское сатанинство! Подрыв Европы! Самоуничтожение европейцев! Хуже двух мировых войн!

— Ну вот... ну вот!.. Вот-вот!.. — вставлял Рубин. — Ты же — ископаемое! ихтиозавр! О чём нам с тобой спорить? Ты видишь сам, что запутался. Не лучше ли нам разойтись мирно?

Сологдин заметил движение Рубина встать и уйти. Этого никак нельзя было допустить! — забава уходила, забава ещё не состоялась. Сологдин тут же обуздался и неузнаваемо помягчел:

— Прости, Лёвушка, я погорячился. Конечно, час поздний, и я не настаиваю, чтоб мы брали из главных вопросов. Но давай проверим самый приём спора-поединка на каком-нибудь лёгком изящном предмете. Я дам тебе на выбор несколько *титлов* (это значило — тем). Хочешь спорить из словесности? Это — область твоя, не моя.

— Да ну тебя...

Как раз было время сейчас уйти, не подвергаясь бесславию. Рубин приподнялся, но Сологдин предупредительно шевельнулся:

— Хорошо! Титл нравственный: о значении гордости в жизни человека!

Рубин скучающе пожевал:

— Неужели мы гимназистки?

И — поднялся между кроватями.

— Хорошо, такой титл... — схватил его за руку Сологдин.

— Да пошёл ты... — отмахнулся Рубин, смеясь. — У тебя же всё в голове перевернуто! На всей Земле ты один остался, кто ещё не признаёт трёх законов диалектики. А из них вытекает — всё!

Сологдин светлой розовой ладонью отвёл это обвинение:

— Почему не признаю? Уже признаю.

— Ка-ак? Ты — признал диалектику? — Рубин засюсюкал трубочкой: — Цыпочка! Дай я тебя поцелую! Признал?

— Я не только её признал — я над ней *думал*! Я два месяца думал над ней по утрам! А ты — не думал!

— Даже думал? Ты умнеешь с каждым днём! Но тогда о чём же нам спорить?

— Как?! — возмутился Сологдин. — Опять не о чем? Нет общей основы — не о чем спорить, есть общая основа — не о чем спорить! Нет уж, теперь изволь спорить!

— Да что за насилие? О чём спорить?

Сологдин вслед за Рубиным тоже встал и размахивал руками:

— Изволь! Я принимаю бой на самых невыгодных для меня условиях. Я буду бить вас оружием, вырванным из ваших же грязных лап! О том будем спорить, что вы с а м и трёх ваших законов не понимаете! Пляшете, как людоеды вокруг костра, а что такое огонь — не понимаете. Могу тебя на этих законах ловить и ловить!

— Ну, поймай! — не мог не выкрикнуть Рубин, злясь на себя, но опять погрязая.

— Пожалуйста. — Сологдин сел. — Присаживайся.

Рубин остался на ногах.

— Ну, с чего б нам полегче? — смаковал Сологдин. — Законы эти — указывают нам *направление* развития? Или нет?

— Направление?

— Да! Куда будет развиваться... э-э... — он поперхнулся — ...процесс?

— Конечно.

— И в чём ты это видишь? Где именно? — холодно допрашивал Сологдин.

— Ну, в самих законах. Они отражают нам движение,

Рубин тоже сел. Они стали говорить тихо, по-деловому.

— Какой же именно закон даёт направление?

— Ну, не первый, конечно... Второй. Пожалуй, третий.

— У-гм. Третий — даёт? И как же его определить?

— Что?

— Направление, что!

Рубин нахмурился:

— Слушай, а зачем вообще эта схоластика?

— Это — схоластика? Ты не знаком с точными науками. Если закон не даёт нам числовых соотношений, да мы ещё не знаем и направления развития — так мы вообще ни черта не знаем. Хорошо. Давай с другой стороны. Ты легко и часто повторяешь: «отрицание отрицания». Но что ты понимаешь под этими словами? Например, можешь ты ответить: отрицание отрицания — всегда бывает в ходе развития или не всегда?

Рубин на мгновение задумался. Вопрос был неожидан, он не ставился так обычно. Но, как принято в спорах, не давая внешне понять заминки, поспешил ответить:

— В основном — да... Большею частью.

— Во-от!! — удовлетворённо взревел Сологдин.— У вас целый жаргон — «в основном», «большей частью»! Вы разработали тысячи таких словечек, чтоб не говорить прямо. Вам скажи «отрицание отрицания» — и в голове у вас отпечатано: зерно — из него стебель — из него десять зёрен. Оскоми́на. Надоело! Отвечай прямо: к о г д а «отрицание отрицания» бывает, а когда — н е бывает? Когда его нужно ожидать, а когда оно невозможно?

У Рубина следа не осталось его вялости, он подсобрался сам и собирал свои уже разбредшиеся мысли на этот никому не нужный, но всё равно важный спор.

— Ну, какое это имеет практическое значение — «когда бывает», «когда не бывает»?!

— Нич-чего себе! Какое *деловое* значение имеет один из трёх основных законов, из которых вы в с ё выводите! Ну, как с вами разговаривать?!

— Ты ставишь телегу впереди лошади! — возмутился Рубин.

— Опять жаргон! жаргон! То есть, *феня*...

— Телегу впереди лошади! — настаивал Рубин.— А мы, марксисты, считали бы позором выводить конкретный анализ явлений из готовых законов диалектики. И поэтому нам совсем не надо знать, «когда бывает», «когда не бывает»...

— А я вот тебе сейчас отвечу! Но ты сразу скажешь, что ты это знал, что это понятно, само собой разумеется... Так слушай: если получение прежнего качества вещи *возможно* движением в обратном направлении, то отрицания отрицания н е бывает! Например, если гайка туго завёрнута и надо её отвернуть — отворачивай. Тут обратный процесс, переход количества в качество, и никакого отрицания отрицания! Если же, двигаясь в обратном направлении, воспроизвести прежнее качество невозможно, то развитие м о ж е т пройти через отрицание, но и то: если в нём допустимы повторения. То есть: необратимые изменения будут отрицаниями лишь там, где возможно отрицание самих отрицаний!

— Иван — человек, не Иван — не человек,— пробормотал Рубин,— ты как на параллельных брусьях...

— С гайкой. Если, заворачивая её, ты сорвал резьбу, то отворачивая, уже не вернёшь ей прежнего качества — целой резьбы. Воспроизвести это качество теперь можно только так: бросить гайку в переплав, потом прокатать шестигранный прут, потом проточить и наконец нарезать новую гайку.

— Слушай, Митяй,— миролюбиво остановил его Рубин,— ну нельзя же серьёзно излагать диалектику на гайке.

— Почему нельзя? Чем гайка хуже зерна? Без гайки ни одна машина не держится. Так вот, каждое из перечисленных состояний необратимо, оно отрицает предыдущее, а новая гайка по отношению к старой, испорченной, явится отрицанием отрицания. Просто? — И он вскинул подстриженную французскую бородку.

— Постой! — усмотрел Рубин. — В чём же ты меня опроверг? У тебя же самого и получилось, что третий закон даёт направление развития.

С рукой у груди Сологдин поклонился:

— Если бы тебе, Лёвчик, не была свойственна быстрота соображения, я бы вряд ли имел честь с тобой беседовать! Да, даёт! Но то, что закон даёт — надо научиться брать! Вы — умеете? Не молиться закону — а работать с ним? Вот ты вывел, что он направление даёт. Но отвечим: всегда ли? В неживой природе? в живой? в обществе? А?

— Ну, что ж, — раздумчиво сказал Рубин. — Может быть во всём этом и есть какое-то рациональное зерно. Но вообще-то — словоблудие-с, милостивый государь.

— Словоблуды — вы! — с новой запальчивостью отсек дланью Сологдин. — Три закона! Три в а ш и х закона! — он как мечом размахивал в толпе сарацин. — А вы ни одного не понимаете, хотя всё из них выводите!..

— Да говорят тебе: не выводим!

— Из законов — не выводите? — изумился Сологдин, остановился в рубке.

— Нет!

— Так что они у вас — пришей кобыле хвост? А откуда вы тогда взяли — в какую сторону будет развиваться общество?

— Слушай! — Рубин стал вдалбливать нараспев. — Ты — дуба кусок или человек? Все вопросы решаются нами из конкретного анализа материала, разумеешь? Любой общественный вопрос — из анализа классовой обстановки.

— Так что они вам? — разорвался Сологдин, не сообразуясь с тишиной комнаты, — три закона? — вообще не нужны?!

— Почему, очень нужны, — оговорил Рубин.

— А зачем?! Если из них ничего не выводится? Если даже и направления развития из них получать не надо, это словоблудие? Если требуется только как попугаю повторять «отрицание отрицания» — так на чёрта они нужны?..

...Потапов, который тщетно пытался укрыться под подушкой от их всё возрастающего шума, наконец сердито сорвал подушку с уха и приподнялся на постели:

— Слушайте, друзья! Самим не спится — уважайте сон других, если уж... — и он показал пальцем вверх наискосок, где лежал Руська, — если не можете найти более подходящего места.

И рассерженность Потапова, любящего размеренный распорядок, и устоявшаяся тишина всей полукруглой комнаты, которая стала им теперь особенно слышна, и окружение стукачами (впрочем, Рубин свои убеждения мог выкрикивать безбоязненно) — заставили бы очнуться всяких трезвых людей.

Эти же двое очнулись лишь чуть-чуть. Их долгий — не первый и не десятый — спор только начинался. Они поняли, что нужно выйти из комнаты, но не могли уже ни смолкнуть, ни расцепиться. Они уходили, по дороге мечта друг в друга словами, пока дверь коридора не поглотила их.

И почти сразу после их ухода белый свет погас, зажётся ночной синий.

Руська Доронин, чьё ухо бодрствовало ближе всех к их спору, был, однако, далее всех от того, чтобы собирать на них «материал». Он слышал недосказанный намёк Потапова, понял его, хотя и не ви-

дел устремлённого пальца — и испытал прилив нерешимой обиды, вызываемой у нас упреками людей, чьё мнение мы уважаем.

Когда он затевал эту острую двойную игру с оперативниками, он всё предвидел, он провёл бдительность врагов, был теперь накануне зримого торжества со ста сорока семью рублями, — но он был беззащитен против подозрения друзей! Его одинокий замысел, именно из-за того, что был так необычен и таен, — предавался презрению и позору. Его удивляло, как эти зрелые, толковые, опытные люди не имели достаточной широты души, чтобы понять его, поверить, что он — не предатель.

И, как всегда бывает, когда мы теряем расположение людей, — нам становится втрое дороже тот, кто продолжает нас любить.

А если это — ещё и женщина?..

Клара!.. Она поймёт! Он завтра же откроется ей в своей авантюре — и она поймёт.

И безо всякой надежды, да и безо всякого желания уснуть, он извивался в своей распаленной постели, то вспоминая пытливые кларины глаза, то всё более уверенно нащупывая план побега под проволоку овражком до шоссе, а там сразу автобусом в центр города.

А дальше там поможет Клара.

В семимиллионной Москве человека найти трудней, чем во всём обнажённом Воркутинском крае. В Москве-то и убежать!..

## 66

Дружбу Нержина с дворником Спиридоном Рубин и Сологдин благодушно называли «хождением в народ» и поисками той самой великой сермяжной правды, которую ещё до Нержина тщетно искали Гоголь, Некрасов, Герцен, славянофилы, народники, Достоевский, Лев Толстой и, наконец, оболганный Васисуалий Лоханкин.

Сами же Рубин и Сологдин не искали этой сермяжной правды, ибо обладали Абсолютной прозрачной истиной.

Рубин хорошо знал, что понятие «народ» есть понятие вымышленное, есть неправомерное обобщение, что всякий народ разделён на классы, и даже классы меняются со временем. Искать высшее понимание жизни в классе крестьянства было занятием убогим, бесплодным, ибо только пролетариат до конца последователен и революционен, ему принадлежит будущее, и лишь в его коллективизме и бескорыстии можно почерпнуть высшее понимание жизни.

Не менее хорошо знал и Сологдин, что «народ» есть безразличное тесто истории, из которого лепятся грубые, толстые, но необходимые ноги для Колоса Духа. «Народ» — это общее обозначение совокупности серых, грубых существ, беспросветно тянущих упряжку, в которую они впряжены рождением и из которой их освобождает только смерть. Лишь одинокие яркие личности, как звенящие звёзды разбросанные на тёмном небе бытия, несут в себе высшее понимание.

И оба знали, что Нержин переболеет, повзрослеет, одумается.

И, действительно, Нержин перебивал и пропутался уже во многих крайностях.

Изнывая от боли за *страдающего брата*, русская литература прошлого века создала в нём, как во всех своих первочитателях, — в серебряном окладе и с нимбом седовласый образ Народа, соединившего в себе мудрость, нравственную чистоту, духовное величие.

Но это было отдельно — на книжной полке и где-то там — в деревнях, на полях, на перепутьях девятнадцатого века. Небо же развернулось — двадцатого века, и мест этих под небом давно на Руси не было.

Не было и никакой Руси, а — Советский Союз, и в нём — большой город. В городе рос юноша Глеб, на него сыпались успехи из рога наук, он замечал, что соображает быстро, но есть соображающие и по-

быстрее него и подавляющие обилием знаний. И Народ продолжал стоять на полке, а понимание было такое: только те люди значительны, кто носит в своей голове груз мировой культуры, энциклопедисты, знатоки древностей, ценители изящного, мужи многообразованные и разносторонние. И надо принадлежать к избранным. А неудачник пугает и плачет.

Но началась война, и Нержин сперва попал ездovým в обоз и, давясь от обиды, неуклюжий, гонялся за лошадьми по выгону, чтоб их обратить или вспрыгнуть им на спину. Он не умел ездить верхом, не умел ладить упряжи, не умел брать сена на вилы, и даже гвоздь под его молотком непременно изгибался, как бы от хохота над неумелым мастером. И чем горше доставалось Нержину, тем гуще ржал над ним вокруг небритый, матерщинный, безжалостный, очень неприятный Народ.

Потом Нержин выбился в артиллерийские офицеры. Он снова помолодел, половчел, ходил, обтянутый ремнями, и изящно помахивал сорванным прутиком, другой ноши у него не бывало. Он лихо подъезжал на подножке грузовика, заодно матерился на переправах, в полночь и в дождь был готов в поход и вёл за собой послушный, преданный, исполнительный и потому весьма приятный Народ. И этот его собственный небольшой народ очень правдоподобно слушал его политбеседы о том большом Народe, который встал единой грудью.

Потом Нержина арестовали. В первых же следственных и пересыльных тюрьмах, в первых лагерях, тупым смертным боем ударивших по нему, он ужаснулся изнанке некоторых «избранных» людей: в условиях, где только твёрдость, воля и преданность друзьям являли сущность арестанта и решали участь его товарищей,— эти тонкие, чуткие, многообразованные ценители изящного оказывались частенько трусами, быстрыми на сдачу, а при их образованности — отвратительно изощрёнными в оправданиях сделанной подлости; такие быстро вырождались в предателей и попрошаек. И самого себя Нержин увидел едва не таким, как они. И он отшатнулся от тех, к кому прежде считал за честь принадлежать. Теперь он стал ненавистно высмеивать, чему поклонялся прежде. Теперь он стремился опроститься, отбить у себя последние навыки интеллигентской вежливости и размазанности. В пору беспроектных неудач, в провалах своей перешибленной судьбы, Нержин счёл, что ценны и значительны только те люди, кто своими руками строгаёт дерево, обрубает металл, кто пашет землю и лёт чугун. У людей простого труда Нержин старался теперь перенять и мудрость всё умеющих рук и философию жизни. Так для Нержина круг замкнулся, и он пришёл к моде прошлого века, что надо идти, спускаясь в народ.

Но за замкнутым кругом шёл ещё хвостик спирали, недоступный для наших дедов. Как тем, образованным барам XIX столетия, образованному ээку Нержину для того, чтобы спускаться в народ, не надо было переодеваться и нащупывать лестничку: его просто турнули в народ, в изорванных ватных брюках, в заляпанном бушлате, и велели выработать норму. Судьбу простых людей Нержин разделил не как снисходительный, всё время разнящийся и потому чужой барин, но — как сами они, не отличимый от них, равный среди равных.

И не для того, чтобы подладиться к мужикам, а чтобы заработать обрубок сырого хлеба на день, пришлось Нержину учиться и вколачивать гвоздь струною в точку и пристрагивать доску к доске. И после жестокой лагерной выучки с Нержина спало ещё одно очарование. Нержин понял, что спускаться ему было дальше незачем и не к кому. Оказалось, что у Народа не было перед ним никакого кондового сермяжного преимущества. Вместе с этими людьми садясь на снег по окрику конвоя и вместе прячась от десятника в тёмных закоулках строительства, вместе таская носилки на морозе и суша портянки в

бараке,— Нержин ясно увидел, что люди эти ничуть не выше его. Они не стойче его переносили голод и жажду. Не твёрже духом были перед каменной стеной десятилетнего срока. Не предусмотрительней, не изворотливей его в крутые минуты этапов и шмонов. Зато были они слепей и доверчивей к стукачам. Были падче на грубые обманы начальства. Ждали амнистии, которую Сталину было труднее дать, чем околеть. Если какой-нибудь лагерный держиморда в хорошем настроении улыбался — они спешили улыбаться ему навстречу. А ещё они были много жадней к мелким благам: «дополнительной» прокислой стограммовой пшённой бабке, уродливым лагерным брюкам, лишь бы чуть поновей или попестрей.

В большинстве им не хватало той точки зрения, которая становится дороже самой жизни.

Оставалось — быть самим собой.

Отболев в который раз каким увлечением, Нержин — окончательно или нет? — понял Народ ещё по-новому, как не читал нигде: Народ — это не все, говорящие на нашем языке, но и не избранцы, отмеченные огненным знаком гения. Не по рождению, не по труду своих рук и не по крылам своей образованности отбираются люди в народ.

А — по душе.

Душу же выковыривает себе каждый сам, год от году.

Надо стараться закалить, отграничить себе такую душу, чтобы стать человеком. И через то — крупницей своего народа.

С такую душой человек обычно не преуспевает в жизни, в должностях, в богатстве. И вот почему *народ* преимущественно располагается не на верхах общества.

## 67

Рыжего круглоголового Спиридоном, на лице которого без привычки никак было не отличить почтения от насмешки, Нержин выделил сразу по его приезду на шарашку. Хотя были тут ещё и плотники, и слесари, и токари, но чем-то ядрёным разительно отличался от них Спиридон, так что не могло быть сомнения, что он-то и есть тот представитель Народа, у которого следовало черпать.

Однако, Нержин испытал затруднённость: не мог найти повода познакомиться со Спиридоном ближе, ещё не было о чём им говорить, не встречались они по работе и жили врозь. Небольшая группа рабочих жила на шарашке в отдельной комнате, отдельно проводила досуг, и когда Нержин стал нахаживать к Спиридону — Спиридон и его соседи по койкам дружно определили, что Нержин — волк и рыскает за добычей для кума.

Хотя сам Спиридон считал своё положение на шарашке последним, и нельзя себе было представить, зачем бы оперуполномоченные его обкладывали, но, так как они не брезгают никакой падалью, следовало остерегаться. При входе Нержина в комнату Спиридон притворно озарялся, давал место на койке и с глупым видом принимался рассказывать что-нибудь за-тридцать-земельное от политики: как трупную рыбу бьют остями, как её в тиховодье рогаткой лозовой цепляют под ябры, а и ловят в сетя; или как он ходил «по лосей, по медведя рудого» (а чёрного с белым галстуклом медведя остерегайся!); как травой медуницей змей отгоняют, дятловка же трава для косьбы больно хороша. Ещё был долгий рассказ, как в двадцатые годы ухаживал он за своей Марфой Устиновной, когда она в сельском клубе в драмкружке играла; её прочили за богатого мельника, она же по любви договорила сбежать со Спиридоном — и на Петров день он на ней женился украдом.

При этом малоподвижные больные глаза Спиридоном из-под густых рыжеватых бровей добавляли: «Ну, что ходишь, волк? Не разживёшь-ся, сам видишь».

И действительно, любой стукач давно б уж отчаялся и покинул неподатливую жертву. Ничьего любопытства бы не хватило терпеливо ходить к Спиридону каждый воскресный вечер, чтобы слушать его охотничьи откровения. Но Нержин, по началу заходивший к Спиридону с застенчивостью, именно Нержин, ненасытно желавший здесь, в тюрьме, разобраться во всём, не додуманном на воле, — месяц за месяцем не отставал и не только не утомлялся от рассказов Спиридона, но они освежали его, дышали на него сыровой приречной зарёю, обдувающим дневным полевым ветерком, переносили в то единственное в жизни России семилетие — семилетие НЭПа, которому ничего не было равного или сходного в сельской Руси — от первых починков в Дремучем бору, ещё прежде Рюриков, до последнего разукрупнения колхозов. Это семилетие Нержин захватил несмышлёнышем и очень жалел, что не родился пораньше.

Отдаваясь тёплому оскрипшему голосу Спиридона, Нержин ни разу лукавым вопросом не попытался перескочить на политику. И Спиридон постепенно начал доверять, неизнудно и сам окунался в прошлое, хватка постоянной настороженности отпускала, глубокопрорезанные бороздки его лба разморщивались, красноватое лицо осветлялось тихим свечением.

Только потерянное зрение мешало Спиридону на шарашке читать книги. Приноровляясь к Нержину, он иногда вворачивал (чаще — не статьи) такие слова, как «принцип», «пíриод» и «аналогично». В те времена, когда Марфа Устиновна играла в сельском драмкружке, он там слышал со сцены и запомнил имя Есенина.

— Есенина? — не ожидал Нержин. — Вот здорово! А у меня он здесь на шарашке есть. Это ведь редкость теперь. — И принёс маленькую книжечку в суперобложке, осыпанной изрезными кленовыми осенними листьями. Ему было очень интересно, неужели сейчас свершится чудо: полуграмотный Спиридон поймёт и оценит Есенина.

Чуда не совершилось, Спиридон не помнил ни строчки из слышанного прежде, но живо оценил «Хороша была Танюша», «Молотьбу».

А через два дня майор Шикин вызвал Нержина и велел сдать Есенина на цензурную проверку. Кто донёс — Нержин не узнал. Но вчужью пострадав от кума и потеряв Есенина как бы из-за Спиридона, Глеб окончательно вошёл в его доверие. Спиридон стал звать его на «ты», и беседовали они теперь не в комнате, а под пролётом внутри-тюремной лестницы, где их никто не слышал.

С тех пор, последние пять-шесть воскресений, рассказы Спиридона замерцали давно желанной глубиной. Вечер за вечером перед Нержиным прошла жизнь одной единственной песчинки — русского мужика, которому в год революций было семнадцать лет, и перешло уже сорок, когда начиналась война с Гитлером.

Какие водопады не низвергались через него! какие валы не обтачивали рыжий окатыш головы Спиридона! В четырнадцать лет он остался хозяином в доме (отца взяли на германскую, там и убили) и пошёл со стариками на покос («за полдня косить научился»). В шестнадцать работал на стекольном заводе и ходил под красными знамёнами на сходку. Как землю объявили крестьянской — кинулся в деревню, взял надел. Этот год он с матерью и с братишками, с сестрёнками славно спину наломал и к Покрову был с хлебушком. Только после Рождества стали тот хлеб сильно для города потягивать — сдай и сдай. А после Пасхи и год спиридонов, кому восемнадцать полных, пошёл девятнадцатый, — дёрнули в Красную Армию. Идти в армию от земли никакого расчёта Спиридону не было, и он с другими парнями подался в лес, и там они были зелёными («нас не трогай — мы не тронем»). Потом всё ж и в лесу стало тесно, и угодили они к белым (тут белые наскочили ненадолго). Допрашивали белые, нет ли среди их комисса-



ра; такого не было, а жоака их стукнули для остратки, остальным велели надеть кокарды трёхцветные и дали винтовки. А вообще-то порядки у белых были старые, как и при царе. Повоевали маненько за белых — забрали в плен красные (да и не отбивались особо, сами подались). Тут красные расстреляли офицеров, а солдатам велели с шапок кокарды снять, надеть бантики. И утвердился Спиридон в красных до конца гражданской. И в Польшу он ходил, а после Польши их армия была трудовая, никак домой не пускали, и ещё потом на масленой повезли их к Питеру и на первой неделе поста ходили они прямо по морю по льду, форт какой-то брали. Только после этого Спиридон домой вырвался.

Воротился он в деревню весной и накинудся на землю родную, отвоёванную. Воротился он с войны не как иные — не разбалованный, не ветром подбитый. Он быстро окреп («кто хозяин хорош — по двору пройди, рубль найдёшь»), женился, завёл лошадей...

В ту пору у властей у самих ум расступался: подпирались-то всё бедняками, но людям хотелось не беднеть, а богатеть, и бедняки тоже к обзаводу тянулись, — кто работать любит, конечно. И пустили тогда по ветру слово такое: *интенсивник*. Слово это значило: кто хозяйство хочет вести крепко, но не на батраках, а — по науке, со счётом. И стал тогда Спиридон Егоров с женой помощью — интенсивник.

«Хорошо жениться — полжизни», — всегда говорил Спиридон. Марфа Устиновна была главное счастье и главный успех его жизни. Из-за неё он не пил, сторонился пустых сборищ. Она приносила ему детей-кажегодков, двух сыновей, потом дочь, — но рождение их ни на пядень не отрывало её от мужа. Она свою пристяжку тянула — сколотить хозяйство! Была она грамотна, читала журнал «Сам себе агроном» — и так Спиридон стал интенсивником.

Интенсивников приласкивали, им давали суды, семена. К успеху шёл успех, к деньгам деньги, уж затевали они с Марфой строить кирпичный дом, не ведая, что доброденствию такому подходит конец. Спиридон в почёте был, в приэидим его сажали, герой гражданской войны и в коммунистах уже.

И тут-то они с Марфой начисто сгорели — еле детей выхватили из огня. И стали — голотá, ничто.

Но горевать долго им не привелось. Еле стали они из погорельцев выдираться, как прикатило из далёкой Москвы — раскулачивание. И всех тех интенсивников, без разума выращенных Москвой же, теперь без разума же перекропляли в кулаки и изводили. И порадовались Марфа со Спиридоном, что не успели кирпичного дома отгротать.

В который раз судьба человеческая закидывала загадки, и беда обёртывалась прибытком.

Вместо того, чтобы под конвоем ГПУ ехать умирать в тундру, Спиридон Егоров был сам назначен «комиссаром по коллективизации» — сбивать народ в колхозы. Он стал носить устрашающий револьвер на бедре, сам выгонял из дому и отправлял с милицией, наголо без скарбу, кулаков и не кулаков, — кого нужно было по разнарядке.

И на этом, как и на других изломах своей доли, Спиридон не доступен был лёгкому пониманию и классовому анализу. Нержин теперь не упрекал, не разверживал Спиридона, но можно было понять, что мутно сошлось у того на душе. Стал он тогда пить и пил так, как если б вся деревня раньше была его, а теперь он всю спускал. Он принял чин комиссара, но распорядился плохо. Он не доглядывал, что крестьяне скот вырезают, приходят в колхоз без рога живого, без живого копыта.

За всё то Спиридона изгнали с комиссаров, да на этом не остановились, а сразу же велели ему руки взять назад, и с обнажёнными

наганами, один милиционер сзади, другой спереди, повели его в тюрьму. Судили его быстро («у нас весь период никого долго не судят»), дали ему десять лет за «экономическую контрреволюцию» и отправили на Беломорканал, а когда кончили Беломор — на канал Москва — Волга. На каналах Спиридон работал то землекопом, то плотником, пайку получал большую, и только за Марфу, оставленную с тремя детьми, ныла его душа.

Потом Спиридону вышел пересуд. Экономическую контрреволюцию ему сменили на «злоупотребление» и тем он из *социально-чуждых* стал *социально-близкий*. Его вызвали и объявили, что теперь доверяют ему винтовку *самоохраны*. И хотя ещё вчера Спиридон, как порядочный эзк, бранил конвоиров последними словами, а самоохранников — ещё круче, — сегодня он взял ту протянутую ему винтовку и повёл своих вчерашних товарищей под конвоем, потому что это уменьшало срок его заключения и давало сорок рублей в месяц для отсылки домой.

Вскоре начальник лагеря, у которого было *две ромбы*, поздравил его с освобождением. Спиридон документы выписал не в колхоз, а на завод, забрал туда Марфу с детьми и в короткое время уже попал на заводскую красную доску как один из лучших стеклодувов. Он гнал сверхурочные, чтобы наверстать всё, что потеряно было с самого пожара. Уже их мысли были о маленькой хатёнке с огородом и как учить дальше детей. Детям было пятнадцать, четырнадцать и тринадцать, когда грохнула война. Очень быстро фронт стал подходить к их посёлку. Власти, кого успевали, угоняли на восток, и весь их посёлок успели согнать.

На каждом повороте спиридоновой судьбы Нержин теперь притаивался, ожидая, что ещё выкинет Спиридон. Он уж предполагал, не останется ли Спиридон ждать немцев, тая злость за лагерь. Отнюдь! Спиридон вёл себя поначалу как в лучших патриотических романах: что было добра — закопал в землю, и как только оборудование завода отправили вагонами, а рабочим раздали телеги, — посадил на тую телегу троих детей и жёнку и — «лошадь чужая, кнут не свой, погоняй не стой!» — от Почепа отступал до самой Калуги, как многие тысячи других.

Но под Калугою что-то хрустнуло, куда-то их поток разбился, уже стали их не тысячи, а только сотни, да и то мужчин намерялись в первом же военкомате забрать в армию, а чтоб семьи ехали дальше сами.

И вот тут-то, лишь только ясно стало, что с семьёй ему теперь подкатило расставаться, Спиридон, так же нимало не сомневаясь в своей правоте, отбил в лесу, переждал линию фронта — и на той же телеге, и на лошади той же, но уже не безразлично-казённой, а хранимой, своей — повёз семью назад, от Калуги до Почепа и вернулся в исконную свою деревню и поселился в свободной чьей-то хате. И тут сказали: из колхозной бывшей земли бери сколько можешь обработать — обрабатывай. И Спиридон взял, и стал пахать её и засеивать безо всяких угрызений совести и не следя за сводками войны, работал уверенно и ровно, как если б то шли далёкие годы, когда ни колхозов не было ещё, ни войны.

Приходили к нему партизаны, говорили — собирайся, Спиридон, воевать надо, а не пахать. «Кому-то и пахать», — отвечал Спиридон. И от земли — не пошёл. В партизаны изнудом гнали, объяснял он теперь, это не то, чтоб стар и млад не могли ломтя хлеба прожевать, а дай им нож в зубы ползти на немца, — нет, спускали с парашютами московских инструкторов, и те выгоняли крестьян угрозами или ставили безысходно.

Подноровили партизаны убить немецкого мотоциклиста, да не за околицей, а посередке деревни их. Знали партизаны немецкие правила. Прикатили сразу немцы, всех выгнали из домов и дочиста сожгли всюю деревню.

И опять не засомневался ничуть Спиридон, что пришла пора считаться с немцами. Отвёз он Марфу с детьми к её матери и тотчас пошёл к тем самым партизанам в лес. Ему дали автомат, гранаты, и он добросовестно, со смёткой, как работал на заводе или на земле, подстреливал немецкие дозоры у полотна, отбивал обозы, помогал мостики рвать, а по праздникам ходил к семье. И получалось, что как-никак, а он — с семьёй.

Но возвращался фронт. Хвастали даже, что Спиридону дадут партизанскую медаль, как наши придут. И объявлено было, что теперь примут их в Советскую армию, конец их лесной жизни.

А из того села, где Марфа теперь жила, струнули немцы всех жителей, пацан прибежал, рассказал.

И в момент, не дожидаясь наших и ничего больше не дожидаясь, никому не сказавшись, Спиридон покинул автомат и две диски и погнался за своею семьёй. Он втёрся в их поток как цивилизный и опять вровень с той же телегой и похлёстывая тую же лошадку, подчиняясь такой же неоспоримой правоте нового решения, зашагал по запруженной дороге от Почепа до Слуцка.

Тут Нержин только брался за голову и раскачивался.

— Ай-я-яй! Что ж за чудо получается, Спиридон Данилыч? Как это мне всё в голову уместить? Ты ж на Кронштадт по льду шёл, ты нам советскую власть устанавливал, ты и в колхозы загонял...

— А ты — не устанавливал?

Нержин терялся. Принято было, что устанавливали советскую власть отцы, что тогда, в семнадцатом-восемнадцатом, было это особенно торжественно или особенно обдумывалось каждым.

Усмешка явственной обозначалась на губах Спиридона:

— Ты-то устанавливал — не заметил? — донимал он.

— Не заметил, — шептал Нержин, перебирая в памяти три года своего фронтового командования.

— Так вот и бывает... Сеём рожь, а вырастает лебеда...

Но дальше, дальше надо было ставить социальный эксперимент! — и Нержин только спрашивал:

— И что ж дальше, Данилыч?

Что ж дальше! Мог, конечно, опять в лес отбиться и отбивался раз, да встреча лихая вышла с бандитами, еле спас от них дочь. И ещё поехал с потоком. А потом уж стал и думать, что наши ему не поверят, всё равно припомнят, что в партизаны он не сразу пошёл и убёг оттуда, и уж семь бед, один ответ, и доехал до Слуцка. А там сажали на поезда и давали талоны на питание аж до Рейнской области. Сперва прошелестел такой слух, что с детьми брать не будут — и Спиридон уже смекал, как поворачивать. Но взяли всех — и он бросил ни за так телегу с лошадьёю и уехал. Под Майнцем его с мальчишками определили на завод, а жену с дочкой поставили работницами к бауэрам.

И вот на том заводе однажды немецкий мастер ударил сына спиридонова младшенького. Спиридон не думал долго, а с топором подскочил и замахнулся на мастера. По законам германского райха, дойди только до законов, замах такой значил — расстрел Спиридону. Но мастер остыл, подошёл к бунтовщику и сказал, как передавал теперь Спиридон:

— Я сам — фатер. Я тебя — ферштэе.

И не доложил дальше! И узнал вскоре Спиридон, что в то самое утро мастер получил извещение о смерти сына в России.

Окалённый, с околоченными боками, Спиридон, вспоминая того рейнского мастера, не стыдясь, отирал слезу рукавом:

— После этого я на немцев не сердюся. Что хату сожгли и всё зло этот фатер снял. Ведь проникся же человек! — вот тебе и немец...

Но это было из редких, из очень редких потрясений в своей работе, колебнувшее дух упрямого рыжего мужика. Все остальные тяжёлые годы, во всех жестоких выныриваниях и окунаниях, никакие раздумки не обессиливали Спиридона в минуты решений. И так своей повседневной методикой Спиридон опровергал лучшие страницы Монтеня и Шаррона.

Несмотря на ужасающее невежество и беспонятность Спиридона Егорова в отношении высших порождений человеческого духа и обществу — отличались равномерной трезвостью его действия и решения. И если знал он, что все деревенские собаки перестреляны немцами, то, хоть знал это не специально, а было это с ним, и отрубленную коровью голову клал спокойно в лёгкий снежок, чего бы никак не сделал в другое время. И хоть никогда, конечно, не изучал он ни географии, ни немецкого языка, но когда худо привелось им на постройке окопов в Эльзасе (ещё и американцы с самолётов их поливали) — он убежал оттуда со старшим сыном и, никого не спрашивая и не читая немецких надписей, днём перетаиваясь, одними ночами, по неизвестной земле, без дорог, прямо, как летает ворона, просёк девяносто километров и дом в дом подкрался к тому бауэру под Майнцем, у которого работала жена. Там они и досидели в бункере в саду до прихода американцев.

Ни один из вечно-проклятых вопросов о критерии истинности чувственного восприятия, об адекватности нашего познания вещам в себе — не терзал Спиридона. Он был уверен, что видит, слышит, обоняет и понимает всё — неоплошно.

Так же и в учении о добродетели всё у Спиридона было бесшумно и одно к одному подогнано. Он никого не оговаривал. Никогда не лжесвидетельствовал. Сквернословил только по нужде. Убивал только на войне. Дрался только из-за невесты. Ни у какого человека он не мог ни лоскутка, ни крошки украсть, но со спокойным убеждением воровал у государства всякий раз, как выпадала возможность. А что, как он рассказывал, до женитьбы «клевал по бабам», — так и властитель дум наших Александр Пушкин признавался, что заповедь «не возжелай жены ближнего твоего» ему особенно тяжела.

И сейчас, в пятьдесят лет, заключённый, почти слепой, очевидно обречённый здесь, в тюрьме, умереть, — Спиридон не выказывал движения к святости, или к унынию, или к раскаянию, или тем более к исправлению (как это выражалось в названии лагерей), — но со старательной метлою своей в руках каждый день от зари до зари мёл двор и тем отстаивал свою жизнь перед комендантом и оперуполномоченным.

Какие б ни были власти — с властями жил Спиридон всегда в раскосо.

Что любил Спиридон — это была земля.

Что было у Спиридона — это было семья.

Понятия «родина», «религия» и «социализм», не употребительные в будничном повседневном разговоре, были словно совершенно неизвестны Спиридону — уши его будто залегли для этих слов, и язык не изворачивался их употребить.

Его родиной была — семья.

Его религией была — семья.

И социализмом тоже была семья.

А всех сеятелей разумного-доброе-вечного, писателей и ораторов, называвших Спиридона богоносцем (да он о том не знал), священников, социал-демократов, вольных агитаторов и штатных пропагандистов, белых помещиков и красных председателей, кому на протяжении жизни было дело до Спиридона, он, по вынужденности беззвучно, в сердцах посылал:

— А не пошли бы вы на...?!

Над их головами ступени деревянной лестницы гудели и поскрипывали от переступов и шарканья ног. Иногда просыпался сверху истолчённый прах и крохи мусора, но ни Спиридон, ни Нержин почти их не замечали.

Они сидели на неметенном полу в своих нечистых, давно заношенных, с задубившимися задами парашютных синих комбинезонах, охватив колени руками. Сидеть так, не подмостясь чурками, было не очень удобно, их малость запрокидывало, — оттого плечами и спинами они упирались в косо идущие доски, снизу пришитые к лестнице. Глаза же их смотрели прямо вперёд, но тоже упирались — в облупленную боковую стену уборной.

Нержин, как всегда, когда нужно было что-то осознать, обнять мыслью, часто курил — и издавленные окурки складывал рядом у полусгнившего плитуса, от которого вверх до лестницы шёл треугольник белёной, но грязной стены. Спиридон же, хотя и получал, как все, папиросы «беломорканал», ещё раз своей обложкой напоминавшие ему о гиблой работе в гиблом краю, где едва не сложил он костей, — твёрдо не курил, подчиняясь запрету германских врачей, вернувших ему три десятых зрения одним глазом, вернувших свет.

К немецким врачам Спиридон сберёт благодарность и почтение. Они ему, уже безнадежно слепому, вгоняли большую иглу в хребет, долго держали под повязками с мазью на глазах, потом сняли повязки в полутёмной комнате и велели — «смотри!». И мир забрезжил! При свете тусклого ночника, казавшегося Спиридону ярким солнцем, он одним глазом различил тёмный очерк головы своего спасителя и, прижав, поцеловал его руку.

Нержин вообразил себе всегда сосредоточенное, а в этот миг смягчённое лицо глазного доктора с Рейна. Врач смотрел на освобождённого от повязок рыжего дикаря из восточных степей, чей тёплый голос, чья благодарность взахлёб говорили, что дикарь этот, возможно, был предназначен к лучшей жизни и не по своей вине стал таким.

А поступок был с точки зрения немцев хуже, чем дикарский.

Уже после конца войны Спиридон со всей семьёй жил в американском лагере перемещённых лиц. И повстречался с ним односельчанин, сват, ещё иначе «сват-сучка» за какие-то дела при сколачивании колхоза. С этим сватом-сучкой они вместе ехали до Слупца, а в Германии их раскидали. И вот теперь надо было благополучно встречу обмыть, и другого ничего не было — принёс сват бутылку спирту. Спирт был непробованный, и надпись немецкая не прочтена — зато бесплатно им достался. Что ж, и осмотрительный, недоверчивый, избегнувший тысячи опасностей Спиридон тоже ведь был не защищён от русского авося — ладно, откупоривай, сват! Чкнул Спиридон полный стакан, а остальное в одномашку допил сват-сучка. Спасибо, хоть сыновей при том не было, а то б и им по стопочке досталось. Проснувшись после полудня, Спиридон испугался ранней темноты в комнате, высунулся в окно, но света было мало и там, и он долго не мог понять, как это у американского штаба через улицу и у часового верхней половины не было, а нижняя была. Он ещё хотел скрыть беду от Марфы, но к вечеру пелена полной слепоты застала и нижнюю часть его глаз.

А сват-сучка умер.

После первой операции глазные врачи сказали: год прожить в покое, потом сделают ещё одну, левый будет видеть совсем, а правый — наполовину. Они это точно обещали, и надо было бы дожидаться, но...

— Наши-то врали, стервы — в обои уши не уберёшь. И колхозов больше нет, и всё вам прощается, братья и сёстры вас ждут, колокола звонят — хоть американские ботинки скидать, босиком сюдою бечь.

Нет! Это не помещалось в голове.

— Данилыч! — выразительно отговаривал Нержин, будто не поздно было ещё и передумать. — Да ведь не сам ли ты говорил... насчёт лебеды? Кой тебя леший за загривок тянул? Неужели ты мог поверить?

Всё окружение глаз Спиридона — и веки, и виски, и подглазья, были мелко-морщинисты. Он усмехнулся:

— Я-то?.. Я, Глеба, верно знал, что залямчат. Уж я у американцев разлакомился, по воле бы сюда не поехал.

— Так люди на чём ловились? — ехали сюда к семье. А у тебя вся семья под мышками, кто ж тебя в Советский Союз манил?

Вздыхнул Спиридон:

— Марфе Устиновне я сразу сказал: девка, озеро в рот сулят, а из поганой лужи лакнуть ещё дадут ли?.. Она мне, голову так легонько потрепавши: парень-парень, были б твои глазоньки, а там рассмотрим. Давай вторую операцию ждать. Ну, а у детей всех трёх — не терпёжка, дух загорелся: тятя! маманя! да домой! да на родину! Да что ж у нас в России глазных врачей нет? Да мы немцев разбили, так кто раненых лечил?! Ещё получше наши врачи! Русскую, мол, школу им кончать надо, старшенький у меня двух классов только и не доучился. Дочка Вера из слёз не выхлюпывается — вы хотите, чтоб я за немца замуж пошла? Мало было ей на Рейне русских, всё кажется девке, что самого главного жениха она здесь упускает... Эх, чешу в голове, детки-детки, врачи-то у нас в России есть, да житьё там убойное, у батки уже по шее полозом тёрто, куды рвётесь? Нет, видать, обо всё обжечься надо — самому.

Так, не Спиридона первого, погубили его дети.

Короткие жёсткие усы его, рыжие с проседью, подрагивали при воспоминании:

— Листовкам ихним я на грош не верил, и что от тюрьмы-терпихи мне не уйтить — знал. Но так думал, что всё вину на меня опрокинут, дети — при чём? Меня посадят — дети нехай живут. Но заразы эти по-своему рассудили — и мою голову взяли и ихние.

На пограничной станции мужчин и женщин сразу разделяли и дальше гнали в отдельные эшелонах. Семья Егоровых всю войну продержалась вместе, а теперь развалилась. Никто не спрашивал, брянский ты или саратовский. Жену с дочерью безо всякого суда сослали в Пермскую область, где дочь теперь работала в лесхозе на бензопиле. Спиридона же с сыновьями спроворили за колючку, судили и за измену Родине вlepили и сыновьям, как батке, по десятке. С младшим сыном Спиридон попал в соликамский лагерь и хоть там ещё попестовал его два года. А другого сына зашвырнули на Колыму.

Таков был дом. Таковы были жених дочери и школа сыновей.

От волнений следствия, потом от лагерного недоедания (он ещё сыну отдавал ежедён своих полпайки) не только не просветлялись очи Спиридона, но меркло последнее левое. Среди той огрызаловки волчьей на глухой лесной подкомандировке просить врачей вернуть зрение было почти то, что молиться о вознесении живым на небо. Не только лечить глаза Спиридона, но и судить, можно ли в Москве их вылечить, — не лагерной было серой больничке.

Сжав ладонями голову, размышлял Нержин над загадкой своего приятеля. Не сверху вниз и не снизу вверх смотрел он на этого мужика, пристигнутого событиями, — а касаясь плечом плеча и глазами вровень. Все беседы их уже давно и чем дальше, тем острее, толкали Нержина к одному вопросу. Вся ткань жизни Спиридона вела к этому вопросу. И, кажется, сегодня наступила пора этот вопрос задать.

Сложная жизнь Спиридона, его непрестанные переходы от одной борющейся стороны к другой — не было ли это больше, чем простое самосохранение? Не сходилось ли это как-то с толстовской истиной, что в мире нет правых и нет виноватых?.. Что узлов мировой истории не распутать самоуверенным мечом? Не являла ли себя в этих почти

инстинктивных поступках рыжего мужика — мировая система философского скептицизма?..

Социальный эксперимент, предпринятый Нержиным, обещал дать сегодня здесь под лестницей неожиданный и блестящий результат!

— Тошную я, Глеба,— говорил между тем Спиридон и намозоленной заскорбкой ладонью с силой протёр по небритой щеке, как будто хотел ссадить с неё кожу.— Ведь четыре месяца из дому писем не было, а?

— Ты ж сказал — у Змея письмо?

Спиридон посмотрел укоризненно (глаза его были пригашены, но никогда не казались остеклевшими, как у слепых от рождения, и оттого выражение их бывало понятно):

— После четырёх-то месяцев? Что могёт быть в том письме?

— Как получишь завтра — приходи, прочту.

— Да уж вбежки к тебе.

— Может, на почте какое пропало? Может, кумовья замотали? Не волнуйся, Данилыч, зря.

— Чего — зря, как сердце скомит? За Веру боюсь. Двадцать один год девке, без отца, без братьев, и мать не рядом.

Этой Веры Егоровой Нержин видел фотографию, сделанную прошлой весной. Крупная девушка, налитая, с большими доверчивыми глазами. Сквозь всю мировую войну отец пронёс её и выхранил. Ручной гранатой он спас её в минских лесах от злых людей, добывавшихся её, пятнадцатилетнюю, изнасилить. Но что он мог сделать теперь из тюрьмы?

Нержин представил себе непродёрный пермский лес; пулемётную стрельбу бензопил; отвратительный рёв тракторов, трелюющих стволы; грузовики, зарывшиеся задом в болота и поднявшие к небу радиаторы как бы с мольбой; обозлённых чёрных трактористов, разучившихся отличать мат от простого слова,— и среди них девушку в спецовке, в брюках, дразняще выделяющих её женские стати. Она спит с ними у костров; никто, проходя, не упускает случая её облапать. Конечно не зря ноет сердце у Спиридона.

Но утешения звучали бы жалко-бесполезно. А лучше и его отвлечь и для себя утвердить в нём, что искал: перетяжку, противовес учёным своим друзьям. Не услышит ли Глеб сейчас, здесь, народное сердмяжное обоснование скептицизма, и сам тогда, может быть, утвердится на нём?

Положив руку на плечо Спиридона, а спиной по-прежнему упираясь в косую подшивку лестницы, Нержин с затруднением, издалека, начал высказывать свой вопрос:

— Давно хочу тебя спросить, Спиридон Данилыч, пойми меня верно. Вот слушаю, слушаю я про твои скитания. Крученная у тебя жизнь, да ведь наверно не у одного тебя, у многих... у многих. Всё чего-то ты метался, пятого угла искал — ведь неспроста?.. Вернее, как ты думаешь — с каким... — он чуть не сказал «критерием» — ...с меркой какой мы должны понимать жизнь? Ну, например, разве есть люди на земле, которые нарочно хотят злого? Так и думают: сделаю-ка я людям зло? Дай-ка я их прижму, чтоб им житья не было? Вряд ли, а? Вот ты говоришь — сеяли рожь, а выросла лебеда. Так всё-таки, сеяли-то — рожь, или думали, что рожь? Может быть, люди-то все хотят доброго — думают, что доброго хотят, но все не безгрешны, не без ошибок, а кто и вовсе оголтелый — и вот причиняют друг другу столько зла. Убедят себя, что они хорошо делают, а на самом деле выходит худо.

Наверно, не очень ясно он выражался. Спиридон косовато, хмуро смотрел, ожидая подвоха, что ли.

— А теперь если ты, скажем, явно ошибаешься, а я хочу тебя поправить, говорю тебе об этом словами, а ты меня не слушаешь, даже рот мне затыкаешь, в тюрьму меня пихаешь — так что мне де-

лать? Палкой тебя по голове? Так хорошо если я прав, а если мне это только кажется, если я только в голову себе вбил, что я прав? Да ведь если я тебя сшибу и на твоё место сяду, да «но! но!», а не тянет оно — так и я трупов нахлестаю? Ну, одним словом, так: если нельзя быть уверенным, что ты всегда прав — так вмешиваться можно или нет? И в каждой войне нам кажется — мы правы, а тем кажется — они правы. Это мыслимо разве — человеку на земле разобраться: кто прав? кто виноват? Кто это может сказать?

— Да я тебе скажу! — с готовностью отозвался просветлевший Спиридон, с такой готовностью, будто спрашивали его, какой дежурник заступит дежурить с утра. — Я тебе скажу: волкодав — прав, а людоед — нет!

— Как-как-как? — задохнулся Нержин от простоты и силы решения.

— Вот так, — с жестокой уверенностью повторил Спиридон, весь обернувшись к Нержину: — *Волкодав прав, а людоед — нет.*

И, приклонившись, горячо дохнул из-под усов в лицо Нержину:

— Если бы мне, Глеба, сказали сейчас: вот летит такой самолёт, на ём бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронит под лестницей, и семью твою перекроет, и ещё мильён людей, но с вами — Отца Усатого и всё заведение их с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал народ по лагерях, по колхозах, по лесхозах? — Спиридон напрягся, подпирая крутыми плечами уже словно падающую на него лестницу, и вместе с ней крышу, и всю Москву. — Я, Глеба, поверишь? нет больше терпежу! терпежу — не осталось! я бы сказал, — он вывернул голову к самолёту: — А ну! ну! кидай! рушь!!

Лицо Спиридона было перекажено усталостью и мукой. На красноватые нижние веки из невидящих глаз наплыло по слезе.

## 69

Заступивший дежурить с воскресного вечера стройный юный лейтенант с пятнышками квадратных усиков под носом прошёл лично после отбоя верхним и нижним коридорами спецтюрьмы, разгоняя арестантов по комнатам спать (по воскресеньям они ложились всегда неохотно). Он прошёл бы и второй раз, да не мог отойти от молодой тугонькой фельдшерицы санчасти. Фельдшерица имела в Москве мужа, но не было тому доступа к ней в запретную зону на целые сутки её дежурства, и лейтенант очень рассчитывал сегодня ночью кое-чего добиться, она же со смехом вырывалась и повторяла одно и то же:

— Перестаньте баловаться!

Поэтому разгонять заключённых во второй раз он послал за себя своего помощника старшину. Старшина видел, что лейтенант до утра из санчасти не выберется, проверять его не будет — и не стал очень стараться укладывать всех спать, потому что за много лет надоело и ему быть собакой и потому что понимал он: взрослые люди, которым завтра на работу, поспать не забудут.

А тушить свет в коридорах и на лестнице спецтюрьмы не разрешалось, ибо это могло способствовать побегу или бунту.

Так за два раза никто не разогнал Рубина и Сологодина, отиравших стенку в большом главном коридоре. Шёл первый час ночи, но они забыли о сне.

Это был тот безысходный яростный спор, которым, если не дракой, нередко кончается русский обряд веселья.

Но это был и тот особенный тюремный лютый спор, каких не могло быть на воле с господствующим единым мнением власти.

Спор-поединок на бумаге у них так и не сладился. За этот час или больше Рубин и Сологдин уже перебрали и два других закона невинной диалектики, — но ни за одну неровность не зацепясь, ни на од-



ной спасительной площадке не замедля, их спор, ударяясь и ударяясь о груди их, скатывался в вулканическое жерло.

— Так если *противоположности* нет, так и *единства* нет?!

— Ну?

— Что — «ну»? Своей тени боитесь! Верно или неверно?

— Конечно. Верно.

Сологдин просиял. Вдохновение от увиденной слабой точки нагнуло вперёд его плечи, заострило лицо:

— Значит: в чём нет противоположностей — то не существует? Зачем же вы обещали бесклассовое общество?

— «Класс» — птичье слово!

— Не увернёшься! Вы знали, что общество без противоположностей невозможно — и нагло обещали? Вы...

Они оба были пятилетними мальчишками в девятьсот семнадцатом году, но друг перед другом не отрекались ответить за всю человеческую историю.

— ...Вы распинались отменить притеснение, а навязали нам притеснителей худших и горших! И для этого надо было убивать столько миллионов людей?

— Ты ослеп от печёнки! — вскрикнул Рубин, теряя осторожность говорить приглушенно, забывая щадить противника, который рвётся его удушить. (Громкость аргументов самому ему, как стороннику власти, не угрожала.) — Ты и в бесклассовое общество войдёшь, так не узнаешь его от ненависти!

— Но сейчас, сейчас — бесклассовое? Один раз договори! Один раз — не увёртывайся! Класс новый, класс правящий — есть или нет?

Ах, как трудно было Рубину ответить именно на этот вопрос! Потому что Рубин и сам видел этот класс. Потому что укоренение этого класса лишило бы революцию всякого и единственного смысла.

Но ни тени слабости, ни промелька колебания не пробежало по высоколобому лицу правого.

— А социально — он отграничен? — кричал Рубин. — Разве можно чётко указать, кто правит, а кто подчиняется?

— Мо-ожно! — полным голосом отдавал и Сологдин. — Фома, Антон, Шишкин-Мышкин правят, а мы...

— Но разве есть устойчивые границы? Наследство недвижимости? Всё — служебное! Сегодня — князь, а завтра — в грязь, разве не так?

— Так тем хуже! Если каждый член может быть низвергнут — то как ему сохраниться? — «что прикажете завтра?». Дворянин мог дерзить власти как хотел — рождения отнять невозможно!

— Да уж твои любимые дворянчики! — вон, Сиромаха!

(Это был на шарашке премьер стукачей.)

— Или купцы? — тех рынок заставлял соображать, быстро поворачиваться! А ваших — ничто! Нет, ты вдумайся, что это за выводок! — понятия о чести у них нет, воспитания нет, образования нет, выдумки нет, свободу — ненавидят, удержаться могут только личной подлостью...

— Да надо же иметь хоть чуть ума, чтобы понять, что группа эта — служебная, временная, что с отмиранием государства...

— Отмирает? — взвопил Сологдин. — Сами? Не захотят! Добровольно? Не уйдут, пока их — по шее! Ваше государство создано совсем не из-за *толстосумного окружения*! А — чтобы жестокостью скрепить свою противоестественность! И если б вы остались на Земле одни — вы б своё государство ещё и ещё укрепляли бы!

У Сологодина за спиною мглилась многолетняя подавленность, многолетний скрыв. Тем большее высвобождение было — открыто швырять свои взгляды доступному соседу, и вместе с тем убеждённо-му большевику и, значит, за всё ответственному.

Рубин же от первой камеры фронтовой контрразведки и потом

во всей веренице камер бесстрашно вызывал на себя всеобщее иступление гордым заявлением, что он — марксист, и от взглядов своих не откажется и в тюрьме. Он привык быть овчаркою в стае волков, обороняться один против сорока и пятидесяти. Его уста запекались от бесплодности этих столкновений, но он обязан, обязан был объяснять ослеплённым их ослепление, обязан был бороться с камерными врагами за них самих, ибо они в большинстве своём были не враги, а простые советские люди, жертвы Прогресса и неточностей пенитенциарной системы. Они помутились в своём сознании от личной обиды, но начнись завтра война с Америкой и дай этим людям оружие — они почти все поголовно забудут свои разбитые жизни, простят свои мучения, пренебрегут горечью отторгнутых семей — и повалят самоотверженно защищать социализм, как сделал бы это и Рубин. И, очевидно, так поступит в крутую минуту и Сологдин. И не может быть иначе! Иначе они были бы псами и изменниками.

По острым режущим камням, с обломка на обломок, допрыгал их спор и до этого.

— Так какая же разница?! какая же разница?! Значит, бывший зэк, просидевший ни за хрен, ни про хрен десять лет и повернувший оружие против своих тюремщиков, — изменник родине! А немец, которого ты обработал и заслал через линию фронта, немец, изменивший своему отечеству и присяге, — передовой человек?

— Да как ты можешь сравнивать?! — изумлялся Рубин. — Ведь объективно мой немец за социализм, а твой зэк против социализма! Разве это сравнимые вещи?

Если бы вещество наших глаз могло бы плавиться от жара выражаемого ими чувства — глаза Сологодина вытекли бы голубыми струйками, с такой страстностью он вонзался в Рубина:

— С вами разговаривать! Тридцать лет вы живёте и дышите этим девизом, — стгоряча сорвалось иностранное слово, но оно было хорошее, рыцарское, — «цель оправдывает средства», а спросить вас в лоб — признаёте его? — я уверен, что отречётесь! Отречётесь!

— Нет, почему же? — с успокоительным холодком вдруг ответил Рубин. — Лично для себя — не принимаю, но если говорить в общественном смысле! За всю историю человечества наша цель впервые столь высока, что мы можем и сказать: она — оправдывает средства, употреблённые для её достижения.

— Ах, вот даже как! — увидев уязвимое рапире место, нанёс Сологдин моментальный звонкий удар. — Так запомни: чем выше цель, тем выше должны быть и средства! Вероломные средства уничтожают и самую цель!

— То есть, как это — вероломные? Чьи это — вероломные! Может быть, ты отрицаешь средства революционные?

— Да разве у вас — революция? У вас — одно злодейство, кровь с топора! Кто бы взялся составить только список убитых и расстрелянных? Мир бы ужаснулся!

Нигде не задерживаясь, как ночной скорый мимо полустанков, мимо фонарей, то безлюдной степью, то сверкающим городом, пронёсся их спор по тёмным и светлым местам их памяти, и всё, что на мгновение выныривало — бросало неверный свет или неразборчивый гул на неудержимое качество их сцепленных мыслей.

— Чтобы судить о стране, надо же хоть немножко её знать! — гневался Рубин. — А ты двенадцать лет киснешь по лагерям! А что ты видел раньше? Патриаршьи пруды? Или по воскресеньям выезжал в Коломенское?

— Страну? Ты берёшься судить о стране? — кричал Сологдин, но сдерживаясь до придавленного звука, как будто его душили. — Позор! Тебе — позор! Сколько прошло людей в Бутырках, вспомни — Громов, Ивантеев, Яшин, Блохин, они говорили тебе трезвые вещи,

они из жизни своей тебе всё рассказывали — так разве ты их слушал? А здесь? Вартапетов, потом этот, как его...

— Кто-о? Зачем я их буду слушать? Слеплённые люди! Они же просто воют, как зверь, у которого лапу ущемили. Неудачу собственной жизни они истолковывают как крах социализма. Их обсерватория — камерная параша, их воздух — ароматы параша, у них — кочка зрения, а не точка!

— Но кто же, кто же те, кого ты способен слушать?

— Молодёжь! Молодёжь — с нами! А это — будущее!

— Мо-ло-дэжь? Да придумали вы себе! Она — чихать хотела на ваши... *светлообразы!* — (Значило — идеалы.)

— Да как ты смеешь судить о молодёжи?! Я с молодёжью вместе воевал на фронте, ходил с ней в разведку, а ты о ней от какого-нибудь задрипанного эмигрантишки на пересылке слышал? Да как может быть молодёжь безыдейна, если в стране — десятиmillionный комсомол?

— Ком-со-мол??. Да ты — слабоумный! Ваш комсомол — это только перевод *твёрдо-уплотнённой бумаги* на членские книжки!

— Не смей! Я сам — старый комсомолец! Комсомол был — наше зная! наша совесть! романтика, бескорыстие наше — вот был комсомол!

— Бы-ыл! Был да сплыл!

— Наконец, кому я говорю? Ведь в тех же годах комсомольцем был и ты!

— И я за это довольно поплатился! Я наказан за это! Мефистофельское начало! — всякого, кто коснётся его... Маргарита! — потеря чести! смерть брата! смерть ребёнка! безумие! гибель!

— Нет, подожди! нет, не Маргарита! Не может быть, чтоб у тебя от тех комсомольских времён ничего не осталось в душе!

— Вы, кажется, заговорили о *душе*? Как изменилась ваша речь за двадцать лет! У вас и «совесть», и «душа», и «поруганные святыни»... А ну-ка бы ты эти словечки произнёс в твоём святом комсомоле в двадцать седьмом году! А?.. Вы растлили всё молодое поколение России...

— Судя по тебе — да!

— ...А потом принялись за немцев, за поляков...

И дальше, и дальше они неслись, уже теряя расстановку доводов, связь мыслей последующих и предыдущих, совсем не видя и не ощущая этого коридора, где оставалось только два остобеселых шахматиста за доской да непродорно кашляющий старый курыка-кузнец и где так видны были их встревоженные размахивания рук, воспалённые лица да под углом друг к другу выставленные большая чёрная борода и аккуратненькая белокурая.

— Глеб!..

— Глеб!.. — наперебой позвали они, увидев, как с лестницы от уборной вышли Спиридон и Нержин.

Они звали Глеба, каждый в нетерпеливом ожидании удвоить свою численность. Но он и сам уже направлялся к ним, в тревоге от их возгласов и размахивания. Даже и не слыша ни слова, со стороны, и дурак бы догадался, что тут завелись о большой политике.

Нержин подошёл к ним быстро и прежде, чем они в один голос спросили его о чём-то противоположном, ударил каждого кулаком в бок:

— Разум! Разум!

Таков был их тройной уговор на случай горячки спора, чтобы каждый останавливал двух других при угрозе стукачей — и те обязаны подчиниться.

— Вы с ума сошли? Вы уже намотали себе по катушке! Мало? Дмитрий! Подумай о семье!

Но не только развести их миролюбно — их и пожарной кишкой нельзя было сейчас разлить.

— Ты слушай! — тряс его Сологдин за плечо. — Он наших страданий ни во что не ставит, они все — закономерны! Единственные страдания он признаёт — негров на плантациях!

— А я уж на это Лёвке говорил: тётушка Федосевна до чужих милосерда, а дома не евши сидят.

— Какая узость! Ты не интернационалист! — воскликнул Рубин, глядя на Нержина как на пойманного карманника. — Ты послушал бы, что он тут плёл: императорская власть была благодеянием для России! Все завоевания, все мерзости, проливы, Польша, Средняя Азия...

— Моё мнение, — решительно присудил Нержин: — для спасения России давно надо освободить все колонии! Усилия нашего народа направить только на внутреннее развитие!

— Мальчишка! — жёлчно воскликнул Сологдин. — Вам волю дай — вы всю землю отцов растрясёте... Ты ему скажи — сто́ит полгроша их комсомольская романтика? Как они учили крестьянских детей доносить на родителей! Как они корки хлеба не давали проглотить тем, кто хлеб этот вырастил! И ещё смеет он мне тут заикаться о добродетели!

— Уж бóльно ты благороден! Ты считаешь себя христианином? А ты никакой не христианин!

— Не святохульничай! Не касайся, чего не понимаешь!

— Ты думаешь, если ты не вор и не стукач — этого достаточно для христианина? А где твоя любовь к ближнему? Правильно про вас сказано: которая рука крест кладёт — та и нож точит. Ты не зря восхищаешься средневековыми бандитами! Ты — типичный конквистадор!

— Ты мне льстишь! — откинулся Сологдин, красуясь.

— Льщу? Ужас, ужас! — Рубин запустил пальцы обеих рук в свои редеющие волосы. — Глеб, ты слышишь? Скажи ему: всегда он в позе! Надоела его поза! Вечно он корчит Александра Невского!

— А вот это мне — совсем не лестно!

— То есть как?

— Александр Невский для меня — совсем не герой. И не святой. Так что это — не похвала.

Рубин стих и недоумело переглянулся с Нержиным.

— Чем же его тебе не угодил Александр Невский? — спросил Глеб.

— Тем, что он не допустил рыцарей в Азию, католичество — в Россию! Тем, что он был против Европы! — ещё тяжело дышал, ещё бушевал Сологдин.

— Это что-то ново!.. Это что-то ново!.. — приступал Рубин с надеждой нанести удар.

— А зачем России — католичество? — доведывался Нержин с выражением судьи.

— За-тем!! — блеснул молнией Сологдин. — Затем, что все народы, имевшие несчастье быть православными, поплатились несколькими веками рабства! Затем, что православная церковь не могла противостоять государству! Безбожный народ был незащищён! И получилась косопузая страна. Страна рабов!

Нержин лупал глазами:

— Нич-чего не понимаю. Не ты ли сам меня корил, что я — недостаточный патриот? И — землю отцов растрясёте?..

Но Рубин уже видел, где у врага обнажилось незащищённое место.

— А как же — святая Русь? — спешил он. — А Язык Предельной Ясности? А защита от птичьих слов?

— Да, в самом деле? Как же Язык Предельной Ясности, если — косопузая?

Сологдин сиял. Он покрутил кистями отставленных рук:

— Иг-ра, господа! Игра!! Упражнение под закрытым забралом! Ведь надо же упражняться! Мы обязаны постоянно преодолевать сопротивление. Мы — в постоянной тюрьме, и надо казаться как можно дальше от своих истинных взглядов. Одна из девяти сфер, я тебе говорил...

— Ошарий...

— Нет, сфер!

— Так ты и в этом лицемерил! — новым огнём подхватился Рубин. — Страна вам плоха! А не вы, богомольцы и прожигатели жизни, довели её до Ходынки, до Цусимы, до Августовских лесов?

— Ах, уже за Россию вы болеете, убийцы? — ахнул Сологдин. — А не вы её за р е з а л и в семнадцатом году?

— Разум! Разум! — ударил их Глеб обоих кулаками в бока. Но спорщики не только не очнулись, они даже не заметили, через красную пелену они уже не видели его.

— Ты думаешь, тебе коллективизация когда-нибудь простится?

— Ты вспомни, что рассказывал в Бутырках! Как ты жил с единственной целью сорвать миллион! Зачем тебе миллион для Царства Небесного?

Они два года уже знали друг друга. И теперь всё узнанное друг о друге в задушевных беседах старались обернуть самым обидным, самым уязвляющим способом. Они всё припоминали сейчас и швыряли обвинительно.

— Ну, а не понимаете человеческого языка — наматывайте, наматывайте, — крикнул Нержин.

И, махнув рукой, ушёл. Он утешал себя, что в коридорах никого и в комнатах спят.

— Позор! Ты растлитель душ! Твои питомцы возглавляют восточную Германию!

— Мелкий честолюбец! Как ты гордишься своей дворянской кровишкой!

— Раз Шишкин-Мышкин вершат правое дело — почему им не помочь, не *постучать*, скажи?.. И Шикин напишет тебе хорошую характеристику! И твоё дело пересмотрят...

— За такие слова морду бьют!

— Нет, почему ж, рассудим! Поскольку мы все сидим — верно, только ты один — неверно, и значит тюремщики правы... Это только последовательно!

Они бессвязно перебранивались, уже почти не слыша друг друга. Каждый выматривал и преследовал одно: найти бы такое место, куда побольнее ударить.

— Посмотри, как ты залгался! всё на лжи! А вещаешь так, будто не выпускал из рук распятия!..

— Вот ты не захотел спорить о гордости в жизни человека, а тебе очень бы надо гордости подзанять. Каждый год два раза съешь им просьбы о помиловании...

— Врёшь, не о помиловании, о пересмотре!

— Тебе отказывают, а ты всё клянчишь. Ты как собачёнка на цепи — над тобой силён, у кого в руках цепь.

— А ты бы не клянчил? У тебя просто нет возможности получить свободу. А то бы на брюхе пополз!

— Никогда! — затрясся Сологдин.

— А я тебе говорю! Просто у тебя способностей не хватает отличиться!

Они истязали друг друга до измождения. Никак не мог бы сейчас представить Иннокентий Володин, что имеет влияние на его судьбу нудный изматывающий ночной спор двух арестантов в одиноком запертом здании на окраине Москвы.

Оба хотели быть палачами, но были жертвами в этом споре, где спорили, собственно, уже не они, потерявшие ведущие нити, — а два истребительных разноимённых потенциала.

Именно эти потенциалы они и ощущали друг в друге отчётливо, безошибочно — вчерашних или завтрашних слепых безумных победителей, непробиваемо-бесчувственных к доводам рассудка, как эти тюремные стены.

— Нет, ты скажи мне: если ты всегда так думал — как ты мог вступить в комсомол? — почти рвал на себе волосы Рубин.

И второй раз за полчаса Сологдин от крайнего раздражения раскрылся без надобности:

— А как мне было не вступить? Разве вы оставляли возможность не вступить? Не был бы я комсомольцем — как ушей бы мне не видеть института! Глину копать!

— Так ты притворялся? Ты подло извивался!

— Нет! Я просто шёл на вас под закрытым забралом!

— Так если будет война, — у сражённого последней догадкой Рубина даже сдавило грудь, — и ты дотянешься до оружия...

Сологдин выпрямился, скрещая руки, и отстранился как от проказы:

— Неужели ты думаешь — я защищал бы в а с?

— Это — кровью пахнет! — сжал Рубин кулаки, волосатые у кистей.

Говорить дальше, или даже душить, или даже бить друг друга кулаками — всё было слишком слабо. После сказанного надо было хватать автоматы и строчить, ибо только такой язык мог понять второй из них.

Но автоматов не было.

И они разошлись, задыхаясь — Рубин с опущенной, Сологдин — со вскинутой головой.

Если раньше Сологдин мог колебаться, то теперь-то с наслаждением влепит он удар этой своре: не давать им шифратора! не давать! Не катить же и тебе их проклятой колесницы! Ведь потом не докажешь, как они были слабы и бездарны! Нагаддят, нагадят, назвенят, что всё — от закономерности, что быть иначе не могло. Они свою историю пишут, не упускают! все внутренности в ней переворачивают.

Рубин отошёл в угол и сжал в ладонях стучащую волнами боли голову. Ему прояснился тот единственный сокрушительный удар, который он мог нанести Сологдину и всей их своре. Ничем другим их не проберёшь, меднолобых! Никакими фактическими доводами и историческими оправданиями потом не будешь перед ними прав! Атомную бомбу! — вот это одно они поймут. Перемочь болезнь, слабость, нежелание — и завтра с раннего утра припасть, приняхаться к следу этого анонима-негодая, спасти атомную бомбу для Революции.

Петров! — Сяговитый! — Володин! — Щевронок! — Заварзин!

## 70

Уже полночь Иннокентий и Дотнара возвращались домой в такси.

На пустеющие улицы, забеляя огляд на дома, густо падал снег. Он опускался спокойствием и забвением.

Та ответная теплота к жене, вызванная сегодня в доме тестя её внезапной покорностью, та теплота не минула и сейчас, за кромою глаз людских. Дотти непринуждённо переполаскивала — о том и о тех, кто был на вечере, о трудностях и надеждах с клариным замужеством, — Иннокентий дружелюбно слушал её.

Он отдыхал. Он отдыхал от невмещаемого напряжения этих суток, и почему-то ни с кем бы не было ему так хорошо отдыхать сей-

час, как с этой любленной, опостылой, клятой, брошенной, изменившей женщиной, и всё равно неотъёмной, и всё равно содорожницей.

Он нерассудно обнял её вокруг плеч.

Ехали так.

Им самим же отвергнутые касания этой женщины сейчас опять заняли в нём.

Он покосился. Покосился на её губы. На эти единственные, слияние с которыми можно длить, и длить, и длить — и не пресыщает. Были поводы Иннокентию узнать, что так бывает редко, почти никогда. Были поводы ему узнать, что не соединяется в одной женщине всё, что хотели бы мы. Губы, волосы, плечи, кожу и ещё многое надо было бы по частям, по частям собирать из разных в одну, как природа не хочет делать. А ещё собирать — душевные движения, и нрав, и ум, и обычай.

Можно простить Дотти, что не всем она одарена. Ни у кого нет всего. У неё есть немало.

Вдруг вошла ему такая мысль: что, если б эта женщина никогда бы не была его женой, ни любовницей, а заведомо принадлежала другому, но вот так он обнял бы её в автомобиле, и она покорно ехала бы к нему домой — что б он к ней сейчас испытывал?

Почему тогда он бы не ставил ей в вину, что она побывала в чужих руках, и во многих? А если это его жена — то оскорбительно?

Но дикое и презренное он ощущал в себе то, что вот такая, попорченная, она ещё гибельней его к себе тянула. Он почувствовал это сейчас.

И снял руку.

Конечно, всё было легче, чем думать, как за ним охотятся. Как, может быть, дома ждёт его сейчас засада. На лестничной клетке. Или даже в самой квартире — ведь им нетрудно открыть, войти.

Он даже ясно, уверенно представил: именно так! уже затаились в квартире и ждут. И как только он откроет — выскочат в коридор из комнат и схватят.

Может быть, последние минуты его вольной жизни и были — эти покойные минуты на заднем сиденьи в обнимку с Дотти, не подозревающей ничего.

Может быть, пришла всё-таки пора сказать ей что-то?

Он посмотрел на неё с жалостью, даже с нежностью, — а Дотти сейчас же вобрала этот взгляд, и верхняя губа её мило вздрогнула, по-оленьи...

Но что б он мог ей в трёх словах сказать — и даже не при таксёре, уже разочаться? Что не надо путать отечества и правительства?.. Что такое надчеловеческое оружие преступно допускать в руки шального режима? Что нашей стране совсем не надобно военной мощи — и вот тогда мы только и будем ж и т ь?

Этого почти никто не поймёт среди власти. Не поймут академики! — особенно те, кто сам кропает эту бомбочку. Что же способна понять разряженная и жадная к вещам жена дипломата?

Ещё он сам себе напомнил эту неуклюжую манеру Дотти — разрушить всё настроение задушевного разговора каким-нибудь неуместным, неверным, грубым замечанием. Нет у неё тонкости, никогда не было — и как же человеку узнать о том, чего никогда у него не было?..

В лифте он не смотрел ей в лицо. Ничего не сказал на площадке. Открыл одним ключом, вставил поворачивать английский, естественно отступил пропустить её вперёд — а пропускал-то в капкан! — но, может, лучше, что её первую? она ничего не теряет, а он увидит и... — нет, не побежит, но пять секунд лишних будет думать!..

Дотти вошла, зажгла свет.

Никто не кинулся. Не висело чужих шинелей. Не было чужих небрежных следов на полу.

Впрочем, это ещё ничего не доказывало. Ещё все комнаты надо осмотреть.

Но уже сердце верило, что нет никого! Сейчас — на засов, на другой засов! И ни за что не открывать! — спят, нету...

Распахивалась тёплая безопасность.

И соучастницей безопасности и радости была Дотти.

Он благодушно помог ей снять пальто.

А она наклонила перед ним голову, так, что он затылок видел её, этот особенный узор волос, и вдруг сказала с покаянной внятностью: — Побей меня. Как мужик бабу бьёт... Побей хорошенько.

И — посмотрела, в полные глаза. Она не шутила нисколько. Даже был признак плача, только особенный, её: она не плакала вольным потоком, как все женщины, а лишь единожды чуть смачивались глаза и тут же высыхали, чрезмерно высыхали, до тёмной пустоты.

Но Иннокентий — не был мужик. Он не готов был бить жену. Даже не задумывался, что это вообще можно.

Он положил ей руки на плечи:

— Зачем ты бываешь такой грубой?

— Я бываю грубой, когда мне очень больно. Я сделаю больно другому и за этим спрячусь. Побей меня.

Так и стояли, беспомощно.

— Вчера и сегодня мне так тяжело, мне так тяжело... — пожаловался Иннокентий.

— Знаю, — уже поднимаясь от раскаяния к праву, прошептала сочными, сочными, сочными губами Дотти. — А я тебя сейчас успокою.

— Бряд ли, — жалко усмехнулся он. — Это не в твоей власти.

— Всё в моей, — глубокозвучно внушала она, и Иннокентий стал верить. — На что ж бы моя любовь годилась, если б я не могла тебя успокоить?

И уже Иннокентий погрузился в её губы, возвращаясь в любимое прежнее.

И постоянный перехват угрозы в душе отпускал и поворачивался в другой перехват, сладкий.

Они пошли через комнаты, не разъединяясь и забыв искать засаду.

И погружённый в тёплую материнскую вселенную, Иннокентий больше не зяб.

Дотти окружала его.

## 71

И наконец шарашка спала.

Спали двести восемьдесят эков при синих лампочках, уткнувшись в подушку или откинувшись на неё затылком, бесшумно дыша, отвратительно храпя или бессвязно выкрикивая, сжавшись для пригрева или разметавшись от духоты. Спали на двух этажах здания и ещё на двух этажах коек, видя во сне: старики — родных, молодые — женщин, кто — пропажи, кто — поезд, кто — церковь, кто — судей. Сны были разные, но во всех снах спящие тягостно помнили, что они — арестанты, что если они бродят по зелёной траве или по городу, то они сбежали, обманули, случилось недоразумение, за ними погоня. Того полного счастливого забытья от оков, которое выдумал Лонгфелло во «Сне невольника», — не было им дано. Сотрясение незаслуженного ареста и десяти- и двадцатипятилетнего приговора, и лай овчарок, и молотки конвойных, и терзающий звон лагерного подъёма — просочились к их костям сквозь все наслоения жизни, сквозь все инстинкты вторичные и даже первичные, так что спящий арестант сперва помнит, что он в тюрьме, а потом только ощущает жжение или дым и встаёт на пожар.

Спал разжалованный Мамурин в своей одиночке. Спала отдыхающая смена надзирателей. Равно спала и смена надзирателей бодрст-



вующая. Дежурная фельдшерница в медпункте, весь вечер сопротивлявшаяся лейтенанту с квадратными усиками, недавно уступила, и теперь оба они тоже спали на узком диване в санчасти. И, наконец, поставленный в главной лестничной клетке у железных окованных врат в тюрьму серенький маленький надзиратель, не видя, чтоб его приходили проверять, и тщетно позуммерив в полевую телефон,— тоже заснул, сидя, положив голову на тумбочку, и не заглядывая больше, как должен был, сквозь окошечко в коридор спецтюрьмы.

И, тайно подстерегая этот глубокий ночной час, когда марфинские тюремные порядки перестали действовать,— двести восемьдесят первый арестант тихо вышел из полукруглой комнаты, жмурясь на яркий свет и попирая сапогами густо набросанные окурки. Сапоги он натянул кой-как, без портянок, был в истрёпанной фронтальной шинели, наброшенной сверх нижнего белья. Мрачная чёрная борода его была всколочена, редешщие волосы с темени спадали в разные стороны, лицо выражало страдание.

Напрасно пытался он уснуть! Он встал теперь, чтобы ходить по коридору. Он не раз уже применял это средство: так развеивалось его раздражение и утишались палящая боль в затылке и распирающая боль около печени.

Но хотя он вышел ходить,— по своей привычке книжника он захватил из комнаты и пару книг, в одну из которых был вложен рукописный черновик «Проекта Гражданских Храмов» и плохо отточенный карандаш. Всё это, и коробку лёгкого табака, и трубку положив на длинном нечистом столе, Рубин стал равномерно ходить взад и вперёд по коридору, руками придерживая шинель.

Он сознавал, что и всем арестантам несладко — и тем, кто посажен ни за что, и даже тем, кто — враг и посажен врагами. Но своё положение здесь (да ещё Абрамсона) он понимал трагичным в аристократическом смысле. Из тех самых рук он получил удар, которые больше всего любил. За то посажен он был людьми равнодушными и казёнными, что любил общее дело до неприличия глубоко. И тюремным офицерам, и тюремным надзирателям, выражавшим своими действиями вполне верный, прогрессивный закон,— Рубин по трагическому протворению должен был каждый день противостоять. А товарищи по тюрьме, напротив, не были ему товарищами и во всех камерах упрекали его, бранили его, чуть ли не кусали — из-за того, что они видели только горе своё и не видели великой Закономерности. Они задирали его не ради истины, а чтобы выместить на нём, чего не могли на тюремщиках. Они травили его, мало заботясь, что каждая такая схватка выворачивала его внутренности. А он в каждой камере, и при каждой новой встрече, и при каждом споре обязан был с неистощимой силой и презирая их оскорбления, доказывать им, что в больших числах и в главном потоке всё идёт так, как надо, что процветает промышленность, изобилует сельское хозяйство, бурлит наука, играет радугою культура. Каждая такая камера, каждый такой спор был участок фронта, где Рубин один мог отстаивать социализм.

Его противники часто выдавали свою многочисленность в камерах за то, что они — народ, а Рубины — одиночки. Но всё в нём знало, что это — ложь! Народ был — вне тюрьмы и вне колючей проволоки. Народ брал Берлин, встречался на Эльбе с американцами, народ тёр демобилизационными поездами к востоку, шёл восстанавливать ДнепроГЭС, оживлять Донбасс, строить заново Сталинград. Ощущение единства с миллионами и утверждало Рубина в одинокой спёртой камерной борьбе против десятков.

Рубин постучал в стеклянное окошечко железных врат — раз, два, а в третий раз сильно. На третий раз лицо заспанного серенького вертухая поднялось к окошечку.

— Мне плохо,— сказал Рубин.— Нужен порошок. Отведите к фельдшеру.

Надзиратель подумал.  
— Ладно, позвоню.  
Рубин продолжал ходить.

Он был фигурой вообще трагической.  
Он раньше всех, кто сидел здесь теперь, переступил тюремный порог.

Двоюродный взрослый брат, перед которым шестнадцатилетний Лёвка преклонялся, поручил ему спрятать типографский шрифт. Лёвка схватился за это восторженно. Но не уберёгся соседского мальчишки. Тот подглядел и завалил Лёвку. Лёвка не выдал брата — он сплёл историю, что нашёл шрифт под лестницей.

Одиночка харьковской *внутрянки*, двадцать лет назад, представилась Рубину, всё так же мерно, топтальной поступью расхаживающему по коридору.

Внутрянка построена по американскому образцу — открытый многоэтажный колодец с железными этажными переходами и лесенками, на дне колодца — регулировщик с флажками. По тюрьме гулко разносится каждый звук. Лёвка слышит, как кого-то с грохотом волокут по лестнице, — и вдруг раздражающий вопль потрясает тюрьму:

— Товарищи! Привет из холодного карцера! Долой сталинских палачей!

Его бьют (этот особенный звук ударов по мягкому!), ему зажимают рот, вопль делается прерывистым и смолкает — но триста узников в трёхстах одиночках бросаются к своим дверям, колотят и истошно кричат:

— Долой кровавых псов!  
— Рабочей крови захотелось?  
— Опять царя на шею?  
— Да здравствует ленинизм!..

И вдруг в каких-то камерах исступлённые голоса начинают:

Вставай, проклятем заклеймённый..

И вот уже вся незримая гуща арестантов гремит до самозабвения:

Это есть наш последний  
И решительный бой!..

Не видно, но у многих поющих, как и у Лёвки, должны быть слёзы восторга на глазах.

Тюрьма гудит разбереженным ульем. Кучка тюремщиков с ключами затаилась на лестницах в ужасе перед бессмертным пролетарским гимном...

Какие волны боли в затылок! Что за распиранье в правом подздошьи!

Рубин снова постучал в окошко. По второму стуку высунулось заспанное лицо того же надзирателя. Отодвинув рамку со стеклом, он буркнул:

— Звонил я. Не отвечают.

И хотел задвинуть рамку, но Рубин не дал, ухватясь рукой:

— Так сходите ногами! — с мучительным раздражением прикрикнул он. — Мне п л о х о, понимаете? Я не могу спать! Вызовите фельдшера!

— Ну, ладно, — согласился вертухай.

И задвинул форточку.

Рубин снова стал ходить, всё так же безнадежно отмеривая заплеванное, замусоренное пространство прокуренного коридора и так же мало подвигаясь в ночном времени.

И за образом харьковской внутренки, которую он вспоминал всегда с гордостью, хотя эта двухнедельная одиночка висела потом над всеми его анкетами и всей его жизнью и отяготила его приговор сейчас, вступили в память воспоминания — скрываемые, палящие.

...Как-то вызвали его в парткабинет Тракторного. Лёва считал себя одним из создателей завода: он работал в редакции его многотиражки. Он бежал по цехам, воодушевлял молодёжь, накачивал бодростью пожилых рабочих, вывешивал «молнии» об успехах ударных бригад, о прорывах и разгильдяйстве.

Двадцатилетний парень в косоворотке, он вошёл в парткабинет с той же открытостью, с которой случилось ему как-то войти и в кабинет секретаря ЦК Украины. И как там он просто сказал: «Здравствуй, товарищ Постышев!» — и первый протянул ему руку, так сказал и здесь сорокалетней женщине со стриженными волосами, повязанными красной косыночкой:

— Здравствуй, товарищ Пахтина! Ты вызывала меня?

— Здравствуй, товарищ Рубин, — пожала она ему руку. — Садись.

Он сел.

Ещё в кабинете был третий человек, нерабочий тип, в галстук, костюме, жёлтых полуботинках. Он сидел в стороне, просматривал бумаги и не обращал внимания на вошедшего.

Кабинет парткома был строг, как исповедальня, выдержан в пламенно-красных и деловых чёрных тонах.

Женщина стесненно, как-то потухло, поговорила с Лёвой о заводских делах, всегда ревностно обсуждаемых ими. И вдруг, откинувшись, сказала твёрдо:

— Товарищ Рубин! Ты должен разоружиться перед партией!

Лёва был поражён. Как? Он ли не отдаёт партии всех сил, здоровья, не отличая дня от ночи?

Нет! Этого мало.

Но что ж ещё?!

Теперь вежливо вмешался тот тип. Он обращался на «вы» — и это резало пролетарское ухо. Он сказал, что надо честно и до конца рассказать всё, что известно Рубину об его женатом двоюродном брате: правда ли, что тот состоял прежде активным членом подпольной троцкистской организации, а теперь скрывает это от партии?..

И надо было сразу что-то говорить, а они вперились в него оба...

Глазами именно этого брата учился Лёва смотреть на революцию. Именно от него он узнавал, что не всё так нарядно и беззаботно, как на первомайских демонстрациях. Да, Революция была весна — потому и грязи было много, и партия хлопала в ней, ища скрытую твёрдую тропу.

Но ведь прошло четыре года. Но ведь смолкли уже споры в партии. Не то, что троцкистов — уже и бухаринцев начали забывать. Всё, что предлагал расколучитель и за что был выслан из Союза, — Сталин теперь ненаходчиво, рабски повторял. Из тысячи утлых «лодок» крестьянских хозяйств добро ли, худо ли, но сколотили «океанский пароход» коллективизации. Уже дымили домны Магнитогорска, и тракторы четырёх заводов-первенцев переворачивали колхозные пласты. И «518» и «1040» \* были уже почти за плечами. Всё объективно свершалось во славу Мировой Революции — и стоило ли теперь воевать из-за звуков имени того человека, которым будут названы все эти великие дела? (И даже новое это имя Лёвка заставил себя полюбить. Да, он уже любил Его!) И за что бы было теперь арестовывать, мстить тем, кто спорил прежде?

— Я не знаю. Никогда он троцкистом не был, — отвечал язык Лёвки, но рассудок его воспринимал, что, говоря по взрослому, без чер-

\* 518 новых строек первой пятилетки и 1040 новых МТС — известный частый лозунг того времени.

дачной мальчишеской романтики,— заперательство было уже ненужным.

Короткие энергичные жесты секретаря парткома. Партия! Не есть ли это высшее, что мы имеем? Как можно заператься... перед Партией?! Как можно не открыться... Партии?! Партия не карает, она — наша совесть. Вспомни, что говорил Ленин...

Десять pistolетных дул, уставленных в его лицо, не запугали бы Лёвку Рубина. Ни холодным карцером, ни ссылкой на Соловки из него не вырвали бы истины. Но перед Партией?! — он не мог утаиться и солгать в этой чёрно-красной исповедальне.

Рубин открыл — когда, где состоял брат, что делал.

И смолкла женщина-проповедник.

А вежливый гость в жёлтых полуботинках сказал:

— Значит, если я правильно вас понял... — и прочёл с листа записанное.

— Теперь подпишитесь. Вот здесь.

Лёвка отпрянул:

— Кто вы?? Вы — не Партия!

— Почему не партия? — обиделся гость. — Я тоже член партии. Я — следовательно ГПУ.

Рубин снова постучал в окошко. Надзиратель, явно оторванный ото сна, просопел:

— Ну, чего стучишь? Сколь раз звонил я — не отвечают.

Глаза Рубина стали горячими от негодования:

— Я вас с х о д и т ь просил, а не звонить! Мне с сердцем плохо!! Я умру может быть!

— Не умрё-ошь, — примирительно и даже сочувственно протянул вертухай. — До утра-то дотянешь. Ну, сам посуди — как же я уйду, а пост брошу?

— Да какой идиот ваш пост возьмёт! — крикнул Рубин.

— Не в том, что возьмёт, а устав запрещает. В армии — служил?

Рубину так сильно било в голову, что он и сам едва не поверил, что сейчас может кончиться. Видя его искажённое лицо, надзиратель решил:

— Ну, ладно, отойди от волчка, не стучи. Сбегаю.

И, наверно, ушёл, Рубину показалось, что и боль чуть уменьшилась.

Он опять стал мерно ходить по коридору.

...А сквозь память тянулись воспоминания, которых совсем не хотел он возбуждать. Которые забыть — значило исцелиться.

Вскоре после тюрьмы, заглаживая вину перед комсомолом и спеша самому себе и единственно-революционному классу доказать свою полезность, Рубин с маузером на боку поехал коллективизировать село.

Три версты босиком убегая и отстреливаясь от взбешенных мужиков, что тогда видел в этом? «Вот и я захватил гражданскую войну». Только.

Разумелось само собой! — разрывать ямы с закопанным зерном, не давать хозяевам молоть муки и печь хлеба, не давать им набрать воды из колодца. И если дитё хозяйское умирало — подыхайте вы, злыдни, и со своим дитём, а хлеба испечь — не дать. И не исторгала жалости, а привычна стала, как в городе трамвай, эта одинокая телега с понурой лошадей, на рассвете идущая затаённым мёртвым селом. Кнутом в ставенку:

— Покойники ё? Выносьтэ.

И в следующую ставенку:

— Покойники е? Выносьтэ.

А скоро и так:

— Э! Чи тут е живы?

А сейчас вжато в голову. Врезано калёной печатью. Жжёт. И чудится иногда: раны тебе — за это! Тюрьма тебе — за это! Болезни тебе — за это!

Пусть. Справедливо. Но если понял, что это было ужасно, но если никогда бы этого не повторил, но если уже заплачено? — как это считать с себя? Кому бы сказать: о, этого не было! Теперь будем считать, что этого не было! Сделай так, чтоб этого не было!..

Чего не выматывает бессонная ночь из души печальной, ошибавшейся?..

На этот раз сам надзиратель отодвинул форточку. Он решился таки бросить пост и сходить в штаб. Оказалось, там все спали — и некому было взять трубку на зуммер. Разбуженный старшина выслушал его доклад, выругал за уход с поста и, зная, что фельдшерница спит с лейтенантом, не осмелился их будить.

— Нельзя, — сказал надзиратель в форточку. — Сам ходил, докладывал. Говорят — нельзя. Отложить до утра.

— Я — умираю! Я — умираю! — хрипел ему Рубин в форточку. — Я вам форточку разобью! Позовите сейчас дежурного! Я голодовку объявляю!

— Чего — голодовку? Тебя кто кормит, что ли? — рассудительно возразил вертухай. — Утром завтрак будет — там и объявишь... Ну, походи, походи. Я старшине ещё назвоню.

Никому из сытых своею службой и зарплатой рядовых, сержантов, лейтенантов, полковников и генералов не было дела ни до судьбы атомной бомбы, ни до издыхающего арестанта.

Но издыхающему арестанту надо было стать выше этого!

Превозмогая дурноту и боль, Рубин всё так же мерно старался ходить по коридору. Ему припомнилась басня Крылова «Булат». Басня эта на воле проскользнула мимо его внимания, но в тюрьме поразила.

Булатной сабли острый клинок  
Заброшен был в железный хлам;  
С ним вместе вынесен на рынок  
И мужику задаром продан там.

Мужик же Булатом драл лыки, щепал лучину. Булат стал весь в зубцах и ржавчине. И однажды Ёж спросил Булата в избе под лавкой, не стыдно ли ему? И Булат ответил Ежу так, как сотни раз мысленно отвечал сам Рубин:

Нет, стыдно-то не мне, а стыдно лишь тому,  
Кто не умел понять, к чему я годеи!..

## 72

В ногах ощутилась слабость, и Рубин подсел к столу, привалился грудью к его ребру.

Как ни ожесточённо он отвергал доводы Сологодина, — тем больней было ему их слышать, что он знал долю справедливости в них. Да, есть комсомольцы, недостойные картона, истраченного на их членский билет. Да, особенно среди новейших поколений, устои добродетели пошатнулись, люди теряют ощущение поступка нравственного и поступка красивого. Рыба и общество загнивают с головы, — с кого брать пример молодёжи?

В старых обществах знали, что для нравственности нужна церковь и нужен авторитетный поп. Ещё и теперь какая польская крестьянка предпримет серьёзный шаг в жизни без совета ксёндза?

Быть может сейчас для советской страны гораздо важнее Волго-Донского канала или Ангарстроя — спасти людскую нравственность!

Как это сделать? Этому послужит «Проект о создании гражданских храмов», уже вчерне подготовленный Рубиным. Нынешней ночью, пока бессонница, надо его окончательно отделать, затем при свидании постараться передать на волю. Там его перепечатают и пошлют в ЦК партии. За своей подписью послать нельзя — в ЦК обидятся, что такие советы им даёт политзаключённый. Но нельзя и анонимно. Пусть подпишется кто-нибудь из фронтовых друзей — славой автора Рубин охотно пожертвует для хорошего дела.

Перемогаая волны боли в голове, Рубин набил трубку «Золотым руном» — по привычке, так как курить ему сейчас не только не хотелось, но было отвратно,— задымил и стал просматривать проект.

В шинели, накинутой поверх белья, за голым плохо-оструганным столом, пересыпанным хлебными крошками и табачным пеплом, в спёртом воздухе неметенного коридора, через который там и сям иногда поспешно пробежали по ночным надобностям полусонные ээки,— безымянный автор просматривал свой бескорыстный проект, набросанный на многих листах торопливым разгонистым почерком.

В преамбуле говорилось о необходимости ещё выше поднять и без того высокую нравственность населения, придать больше значительности революционным, гражданским годовщинам и семейным событиям — обрядной торжественностью актов. А для того повсеместно основать Гражданские Храмы, величественные по архитектуре и господствующие над местностью.

Затем по разделам, а разделы дробились на параграфы, не очень надеясь на головы начальства, излагалась организационная сторона: в населённых пунктах какого масштаба или из расчёта на какую территориальную единицу строятся гражданские храмы; какие именно даты отмечаются там; продолжительность отдельных обрядов. Вступающих в совершеннолетие предлагалось при массовом стечении народа приводить группами к особой присяге по отношению к партии, отчизне и родителям.

В проекте особенно настаивалось, что одежды служителей храмов должны быть необычны и выражать белоснежную чистоту своих носителей. Что обрядовые формулы должны быть ритмически рассчитаны. Что воздействием ни на какой орган чувств посетителей храмов не следует пренебрегать: от особого аромата в воздухе храма, от мелодичной музыки и пения, от использования цветных стёкол и прожекторов, от художественной стенной росписи, способствующей развитию эстетических вкусов населения,— до всего архитектурного ансамбля храма.

Каждое слово проекта приходилось мучительно, утончённо выбирать из синонимов. Недалёкие поверхностные люди могли бы из неосторожного слова вывести, что автор попросту предлагает возродить христианские храмы без Христа — но это глубоко не так! Любители исторических аналогий могли бы обвинить автора в повторении робеспьеровского культа Верховного Существа — но, конечно, это совсем, совсем не то!!

Самым же своеобразным в проекте автор считал раздел о новых... не священниках, но, как они там именовались,— служителях храмов. Автор считал, что ключ к успеху всего проекта состоит в том, насколько удастся или не удастся создать в стране корпус таких служителей, пользующихся любовью и доверием народа за свою совершенно безупречную некорыстную жизнь. Предлагалось партийным инстанциям произвести подбор кандидатов на курсы служителей храмов, снимая их с любой ныне исполняемой работы. После того, как схлынет первая острота нехватки, курсы эти, с годами всё удлинняясь и углубляясь, должны будут придавать служителям широкую образцованность и особо включить в себя элоквенцию. (Проект бесстрашно утверждал, что ораторское искусство в нашей стране пришло в упадок — может быть из-за того, что не приходится никого убеждать, так

как всё население и без того безоговорочно поддерживает своё родное государство.)

А что никто не приходил к заключённому, умирающему в неурочный час, не удивляло Рубина. Случаев подобных он довольно рассмотрел в контрразведках и на пересылках.

Поэтому, когда в дверях загремел ключ, Рубин первым толчком сердца испугался, что в глубине ночи его застанут за неположенным занятием, за что последует прилипчивая нудная кара, он сгрёб свои бумаги, книгу, табак — и хотел скрыться в комнату, но поздно: коренастый грубомордый старшина заметил и звал его из раскрытых дверей.

И Рубин очнулся. И сразу опять ощутил всю свою покинутость, болезненную беспомощность и оскорблённое достоинство.

— Старшина,— сказал он, медленно подходя к помощнику дежурного,— я третий час подряд добиваюсь фельдшера. Я буду жаловаться в тюремное управление МГБ и на фельдшера и на вас.

Но старшина примирительно ответил:

— Рубин, никак нельзя было раньше, от меня не зависело. Пойдёмте.

От него, и правда, зависело только, дознавшись, что бушует не кто-нибудь, а один из самых зловредных эзков, решиться постучать к лейтенанту. Долго не было ему ответа, потом выглянула фельдшерица и опять скрылась. Наконец, лейтенант вышел, хмурясь, из медпункта и разрешил старшине привести Рубина.

Теперь Рубин надел шинель в рукава и застегнулся, скрывая бельё. Старшина повёл его подвальным коридором шарашки, и они поднялись в тюремный двор по трапу, на который густо нападало пушничка. В картинно-тихой ночи, где щедрые белые хлопья не переставали падать, отчего мутные и тёмные места ночной глубины и небосклона казались прочерченными множеством белых столбиков, старшина и Рубин пересекли двор, оставляя глубокие следы в рассыпчато-воздушном снеге.

Здесь, под этим милым тучевым буро-дымчатым от ночного освещения небом, ощущая на поднятой своей бороде и на горячем лице детски-невинные прикосновения шестигранных прохладных звёздочек,— Рубин замер, закрыл глаза. Его пронизало наслаждение покоя, тем более острое, чем оно было кратче,— вся сила бытия, всё счастье никуда не идти, ничего не просить, ничего не хотеть — только стоять так ночь напролёт, замерев — блаженно, благословенно, как стоят деревья, ловить, ловить на себя снежинки.

И в этот самый миг с железной дороги, которая шла от Марфина меньше, чем в километре, донёсся долгий заливчатый паровозный гудок — тот особенный, одинокий в ночи, за душу берущий паровозный гудок, который в зените лет напоминает нам детство, оттого что в детстве так много обещал к зениту лет.

Даже полчаса вот так постоять — весь бы отошёл, выздоровел душой и телом и сложил бы нежное стихотворение — о ночных паровозных гудках.

Ах, если бы можно было не идти за конвоиром!..

Но конвоир уже с подозрением оглядывался: не задуман ли здесь ночной побег?

И ноги Рубина пошли, куда предписано было.

Фельдшерица порозовела от молодого сна, кровь играла на её щеках. Она была в белом халате, но повязанном, видимо, не поверх гимнастёрки и юбки, а налегке. Всякий арестант всегда и Рубин во всякое другое время сделал бы это наблюдение, но сейчас строй мыслей Рубина не снисходил до этой грубой бабы, промучившей его всю ночь.

— Прошу: тройчатку и что-нибудь от бессонницы, только не люминал, мне заснуть надо — сразу.

— От бессонницы ничего нет,— механически отказала она.

— Я — про-шу — вас! — внятно повторил Рубин. — Мне с утра делать работу для министра. А я уснуть не могу.

Упоминание о министре, да и соображение, что Рубин будет стоять и неотступно просить этот порошок (а по некоторым признакам она рассчитывала, что лейтенант к ней сейчас вернётся), подвигло фельдшерицу изменить своему обычаю и дать лекарство.

Она достала из шкафика порошки и заставила Рубина всё выпить тут же, не отходя (по тюремному медицинскому уставу всякий порошок рассматривается как оружие и не может быть выдан арестанту в руки, а только в рот).

Рубин спросил, который час, узнал, что уже половина четвёртого, и ушёл. Проходя опять двор и оглянувшись на ночные липы, озарённые снизу отсветом пятисот- и двухсотваттных ламп зоны, он глубоко-глубоко вдохнул воздух, пахнувший снегом, наклонился, полной жменю несколько раз захватил звёздчатого пушника и им, невесомым, бестелесным, льдыстым, отёр лицо, шею, набил рот.

И душа его приобщилась к свежести мира.

### 73

Дверь в столовую из спальни была не притворена, и ясно раздался один полновесный удар, в каких-то вторичных отзвуках не сразу погасший в стенных часах.

Половина какого это часа, Адаму Ройтману хотелось взглянуть на ручные, дружески тикавшие на тумбочке, но он боялся вспышкой света потревожить жену. Жена спала частью на боку, частью ничком, лицом уткнувшись в плечо мужа.

Они были женаты уже пятый год, но даже в полусознании он чувствовал в себе разлитие нежности оттого, что она рядом, что она как-нибудь смешно спит, грея меж его ног свои маленькие вечно мёрзнувшие ступни.

Адам только что проснулся от нескладного сна. Хотел заснуть, но успели вспомниться последние вечерние новости, потом неприятности по работе, затолпились мысли, мысли, глаза размежились — установилась та ночная чёткость, при которой бесполезно пытаться уснуть.

Шум, топот и передвигание мебели, с вечера долго слышные над головой, в квартире Макарыгиных, давно уже стихли.

Там, где занавеси не сходились, из окна проступало слабое сероватое свечение ночи.

В ночном белье, плашмя, лишённый сна, Адам Вениаминович Ройтман не чувствовал той твёрдости положения и того подъёма над людьми, которые сообщались ему днём погонями майора МГБ и значком лауреата сталинской премии. Он лежал навзничь и, как всякий простой смертный, ощущал, что мир многолюден, жесток и что жить в нём — нелегко.

Вечером, когда у Макарыгиных кипело веселье, к Ройтману зашёл один давнишний друг его, тоже еврей. Пришёл он без жены, озабоченный, и рассказывал о новых притеснениях, ограничениях, снятиях с работы и даже высылках.

Это не было ново. Это началось ещё прошлой весной, началось сперва в театральной критике и выглядело как невинная расшифровка еврейских фамилий в скобках. Потом переползло в литературу. В одной газетке-сплетнице, газетёнке-потаскухе, занятой чем угодно, кроме своего прямого дела — литературы, кто-то шепнул ядовитое словцо — *космополит*. И слово было найдено! Прекрасное гордое слово, объединявшее мир, слово, которым венчали гениев самой широкой души — Данте, Гёте, Байрона, — это слово в газетёнке слиняло, сморщилось, зашипело и стало значить — *жид*.

А потом поползло дальше, стыдливо стало прятаться в папках за закрытыми дверьми.



А теперь холодное преддыхание достигло уже и технических кругов. Ройтман, неуклонно и с блеском шедший к славе, ощутил, как пошатнулось его положение именно за последний месяц.

Да неужели изменяет память? Ведь в революцию и ещё долго после неё слово «еврей» было куда благонадёжнее, чем «русский». Русского ещё проверяли дальше — а кто были родители? а на какие доходы жили до семнадцатого года? Еврея не надо было проверять: еврей все были за революцию.

И вот... бич гонителя израильтян незаметно, скрываясь за второстепенными лицами, принимал Иосиф Сталин.

Когда группу людей травят за то, что они были раньше притесняемыми, или членами касты, или за их политические взгляды, или за круг знакомств, — всегда есть разумное (или псевдо-разумное?) обоснование. Всегда знаешь, что ты сам выбрал свой жребий, что ты мог и не быть в этой группе. Но — национальность?..

(Внутренний ночной собеседник тут возразил Ройтману: но социальное происхождения тоже не выбирали? А за него гнали.)

Нет, главная обида для Ройтмана в том, что ты от души хочешь быть своим, таким, как все, — а тебя не хотят, отталкивают, говорят: ты — чужой. Ты — неприкаянный. Ты — жид.

Очень неторопливо, с большим достоинством, стенные часы в столовой стали бить, но, отбив четыре, смолкли. Ройтман ждал пятого удара и обрадовался, что только четыре. Ещё успеет заснуть.

Он пошевелился. Жена хмыкнула во сне, перекаталась на другой бок, но и спиной инстинктивно прижалась к мужу.

И тихо-тихо спал сын в столовой. Никогда не вскрикнет, не позовёт.

Трёхлетний умненький сын был гордостью молодых родителей. Адам Вениаминович с восхищением рассказывал о его нравах и проделках даже заключённым в Акустической, по обычной нечувствительности счастливых людей не понимая, что им, лишённым отцовства, это больно. (Да это была тема удобная — сближающая, а вместе с тем нейтральная.) Сын бойко тараторил, но произношение его не установилось, он подражал днём — матери (она была волжанка и окала), а вечером отцу, пришедшему с работы (Адам же не только картавил, но имел в произношении досадные недостатки).

Как это бывает в жизни, если уж приходит счастье, то оно не знает краёв. Любовь и женитьба, потом рождение сына пришли к Ройтману вместе с концом войны и со сталинской премией. Впрочем, и войну он провёл безбедно: в тихой Башкирии на высоком пайке НКВД Ройтман и его нынешние приятели по Марфинскому институту конструировали первую систему телефонной шифрации. Сейчас та система кажется примитивной, тогда же они стали за неё лауреатами.

Как горячо они делали её! Куда девался теперь тот порыв, те поиски, те взлёты?

С пронизательностью тёмного ночного бдения, когда неотвлекаемое зрение обращается вовнутрь, Ройтман вдруг понял сейчас — чего не хватало ему последние годы. Наверное, того не хватало, что делал он теперь всё — не сам.

Ройтман даже не заметил, когда и как он с роли творца сполз на роль начальника над творцами...

Как обожжённый, он отнял руку от жены, подмостил подушку повыше.

Да, да, да! это заманчиво, легко! — в субботу вечером, уезжая домой на полтора суток, когда сам уже охвачен ощущением домашнего уюта и воскресных семейных планов, — сказать: «Валентин Мартыныч! Так вы завтра продумаете, как нам устранить нелинейные искажения? Лев Григорьевич! Вы завтра пробежите эту статью из «Proceedings»? Тезисно основные мысли набросаете?» В понедельник утром, освежённый, он возвращается на работу — на столе у него, как

в сказке, лежит по-русски резюме статьи из «Proceedings», а Пряничков докладывает, как устранить нелинейные искажения, или даже уже устранил их за воскресенье.

Очень удобно!..

И заключённые не обижаются на Ройтмана, больше того — любят. Потому что держится он не как тюремщик их, а как просто хороший человек.

Но творчество, радость блеснувших догадок и горечь непредвиденных поражений — ушли от него!

Высвободясь от одеяла, он сел в кровати, руками охватил колени, поставил на них подбородок.

Чем же он был занят все эти годы? Интригами. Борьбой за первенство в институте. С группой друзей они делали всё, чтоб опорочить и столкнуть Яконова, считая, что он заслоняет их своей маститостью, апломбом и получит сталинскую премию единолично. Пользуясь, что у Яконова подточенное прошлое, и поэтому в партию его не принимают, как он ни бьётся, «молодые» вели атаку через партийные собрания: ставили там его отчёт, потом просили его уйти или тут же, при нём («голосуют только члены партии») обсуждали и выносили резолюцию. И всегда Яконов по партийным резолюциям оказывался виноват. Ройтману минутами даже было жалко его. Но не было другого выхода.

И как всё враждебно обернулось! В своей травле Яконова «молодые» и думать забыли, что среди них пятерых — четыре еврея. Сейчас Яконов не устаёт с каждой трибуны напоминать, что космополитизм — злейший враг социалистического отечества.

Вчера, после министерского гнева, в роковой день Марфинского института, заключённый Маркушев бросил мысль о слиянии систем клиппера и вокодера. Скорей всего это была чушь, но её можно было изобразить перед начальством как коренную реформу — и Яконов распорядился немедленно перетаскивать стойку вокодера в Семёрку и туда же перевести Пряничкова. Ройтман кинулся в присутствии Селиванского возражать, спорить, но Яконов снисходительно, как слишком горячего друга, похлопал Ройтмана по плечу:

— Адам Вениаминович! Не заставляйте замминистра подумать, что свои личные интересы вы ставите выше интересов Отдела Спецтехники.

В этом и был трагизм теперешней обстановки: били по морде — и нельзя было плакать! Душили среди бела дня — и требовали, чтобы ты аплодировал стоя!

Пробило сразу пять — он не слышал половины.

Спать не только не хотелось — уже и кровать начинала стеснять.

Очень осторожно, нога за ногой, Адам соскользнул с кровати, сунул ноги в туфли. Беззвучно обойдя стоявший на дороге стул, он подошёл к окну и больше расклонил шёлковые занавески.

О-о, сколько снегу напáдало!

Прямо через двор был самый дальний запущенный угол Нескучного сада — овраг и крутые склоны его в снегу, поросшие торжественными убелёнными соснами. И вдоль оконных переплётов извне тоже прилегли к стеклу пушистые снежные откосики.

Но снегопад уже почти перешёл.

Коленям было горячевато от подоконных радиаторов.

И ещё почему он не успевал в науке за последние годы: его задёргали заседаниями, бумажками. Каждый понедельник — политучёба, каждую пятницу — техучёба, два раза в месяц — партсобрания, два раза — заседания партбюро, да ещё на два-три вечера в месяц вызывают в министерство, раз в месяц специальное совещание о бдительности, ежемесячно составляй план научной работы, ежемесячно посылай отчёт о ней, раз в три месяца пиши зачем-то характеристики на всех закаюжённых (работы — на полный день). И ещё

каждые полчаса подчинённые подходят с накладными — любой конденсаторишка величиной с ириску, каждый метр провода и каждая радиолампа должны получить визу начальника лаборатории, иначе их не выдадут со склада.

Ах, бросить бы всю эту волокиту и всю эту борьбу за первенство! — посидеть бы самою над схемами, подержать в руках паяльник, да в зеленатовом окошке электронного осциллографа поймать свою заветную кривую — будешь тогда беззаботно распевать «буги-вуги», как Пряничков. В тридцать один год какое бы это счастье! — не чувствовать на себе гнетущих эполет, забыть о внешней солидности, быть себе как мальчишка — что-то строить, что-то фантазировать.

Он сказал себе — «как мальчишка» — и по капризу памяти вспомнил себя мальчишкой: с безжалостной ясностью в ночном мозгу всплыл глубоко забытый, много лет не вспоминавшийся эпизод.

Двенадцатилетний Адам в пионерском галстуке, благородно-оскорблённый, с дрожью в голосе стоял перед общешкольным пионерским собранием и обвинял, и требовал изгнать из юных пионеров и из советской школы — агента классового врага. До него выступали Митька Штительман, Мишка Люксембург, и все они изобличали соученика своего Олега Рождественского в антисемитизме, в посещении церкви, в чуждом классовом происхождении и бросали на подсудимого трясущегося мальчика уничтожающие взоры.

Кончались двадцатые годы, мальчики ещё жили политикой, стенгазетами, самоуправлениями, диспутами. Город был южный, евреев было с половину группы. Хотя были мальчики сыновьями юристов, зубных врачей, а то и мелких торговцев, — все себя остервенело-убеждённо считали пролетариями. А этот избегал всяких речей о политике, как-то немо подпевал хоровому «Интернационалу», явно нехотя вступил в пионеры. Мальчики-энтузиасты давно подозревали в нём контрреволюционера. Следили за ним, ловили. Происхождения доказать не могли. Но однажды Олег попался, сказал: «Каждый человек имеет право говорить всё, что он думает». — «Как — всё? — подскочил к нему Штительман. — Вот Никола меня «жидовской мордой» назвал — так и это тоже можно?»

Из того и начато было на Олега дело! Нашлись друзья-доносчики, Шурик Буриков и Шурик Ворожбит, кто видел, как виновник входил с матерью в церковь и как он приходил в школу с крестиком на шее. Начались собрания, заседания учкома, группкома, пионерские сборы, линейки — и всюду выступали двенадцатилетние робеспьеры и клеймили перед ученической массой пособника антисемитов и проводника религиозного опиума, который две недели уже не ел от страха, скрывал дома, что исключён из пионеров и скоро будет исключён из школы.

Адам Ройтман не был там заводилой, его втянули — но даже и сейчас мерзким стыдом залились его щёки.

Кольцо обид! кольцо обид! И нет из него выхода, как нет выхода из тяжбы с Яконовым.

С кого начинать исправлять мир? С других? Или с себя?..

В голове уже выросла та тяжесть, а в груди — та опустошённость, которые нужны, чтобы уснуть.

Он пошёл и тихо лёг под одеяло. Пока не пробило шесть, надо непременно заснуть.

С утра — нажимать с фоноскопией! Громадный козырь! В случае успеха это предприятие может разрастись в отдельный научно-исследования...

Подъём на шарашке бывал в семь часов.

Но в понедельник задолго до подъёма в комнату, где жили рабочие, пришёл надзиратель и толкнул в плечо дворника. Спиридон

храпнул тяжело, ворочнулся и при свете синей лампочки посмотрел на надзирателя.

— Одевайся, Егоров. Лейтенант зовёт,— тихо сказал надзиратель. Но Егоров лежал с открытыми глазами, не шевелясь.

— Слышь, говорю, лейтенант зовёт.

— Чего там? Ус...лись? — так же не двигаясь, спросил Спиридон.

— Вставай, Спиридон лежал, — тормошил надзиратель. — Не знаю, чего.

— Э-э-эх! — широко потянулся Спиридон, заложил рыжеволосые руки за голову и с затыком зевнул. — И когда тот день придёт, что с лавки не встанешь!.. Часов-то много?

— Да шесть скоро.

— Шести-и нет?!.. Ну, иди, ладно.

И продолжал лежать.

Надзиратель перемялся, вышел.

Синяя лампочка давала свет на угол подушки Спиридона до косо-го крыла тени от верхней койки. Так, в свету и в тени, с руками за головой, Спиридон лежал и не двигался.

Ему жалко было, что не досмотрел он сна.

Ехал он на телеге, наложенной сушняком (а под сушняком — прихоронёнными от лесника бревёшками) — ехал будто из своего ж леса к себе в деревню, но дорогою незнакомой. Дорога была незнакома, но каждую подробность её Спиридон обоими глазами (будто оба здоровы!) отчётливо видел во сне: где корни, вздутые поперёк дороги, где расщелина от старой молнии, где мелкий сосонник и глубокий песок, в котором зажирались колёса. Ещё слышал Спиридон во сне все разнообразные предосенние запахи леса и вбирчиво ими дышал. Он потому так дышал, что помнил во сне отчётливо, что он — зэк, что срок ему — десять лет и пять намордника, что он отлучился с шарашки, его, должно, уже хватились, а пока не дослали псов — надо успеть привезти жене и дочке дровишек.

Но главное счастье сна происходило от того, что лошадь была не какая-нибудь, а самая любимая из перебивавших у Спиридона — розовой масти кобылка Гривна — первая лошадь, купленная им трёх-летком в своё хозяйство после гражданской войны. Она была бы вся серая, если б не шёл у неё по серому равномерный гнеденький перешёрсток, краснинка, отчего и звали её масть «розовой». На этой лошади он и на ноги стал, и её закладывал в корень, когда вёз украдом к венцу невесту свою Марфу Устиновну. И теперь Спиридон ехал и счастливо удивлялся, что Гривна до сих пор оказалась жива и так же молода, так же не осекаясь вымахивала воз в горку и ретиво тянула его по песку. Вся думка Гривны была в её ушах — высоких, серых, чутких ушах, малыми движениями которых она, не оборачиваясь, говорила хозяину, как понимает она, что от неё сейчас нужно, и что она справится. Даже издали украдкой показать Гривне кнут было бы обидеть её. Езжая на Гривне, Спиридон николи с собой кнута не брал.

Ему во сне хоть слезь да поцелуй Гривну в храп, такой он был радый, что Гривна молода и, должно, теперь дождётся конца его срока, — как вдруг на спуске к ручью заметил Спиридон, что воз-то у него увалня кой-как, и сучья расползаются, грозя вовсе развалиться на броду.

Как толчком его скинуло с воза на земь — и это была толчок надзирателя.

Спиридон лежал теперь и вспоминал не одну свою Гривну, но десятки лошадей, на которых ему приходилось ездить и работать за жизнь (каждая из них ему врезалась как человек живой), и ещё тысячи лошадей, перевиденных со стороны, — и насадно было ему, что так за зря, безо всякого рózума, сжили со свету первых помощников — тех выморив без овса и сена, тех засеча в работе, тех татарам на мясо продав. Что делалось с умом, Спиридон мог понять.

Но нельзя было понять, зачем свели лошадь. Баяли тогда, что за лошадь будет работать трактор. А легло всё — на бабьи плечи.

Да одних ли лошадей? Не сам ли Спиридон вырубал фруктовые сады на хуторах, чтоб людям нечего там было терять — чтоб легче они подались до купы?..

— Егоров! — уже громко крикнул надзиратель из двери, разбудя тем ещё двоих спящих.

— Да иду же, мать твоя родина! — проворно отозвался Спиридон, спуская босые ноги на пол. И побрёл к радиатору снять высохшие портянки.

Дверь за надзирателем закрылась. Сосед кузнец спросил:

— Куда, Спиридон?

— Господа кличут. Пайку отрабатывать, — в сердцах сказал дворник.

Дома у себя мужик незалёжливый, в тюрьме Спиридон не любил подхватываться в темнедь. Из-под палки досвета встать — самое злое дело для арестанта.

Но в СевУралЛаге поднимают в пять часов.

Так что на шараге следовало пригибаться.

Примотав к солдатским ботинкам долгими солдатскими обмотками концы ватных брук, Спиридон, уже одетый и обутый, влез ещё в синюю шкуру комбинезона, накинуд сверху чёрный бушлат, шапку-малахай, перепоясался растеребленным брезентовым ремнём и пошёл. Его выпустили за окованную дверь тюрьмы и дальше не сопровождали. Спиридон прошёл подземным коридором, шаркая по цементному полу железными подковками, и по трапу поднялся во двор.

Ничего не видя в снежной полутьме, Спиридон безошибочно ощутил ногами, что выпало снега на полторы четверти. Значит, шёл всю ночь, крупный. Убравшая в снегу, он пошёл на огонёк штабной двери.

На порог штаба тюрьмы как раз выступил дежурник — лейтенант с пюгавыми усиками. Недавно выйдя от медсестры, он обнаружил непорядок — много напало снега, за тем и вызвал дворника. Заложив тепер обе руки за ремень, лейтенант сказал:

— Давай, Егоров, давай! От парадного к вахте прочисть, от штаба к кухне. Ну, и тут... на прогулочном... Давай!

— Всем давать — мужу не останется, — буркнул Спиридон, направляясь через снежную целину за лопатой.

— Что? Что ты сказал? — грозно переспросил лейтенант.

Спиридон оглянулся:

— Говорю — явóль, начальник, явóль! — (Немцы тоже так вот бывало «гыр-гыр», а Спиридон им — «явóль».) — Там на кухне скажи, чтоб картошки мне подкинули.

— Ладно, чисть.

Спиридон всегда вёл себя благоразумно, с начальством не вздорил, но сегодня было особое горькое настроение от утра понедельника, от нужды, глаз не продравши, опять горбить, от близости письма из дому, в котором Спиридон предчувствовал дурное. И горечь всего его пятидесятилетнего топтанья на земле собралась вся вместе и стояла изжогой в груди.

Сверху уже не сыпало. Без шелоху стояли липы. Они белели. Но то был уже не иней вчерашний, изникший к обеду, а выпавший за ночь снег. По тёмному небу, по затиши Спиридон определял, что снег этот долго не продержится.

Начал работать Спиридон угрюмо, но после затравы, первой полсотни лопат, пошло ровно и даже как будто в охотку. И сам Спиридон, и жена его были такие: от всего, что сгущалось на сердце, отступ находили в работе. И легчало.

Чистить Спиридон начал не дорогу от вахты для начальства, как ему было велено, а по своему разумению: сперва дорожку на кухню,

потом — в три широких фанерных лопаты — круговую дорожку на прогулочном дворе, для своего брата-зэка.

А мысли были о дочери. Жена, как и он, отжили своё. Сыновья, хоть и сидели за колючкой, но были мужики. Молодому крепиться — вперёд пригодится. Но дочь?..

Хотя одним глазом Спиридон ничего не видел, а другим видел только на три десятых, он обвёл весь прогулочный двор как отмеренным ровным продолговатым кругом — ещё и утро не сказалось, как раз к семи часам, когда по трапу поднялись первые любители гулять — Потапов и Хоробров, для того вставшие заранее и умывшиеся до подъёма.

Воздух выдавался пайком и был дорог.

— Ты что, Данилыч,— спросил Хоробров, поднимая воротник истёртого гражданского пальто, в котором был арестован когда-то.— Ты и спать не ложишься?

— Рази ж дадут спать, змеи? — отозвался Спиридон. Но давешнего зла уже в нём не было. За тот час молчаливой работы все омрачающие мысли о тюремщиках усторонились из него. Не говоря этого себе словами, Спиридон сердцем уже рассудил, что если дочь и сама набедила в чём, то ей не легче, и ответить надо будет помягче, а не проклинать.

Но и эта самая важная мысль о дочери, снисшедшая на него с недвижимых предутренних лип, тоже начинала утесняться мелкими мыслями дня — о двух досках, где-то занесенных снегом, о том, что метлу надо нынче насадить на метловище потуже.

Между тем надо было идти прочищать дорогу с вахты для легковых машин и для вольняшек. Спиридон перекинул лопату через плечо, обогнул здание шарашки и скрылся.

Сологдин, лёгкий, стройный, с телогрейкой, чуть наброшенной на немерзнущие плечи, прошёл на дрова. (Когда он шёл так, он думал про себя, но как бы со стороны: «Вот идёт граф Сологдин»). После вчерашней бестолковой колготни с Рубиным, его раздражающих обвинений, он первую ночь за два года на шарашке спал дурно — и теперь утром искал воздуха, одиночества и простора для обдумывания. Напиленные дрова у него были, только коли.

Потапов в красноармейской шинели, выданной ему при взятии Берлина, когда его посадили десанником на танк (до плена он был офицер, но званий за пленными не признавали), медленно гулял с Хоробровым. немного выбрасывая на ходу повреждённую ногу.

Хоробров едва успел стряхнуть дремоту и умыться, но вечно-бодрствующее ненавидящее внимание уже вступило в его мысли. Слова вырывались из него, но, как бы описав бесплодную петлю в тёмном воздухе, бумерангом возвращались к нему же и терзали грудь:

— Давно ли мы читали, что фордовский конвейер превращает рабочего в машину и что это есть самое бесчеловечное выражение капиталистической эксплуатации? Но прошло пятнадцать лет, и тот же конвейер под именем *потока* славится как высшая и новейшая форма производства! В 45-м году Чан Кай-ши был наш союзник, в 49-м удалось его свалить — значит, он гад и клика. Сейчас пытаются свалить Неру, пишут, что его режим в Индии — палочный. Если удастся свалить, будут писать: клика Неру, бежавшая на остров Цейлон. Если не удастся, будет — наш благородный друг Неру. Большевики настолько беззастенчиво приспосабливаются к моменту, что понадобятся нынче провести ещё одно повальное крещение Руси — они бы тут же откопали соответствующее указание у Маркса, увязали бы и с атеизмом и с интернационализмом.

Потапов всегда был настроен с утра меланхолически. Утро было единственное время, когда он мог подумать о погубленной жизни, о растущем без него сыне, о сохнувшей без него жене. Потом суета работы затыгивала, и думать уже было некогда.

Хоробров был как будто и прав, но Потапов ощущал в нём слишком много раздражения и готовность призвать Запад в судьи наших дел. Потапов же считал, что спор народа с властью должен быть решён каким-то (ему неизвестным) путём как спор между *своими*. Поэтому, неловко выбрасывая повреждённую ногу, он шёл молча и старался дышать поглубже и поровней.

Они делали круг за кругом.

Гуляющих прибавлялось. Они ходили по одному, по два, а то и по три. По разным причинам скрывая свои разговоры, они старались не тесниться и не обгонять друг друга без надобности.

Только-только брезжило. Снеговыми тучами закрытое небо опаздывало с отблесками утра. Фонари ещё бросали на снег жёлтые круги.

В воздухе была та свежесть, которою веет только что выпавший снег. Под ногами он не скрипел, а мягко уплотнялся.

Высокий прямой Кондрашёв в фетровой шляпе ходил с маленьким щуплым Герасимовичем в кепочке, соседом своим по комнате, много не достававшим Кондрашёву до плеча.

Герасимович, уничтоженный вчерашним свиданием, до конца воскресенья пролежал в кровати как больной. Прощальный выкрик жены потряс его.

Значит, не мог его срок течь и дальше так, как он тёл. Наташа не могла выдержать трёх последних лет — и что-то надо было предпринимать. «Да у тебя есть что-нибудь и сейчас!» — упрекнула она, зная голову мужа.

А у него не что-нибудь было, а слишком бесценное, чтоб отдавать его за собачью подачку и в эти руки.

Вот если бы подвернулось что-нибудь лёгонькое, безделушка для досрочки. Но так не бывает. Ничего не даёт нам бесплатно ни наука, ни жизнь.

Не оправился Герасимович и к утру. На прогулку он вышел через силу, озябший, запахнувшись доплотна, и сразу же хотел вернуться в тюрьму. Но столкнулся с Кондрашёвым-Ивановым, пошёл сделать с ним один круг — и увлёкся на всю прогулку.

— Ка-ак! Вы ничего не знаете о Павле Дмитриевиче Корине? — поразился Кондрашёв, будто о том знал каждый школьник. — О-о-о! У него, говорят, есть, только не видел никто, удивительная картина «Русь уходящая»! Одни говорят шесть метров длиной, другие — двенадцать. Его теснят, нигде не выставляют, эту картину он пишет тайно, и после смерти, может быть, её тут же и опечатают.

— Что же на ней?

— С чужих слов, не ручаюсь. Говорят — простой среднерусский большак, всхолмлено, перелески. И по большаку с задумчивыми лицами идёт поток людей. Каждое отдельное лицо проработано. Лица, которые ещё можно встретить на старых семейных фотографиях, но которых уже нет вокруг нас. Это — святящиеся старорусские лица мужиков, пахарей, мастеровых — крутые лбы, окладистые бороды, до восьмого десятка свежесть кожи, взора и мыслей. Это — те лица девушек, у которых уши завешены незримым золотом от бранных слов, девушки, которых нельзя себе вообразить в скотской толкучке у танцплощадки. И степенные старухи. Серебряноловые священики в ризах, так и идут. Монахи. Депутаты Государственной Думы. Перезревшие студенты в тужурках. Гимназисты, ищущие мировых истин. Надменно-прекрасные дамы в городских одеждах начала века. И кто-то, очень похожий на Короленко. И опять мужики, мужики... Самое страшное, что эти люди никак не сгруппированы. Распалась связь времён! Они не разговаривают. Они не смотрят друг на друга, может быть и не видят. У них нет дорожного бремени за спиной. Они — и дут; и не по этому конкретному большаку, а вообще. Они уходят т... Последний раз мы их видим...

Герасимович резко остановился:

— Простите, я должен побыть один!

Он круто повернулся и, оставив художника с поднятою рукою, пошёл в обратную сторону.

Он горел. Он не только увидел картину резко, как сам написал, но он подумал, что...

Обутрело.

Ходил надзиратель по двору и кричал, что прогулка окончена.

В подземном коридоре, на возврате, посвежевшие заключённые невольно толкали хмуробородого избольна бледного Рубина, проталкивающегося навстречу. Сегодня он проспал не только дрова (на дрова немыслимо было идти после ссоры с Сологдиным), но и утреннюю прогулку. От короткого искусственного сна Рубин ощущал своё тело тяжёлым, ватно-бесчувственным. Ещё он испытывал кислородный голод, незнакомый тем, кто может дышать, когда хочет. Он пытался теперь выйтись во двор за единым глотком свежего воздуха и за жмеюнею снега для обтирания.

Но надзиратель, стоя у верха трапа, не пустил его.

Рубин стоял у низа трапа, в цементной яме, куда, однако, тоже перепало снега и тянуло свежим воздухом. Здесь, внизу, он сделал три медленных круговых движения руками с глубокими вздохами, затем собрал со дна ямы снегу, натёр им лицо и поплёлся в тюрьму.

Туда же пошёл и проголодавшийся бодрый Спиридон, уже расчистивший дорогу для машин до самой вахты.

В штабе тюрьмы два лейтенанта — сменяющийся, с квадратными усиками, и новозаступающий лейтенант Жвакун, вскрыли пакет и знакомились с оставленным им приказом майора Мышина.

Лейтенант Жвакун — грубый широмордый непроницаемый парень, во время войны в старшинском звании служил палачом дивизии (называлось «исполнитель при военном трибунале») и оттуда выслужился. Он очень дорожил своим местом в Спецтюрьме № 1 и, не блеща грамотностью, дважды перечёл распоряжение Мышина, чтобы ничего не спутать.

Без десяти девять они пошли по комнатам делать поверку и всюду объявили, как было велено:

«Всем заключённым в течение трёх дней сдать майору Мышину перечень своих прямых родственников по форме: номер по порядку, фамилия, имя, отчество родственника, степень родства, место работы и домашний адрес.

Прямыми родственниками считаются: мать, отец, жена зарегистрированная, сын и дочь от зарегистрированного брака. Все остальные — братья, сёстры, тётки, племянницы, внуки и бабушки считаются родственниками непрямыми.

С 1-го января переписка и свидания будут дозволяться только с прямыми родственниками, которых укажет в перечне заключённый.

Кроме того, с 1-го января размер ежемесячного письма устанавливается — не больше одного развёрнутого тетрадного листа».

Это было так худо и так неумолимо, что разум неспособен был охватить объявленное. И поэтому не было ни отчаяния, ни возмущения, а только злобно-насмешливые выкрики сопутствовали Жвакуну:

— С Новым годом!

— С новым счастьем!

— Ку-ку!

— Пишите доносы на родственников!

— А сыщики сами найти не могут?

— А размер букв почему не указан? Какой размер буквы?

Жвакун, пересчитывая наличие голов, одновременно старался запомнить, кто что кричал, чтобы потом доложить майору.

Впрочем, заключённые всегда недовольны, делай им хоть хорошо, хоть плохо...



Удручённые, расходились на работу зэки.

Даже те из них, кто сидел давно, — и те были ошеломлены жестокостью новой меры. Жестокость здесь была двойная. Одна — что сохранить тонкую живительную ниточку связи с родными отныне можно было только ценой полицейского доноса на них. А ведь многим из них на воле ещё удавалось скрыть, что они имеют родственников за решёткой — и только это обеспечивало им работу и жильё. Вторая жестокость была — что отвергались незарегистрированные жёны и дети, отвергались братья, сёстры, а тем паче двоюродные. Но после войны, её бомбёжек, эвакуаций, голода — иных родственников у многих зэков и не осталось. А так как к аресту не дают приготовиться, к нему не исповедуешься, не причащаешься, не кончаешь своих расчётов с жизнью — то многие оставили на воле верных подруг, но без грязного штампа ЗАГСа в паспорте. И вот такие подруги теперь объявлялись чужими...

Внутри просторного Железного Занавеса, объяввшего страну по периметру, опускался вокруг Марфина ещё один — тесный, глухой, стальной.

Даже у самых заклятых энтузиастов казённой работы опустились руки. По звонку выходили долго, толпились в коридорах, курили, разговаривали. Садясь же за свои рабочие столы, опять курили и опять разговаривали, и главный занимавший всех вопрос был: неужели в центральной картотеке МГБ до сих пор не собраны и не систематизированы сведения обо всех родственниках зэков? Новички и наивные почитали ГБ всемогущей, всезнающей и без нужды в этом перечне-доносе. Но старые тёртые зэки солидно качали головами: они объясняли, что госбезопасность — такой же громадный бестолковый механизм, как вся наша государственная машина; что картотека родственников у ГБ в беспорядке; что за кожаными чёрными дверьми отделы кадров и спецотделы «не ловят мышей» (им хватает казённого приварка), не выбирают данных из бесчисленных анкет; что тюремные канцелярии не делают своевременных и нужных выборок из книг свиданий и передач; что, таким образом, список родственников, требуемый Климентьевым и Мышиным, есть самый верный смертельный удар, который ты можешь нанести своим родным.

Так разговаривали зэки — и работать никто не хотел.

Но как раз в это утро начиналась последняя неделя года, в которую, по замыслу институтского начальства, надо было совершить героический рывок, чтобы выполнить годовой план 1949 года и план декабря, а также разработать и принять годовой план 1950 года, квартальный план января—марта и отдельно план января и ещё план первой декады января. Всё, что было здесь бумага, — предстояло свершить самому начальству. Всё, что было здесь работа, — предстояло исполнить заключённым. Поэтому энтузиазм заключённых был сегодня особенно важен.

Командованию институтскому совершенно была неизвестна разрушительная утренняя анонсация тюремного командования, произведенная в соответствии со своим годовым планом.

Никто бы не мог обвинить министерство госбезопасности в евангельском образе жизни! Но одна евангельская черта в нём была: правая рука его не знала, что делала левая.

Майор Ройтман, на лице которого, освежённом после бритья, не осталось следа ночных сомнений, как раз для информации о планах и собрал на производственное совещание всех зэков и всех вольных Акустической лаборатории. У Ройтмана были негритянски-оттопыренные губы на продолговатом умном лице. На худой груди Ройтмана, поверх широковатой гимнастёрки, как-то особенно некстати висела ненужная ему португезя. Он хотел храбриться сам и подбодрять под-

чинённых, но дыхание развала уже проникло под своды комнаты: середина её пустынно сиротела без унесённой стойки вокодера; не было Пряничкова, жемчужины акустической короны; не было Рубина, запершегося со Смолосидовым на третьем этаже; наконец, и сам Ройтман торопился поскорее здесь кончить и идти туда.

А из вольняшек не было Симочки, опять дежурившей с обеда взамен кого-то. Хоть не было её! хоть это одно облегчало сейчас Нержина! — не объясняться с нею знаками и записками.

В кружке совещания Нержин сидел, откинувшись на податливую пружинящую спинку своего стула и поставив ноги на нижний обруч другого стула. Смотрел он по большей части в окно.

За окнами поднялся западный и, видимо, сырой ветер. От него посвинцовело облачное небо, стал рыхлеть и сжиматься нападавший снег. Наступала ещё одна бессмысленная гнилая оттепель.

Нержин сидел невыспанный, обвислый, с резкими при сером свете морщинами. Он испытывал знакомое многим арестантам чувство утра понедельника, когда, кажется, нет сил двигаться и жить.

Что значит свидания раз в год! Вот только вчера было свидание. Казалось: самое срочное, самое необходимое всё высказано надолго вперёд! И уже сегодня...?

Когда теперь это скажешь ей? Написать? Но как об этом напишешь? Можно ли сообщить своё место работы?.. После вчерашнего и так ясно: нельзя.

Объяснить: так как не могу сообщить о тебе сведений, то переписку надо оборвать? Но адрес на конверте и будет доносом!

Не написать совсем ничего? Но что она станет думать? Ещё вчера я улыбался — а сегодня замолчу навеки?

Ощущение тисков не каких-то поэтически-переносных, а громадных слесарных с насеченными губами, с прожерлиной для зажимания человеческой шеи, ощущение сходящихся на туловище тисков спирало дыхание.

Невозможно было найти выход! Плохо было — всё.

Воспитанный близорукий Ройтман мягкими глазами смотрел сквозь очки-анастигматы и голосом не начальническим, а с оттенком усталости и мольбы говорил о планах, о планах, о планах.

Однако сеял он — на камне.

Тесно окружённый стульями, столами, без воздуха и без движения, зажатый слесарными челюстями, Нержин сидел внешне подавленный, с уроненными углами губ. Суженные глаза его были безразлично уставлены на тёмный забор, на вышку с *полкой*, торчащую прямо против его окна.

Но за лицом его, безобидно неподвижным, метался гнев.

Пройдут годы, и все эти люди, кто вместе с ним слышал сегодняшнее утреннее объявление, все эти люди, сейчас омрачённые, негодующие, упавшие ли духом, клокочущие от ярости — одни лягут в могилы, другие смягчатся, отсыреют, трети всё забудут, отрекутся, облегчённо затопчут своё тюремное прошлое, четвёртые вывернут и даже скажут, что это было разумно, а не безжалостно, — и, может быть, никто из них не соберётся напомнить сегодняшним палачам, что они делали с человеческим сердцем!

Крута гора, да обминчива, лиха беда, да избывчива.

Это поразительное свойство людей — забывать! Забывать, о чём клаясь в Семнадцатом. Забывать, что обещали в Двадцать Восьмом. Что ни год — отуплённо, покорно спускаться со ступеньки на ступеньку — и в гордости, и в свободе, и в одежде, и в пище — и от этого ещё короче становится память и смирней желание забиться в ямку, в расщелинку, в трещинку — и как-нибудь там прожить.

Но тем сильнее за всех за них Нержин чувствовал свой долг и своё призвание. Он знал в себе дотошную способность никогда не сбиться, никогда не остыть, никогда не забыть.

И за всё, за всё, за всё, за пыточные следствия, за умирающих лагерных доходяг и за сегодняшнее утреннее объявление — четыре гвоздя их памяти! Четыре гвоздя их вранью, в ладони и в голени — и пусть висит и смердит, пока Солнце погаснет, пока жизнь окоченеет на планете Земля.

И если больше никого не найдётся — эти четыре гвоздя Нержин вколотит сам.

Нет, зажатоу в слесарных тисках — не до скептической улыбки Пиррона.

Уши Нержина слышали, хотя и не слушали, что говорил Ройтман. Только когда тот стал повторять «соцобязательства», «соцобязательства», Глеб дрогнул от гадливости. С планами он как-то примирился. Планы он составлял с изворотливостью. Он норовил, чтобы десяток увесистых пунктов годового плана не таили за собою большой работы: чтобы работа была или уже частично сделана, или не требовала усилий, или мираж. Но всякий раз после того, как отлично выструганный и отфугованный им план представлялся на утверждение, утверждался и считался пределом его возможностей — тут же, в противоречие с этим признанным пределом и в издевательство над чувствами политзаключённого, Нержину всякий месяц предлагали выдвинуть добавочно к плану собственное же встречное научное социалистическое обязательство.

Вслед Ройтману выступил один вольный, потом один ээк. Адам Вениаминович спросил:

— А что скажете вы, Глеб Викентьич?

Четыре гвоздя!! — что мог сказать им Нержин?

Он не вздрогнул при вопросе. Он не выронил из тёмного лона мозга затаённо зажатых железных гвоздей. На их звериную беспощадность — и хитрость должна быть звериной. Словно только и ждав этого вызова, Нержин с готовностью встал, изображая на лице простодушный интерес:

— План за сорок девятый год артикуляционной группой по всем показателям полностью выполнен досрочно. Сейчас я занят математической разработкой теоретико-вероятностных основ фразово-вопросной артикуляции, которую и планирую закончить к марту, что даст возможность научно-обоснованно артикулировать на фразах. Кроме того, в первом квартале, даже в случае отсутствия Льва Григорьича, я разверну приборно-объективную и описательно-субъективную классификацию человеческих голосов.

— Да-да-да, голосов! Это очень важно! — перебил Ройтман, отвечая своим замыслам фоноскопии.

Строгая бледность лица Нержина под распавшимися волосами говорила о жизни мученика науки, науки артикуляции.

— И соревнование надо оживить, верно, это поможет, — убеждённо заключил он. — Социалистические обязательства мы тоже дадим, к первому января. Я считаю, что наш долг работать в наступающем году больше и лучше, чем в истекшем. — (А в истекшем он ничего не делал.)

Выступили ещё двое ээков. И хотя естественнее всего было бы им открыться перед Ройтманом и перед собранием, что не могут они думать о планах, а руки их не могут шевельнуться к работе, потому что сегодня у них отнят последний призрак семьи, — но не этого ждало начальство, настроенное на трудовой рынок. И даже высказки кто-нибудь это, — растерялся бы и обиженно заморгал Ройтман, — но собрание всё равно пошло бы тем же начертанным путём.

Оно закрылось — и Ройтман через одну ступеньку молодо побежал на третий этаж и постучался в совсекретную комнату к Рубину. Там уже пламенели догадки. Магнитные ленты сравнивались.

Оперчекистская часть на объекте Марфино подразделялась на майора Мышина — тюремного кума и майора Шикина — производственного кума. Вращаясь в разных ведомствах и получая зарплату из разных касс, они не соперничали друг с другом. Но и сотрудничать им мешала какая-то лень: кабинеты их были в разных зданиях и на разных этажах; по телефону об оперчекистских делах не разговаривают; будучи же в равных чинах, каждый почитал обидным идти первому как бы кланяться. Так они и работали, один над ночными душами, другой — над дневными, месяцами не встречаясь друг с другом, хотя в поквартальных отчётах и планах каждый писал о необходимости тесной увязки всей оперативной работы на объекте Марфино.

Как-то читая «Правду», майор Шикин задумался над заголовком статьи «Любимая профессия». (Статья была об агитаторе, который больше всего на свете любил разъяснять что-нибудь другим: рабочим — важность повышения производительности, солдатам — необходимость жертвовать собой, избирателям — правильность политики блока коммунистов и беспартийных.) Шикину понравилось это выражение. Он заключил, что и сам, кажется, не ошибся в жизни: ни к какой другой профессии его отроду не тянуло; он любил свою, и она его любила.

В своё время Шикин кончил училище ГПУ, позже — курсы усовершенствования следователей, но на работе собственно следовательской состоял мало, поэтому не мог назвать себя следователем. Он работал оперативником в транспортном ГПУ; он был особонаблюдающим от НКВД за враждебными избирательными бюллетенями при тайных выборах в Верховный Совет; во время войны был начальником армейского отделения военной цензуры; потом был в комиссии по репатриации, потом в проверочно-фильтрационном лагере, потом специнструктором по высылке греков с Кубани в Казахстан и наконец — оперуполномоченным в исследовательском институте Марфино. Все эти занятия охватывались единым словом: оперчекист.

Оперчекизм и был подлинно любимой профессией Шикина. Да и кто из его сотоварищей не любил её!

Эта профессия была неопасна: во всякой операции обеспечивался перевес сил: двое и трое вооружённых оперчекистов против одного безоружного, не предупредённого, иногда только что проснувшегося врага.

Затем, она высоко оплачивалась, давала права на лучшие закрытые распределители, на лучшие квартиры, конфискованные у осуждённых, на пенсии выше, чем у военных, и на первоклассные санатории.

Она не изматывала сил: в ней не было норм выработки. Правда, друзья рассказывали Шикину, что в тридцать седьмом и сорок пятом году следователи тянули, как лошади, но сам Шикин не попадал в такой круговорот и не очень верил. В добрую пору можно было месяцами дремать за письменным столом. Общий стиль работы МВД-МГБ был — неторопливость. К естественной неторопливости всякого сытого человека добавлялась ещё неторопливость по инструкциям, чтобы лучше воздействовать на психику заключённого и добиться от него показаний, — медленная зачинка карандашей, подбор перьев, выбор бумаги, терпеливая запись всяких протокольных ненужностей и установочных данных. Эта проникающая неторопливость работы очень здорово отзывалась на нервах чекистов и вела к долголетию работников.

Не менее дорог был Шикину и сам порядок оперчекистской работы. Вся она, по сути, состояла из учёта в голом виде, пронизывающего учёта (и тем выражала характернейшую черту социализма). Ни один разговор не кончался попросту как разговор, а обязательно за-

вершался написанием доноса, или подписанием протокола, или расписки о недаче ложных показаний, о неразглашении, о невыезде, об осведомлении, о вручении. Требовалось именно то терпеливое внимание, именно та аккуратность, которые отличали характер Шикина, чтобы не создать в этих бумажках хаоса, а распределить их, подшить и всегда найти любую. (Сам Шикин, как офицер, не мог производить физической работы подшита бумаги, и это делала приглашаемая из общего секретариата особая засекреченная девица, долговязая и подслеповатая.)

А больше всего была приятна оперчекистская работа Шикину тем, что она давала власть над людьми, сознание всемогущества, в глазах же людей окружала своих работников загадочностью.

Шикину лестно было то почтение, та даже робость, которые он встречал к себе со стороны сослуживцев — тоже чекистов, но не оперчекистов. Все они — и инженер-полковник Яконов — по первому требованию Шикина должны были давать ему отчёт о своей деятельности, Шикин же не отчитывался ни перед кем из них. Когда он, темнолицый, с седеющим коротко стриженным ёжиком, с большим портфелем подмышкой, поднимался по коврам широкой лестницы, и девушки-лейтенантки МГБ застенчиво сторонились его даже на просторе этой лестницы, спеша первыми поздороваться, — Шикин гордо ощущал свою ценность и особенность.

Если бы Шикину сказали — но ему никогда этого никто не говорил, — что он якобы заслужил к себе ненависть, что он — мучитель других людей, — он бы непритворно возмутился. Никогда мучение людей не составляло для него удовольствия или цели. Правда, вообще такие люди бывают, он видел их в театре, в кино, это садисты, страстные любители пыток, в них нет ничего человеческого, но это всегда или белогвардейцы, или фашисты. Шикин же только выполнял свой долг, и единственная цель его была — чтобы никто ничего вредного не делал и ни о чём вредном не думал.

Однажды на главной лестнице шарашки, по которой ходили и вольные и зэки, найден был свёрток, а в нём — сто пятьдесят рублей. Нашедшие два техника-лейтенанта не могли его скрыть или тайно разыскать хозяина именно потому, что их было двое. Поэтому они сдали находку майору Шикину.

Деньги на лестнице, где ходят заключённые, деньги, оброненные под ноги тем, кому иметь их строжайше запрещено, — да это равнялось чрезвычайному государственному событию! Но Шикин не стал его раздвухать, а повесил на лестнице объявление:

«Кто потерял деньги 150 руб. на лестнице, может получить их у майора Шикина в любое время».

Деньги были не малые. Но таково было всеобщее почтение к Шикину и робость перед ним, что шли дни, шли недели — никто не являлся за проклятой пропажей, объявление блекло, запыливалось, оторвалось с одного угла, и наконец кто-то дописал синим карандашом печатными буквами:

«Лопай сам, собака!»

Дежурный отодрал объявление и принёс его майору. Долго после этого Шикин ходил по лабораториям и сравнивал оттенки синих карандашей. Грубое ругательство незаслуженно оскорбило Шикина. Он вовсе не собирался присваивать чужих денег. Ему гораздо больше хотелось, чтобы пришёл этот человек, и можно было бы оформить на него поучительное дело, проработать на всех совещаниях о бдительности — а деньги, пожалуйста, отдать.

Но, конечно, не выбрасывать же их и зря! — через два месяца майор подарил их той долговязой девице с бельмом, которая подшивала у него раз в неделю бумаги.

Образцового до тех пор семьянина, Шикина как чёрт попутал и приковал к этой секретарше с её запущенными тридцатью восемью годами, с грубыми толстыми ногами и которой он доходил только до плеча. Что-то неиспытанное он в ней для себя открыл. Он едва дождался дня её прихода и настолько потерял осторожность, что при ремонте, во временном помещении, не уберёгся: их слышали и даже в щёлку видели двое заключённых — плотник и штукатур. Это разнеслось, и эски между собой потешались над духовным пастырем и хотели писать письмо жене Шикина, да не знали адреса. Вместо того донесли начальству.

Но свалить оперуполномоченного им не удалось. Генерал-майор Осколупов выговаривал тогда Шикину не за сношения с секретаршей (это была область моральных принципов секретарши) и не за то, что сношения происходили в рабочее время (ибо день у майора Шикина был ненормированный), а лишь за то, что узнали заключённые.

В понедельник двадцать шестого декабря майор Шикин пришёл на работу немногим позже девяти часов утра, хотя если б он пришёл и к обеду — никто б ему не мог сделать замечания.

На третьем этаже против кабинета Яконова было в стене углубление или тамбур, никогда не освещаемый электрической лампочкой, и из тамбура вели две двери — одна в кабинет Шикина, другая — в партком. Обе двери были обтянуты чёрной кожей и не имели надписей. Такое соседство дверей в тёмном тамбуре было весьма удобно для Шикина: со стороны нельзя было доследить, куда именно занырявали люди.

Сегодня, подходя к кабинету, Шикин встретился с секретарём парткома Степановым, больным худым человеком в свинцово-поблескивающих очках. Обменялись рукопожатием. Степанов тихо предложил:

— Товарищ Шикин! — Он никого не называл по имени-отчеству. — Заходи, шаров погоняем!

Приглашение относилось к парткомовскому настольному бильярду. Шикин иногда-таки заходил погонять шары, но сегодня много важных дел ждало его, и он с достоинством покачал своею серебрищей головой.

Степанов вздохнул и пошёл гонять шары сам с собой.

Войдя в кабинет, Шикин аккуратно положил портфель на стол. (Все бумаги Шикина были секретные и совсекретные, держались в сейфе и нигде не выносились, — но ходить без портфеля не воздействовало на умы. Поэтому он носил в портфеле домой читать «Огонёк», «Крокодил» и «Вокруг света», на которые самому подписываться обошлось бы в копейку.) Затем прошёлся по коврику, постоял у окна — и назад к двери. Мысли будто ждали его, притаясь тут, в кабинете, за сейфом, за шкафом, за диваном — и теперь все разом обступили и требовали к себе внимания.

Дёл было!.. Дёл было!..

Он растёр ладонями свой короткий сидящий ёжик.

Во-первых, надо было проверить важное начинание, обдуманное им в течение многих месяцев, утверждённое недавно Яконовым, принятое к руководству, разъяснённое по лабораториям, но ещё не налаженное. Это был новый порядок ведения секретных журналов. Пытливо анализируя постановку бдительности в институте Марфино, майор Шикин установил, и очень гордился этим, что по сути настоящей секретности всё ещё нет! Правда, в каждой комнате стоят нестерраемые стальные шкафы в рост человека в количестве пятидесяти штук привезенные от растрофеенной фирмы «Лоренц»; правда, все документы секретные, полусекретные и лежавшие около секретных запираются в присутствии специальных дежурных в эти шкафы на обеденный перерыв, на ужинный перерыв и на ночь. Но трагическое упу-

щение состоит в том, что запираются только законченные и незаконченные работы. Однако, в стальные шкафы всё ещё не запираются проблески мысли, первые догадки, неясные предположения — именно то, из чего рождаются работы будущего года, то есть, самые перспективные. Ловкому шпиону, разбирающемуся в технике, достаточно проникнуть через колючую проволоку в зону, найти где-нибудь в мусорном ящике клочок промокательной бумаги с таким чертежом или схемой, потом выйти из зоны — и уже американской разведкой перехвачено направление нашей работы. Будучи человеком добросовестным, майор Шикин однажды заставил дворника Егорова в своём присутствии разобрать весь мусорный ящик во дворе. При этом нашлись две промоклых, смёрзшихся со снегом и с золой бумажки, на которых явно были когда-то начерчены схемы. Шикин не побрезговал взять эту дрянь за уголки и принести на стол к полковнику Яконову. И Яконову некуда было деваться! Так был принят проект Шикина об учреждении индивидуальных именных секретных журналов. Подходящие журналы были немедленно приобретены на писчебумажных складах МГБ: они содержали по двести больших страниц каждый, были пронумерованы, прошнурованы и просургучены. Журналы предполагалось теперь раздать всем, кроме слесарей, токарей и дворника. Вменялось в обязанность не писать ни на чём, кроме как на страницах своего журнала. Помимо упразднения гибельных черновиков здесь было ещё второе важное начинание: осуществлялся контроль за мыслью! Так как каждый день в журнале должна проставляться дата, то теперь майор Шикин мог проверить любого заключённого: много ли он думал в среду и сколько нового придумал в пятницу. Двести пятьдесят таких журналов будут ещё двумястами пятьдесятью Шикиными, неотступно висящими над головой каждого арестанта. Арестанты всегда хитры и ленивы, они всегда стараются не работать, если это возможно. Рабочего проверяют по его продукции. А вот проверить инженера, проверить учёного — в этом и состояло изобретение майора Шикина! (Увы, оперчекистам не дают сталинских премий.) Сегодня как раз и требовалось проконтролировать, розданы ли журналы на руки и начато ли их заполнение.

Другая сегодняшняя забота Шикина была — укомплектовать до конца список заключённых на этап, намечаемый тюремным управлением на этих днях, и уточнить, когда же именно обещают транспорт.

Ещё владело Шикиными грандиозно начатое им, но пока плохо продвигавшееся «Дело о поломке токарного станка», — когда десятеро заключённых перетаскивали станок из 3-й лаборатории в мехмастерские, и станок дал трещину в станине. За неделю следствия уже было исписано до восьмидесяти страниц протоколов, но истина никак не выяснялась: арестанты попались все не новички.

Ещё нужно было произвести следствие по поводу того, откуда взялась книга Диккенса, о которой Доронин донёс, что её читали в полукруглой комнате, в частности Абрамсон. Вызывать на допрос самого Абрамсона, повторника, было бы потерей времени. Значит, надо было вызывать вольных из его окружения и сразу пугануть их, что всё раскрыто, что он признался.

Так много было сегодня у Шикина дел! (И ведь он ещё не знал, что нового ему расскажут осведомители! Он не знал, что ему предстояло разбираться в глумлении над правосудием в форме спектакля «Суд над князем Игорем»!) Шикин в отчаянии растёр себе виски и лоб, чтобы всё это множество мыслей как-нибудь уложилось, осело.

Колеблясь с чего начать, Шикин решил выйти в массы, то есть пройтись немного по коридору в надежде встретить какого-нибудь осведомителя, который движением бровей даст понять, что у него донесение срочное, не ждущее явки по графику.

Но едва он вышел к столу дежурного, как услышал разговор того по телефону о какой-то новой группе.

Как? Возможна ли такая стремительность? За воскресенье, пока Шикина не было, на объекте образовалась новая группа?

Дежурный рассказал.

Удар был крепок! — приезжал замминистра, приезжали генералы — а Шикина на объекте не было! Досада овладела майором. Дать замминистра повод думать, что Шикин не терзается о бдительности! И не предупредить, не отсоветовать вовремя: нельзя же включать в столь ответственную группу этого проклятого Рубина — двурушника, человека насквозь фальшивого: клянётся, что верит в победу коммунизма, — и отказывается стать осведомителем! Ещё эту демонстративную бороду носит, мерзавец! Сбрить!

Спеша медленно, делая ножками в мальчиговых ботинках осторожные шажки, крупноголовый Шикин направился к комнате 21.

Была, впрочем, управа и на Рубина: на днях он подал очередное прошение в Верховный Суд о пересмотре дела. От Шикина зависело — сопроводить прошение похвальной характеристикой или гнусно-отрицательной (как прошлые разы).

Дверь № 21 была сплошная, без стеклянных шибок. Майор толкнул, она оказалась запертой. Он постучал. Не было слышно шагов, но дверь вдруг приоткрылась. В её растворе стоял Смолосидов с недобрый чёрным чубом. Видя Шикина, он не пошевелился и не раскрыл дверь шире.

— Здравствуйте, — неопределённо сказал Шикин, не привыкший к такому приёму. Смолосидов был ещё более оперчекист, чем сам Шикин.

Чёрный Смолосидов с чуть отведенными кривыми руками стоял пригнувшись, как боксёр. И молчал.

— Я... Мне... — растерялся Шикин. — Пустите, мне нужно познакомиться с вашей группой.

Смолосидов отступил на полшага и, продолжая загораживать собою комнату, поманил Шикина. Шикин втиснулся в узкий раствор двери и оглянулся вслед пальцу Смолосидова. На второй половинке двери изнутри была приколота бумажка:

«Список лиц, допущенных в комнату 21.

1. Зам. министра МГБ — Селивановский
2. Нач. Отдела — генерал-майор Бульбанюк
3. Нач. Отдела — генерал-майор Осколупов
4. Нач. группы — инженер-майор Ройтман
5. Лейтенант Смолосидов
6. Заключённый Рубин

Утвердил  
министр Госбезопасности  
Абакумов»

Шикин в благоговейном трепете отступил в коридор.

— Мне бы... Рубина вызвать... — шёпотом сказал он.

— Нельзя! — так же шёпотом отклонил Смолосидов.

И запер дверь.

Утром на свежем воздухе, коля дрова, Сологдин проверял в себе ночное решение. Бывает, что мысли, безусловные ночью в полусне, оказываются несостоятельными при свете утра.

Он не запомнил ни одного полена, ни одного удара — он думал.

Но недоспоренный спор мешал ему размышлять с ясностью. Все новые и новые хлёсткие доводы, вчера не высказанные Льву, сейчас с опозданием приходили в голову.

Главная же осталась досада и горечь от вчерашнего нелепого поворота спора, что Рубин как бы получал право быть судьёю в поступках



Сологдина — именно в том решении, которое сегодня предстояло принять. Можно было вычеркнуть Лёвку Рубина из скрижали друзей, но нельзя было вычеркнуть брошенный вызов. Он оставался и язвил. Он отнимал у Сологдина право на его изобретение.

А вообще спор был очень полезен, как всякая борьба. Похвала — это выпускной клапан, она сбрасывает наше внутреннее давление, и потому всегда нам вредна. Напротив, брань, даже самая несправедливая — это всё топка нашему котлу, это очень нужно.

Конечно, всему цветущему хочется жить. Дмитрий Сологдин, с незаурядными способностями ума и тела, имел право на свою жатву, на свой отстой молочных благ.

Но он сам вчера сказал: к высокой цели ведут только высокие средства.

Тюремное объявление за чаем Сологдин принял со светящейся усмешкой. Вот ещё одно доказательство его предвидения. Он сам прервал переписку вовремя, и жена не будет метаться в неизвестности.

А вообще крепчание тюремного режима лишний раз предупреждало, что вся обстановка будет суровей, и выхода из тюрьмы в виде так называемого «конца срока» — не будет.

Только если кто получит досрочку.

Или изобретение и досрочка, или — не жить никогда.

В девять часов Сологдин одним из первых прошёл в толпе арестантов на лестницу и поднялся в конструкторское бюро бравый, налитый молодостью, с завивом белокурой бородки («вот идёт граф Сологдин»).

Его победно-сверкающие глаза встретили втягивающий взгляд Ларисы.

Как она рвалась к нему всю ночь! Как она радовалась сейчас иметь право сидеть возле и любоваться им! Может быть, переброситься записочкой.

Но не таков был момент. Сологдин скрыл глаза в любезном поклоне и тут же дал Еминой работу: надо сходить в мехмастерские и уточнить, сколько уже выточено крепёжных болтиков по заказу 114. При этом он очень просил её поспешить.

Лариса в тревоге и недоумении смотрела на него. Ушла.

Серое утро давало так мало света, что горели верхние лампы и зажигались у кульманов.

Сологдин отколол со своего кульмана покрывающий грязный лист — и ему открылся главный узел шифратора.

Два года жизни ушло у него на эту работу. Два года строгого распорядка ума. Два года лучших утренних часов — потому что среди дня человек не создаёт великого.

А выходит — всё ни к чему?

Вот обнажающая плоскость: можно ли любить столь дурную страну? Этот обезбоженный народ, наделавший столько преступлений, и безо всякого раскаяния — этот народ рабов достоин ли жертв, светлых голов, анонимно лежащих под топор? Ещё сто и ещё двести лет этот народ будет доволен своим корытом — для кого же жертвовать факелом мысли?

Не важней ли сохранить факел? Позже нанесёшь удар сильней.

Он стоял и впитывал своё творение.

У него осталось несколько часов или минут, чтобы безошибочно решить задачу всей жизни.

Он открепил главный лист. Лист издал полоскающий звук, как парус фрегата.

Одна из чертёжниц, как заведено было у них по понедельникам, обходила конструкторов и спрашивала старые ненужные листы на уничтожение. Листы не полагалось рвать и бросать в урны, а составлялся акт и они сжигались во дворе.

(Вообще это было упущение майора Шикина: так доверять огню. Отчего они не создали наряду с конструкторским бюро ещё оперконструкторского, которое сидело и разбирало бы все чертежи, уничтожаемые первым бюро?)

Сологдин взял жирный мягкий карандаш, несколько раз небрежно перечеркнул свой узел и напачкал по нему.

Потом отколол, надорвал его с одной стороны, положил на него покрывающий грязный, подсунул снизу ещё один ненужный, всё вместе скрутил и протянул чертёжнице:

— Три листа, пожалуйста.

Потом он сидел, открыв для чернухи справочник, и поглядывал, что делается с его листом дальше. Сологдин следил, не подойдёт ли кто-нибудь из конструкторов просмотреть листы.

Но тут объявили совещание. Все стягивались и садились.

Подполковник, начальник бюро, не поднимаясь со стула и не очень напирая, стал говорить о выполнении планов, о новых планах и о встречаемых социалистических обязательствах. Он вставил в план, но сам не верил, что к концу будущего года удастся дать технический проект абсолютного шифратора — и теперь обговаривал это всё так, чтоб оставить своим конструкторам запасные лазейки к отступлению.

Сологдин сидел в заднем ряду и ясным взглядом смотрел мимо голов в стену. Кожа лица его была гладка, свежа, нельзя было предположить, чтоб он сейчас о чём-то думал или был озабочен, а скорее пользовался совещанием как случаем передохнуть.

Но, напротив, — он напряжённейше думал. Как в оптических устройствах кружатся многогранники зеркал, попеременно разными гранями принимая и отражая лучи, так и в нём, на осях не пересекающихся и не параллельных, кружились и сыпали брызгами мысли.

И вдруг самое простое, простое из простых влетело камешком познание: да не следят ли за ним с позавчерашнего дня, с тех пор, как Антон повидал этот лист? Девушки только за дверь вынесут — и там у них сейчас же отнимут его шифратор.

Он стал вертеться, как подколотый. Он еле дождался конца совещания — и быстро подошёл к чертёжницам. Они уже писали акт.

— Я один лист по ошибке вам дал... Простите... Вот этот. Вот этот.

Он понёс его к себе. Ничкой кверху положил на стол. Огляделся. Ларисы не было, никто не видел. Большими ножницами он быстро неровно разрезал лист пополам, ещё пополам, и каждую четвертушку на четыре части.

Вот так будет верней. Ещё одно упущение майора Шикина: не поставил он чертить чертежи в пронумерованных просургученных книгах!

Отвернувшись от комнаты в угол, все шестнадцать листиков пачкой Сологдин заложил себе за пазуху, под мешковатый комбинезон. А коробку спичек он всегда держал в столе — для мелких сожжений.

Озабоченным шагом он вышел из конструкторского. Из главного коридора свернул в боковой, к уборной.

В переднем помещении эск Тюнюкин, хорошо известный стукач, мыл руки под краном. В заднем помещении кроме писсуаров шли подряд четыре отгороженные кабины. Первая была заперта (Сологдин проверил, потянув дверь), две средних полуоткрыты и, значит, пусты, четвёртая опять закрыта, но поддалась его руке. На ней была хорошая задвижка. Сологдин вступил туда, запер и замер.

Он вынул из-за пазухи два листа, достал спички «победа» — и ждал. Не зажигал, боясь, что пламя можно будет увидеть через озарение на потолке, что запах гари быстро разойдётся по уборной.

Кто-то пришёл ещё. Потом ушёл и он, и тот, из первой кабины. Сологдин чиркнул. Сера вспыхнула и отлетела на грудь. Со второй спички сера не сорвалась, но огонёк её бессилён был объять скручен-

ное коричневатое тело спички. Попыхав, он погас с обиженной струйкой дыма.

Сологдин про себя выругался ходовым лагерным ругательством. Невоспламеняемые нестораемые спички! — в какой стране есть подобные? Ведь таких и нарочно не сделаешь! «Победа»! Как они вообще одержали победу?

Третья спичка при нажатии сломалась. Четвёртую он ещё из коробки достал сломанную. На пятой с трёх сторон головка была без серы.

В бешенстве Сологдин выковырнул сразу несколько спичек и циркнул их сплоткой. Зажглись. Он подставил бумагу. Ватман загорался нехотя. Сологдин нагнул его огнём вниз. Разгоревшись, огонь стал жечь пальцы. Сологдин осторожно поставил горящие листы стоймя в унитаз, у края воды. Вынул ещё пачку и стал подпаливать от первых, поправляя, чтобы первые сторели до конца. Чёрный пепел их съёжился и корабликом поплыл по воде.

Разгорелась вторая пачка. Опустив её, Сологдин клал на неё сверху ещё и ещё листы. Новая бумага придавила пламя, и потянулся кверху едкий дым тления.

Тут вошёл кто-то и заперся в кабине через одну от Сологодина. А дым шёл!

Это мог быть и друг.

Мог быть и враг.

Может быть, дым туда совсем не попадал. А может быть тот человек уже заметил запах гари и сейчас поднимет тревогу.

В горле дрогнул кашель, но Сологдин сумел удержать.

И вдруг вся бумага вспыхнула и жёлтым столбом света ударила в потолок. Пламя яро горело, суша стенки унитаза, и можно было опасаться, что он расколется от огня.

Оставалось ещё два листика, но Сологдин не подкладывал. Догорело. Он с грохотом спустил воду. Она смяла и унесла весь ворох чёрного пепла.

И неподвижно ждал.

Пришли ещё двое за пустым делом, разговаривая:

— Он только и смотрит, как на чужом ... в рай ехать.

— А ты проверяй на осциллографе — и бабец кооперации!

Ушли. Но сразу пришёл кто-то и заперся.

Сологдин стоял, униженно затаившись. Вдруг сообразил посмотреть — что на оставшихся листах. Один был угловой и захватывал чертёж только краешком. Оторвав деловое, Сологдин выбросил остальное в корзину. Второй же листик захватывал самое сердце узла. Сологдин стал очень терпеливо изрывать его на мельчайшие кусочки, еле удерживаемые в ногтях.

Спустил воду — и в её рёве порывисто вышел в коридор.

Никто не заметил его.

В большом коридоре он пошёл медленно. И тут подумал: сжигаешь фрегат надежды, а боишься только, чтоб не лопнул унитаз да не заметили гари.

Он вернулся в бюро, рассеянно выслушал от Еминой насчёт крепёжных болтиков и попросил её ускорить копирование.

Она не понимала.

И не могла бы понять.

Он сам ещё не понял. Тут ещё многое было неясно. Ничуть не заботясь о показном «рабочем виде», не раскрывая ни готовальни, ни книг, ни чертежей, Сологдин подпёр голову и с невидящими открытыми глазами сидел.

Вот-вот должны были подойти к нему и позвать к инженер-полковнику.

И действительно позвали — но к подполковнику.

Пришли жаловаться из фильтровой лаборатории, что до сих пор не выдали им заказанного чертежа двух кронштейнов. Подполковник не был грубый человек и, поморщась, только сказал:

— Дмитрий Алексаныч, неужели такая сложность? Заказано было в четверг.

Сологдин подтянулся:

— Виноват. Я уже кончаю их. Через час будут готовы.

Он ещё их не начинал, но нельзя же было признаться, что там всей работы ему на час.

## 78

Поначалу в жизни марфинских вольных имел большое принципиальное значение профсоюз.

Кому неизвестен этот рычаг социалистического производства? Кто благороднее профсоюзов мог попросить правительство об удлинении рабочего дня и недели? о повышении норм выработки и снижении оплаты за труд? Не было у горожан пищи или не было у них жилищ (часто — ни того, ни другого) — кто приходил на помощь, как не профсоюз, разрешая своим членам по выходным дням копать коллективные огороды и в часы досуга строить государственные дома? И все завоевания революции и всё прочнеее положение начальства жидилось тоже на профсоюзах. Никто лучше общего профсоюзного собрания не мог потребовать от администрации изгнания своего сослуживца, жалобщика и искателя справедливости, которого администрация не смела уволить в иной форме. Ничья подпись на актах о списании имущества, негодного для государственного использования, но ещё годного в домашнем быту директора, не была так кристально-наивна, как подпись председателя месткома. А жили профсоюзы на свои средства — на тот тридцатый процент из зарплаты трудящихся, который государство всё равно не могло удержать сверх двадцати девяти процентов займовых и налоговых удержаний.

И в большом и в малом профсоюзы воистину становились повседневной школой коммунизма.

И тем не менее в Марфине профсоюз отменили. Это так случилось: один высокопоставленный товарищ из московского горкома партии узнал и только ахнул: «Да вы что? — и даже не добавил «товарищи». — Да это троцкизмом пахнет! Марфино — воинская часть, какой такой профсоюз?»

И в тот же день профсоюз в Марфине был упразднён.

Но это нисколько не потрясло основ марфинской жизни! Только ещё возросло и возросло значение организации партийной, бывшее немалым и прежде. И в обкоме партии признали необходимым иметь в Марфине освобождённого секретаря. Просмотрев несколько анкет, представленных отделом кадров, бюро обкома постановило рекомендовать на эту должность

Степанова Бориса Сергеевича, 1900 года рождения, уроженца села Лупачи, Бобровского уезда, социальное происхождение — из батраков, после революции — сельский милиционер, профессии не имеет, социальное положение — служащий, образование — 4 класса и двухгодичная партшкола, член партии с 1921 года, на партийной работе — с 1923 года, колебаний в проведении линии партии не было, в оппозициях не участвовал, в войсках и учреждениях белых правительств не служил, в революционном и партизанском движении участия не принимал, под оккупацией не был, за границей не был, иностранных языков не знает, языков народностей СССР не знает, имеет контузию в голову, орден «Красной Звезды» и медаль «За победу в Отечественной войне над Германией».

В те дни, когда обком рекомендовал Степанова, сам он находился в Волоколамском районе агитатором на уборочной. Используя каждую минуту отдыха колхозников на полевом стане, садились ли они обедать или просто покурить, он тотчас собирал их (а вечерами ещё созывал и в правление) и неустанно разъяснял им в свете всепобеждающего учения Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина важность того, чтобы земля каждый год засеивалась и притом доброкачественным зерном; чтобы посеянное зерно было выращено в количестве, желательном большем, чем посеяно; чтобы затем оно было убрано без потерь и хищений и как можно быстрее сдано государству. Не зная отдыха, он тут же переходил к трактористам и объяснял им в свете всё того же бессмертного учения важность экономии горючего, бережного отношения к материальной части, совершенную недопустимость простоев, а также нехотя отвечал на их вопросы о плохом качестве ремонта и отсутствии спецодежды.

Тем временем общее собрание парторганизации Марфина горячо присоединилось к рекомендации обкома и единодушно избрало Степанова своим освобождённым секретарём, так и не повидав его. В те же дни агитатором в Волоколамский район был послан некий кооперативный работник, снятый за воровство в Егорьевском районе, а в Марфине Степанову оставили кабинет рядом с кабинетом оперуполномоченного — и он приступил к руководству.

Руководство он начал с принятия дел от прежнего, не освобождённого секретаря. Прежним секретарём был лейтенант Клыкачёв. Клыкачёв был сухопар, как борзая, очень подвижен и не знал отдыха. Он успевал и руководить в лаборатории дешифрирования, и контролировать криптографическую и статистическую группы, и вести комсомольский семинар, и быть душой «группы молодых», и сверх всего быть секретарём парткома. И хотя начальство называло его требовательным, а подчинённые — вьедливым, новый секретарь сразу заподозрил, что партийные дела в марфинском институте окажутся запущенными. Ибо партийная работа требует всего человека без остатка.

Так и оказалось. Начался приём дел. Он длился неделю. Не выйдя ни разу из кабинета, Степанов просмотрел все до единой бумаги, каждого партийца узнав сперва по личному делу, а лишь позже — в натуре. Клыкачёв почувствовал на себе нелёгкую руку нового секретаря.

Упущение вскрывалось за упущением. Не говоря уже о неполноте анкетных данных, неполноте подбора справок в личных делах, не говоря уже об отсутствии развёрнутых характеристик на каждого члена и кандидата, — наблюдалось по отношению ко всем мероприятиям общее порочное направление: проводить их, но не фиксировать документально, отчего сами мероприятия становились как бы призрачными.

— Но кто же поверит? Кто же поверит вам теперь, что мероприятия эти действительно проводились?! — возглашал Степанов, держа руку с дымящейся папиросой над лысой головой.

И он терпеливо разъяснял Клыкачёву, что всё это сделано *на бумаге* (потому что — только на словесных уверениях), а не *на деле* (то есть не на бумаге, не в виде протоколов).

Например, что толку, что физкультурники института (речь шла, разумеется, не о заклочённых) каждый обеденный перерыв режутся в волейбол (даже имея манеру прихватывать часть рабочего времени)? Может быть это и так. Может быть они действительно играют. Но ни мы с вами, ни любящие поверяющие не станут же выходить во двор и смотреть, прыгает ли там мяч. А почему бы тем же волейболистам, сыграв столько игр, приобретя столько опыта, — почему не поделиться этим опытом в специальной физкультурной стенгазете «Красный мяч» или, скажем, «Честь динамовца»? Если бы затем Клыкачёв такую стенгазетку аккуратненько снял бы со стеночки и приобщил к партийной

документации — ни у какой инспекции никогда не закралось бы сомнение в том, что мероприятие «игра в волейбол» реально проводилось и руководила им партия. А в настоящее время кто же поверит Клыкачёву на слово?

И так во всём, так во всём. «Слова к делу не подошьёшь!» — с этой глубокомысленной поговоркой Степанов вступил в должность.

Как ксёндз бы не поверил, что можно солгать в исповедальне, — так Степанову не приходило в голову, что можно солгать и в письменной документации.

Однако, сухопарый Клыкачёв с постоянною запышкой боков не стал спорить со Степановым, но открыто благодарно соглашался с ним и учился у него. И Степанов быстро помягчел к Клыкачёву, проявляя тем самым, что он человек не злой. Он со вниманием выслушал опасения Клыкачёва о том, что во главе такого важного секретного института стоит инженер-полковник Яконов, человек не только с шаткими анкетными данными, но попросту не наш человек. Степанов и сам предельно насторожился. Клыкачёва же он сделал своей правой рукой, велел заходить в партком почаще и благодушно поучал его из сокровищницы своего партийного опыта.

Так Клыкачёв скорее и ближе всех узнал нового парторга. С его язвительного языка «молодые» стали звать парторга «Пастух». Но именно благодаря Клыкачёву отношения с Пастухом у «молодых» сложились неплохие. Они быстро поняли, что им гораздо удобнее иметь партгором не открыто своего человека, а постороннего беспристрастного законника.

А Степанов был законник! Если ему говорили, что кого-то жаль, что к кому-то не надо проявлять всей строгости закона, но проявить снисхождение, — борозда боли прорезала лоб Степанова, увышенный отсутствием волос на темени, плечи же Степанова сутулились, как бы ещё под новой тяжестью. Но, сжигаемый пламенным убеждением, он находил в себе силы распрямиться и резко повернуться к одному и к другому собеседнику, отчего беленькие квадратики — отражения окон, метались на свинцовых стёклах его очков:

— Товарищи! Товарищи! Что я слышу? Да как у вас поворачивается язык? Запомните: поддерживай закон всегда! поддерживай закон, как бы тебе ни было тяжело!! поддерживай закон из последних сил!! — и только так, и только этим ты в действительности можешь тому, ради кого собирался закон нарушить! Потому что закон именно так составлен, чтобы служить обществу и человеку, а мы этого часто не понимаем и по слепости хотим закон обойти!

Со своей стороны и Степанов был доволен «молодыми» с их тяготением к партийным собраниям и партийной критике. В них он видел ядро того здорового коллектива, который он старался создавать на каждом новом месте своей работы. Если коллектив не открывал руководство нарушителей закона из своей среды, если коллектив от малчивался на собраниях — такой коллектив Степанов с полным основанием считал нездоровым. Если же коллектив всем скопом набрасывался на одного своего члена и именно на того, на кого указывал партком, — такой коллектив по понятиям людей и выше Степанова был здоровый.

У Степанова много было таких установившихся понятий, с которых сойти ему было невозможно. Например, он не представлял себе собрания без принятия в его конце громовой резолюции, бичующей отдельных членов коллектива и мобилизующей весь коллектив на новые производственные победы. Особенно он любил за это «открытые» партсобрания, куда в добровольно-обязательном порядке являлись и все беспартийные, и где можно было вдребезги разносить их, они же не имели права защищаться и голосовать. Если же перед голосованием раздавались обиженные или даже возмущённые голоса: «Что это? Собрание? Или суд?»,

— Позвольте, товарищи, позвольте! — властно прерывал Степанов любого выступавшего или даже председателя собрания. Дрожащей рукой наскоро высыпав в рот порошок (после контузии у него жестоко разбалчивалась голова от всякого волнения, а волновался он всегда, если нападали на партийную истину), он выходил на середину комнаты под самый свет верхних ламп, так что видны были крупные капли пота на его высоком лысом темени, — вы что же, получается, против критики и самокритики? — И решительно размахивая кулаком, как бы заколачивая свои мысли в головы слушателям, разъяснял: — Самокритика есть высший движущий закон советского общества, главный двигатель его прогресса! Пора понять, что когда мы критикуем наших членов коллектива, то не для того, чтобы отдать их под суд, но чтобы держать каждого работника каждую минуту в постоянном творческом напряжении! И тут не может быть двух мнений, товарищи! Конечно, не всякая критика нам нужна, это верно! Нам нужна деловая критика, то есть, критика, не затрагивающая испытанных руководящих кадров! Не будем смешивать свободу критики со свободой мелкобуржуазного анархизма!

И отойдя к графину с водой, глотал ещё один порошок.

Так торжествовала генеральная линия партии. И всегда случалось, что весь здоровый коллектив, включая и тех членов, кого бичевала и уничтожала резолюция («преступно-халатное отношение к работе», «границащее с саботажем невыполнение сроков») — единогласно голосовал за резолюцию.

Иногда даже сходилась так, что Степанов, любящий резолюции разработанные, развёрнутые, Степанов, счастливым образом всегда заранее знающий смысл ожидаемых выступлений и окончательное мнение собрания, не успевал, однако, впопыхах, целиком составить резолюцию до собрания. Тогда после объявления председательствующего:

— Слово для оглашения проекта резолюции имеет товарищ Степанов! — освобождённый секретарь вытирал пот со лба и с лысины и говорил так:

— Товарищи! Я был очень занят и поэтому в проекте резолюции не успел уточнить некоторых обстоятельств, фамилий и фактов, или:

— Товарищи! Меня вызывали в Управление, и сегодня проекта резолюции я ещё не написал, и в обоих случаях:

— Прошу поэтому голосовать резолюцию в целом, а завтра на досуге я её *подробаю*.

И марфинский коллектив оказывался настолько здоровым, что без ропота поднимал руки, так и не зная (и не узная), кого именно будут в этой резолюции поносить, кого превозносить.

Очень укрепляло положение нового парторга ещё и то, что он не ведал слабостей интимных отношений. Все уважительно звали его «Борис Сергеич». Принимая это как должное, он, однако, никого на всём объекте по имени-отчеству не звал, и даже в азарте настольного бильярда, сукно которого неизменно зеленело в комнате парткома, восклицал:

— Выставляй шарá, товарищ Шикин!

— От борта, товарищ Клыкачëв!

Вообще, Степанов не любил, чтобы люди взывали к его высшим и лучшим побуждениям. Одновременно и сам он к подобным побуждениям в людях не взывал. Поэтому, едва почувствовав в коллективе какое-то неудовольствие или сопротивление своим мероприятиям, он не разглагольствовал, не убеждал, но брал большой чистый лист бумаги, крупно писал сверху: «Предлагается нижепоименованным товарищам к такому-то сроку выполнить то-то и то-то», затем графил по

форме: № по порядку, фамилия, расписка в извещении — и давал секретарше обойти с листом. Указанные товарищи читали, как угодно расписывали своё ожесточение над белым равнодушным листом, но не могли не расписаться — а расписавшись, не могли не выполнить.

Был Степанов секретарём, освобождённым также и от сомнений и блужданий во тьме. Довольно было объявить по радио, что нет больше героической Югославии, а есть клика Тито, как уже через пять минут Степанов разъяснял решение Коминформа с таким настоящим, с такой убеждённостью, будто годами вынашивал его в себе сам. Если же кто-нибудь робко обращал внимание Степанова на противуречие инструкций сегодняшних и вчерашних, на плохое снабжение института, на низкое качество отечественной аппаратуры или трудности с жильём, — освобождённый секретарь даже улыбался, и очки его светлели, ибо знали то словечко, которое он скажет сейчас:

— Ну, что ж поделать, товарищи. Это — ведомственная неразбериха. Но прогресс и в этом вопросе несомненен, вы не станете спорить!

Всё же некоторые человеческие слабости были присущи и Степанову, но в очень ограниченных размерах. Так, ему нравилось, когда высшее начальство хвалило его и когда рядовые партийцы восхищались его опытностью. Нравилось потому, что это было справедливо.

Ещё он пил водку — но только если его угощали или выставляли на столы, и всякий раз жаловался при этом, что водка смертельно вредна его здоровью. По этой причине сам он её никогда не покупал и никого не угощал. Вот, пожалуй, были и все его недостатки.

«Молодые» между собой иногда спорили, что такое Пастух. Ройтман говорил:

— Друзья мои! Он — пророк глубокой чернильницы. Он — душа отпечатанной бумажки. Такие люди неизбежны в переходный период.

Но Клыкачёв улыбался с оскалом:

— Желторотые! Попадись мы ему между зубами — он нас с дерьмом скамает. Не думайте, что он глуп. Он за пятьдесят лет тоже жить научился. По-вашему, это зря: каждое собрание — разносную резолюцию? Он историю Марфина этим пишет! Он пре-ду-смо-три-тельно материальчики накапливает: при любом обороте любая инспекция пусть убедится, что освобождённый секретарь сигнализировал, внимание общественности — приковывал.

В недобросовестном освещении Клыкачёва Степанов предстал человеком кляузным, скрытным, всеми правдами и неправдами выращивающим трёх сыновей.

Три сына у Степанова действительно были и непрерывно требовали с отца денег. Всех трёх он определил на исторической факультет, зная, что история для марксиста наука не трудная. Расчёт у него был как будто и верен, но не учёл он (как и единственный государственный план просвещения), что внезапно наступит полное насыщение историками-марксистами всех школ, техникумов и кратковременных курсов сперва Москвы, потом Московской области, а потом и до Урала. Первый сын закончил и не остался кормить родителей, а поехал в Ханты-Мансийск. Второму предлагали при распределении Улан-Удэ, когда же окончит третий — вряд ли он сумеет найти что-нибудь ближе острова Борнео.

Тем более цепко отец держался за свою работу и за маленький домик на окраине Москвы с двенадцатью сотками огорода, бочками квашеной капусты и откормом двух-трёх свиней. Жена Степанова, женщина трезвая и может быть даже несколько отсталая, видела в выращивании свиней основной интерес жизни и опору семейного бюджета. У неё неуклонно было намечено на минувшее воскресенье ехать с мужем в район и там покупать поросёнка. Из-за этой (удавшейся) операции Степанов и не приходил вчера, в воскресенье, на



работу, хотя у него сердце было не на месте после субботнего разговора и рвало в Марфино.

В субботу в Политуправлении Степанова постиг удар. Один работник, очень ответственный, но, несмотря на свои ответственные тревоги, и очень упитанный, так примерно пудиков на шесть, на семь, посмотрел на худой заезженный очками нос Степанова и спросил ленивым баритоном:

— Да, Степанов,— а как у тебя с иудеями?

— С иу... кем? — наострился дослышать Степанов.

— С иудеями.— И видя непонимание собеседника, пояснил:— Ну, с жидами, значит.

Захваченный врасплох и боясь повторить это обоюдоострое слово, за которое так недавно давали десять лет как за антисоветскую агитацию, а когда-то и к стенке ставили, Степанов неопределённо пробормотал:

— Е-есть..

— Ну, и что ты там с ними думаешь?..

Но зазвонил телефон, ответственный товарищ взял трубку и больше не разговаривал со Степановым.

В смятении Степанов перечёл в Управлении всю пачку директив, инструкций и указаний — но чёрные буквы на белой бумаге лукаво обходили иудейский вопрос.

Весь воскресный день, в езде за поросёнком, он думал, думал и в отчаянии скрёб грудь. Видно, от старости притупела его догадливость! А теперь — позор! — испытанный работник, Степанов прохлопывал какую-то важную новую кампанию и даже косвенно сам оказался замешан в интригах врагов, потому что вся эта группа Ройтмана — Клыкачёва...

Растерянный, приехал Степанов в понедельник утром на работу. После отказа Шикина погонять в бильярд (Степанов имел умысел выведать что-нибудь от Шикина), задыхающийся от отсутствия инструкций освобождённый секретарь заперся в парткоме и два часа кряду лихо гонял металлические шары сам с собой, иногда перебивая и через борт. Громадный настенный бронзированный барельеф из четырёх голов Основоположников внакладку был свидетелем нескольких блестящих ударов, когда в лузу клалось по два и по три шара зараз. Но силуэты на барельефе оставались бронзово-бесстрастны. Гении смотрели друг другу в затылок и не подсказывали Степанову решения, как ему не погубить здоровый коллектив и даже укрепить его в новой обстановке.

Изнурённый, он наконец услышал телефонный звонок и припал к трубке.

Ему звонили, во-первых, чтобы сегодня вечером не проводить обычной комсомольской и партийной политучёб, но собрать всех людей на лекцию «Диалектический материализм — передовое мировоззрение», которую прочтёт лектор обкома. Во-вторых, что в Марфино уже выехала машина с двумя товарищами, которые дадут соответствующие установки по вопросу борьбы с низкопоклонством перед границей.

Освобождённый секретарь воспрял, повеселел, загнал дуплет в лузу и убрал бильярд за шкаф.

Ещё до повышало его настроение, что купленный вчера розовухий поросёнок очень охотно, не привередничая, кушал запарку и вечером и утром. Это давало надежду дёшево и хорошо его откормить.

*(Окончание следует)*

---

---

ИВАН ШЕПЕТА

\*

## НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОЭТЫ

\* \* \*

Вы посмотрите, как бурно река,  
мутною став от кипящего гнева,  
тесные роет свои берега,  
роет направо,  
роет налево.

А над рекой  
расстегнули пальто  
люди из черной служебной машины...  
Что они видят  
и чувствуют  
что,  
выйдя на берег из тесной кабины?

\* \* \*

Своенравны волны Леты.  
Удивительный народ  
неизвестные поэты,  
всякий верит, всякий ждет  
и надеется на чудо!..  
Только чудо не для всех.  
Но бывает. Из-под спуда  
вырывает их успех.

Тот повесился, а этот  
ночью темною забит.  
Смерть на взлете — это метод,  
коль не хочешь быть забыт.

Есть пример, и вот ты узник  
самых страшных в мире уз...  
Смерть на взлете — твой союзник.  
Но к чему такой союз?

Будто кратер древней Этны,  
всюду пепел и зола...  
Неизвестные поэты,  
я и сам из их числа.  
Я и сам — себе не ясен.  
Жизнь ли? бред ли наяву?  
Нужен труд мой? иль напрасен?  
Я не знаю. Я живу.

\* \* \*

Воды талые бьются во рву,  
прорезается зелень ветвей —  
удивляюсь тому, что живу  
среди тысячи снов и смертей.

Часто кажется: больше нельзя  
жить и чувствовать муку свою,  
а взгляну человеку в глаза —  
и легко в них себя узнаю.

---

---

---

## ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ

\*

### ШАГИ ИЗ КРУГА

#### Застолье

Было все только стужей и тьмою  
за сияющим кругом стола.  
Если кто-то вставал, бахромою  
накрывала его полумгла,

если делал хоть шаг из круга,  
начинали его поминать,  
и среди не забывших друг друга  
он потом появлялся опять.

Не поверю, что не увижу  
всех, кто рядом сидел за столом  
зимним вечером, к полночи ближе,  
в шестьдесят, пятьдесят ли втором,

когда был я и не был с ними,  
и еще не пришел черед  
то с одними водить, то с другими  
этот медленный хоровод.

\*.\*

Этот праздник и та еженощная кража  
пары новых часов, в коих все достоянье,—  
бездна, в бездну влекущая, прежняя, та же,  
что уже поглощала до содроганья,  
ужас встречи с предшественником по скольженью  
в мякоть сна,

рабский страх расставанья с тюрьмою,  
где уютно, как смерть, от себя избавленье,—  
это все, и всегда, называлось тобою.  
Это ты, проходящая дрожью по коже,  
меж столами проходишь, доступная взглядам,  
и ни складочкой на тебя не похожа  
та, что, все позабыв, просыпается рядом.

\*.\*

Скорей бы, что ли, холода,  
чтоб у подъезда та старуха,  
вполглаза, в пол-лица, в пол-уха  
следящая, как и когда  
я на свиданья прихожу  
к сынку единственному,  
к сыну,

и проношу какую мину,  
какую дыню приношу,  
однажды вдруг в душло свое

забилась,

убралась,

взлетела —

на тот этаж, где забытье  
и в окнах небо без предела,  
куда я с тяжестью своей  
теперь подняться не сумею  
и никогда не встречусь с нею! —  
хоть до весны не встречусь с ней.

---

СОЛ БЕЛЛОУ

\*

## ЛОВИ МОМЕНТ

Повесть

Повесть «Лови момент» (1956) — первое крупное произведение Сола Беллоу, издаваемое в нашей стране в переводе на русский язык. До сих пор знакомство с творчеством выдающегося американского прозаика исчерпывалось рассказом «В поисках мистера Грина», включенным в антологию «Современная американская новелла. 60-е годы» (1971). Спустя много лет эта публикация стала для меня визитной карточкой при свидании с Беллоу в стенах Чикагского университета осенью восьмидесяти восьмого года. Узнав о том, что в Советском Союзе вновь приступают к переводу некоторых его работ, писатель усмехнулся и обронил замечание, тождественное фразе, которая своеобразным утешением слишком часто приходит на ум в наши перестроечные дни: лучше поздно, чем никогда. И действительно, уже в самое недавнее время в сборнике американской новеллистики был напечатан его незаурядный рассказ «Серебряное блюдо».

Главные книги С. Беллоу (он родился в 1915 году в семье эмигрантов из России) были созданы еще в 50—60-е годы, когда писатель по праву считался одним из лидеров «молодой» послевоенной американской прозы. Название его раннего романа «Человек без опоры» запечатлело характерность многих героев Беллоу — людей с обнаженными нервами, для которых не проходит бесследно столкновение с острыми гранями общественного уклада. Литературовед Мозес Герзаг, беженец из оккупированной нацистами Варшавы мистер Сэмлер, «пролетарий умственного труда» Чарли Цитрин — все они суть вариации типа совестливого интеллигента (не просто интеллектуала), ратующего за устойчивость общечеловеческих моральных ценностей и с чувством внутреннего смятения присматривающегося к бурным переменам в современной жизни Соединенных Штатов.

Неподалеку от этого ряда находится и фигура Томми Вильгельма, с которым мы встречаемся в повести «Лови момент». Не претендуя на особую ученость, Томми обладает той тонкостью восприятия мира, что служит в глазах автора оправданием многих несовершенств его характера. Справедливо считая себя «увечным, неважным» человеком, он вдруг преисполняется любви к мертвенно бледным лицам, увиденным в сумеречном свете нью-йоркской подземки. В этой реакции есть что-то от невольной инфантильности, романтичности, но герой Беллоу с готовностью отгадывается нахлынувшему на него ощущению: «Это верный ключ, ключ к чему-то хорошему. К очень чему-то большому. К истине, что ли».

Расстративший молодость, мужское обаяние, остатки сбережений, сорокапятилетний Томми Вильгельм сам виноват в том, что с ним приключилось. Он доверяется изощренному шарлатану, умело эксплуатирующему входящую сейчас в моду и среди наших сограждан тягу ко всему ненатуральному, включая психоанализ и ясновидение. Его допекает жена Маргарет, которой американские законы гарантируют регулярное вспомоществование в случае развода и даже просто раздельного проживания супругов. Послужной список Томми далеко не блестящ, у него масса недостатков, и все же он живой, страдающий человек, а посему — наперекор всякой логике, трезвому анализу, рассудительности — достоин сочувствия и снисхождения.

В 1976 году Сол Беллоу первым из писателей США своего поколения был удостоен Нобелевской премии, приуроченной к выходу в свет романа «Дар Гумбольдта». С тех пор он выпустил в свет еще несколько романов, повестей, рассказов, которые,

однако, по тем или иным причинам не привлекли внимания наших осторожных издателей времен застоя. Многочисленные произведения американского прозаика далеко не равноценны, и, как мне представляется, его ранние книги отличаются в целом большей оригинальностью и художественной глубиной. Повесть «Лови момент», специально отмеченная Шведской королевской академией как один из классических образцов послевоенной прозы, относится к их числу и, думается, достойно представляет творчество С. Беллоу советской аудитории.

А. МУЛЯРЧИК,  
доктор филологических наук.

## 1

**Н**а то, чтоб скрывать свои заботы, способностей у Томми Вильгельма хватало, уж это он умел не хуже других. Так он, по крайней мере, думал, да и мог бы кое-чем доказать. В свое время он был актером — ну, не совсем актером, статистом — и уж как-нибудь знал тут кой-какие приемы. Вдобавок он курил сигару, а когда человек курит сигару, и притом в шляпе, — он выигрывает: пойди разбери его чувства. Он спустился перед завтраком с двадцать третьего этажа в бельэтаж за почтой и думал — надеялся, — что вид у него, в общем, ничего — преуспевающий вид. Конечно, надеяться не надейся, дела оставляли желать лучшего. Он поглядел на четырнадцатом, не войдет ли отец. Они часто встречались по утрам в лифте на пути к завтраку. И если он беспокоился о своей внешности, так это главным образом ради своего старого отца. Но на четырнадцатом остановки не было, лифт спускался, спускался. Потом поехала на сторону бесшумная дверь, и большой темно-красный волнистый ковер, устилавший холл, подкатил под ноги Вильгельму. Холл перед лифтом был темный, сонный. Сборчатые парусящие шторы не впускали солнце, но три высоких узких окна были отворены, и Вильгельм увидел, как голубь кидается по синеве на большую цепь, держащую шатер кино под самым бельэтажем. Крылья громко хлопнули, сразу стихли.

В гостинице «Глориана» жили в основном люди пенсионного возраста. По Бродвею в районе Семидесятых, Восьмидесятых, Девяностых обитает большая часть многочисленных нью-йоркских стариков и старух. Когда не слишком холодно и не дождливо, они обсиживают скамейки в крошечных огороженных садиках и вдоль решеток подземки от площади Верди до Колумбийского университета, забивают магазины, кафе, булочные, чайные, косметические салоны, читальни и клубы. Вильгельму в гостинице среди старичья было не по себе. Сравнительно еще молодой в свои сорок с хвостом, он был крупный широкоплечий блондин; со спины здоровый, крепкий, хоть, может, уже немного отяжелел и ссутулился. После завтрака старики устраивались в холле по кожаным зеленым диванам и креслам, сплетничали, глядели в газеты; делать им было нечего, только день перемочь. А Вильгельм привык к активной жизни, любил бодро выскакивать по утрам. И последние несколько месяцев, когда не надо было на службу, он вставал рано, чтоб не распускаться; в восемь часов, выбритый, был уже в холле. Покупал газету, несколько сигар, выпивал стакан-другой кока-колы, перед тем как завтракать с отцом. А после завтрака — сразу — выйти, выйти, заняться делом. Все дело в этих выходах, в общем, и состояло. Но он же понимал, что так не может продолжаться вечно, и сегодня он испугался, он чувствовал, что ужасные неприятности, нависавшие давно, но как-то неопределенно, вот-вот обрушатся на него. До вечера все решится.

Тем не менее, следуя по своему ежедневному курсу, он пересекал холл.

У Рубина из газетного киоска были слабые глаза, может, не то чтоб плохое действительное зрение, но они казались слабыми из-за складчатых, на углы набегавших век. Одевался он хорошо. Зачем, спрашивается, целый день торча за прилавком, но одевался он очень хорошо. Коричневый дорогой костюм; волосы на узких запястьях прикрыты манжетами. Расписной галстук от «Графини Мары». Рубин не видел, как к нему приближался Вильгельм; он заглядывая на гостиницу «Ансония», которая стояла за несколько кварталов и была видна ему от киоска. Эту «Ансоанию», главную местную достопримечательность, строил Стэнфорд Уайт<sup>1</sup>. Она похожа на барочный дворец Мюнхена или Праги, раз в сто увеличенный, в башнях, куполах, шишках, вспученностях позеленелого металла, в железных фестонах и лепнине. Круглые высоты густо поросли телевизионными антеннами. От перемен погоды «Ансония» преобразуется, как мрамор, как морская вода; в тумане чернеет, как грифель, и, как известняк, белеет на солнце.

<sup>1</sup> У а и т Стэнфорд (1853—1906) — знаменитый американский архитектор.

## ЛОВИ МОМЕНТ

Сегодня она была похожа на собственное отражение в глубокой воде: повыше клубилась белым облаком, пониже пещеристо зыбилась. Они оба на нее смотрели. Потом Рубин сказал:

— Ваш почтенный папа уже прошел завтракать.

— А-а, да? Обогнал меня сегодня?

— Рубашка на вас — просто класс, — сказал Рубин. — Где брали? У «Сакса»?

— Нет, это «Джек Фагман». Чикаго.

Даже и в плохом настроении Вильгельм пока еще умел очень мило морщить лоб. Кое-какие тихие, незаметные движения его лица были неотразимы. Он отступил на шаг, будто с расстояния озирая свою рубашку. Глянул со смешком, как бы оценив собственную неприбранность. Он любил хорошие вещи, но подобрать не умел, и вечно они у него не сочетались. Улыбаясь, Вильгельм задохнулся слегка; зубы были мелкие; щеки, пока он так улыбался, пыхтели, округлились, и разом он удивительно помолодел. Когда-то, когда он только еще поступил в колледж, ходил в енотовой шубе, шапочке пирожком на золотистой кофне, отец говорил, что он, такая громадина, кого хочешь обворожит. Вильгельму и теперь обаянья хватало.

— Мне цвет этот синий нравится, — сказал он общительно и добродушно. — Стирать нельзя. Только в чистку. А из чистки — запах совершенно не тот. Но рубашка хорошая. Восемнадцать монет.

Вильгельм рубашку эту не покупал — получил в подарок от шефа, бывшего шефа, с которым они расплевались. Но Рубину он не обязан был это докладывать. Хоть тот, может, и так знал — Рубин был из таких, кто все-все, буквально все знает. Вильгельм тоже, между прочим, знал кое-что про Рубина, про жену Рубина, дела Рубина, здоровье Рубина. Ни того, ни другого, ни третьего не стоило касаться, и недоуминаемое давило, почти не оставляло тем для разговора.

— Вид у вас сегодня — что надо, — сказал Рубин.

И Вильгельм отозвался радостно:

— Да ну! Серьезно?

Что-то ему не верилось. Он видел свое отражение в витрине, заставленной сигарными ящиками вперемешку с брелоками, разрезальными ножами и портретами великих мужей в золотых рамках — Гарсия, Эдуард VII, Кир Великий. Пусть тут темновато, стекло неровное, но все же вряд ли вид у него хороший. Широкая морщина на лбу щедрой скобкой отделяет одну бровь от другой, пятна на темноватой для блондина коже. Его самого чуть не смешили уже эти дивящиеся, требовательные, всполошенные глаза, эти ноздри, губы. Белокурый гишопотам — вот он кто! Круглая крупная физиономия, красно цветущий рот, съеденные зубы. Ну, и шляпа вам, и сигара. Мне б всю жизнь заниматься тяжким трудом. Тяжким, честным трудом, от которого изматываешься и валишься спать. Выложился бы я в труде, избыл бы свою энергию — и мне б полегчало. Так нет же, надо было выпендриваться — до сих пор.

Сколько он усилий потратил, но разве это называется тяжело работать? А из-за чего, спрашивается, загублены лучшие юные годы? — все из-за той же физиономии. В начале тридцатых из-за этой погрязающей внешности его сочли было потенциальной кинозвездой, и он попер в Голливуд. И семь лет протрубил там, пробиваясь к экрану. Мечта — или иллюзия — выдохлась куда раньше, но из гордости, а может, по лени он все торчал в Калфорнии. В конце концов он перекинулся на другое, но за семь лет настырности и провалов растерял деловую хватку, что ли, а специальность какую-то уж поздно было приобретать. Он выбился из колеи, отстал от жизни и вот никуда не мог деть свою энергию, а ведь именно от этой энергии, он не сомневался, все беды и шли.

— Что-то вы вчера пропустили карты, — сказал Рубин.

— Да вот, не получилось. А как сыграли?

Уже несколько недель Вильгельм играл в джин чуть не каждый вечер, но вчера понял, что проигрывать дальше некуда. Он никогда не выигрывал. В жизни. А даже маленький проигрыш — все же не выигрыш, верно? Проигрыш есть проигрыш. Ему надоело невезение, надоела компания, и он взял и пошел один в кино.

— Все нормально, — сказал Рубин. — Карл кипятится, на всех орал. Но на сей раз доктор Тамкин поставил его на место. Разъяснил психологические причины.

— И какие же причины?

Рубин сказал:

— Не берусь пересказать. Тут разве перескажешь. Вы же знаете Тамкина. И не спрашивайте. «Трибюн» желаете? Курс на закрытие глянуть?

— А-а, гляди не гляди. Сам знаю, что там было вчера в три часа,— сказал Вильгельм.— Но газета не помешает.

Почему-то он счел необходимым задрать плечо и сунуть руку в жилетный карман, и только уже роясь среди пилюль, мятых сигаретных бычков и скатанных целлофановых ленточек, которыми извлекал иногда застречки пицци из зубов, припомнил тот факт, что потерял несколько центов.

— Н-да, положение,— сказал Рубин. Он выжимал из себя юмор, но голос был плоский и глаза, скачущие, завешенные веками, смотрели в сторону. Он не хотел слушать. Ему было все равно. А может, и сам узнал, он же из тех, кто все, буквально все знает.

Да, положение было пиковое. У Вильгельма было три приказа на лярд на продовольственной бирже. Они с доктором Тамкиным купили этот лярд четыре дня назад по 12.96, и цена сразу поползла вниз и падала до сих пор. С утренней почтой наверняка придет требование на добавочный гарантийный взнос. Каждый день приходит.

Доктор Тамкин, психолог, втянул его в эти дела. Тамкин жил в «Глориане» и ходил на карточную игру. Он растолковал Вильгельму, что можно играть на продовольственной бирже в одном из городских филиалов солидной уола-стригской фирмы, не внося полностью гарантийного взноса, как это требуется официально. Все устроит менеджер филиала. Если он тебя знает — а все менеджеры филиала знают Тамкина,— он будет тебе разрешать краткосрочные операции. Надо только открыть небольшой счет.

— Быстрота и натиск,— говорил Тамкин Вильгельму,— вот в чем секрет такого рода операций. Главное — уметь лавировать: купил — продал, продал — опять купил. Не моргать! Сразу к окошку — и в самый момент бить телеграмму в Чикаго. Не теряться! И в тот же день спускать акции. За пустячный срок вы проворачиваете по пятнадцать—двадцать тысяч долларов на сое, кофе, крупе, земле, пшенице, хлопке.

Видимо, доктор хорошо знал законы рынка. Иначе разве все это выходило бы у него так просто?

— Люди проигрывают из-за собственной жадности, не могут выйти из игры, когда акции растут. У них азарт, а у меня строго научный расчет. Тут вам не гаданье на кофейной гуще. Тут надо действовать наверняка. Боже ж мой! — говорил доктор Тамкин, лысый, пучеглазый, вислогубый.— Вы хоть призадумались о том, сколько денег люди гребут на бирже?

Вильгельм, от мрачной сосредоточенности сразу перейдя к задушливому хохоту, мгновенно преобразясь, отозвался:

— А как же! Неужели же нет! Кто не знает, как цвела биржа после двадцать восьмого — двадцать девятого, да и сейчас! Кто ж не читал исследования Фулбрайта! Всюду деньги. Их все лопатой гребут. Деньги — это...

— И вы можете спать спокойно, вы можете сидеть сложа руки? — сказал доктор Тамкин.— Я, честно вам скажу, я — нет, не могу. Я думаю про то, как люди составляют целые состояния только потому, что у них нашлось несколько свободных монет. Ничего — ни мозгов, ни таланта, только лишние деньги — и опять они загребают деньги. Я мучаюсь, я терзаюсь, я не имею покоя — я абсолютно не имею покоя. Я даже практику свою вести не могу. Кругом заколачиваются такие деньги — и быть дураком? Я знаю ребят, которые гребут по пять — десять тысяч в неделю, не ударяя палец о палец. Знаю одного в гостинице «Пьер». Абсолютно ничего собой не представляет, а имеет к завтраку ящик самого дорогого шампанского. Еще есть один на Сентрал Парк Саут...— а, да что говорить. Они имеют миллионы. Хитрые юристы знают тысячи ходов, как скостить им налоги.

— А вот меня общипали,— сказал Вильгельм.— Жена отказалась подписать совместную налоговую декларацию. Я попал в разряд тридцатидвухпроцентщиков — был один год доходный,— и меня облушили как липку. А как же все мои неудачные годы?

— Это правительство бизнесменов,— сказал доктор Тамкин,— уж будьте уверены, тот, кто делает по пять тысяч в неделю...

— Зачем мне такие деньги? — сказал тогда Вильгельм.— Мне бы обеспечить на этом хоть небольшой постоянный доход! Немного. Много я не прошу. Но до чего же я в этом нуждаюсь! Как бы я был вам признателен, если бы вы показали мне, как это делается.

— Почему же. Я лично постоянно этим занимаюсь. Могу вам квитанции принести. И знаете, что я вам скажу? Вашу установку я всячески одобряю. Вы боитесь заразиться этой лихорадкой. Погоня за деньгами порождает вражду и жадность. Вы только посмотрите, во что превращается кое-кто из этих ребят. В сердцах своих они делают убийство,

— Как это, я слышал, один малый говорил? — вставил Вильгельм. — Скажи мне, что ты любишь, и я скажу тебе, кто ты.

— Именно, именно, — сказал Тамкин. — Но это все совершенно не обязательно. Существует еще спокойный, разумный, существует еще психологический подход.

Отец Вильгельма, старый доктор Адлер, принадлежал к совершенно другому миру, но однажды он предостерег сына насчет доктора Тамкина. Ненавязчиво, без нажима — старик вообще был мягок — он сказал:

— Уиаки, ты, может быть, чересчур много слушаешь этого Тамкина. С ним интересно поговорить. Не спорю. Интеллигентностью он не блещет, но умеет себя подать. И все же я не знаю, насколько можно на него положиться.

Вильгельма больно задело, что отец может так с ним разговаривать, совершенно не заботясь о его благе. Доктору Адлеру нравилось быть вежливым. Вежливым! Сын, родной, единственный сын не имеет права излить перед ним свое сердце, открыть свои мысли! Стал бы я обращаться к Тамкину, думал Вильгельм, если б мог обратиться к тебе. Тамкин хоть посочувствует, он стремится помочь, а папе надо одно — чтоб его не побеспокоили.

Старый доктор Адлер уже оставил практику; денег у него хватало, вполне мог помочь сыну. Недавно Вильгельм ему сказал:

— Папа, дела у меня сейчас неважные. Мне тяжело об этом говорить. Сам понимаешь, я бы с большей радостью сообщил тебе что-нибудь приятное. Но что есть, то есть. Это правда. А раз это правда, папа, — что же мне еще сказать? Это правда.

Другой отец на его месте понял бы, чего стоило сыну такое признание — сколько за ним неудач, усталости, слабости, какой это предел. Вильгельм пытался попасть старику в тон, говорить сдержанно, благопристойно. Унимал дрожь в голосе, не позволял себе дурацкой жестикуляции. Но доктор ничего не ответил. Только кивнул. Можно подумать, ему сообщили, что Сизла расположен у залива Пьюджет или что вечером «Джаентс» играют с «Доджерс»<sup>2</sup>, — до того ни один мускул не дрогнул на здоровом, красивом, добродушном старом лице. Он вел себя с собственным сыном, как в свое время вел себя с пациентами, и это было так обидно Вильгельму — просто невыносимо почти. Неужели он не видит? Неужели не чувствует? Неужели для него уже не существует уз крови?

Ужасно расстроенный, Вильгельм все же пытался рассуждать объективно. Все старики меняются, говорил он себе. Им есть о чем поразмыслить тяжело. Им надо готовиться к тому, что им предстоит. Они уже не могут жить по прежнему режиму, меняется вся перспектива, и люди для них все на одно лицо — что знакомые, что родня. Папа уже не тот человек, рассуждал Вильгельм. Ему было тридцать два, когда я родился, теперь ему под восемьдесят. Тем более ведь и я уже не чувствую себя по отношению к нему ребенком, сыночком-крошкой.

Красивый старый доктор заметно выделялся среди прочего старичья в гостинице. Его обожали. Говорили: «Это старый профессор Адлер, который преподавал терапию. Был одним из лучших диагностов в Нью-Йорке, имел колоссальную практику. И как изумительно выглядит, правда? Старый благородный ученый, и чистый, безукоризненный — любо-дорого смотреть. Прекрасно сохранился — какая голова! Совершенно ясный ум. С ним можно говорить на любые темы». Регистраторы, лифтеры, телефонные барышни, официантки и горничные, вся администрация его облизывала. И он чувствовал себя как рыба в воде. Всегда был тщеславен. Вильгельм иногда просто весь закипал, видя, какой эгоист у него отец.

Он смотрел в крупный, кричащий, сенсационный шрифт сложенной «Трибюн», не понимая ни слова, потому что мысли были заняты тщеславьем отца. Доктор сам создал все эти восторги. Людей накручивают, а они не догадываются. И зачем ему эти восторги? В гостинице все заняты, общение куцее, беглое — зачем ему все это надо? Ну, вспомнил, поговорили — и сразу выбросили из головы. Он им совершенно не нужен. Вильгельм тяжело, длинно вздохнул и поднял брови над округлившимися, совсем уже круглыми глазами. Взгляд блуждал за пухлыми краями газеты.

«...Нет цены свиданьям, дни которых сочтены»<sup>3</sup>...

Вдруг выплыло в памяти. Сперва он решил, что слова обращены к отцу, но потом понял, что нет, скорей к нему самому. Это он, он сам должен помнить. «И это видя —

<sup>2</sup> Бейсбольные команды.

<sup>3</sup> В. Шекспир, Сонет 73. Перевод В. Пастернака.



помни: нет цены...» Под влиянием доктора Тамкина Вильгельм в последнее время стал вспоминать стихи, которые читал когда-то. Доктор Тамкин знал, или говорил, что знает, великих английских поэтов, и время от времени в разговоре всплывало какое-то его собственное сочинение. Давно уж никто не говорил о таких вещах с Вильгельмом. О колледже он не любил вспоминать, но если был там хоть один стоящий предмет — так это литература на первом курсе. Была хрестоматия — Лидер и Ловетт, «Английская поэзия и проза», такая толстая, черная, на тонкой бумаге. Читал я ее? — спросил себя Вильгельм. Да, читал. Слава богу, хоть что-то застряло в мозгах, что приятно вспомнить. Он вспомнил: «Мой взор не отдохнет на зелени холмов...»<sup>4</sup>

«Слепцы, живущие в бессмертных звуках лир...»

Эти вещи и всегда его потрясали, но теперь стали даже еще сильнее на него действовать.

Вильгельм уважал правду, но мог и приврать, и особенно часто он врал насчет своего образования. Говорил, что окончил Пенсильванский, а сам ушел со второго курса. У сестры Кэтрин была степень бакалавра. Покойная мама окончила Брин Мор. Он единственный в семье остался без высшего образования. Еще одно больное место. Отцу за него стыдно.

Но как-то он слышал — его старик хвастался другому старику:

— Мой сын большая шишка в торговле. Кончить университет не хватало терпенья. Но он прекрасно зарабатывает. Доход в пятизначных цифрах.

— Как — тысяч тридцать—сорок? — спросил согбенный приятель.

— Ну а меньшим ему при его образе жизни и не обойтись. Никак не обойтись.

При всех своих непрямотах Вильгельм чуть не расхохотался. Ну и ну, вот старый лицемер! Знает же, что никакая он не шишка. Сколько недель уже нет ни торговли, ни начальствования, ни дохода. Но любим мы, любим пустить пыль в глаза. Какая прелесть эти старики, когда распускают хвост! Папа — вот кто у нас занят торговлей. Меня продает. Хоть сейчас посылай развезжать с товаром.

Между прочим, насчет правды. Да, правда, правда то, что у него масса проблем, а отцу хоть бы хны. Отцу за него стыдно. Правда такая, что и сказать неудобно. Он сжал губы, язык распластался по рту. Саднило где-то в хребте, в пуповине, в горле, узел боли завязался в груди. Папа мне никогда не был другом, пока я был молодой, думал он. То пропадал в больнице, то вел свой прием, то лекции читал. Забросил меня, совсем мной не занимался. А теперь смотрит на меня сверху вниз. Что ж, может, так и надо.

Неудивительно, что Вильгельм все оттягивал момент, когда придется войти в столовую. Он продвигался к дальнему краю рубинского прилавка. Раскрыл «Трибюн» — свежие страницы опали в руках. Сигара была уже выкурена, и шляпа не защищала. Зря он думал, что умеет скрывать свои заботы не хуже других. Они у него на абу были написаны крупными буквами. А он и не догадывался.

Здесь, в гостинице, часто возникала проблема разных фамилий. «Вы ведь сын доктора Адлера?» — «Да, но я Томми Вильгельм». А доктор говорил: «Мы с сыном значимся под разными кличками. Я держусь традиций. Он приверженец новизны». Томми — собственное изобретение Вильгельма. Он взял это имя, когда отправился в Голливуд, Адлера же отринул. Насчет Голливуда тоже была собственная идея. Он только сваивал все на одного агента по разысканью талантов, такого Мориса Вениса. Но тот не делал же ему конкретного предложения от студии. Только связался с ним, а пробы оказались не очень. После проб сам Вильгельм наседа на Мориса Вениса, пока тот из себя не выдавал: «Ну почему не попытаться?» И на этом-то основании Вильгельм бросил все и уехал в Калифорнию.

Кто-то как-то сказал, Вильгельму еще понравилось, что в Лос-Анджелесе собран всякий случайный хлам со всей страны, будто Америку наклонили — и все, что некрепко привинчено, скатилось в Южную Калифорнию. Вот и сам он — из такого случайного хлама. Он говорил разным людям: «Я был в колледже переспелкой. Здоровенный дылда, знаете. И я думал — когда же ты уже станешь женщиной?» Он властью погонял на пестром авто, пощеголял в желтом плаще, расписанном лозунгами, поиграл в запретный покер, покурил с дружками кокаин — и был сыт колледжем по горло. Захотелось чего-то новенького, и пошли ссоры с родителями из-за карьеры. А тут это письмо от Мориса Вениса.

История про него была длинная, сложная, имелись разночтения. О правде умал-

<sup>4</sup> Д. Мильтон, «Потерянный рай». Перевод Н. Гнедича.

чивалось. Сперва Вильгельм хвастал, потом уж врал, жалеючи себя. Но на память он не жаловался, еще мог отличить, где брехня, а что происходило в действительности, и вот сегодня утром, стоя возле киоска Рубина с этой «Трибюн», он решил не откладывать припомнить дикий ход истинных событий.

Я ведь просто не соображал, что в стране кризис. Ну как можно быть таким подонком: ничего не подготовить, раз — и кинуться на авось? Выкатив круглые серые глаза, сжав крупные лепные губы, с беспощадностью к себе он вытаскивал наружу все припрятанное, тайное. Папу все связанное со мной совершенно не трогало. Мама — да, мама пыталась на меня подействовать — какие были сцены, вопли, мольбы. Чем больше я врал, тем больше орал, тем больше заводился и требовал — гиппопотам! Бедная мама! Как она во мне обманулась! Рубин услышал задущенный вздох Вильгельма, комкавшего позабытую «Трибюн».

Поняв, что Рубин на него смотрит, видит, как он сегодня мается, не знает, куда себя деть, Вильгельм подошел к аппарату кока-колы. Глотнул из бутылки, закашлялся и сам не заметил, потому что все думал, закатив глаза, зажав рот рукой. У него была странная привычка вечно поднимать воротник пиджака — как от ветра. Он никогда его не опускал. Но на могучей спине, гнущейся под собственной тяжестью, здоровущей чуть не до уродства спине воротник спортивного пиджака казался просто тесемочкой.

Он слышал собственный голос, двадцать пять лет назад объяснявший в гостиной на Уэст-Энд авеню:

— Ах, мама, ведь если с актерством не выгорит, я вернусь в университет, и всё. Но она боялась, что он себя погубит. Говорила:

— Уилки, папа бы тебе помог, если б ты решил заняться медициной.

Даже вспомнить страшно.

— Но я не выношу больниц. И я же могу совершить ошибку, причинить пациенту боль, даже его погубить. Я этого не вынесу. И потом — у меня совсем другие мозги.

Тут мама совершила ошибку, упомянув этого своего племянника Арти, кузена Вильгельма, студента-отличника в Колумбийском по математической лингвистике. Ох уж ее Арти, чернявый кисляк с узким противным личиком, с этими родинками, как он вечно сопел, не умел держать нож и вилаку, и эта гнусная его привычка вечно спрягать глаголы, когда, бывало, с ним пойдешь погулять. «Румынский — легкий язык. Просто ко всему прибавляешь тл». Теперь-то он профессор, этот Арти, а ведь вместе играли у памятника солдатам и матросам на Риверсайд-Драйв. Подумаешь — ну профессор. И как это можно выдержать — знать столько языков? И Арти — он же Арти и остается, а чего в нем хорошего? Но, может, успех его изменил. Может, он лучше стал, когда так продвинулся. Интересно, он правда любит эти свои языки, прямо ими дышит, или же в глубине души он циник? Теперь столько циников. Все вечно недовольные ходят. Вильгельму особенно претил цинизм в процветающих. Не могут без цинизма. И еще эта ирония. Может, так надо. Даже, может, так лучше. А все равно гадость. Если к концу дня Вильгельм особенно выматывался, он это приписывал действию цинизма. Слишком много суеты. Слишком много вранья. У него прямо злости не хватало, зато слов хватало. Муть! сволочи! говно! — ругался он про себя. Липа! Надувательство! Хамство!

Письмо агента исходно было лестной шуткой. Морис Венис увидел в университетской газете фотографию Вильгельма, когда он баллотировался на пост казначея класса, и написал ему насчет экранных проб. А Вильгельм сел на поезд и махнул в Нью-Йорк. Агент был огромный, здоровый, как бык, и такой толстый, что казалось — руки закованы жиром и мясом и ему даже больно от этого. Волос осталось немного. Но цвет лица свежий. Он шумно дышал и с трудом проталкивал сильный голос через заросшую жиром глотку. На нем был двубортный прямой пиджак, как тогда носили, голубой, в тонкую розовую полоску, брюки стискивали лодыжки.

Встретились, пожали друг другу руки, уселись. Две громады убивали утлый кабинет на Бродвее, делали мебель игрушечной. Цвет лица у Вильгельма, если он не болел, был тогда золотисто-смуглый, как наливное яблоко, волосы густые, светлые, яркие, плечи расправленные, лицо не отяжелело еще, взгляд ясный, открытый, правда, неуклюжие ноги — но хорош, хорош, загляденье. И вот — он готовился совершить свою первую роковую ошибку. Прямо, думал он иногда, будто собирался взять в руки кинжал и сам себя пырнуть.

Нависая над столом кабинетика, мрачного из-за густой застройки центра — отвысы стен, сизые пустоты, сухие гудронно-каменные лагуны, — Морис Венис стал доказывать, что он лицо, заслуживающее доверия. Он сказал:

— Мое письмо было отправлено честь по чести, на бланке, но, может, вы желаете меня проверить?

— Кто — я? — сказал Вильгельм. — Да что вы?

— Есть такие, думают — я аферист, хотят меня вывести на чистую воду. А я ни цента не прошу. Я не штатный агент, комиссионных не получаю.

— Да что вы, я ни сном ни духом, — сказал Вильгельм.

Может, и было в этом Морисе Венисе что-то сомнительное? Уж чересчур он оправдывался.

Сильным, жиром сплюснутым голосом он наконец предложил Вильгельму:

— Если сомневаетесь, можете звякнуть в киноконтору, спросите там, кто я есть — Морис Венис.

Вильгельм удивился:

— Зачем мне сомневаться? Я и не думаю сомневаться.

— Ну что я, не вижу, как вы меня разглядываете? Да и кабинетик тот еще. Нет, вы не верите, не верите. Пожалуйста. Звоните. Чего уж. Осторожность не помешает. Я не обижаюсь. Есть такие, которые меня сперва подозревают. Никак поверить не могут, что их ждет слава и деньги.

— Да уверяю же вас, я вам верю, — сказал тогда Вильгельм и даже согнулся от своего теплого задушливого смеха. Чисто нервного. Шея у него была розовая, свежесвыбритая за ушами — он был только из парикмахерской, — лицо горело, так ему хотелось произвести приятное впечатление. Напрасный труд: Венис был чересчур занят тем, какое впечатление он сам производит.

— Удивляетесь? Сейчас объясню, что я имею в виду, — сказал Венис. — Годик так с небольшим назад вот в этом самом кабинете я увидел в газете одну крошку. Даже не фото, а так, рисунок между прочим, реклама бюстгалтеров, но я тут же сообразил, что это типичная кинозвезда. Звоню в газету спросить, кто эта девушка, мне называют рекламную фирму, звоню туда, мне дают фамилию художника, связываюсь с ним, он дает телефон ателье. Наконец-то, наконец я узнаю ее номер, звоню и говорю: «Это Морис Венис, агент „Каскасия Филмс“». Ну, она с ходу: «Расскажите вашей бабушке». Вижу, так дело не пойдет, и говорю: «Ладно, мисс. Я к вам не в претензии. Вы девушка симпатичная, конечно, у вас десятки хахалей, обрывают телефон, иной раз могут и разыграть. А я человек занятой, у меня времени нет на розыгрыши, мне некогда разговоры разговаривать, так что слушайте сюда. Вот вам мой номер, а это номер наших администраторов. Спросите у них, кто я есть — Морис Венис. Агент». Ну, она туда позвонила. Скоро отзванивает мне, извиняется, так и так, то да се, но я уж не стал припирять ее к стенке, стыдить, сразу переносить отношения с юным дарованием не в ту плоскость. Не такой я человек. Ну, и говорю ей: мол, береженого бог бережет, что вы, что вы. Я хотел тут же устроить пробу. Я насчет таланта редко ошибаюсь. Уж если я вижу — талант, значит, талант. Заметьте это себе. И знаете, кто сейчас эта девушка?

— Нет, — откликнулся Вильгельм с живостью. — Кто?

Венис произнес со значением:

— Нита Кристенбери.

Вильгельм сидел в полном недоумении. Ужасно неудобно. Он не слышивал этого имени, а Венис ожидал реакции и мог рассердиться.

И действительно Венис обиделся. Он сказал:

— Что это вы? Газет не читаете? Звезда экрана.

— Прошу прощения, — сказал Вильгельм. — Занятия, записал, совсем от жизни отстал. Если я ее не знаю, это ничего не означает. Я не сомневаюсь, что она имеет колоссальный успех.

— Мало сказать. Вот ее фото.

Он протянул Вильгельму несколько снимков. Девушка в купальнике — приземистая, грудь как грудь и стройные бедра. Да, вполне ничего, вспоминал Вильгельм. Высокие каблуки, испанский гребень, мантилья. В руке веер.

Он сказал:

— Страшно пикантная.

— Ну не божественное существо, а? И какая личность! Не то что ногами дрыгать, уж будьте уверены. — Он припас для Вильгельма сюрприз. — В ней я нашел свое счастье.

— Да? — отозвался Вильгельм, не сразу соображая.

— Да, друг, мы жених и невеста.

Вильгельм увидел еще снимок, сделанный на пляже. Венис в махровом халате и девица, щека к щеке, глядят в аппарат. Внизу белыми чернилами выведено: «Любовь в Малибу».

— Вы, конечно, будете счастливы. Я вам желаю...

— Знаю,— отрезал Венис.— Меня ждет счастье. Когда я увидел эту рекламу, я ощутил зов судьбы. Я отозвался на него всеми своими фибрами.

— Да, вдруг вспомнил,— сказал Вильгельм.— Маршалл Венис, продюсер, вам, случайно, не родственник?

Оказалось, Венис — сын не то родного, не то двоюродного брата этого продюсера. И, конечно, он не очень преуспел. Теперь Вильгельм уже видел. Обшарпанный кабинетишко и как нервно он хвастал, как старался доказать, кто он такой,— бедолага. Безвестный неудачник среди могучего беспардонного клана. И тут уж он сразу расположился к себе Вильгельма.

Венис сказал:

— Конечно, вы хотите знать, к чему это все. Мне случайно попала на глаза ваша школьная газета. Удивительная фотогеничность.

— Ну прямо уж,— сказал Вильгельм и не то чтобы засмеялся, а совсем уже задохнулся.

— Не учите меня моей профессии,— сказал Венис.— Что я знаю, то знаю. Тут я собаку съел.

— Вот не представлял... ну а на какие роли, по-вашему, я подхожу?

— Все время, пока мы разговаривали, я наблюдал за вами. Не думайте. Кого-то вы мне напоминаете. Пóстойте, постойте-ка... Кого-то из наших старых гигантов... Милтон Силас? Нет, не то. Конуэй Тирл, Джек Малхола? Джордж Банкрофт? Нет, у него лицо было поглубей. Одно я вам скажу: роли Джорджа Рафта — не для вас эти продажные, боевые, свирепые ребята.

— Ну куда мне.

— И вы не мухач из ночного клуба: шикарные бачки, танго, болеро — все не про вас. Ну и Эвард Джи Робинсон — нет, мимо, мимо... Это у меня мысли вслух. Или, скажем, эта коронная роль Кегни — таксист, кулачищи, челюсть. Нет.

— Да я ж понимаю.

— И не лоцены тип в духе Уильяма Пауэлла, не томный юноша в духе Бадди Роджерса. Вы ведь на саксофоне не играете? Нет. Но...

— Но — что?

— Нашел. Вы герой того типа, у которого герой типа Уильяма Пауэлла или типа Бадди Роджерса уводит девицу. Вы человек положительный, надежный, но вы не пользуетесь успехом. Женщины постарше — те понимают. Мамаши за вас. Сами они за вас бы мигом пошли. Вы человек сочувственный; даже молодым девицам это понятно. Вы можете обеспечить семью. Но им подавай другой тип. Ясно как апельсин.

Сам Вильгельм иначе себя расценивал. И возвращаясь теперь к тому давнему дню, он понял, что был не только удивлен, но задет. Вот ведь, он думал: он уже тогда зачислил меня в неудачники.

Вильгельм сказал несколько с вызовом:

— Вы так считаете?

Венису и в голову не приходило, что человеку может не улыбаться перспектива пробыть в такой роли.

— Таковы ваши шансы,— сказал он.— Вы ведь учитель? И что изучаете? — Он щелкнул пальцами.— Муть.

Вильгельм и сам был того же мнения.

— Можно пятьдесят лет проишачить, пока чего-то добьешься. А тут р-раз — и мир узнаёт, кто вы есть? Вы — имя, как Рузвельт, как Свенсон<sup>5</sup>. От востока до запада, до самого Китая, до Южной Америки. Это вам не хухры-мухры. Вы делаетесь любимцем всего человечества. Человечество хочет этого, жаждет. Один малый смеется — и миллиард смеется. Один малый плачет — и другой миллиард плачет вместе с ним. Послушайте, дружище...— Венис весь собрался в усилия. Мощный груз давил на его воображение, и он не в силах был его скинуть. Он хотел, чтобы и Вильгельм это почувствовал. Он скривил свои крупные, простые, добродушные, несколько дурацкие черты

<sup>5</sup> Свенсон Клод Август (1862—1939) — политический деятель, сенатор (1910—1933), член кабинета Рузвельта (1933—1939).

так, будто он лично совершенно над ними не властен, и сказал своим задушенным, жиром сплюснутым голосом: — Послушайте, повсюду народ страдает, несчастный, измученный — страдает. Им нужна отдушина, верно? Новые впечатления, помощь, счастье или сострадание.

— Да, это правда, правда,— сказал Вильгельм. Ему передались чувства Вениса, и он ждал, что же тот скажет дальше

Но Венис не собирался больше ничего говорить: он уже все сказал. Дал Вильгельму несколько синих листочков на гектографе, зацепленных скрепкой, и сказал, чтоб готовился к пробам.

— Учите текст перед зеркалом,— сказал он.— Расслабьтесь. Отдайтесь роли. Больше чувства. Не стесняйтесь. Жмите на всю железку. Когда вы начинаете играть — вы уже не просто человек, к вам это все не относится. Вы ведете себя не так, как обыкновенные люди.

Так Вильгельм и не вернулся в свой Пенсильванский. Сосед по комнате переслал его пожитки в Нью-Йорк, а университетскому начальству пришлось письменно запрашивать доктора Адлера о том, что с ним приключилось.

Однако еще три месяца Вильгельм проваляндался в Нью-Йорке. Он хотел начать новую жизнь в Калифорнии с благословения семьи, а благословения не было. Он ссорился с родителями и сестрой. И вот когда уже прекрасно понимал, на какой он идет риск, когда сам знал тысячи доводов против и чуть не заболел от страха — он уехал. Типично для Вильгельма. После долгих раздумий, колебаний и споров он выбирал то, что много раз отвергал. Десять таких решений — и Вильгельм профукал свою жизнь. Решил, что ехать в Голливуд ни в коем случае нельзя, а сам поехал. Решил ни за что не жениться на своей жене, а сам спасовал и женился. Решил не связываться с Тамкиным, а сам взял и выдал ему чек.

Но Вильгельм же только и ждал тогда, чтоб жизнь началась наконец. Колледж был просто отсрочкой. Венис его обработал, сказал, что мир избрал Вильгельма своей путевой звездой. И он избежит убогой сутолоки жалких, обыкновенных людишек. К тому же Венис сказал, что он никогда не ошибается. Стопроцентно угадывает талант.

Но увидев результаты проб, Венис сразу повернул на сто восемьдесят градусов. В то время у Вильгельма были нелады с речью. Не то чтоб он явно заикался, нет, но как-то запинаясь, и звукозапись это выявила. Экран вытасил еще кое-какие штришки, в жизни незаметные. Когда он пожимал плечами, руки втягивались в рукава. Несмотря на исключительный размах груди, в свете юпитеров он не казался могучим. Вот называл себя гипнопотамом — а вышел медведь медведем. И походка медвежья — быстрая, мягкая, косолапая, будто ботинки жмут. В одном не ошибся Венис. Вильгельм был фотогеничен, волнистые светлые волосы (теперь с проседью) вышли очень хорошо, но после проб Венис не стал его обнадеживать. Он хотел от него отделаться. Он не мог себе позволить такой риск, он и так уже понаделал ошибок, жил в вечном страхе перед всесильной родней.

А Вильгельм объявил родителям: «Венис говорит, я должен ехать, это просто мой долг». Как он теперь краснеет из-за этого вранья! Он молил Вениса его не бросать. Говорил: «Что мне делать? Для меня просто смерть возвращаться в колледж, я этого не переживу».

Потом, когда уже достиг калифорнийских берегов, он понял, что рекомендация Мориса Вениса — пустой звук. Венис нуждался в жалости и поддержке больше даже, чем сам Вильгельм. Через несколько лет, когда Вильгельм дошел до ручки и работал санитаром в лос-анджелесской больнице, он увидел в газете фотографию Мориса Вениса. Ему предьявлялось обвинение в сводничестве. Внимательно следя за процессом, Вильгельм уверился, что Венис действительно был связан с «Каскаския Фиамс», но использовал эту связь, видимо, чтоб организовать сеть телефонных девочек. Но я-то тут, интересно, при чем? Вильгельм чуть вслух не расплакался. Как-то не хотелось верить в разные ужасы про Вениса. Ну набитый дурак, наверно, ну не повезло, запутался, обмишулился, балда. За такое же на пятнадцать лет не сажают? Вильгельм подумывал, не написать ли письмо Венису, выразить свое соболезнование. Вспоминал зов судьбы и как Венис верил, что он будет счастливым. Нита Кристенбери получила три года. Вильгельм узнал ее, хоть фамилия она переменяла.

В те поры сам Вильгельм взял себе свою новую фамилию. В Калифорнии он сделался Томми Вильгельмом. Доктор Адлер этого не признавал. Он и сейчас называл сына Уилки, как больше сорока лет называл. Ну вот, думал Вильгельм, окончательно

скомкав газету, человек почти ничего не может изменить по собственной воле. Не может изменить свои легкие, нервы, фигуру, свой темперамент. Все это не зависит от человека. Пока человек молод, полон сил и задора и недоволен положением вещей, он жаждет их изменить и отстоять свою независимость. Он не может свергнуть правительство, заново родиться; возможности у него ограниченные, и есть, наверно, предчувствие, что, в сущности, он измениться не может. И тем не менее он делает жест, становится Томми Вильгельмом. Вильгельму всегда жутко хотелось стать Томми. Правда, чувствовать, как Томми, он так и не научился и в душе оставался Уилки. В пьяном виде он страшно на себя напускался — на Уилки. Ну ты и дубина, Уилки, ну ты и балбес! Так он себя костерил. Может, он думал, и к лучшему, что он не имел успеха, как Томми,— это был бы липовый какой-то успех. Вильгельма бы, может, свербило, что успеха добился не сам он, а Томми, сляпзвив у Уилки право первородства. Да, конечно, он тогда сделал гаупство, но что он соображал в свои двадцать лет, и винить тут приходится молодость. Он отбросил отцовское имя и мнение отца о себе. Это была, да, конечно, была заявка на независимость. Адлер связывался у него в мозгах с обозначением рода, Томми — с личной свободой. Но куда ему деться от Уилки?

В зрелом возрасте уже не будешь думать разные такие вещи про свободу выбора. Вдруг до тебя доходит, что от одного деда ты взял такие-то и такие-то волосы, светлые, как мед, битый, седой или засахаренный в банке; от другого могучие, широкие плечи; дефекты речи от одного дяди, мелкие зубы от другого, и эти серые глаза с тенью, набегающей на белки, и толстогубый рот перуанского идола. Бродячие народы выглядят так — костяк от одного племени, шкура от другого. От мамы у него ранимость, нежное сердце, это в нее он подвержен хандре и пасует, когда на него насаждают.

Да, перемена фамилии была ошибкой, кто спорит. Но теперь-то ошибку не исправишь, так чего же отец вечно тычет ему в нос, какой страшный грех он совершил? Он и рад бы вернуть тот несчастный день, когда его лукавый попутал. Но где сейчас этот день? Не вернешь. И чьи это мутные воспоминания? Отца, что ли? Нет, его, Вильгельма. И что может он вспомнить, что заслуживало бы доброго слова? Ах, так мало, так мало. Надо простить. Сперва надо простить себя, уж потом всех на свете. Разве он сам не терзается из-за своих ошибок так, как отцу и не снилось?..

— Господи,— взмолился Вильгельм.— Избави меня от моих бед. Избави от моих мыслей, научи, что мне с собою поделать. За все то время, что я зря угробил, прости меня, каюсь. Помогни мне выйти из тупика и начать новую жизнь. Я же не знаю, на каком я свете. Имей ко мне жалость, Господи.

## 2

Почта.

Регистратор, выдававший ему письма, мало заботился о том, как он сегодня выглядит. Бегло посмотрел исподлобья. Да и с чего это служащие гостиницы будут ему расточать любезности? Они знают, что он за птица. Чиновник знал, что вместе с письмами передал ему счет. Вильгельм напустил на себя отсутствующий вид. Но дела были неважные. Чтоб оплатить этот счет, надо было снять деньги с куртажа, а куртаж был заморожен из-за понижения лярда. Согласно «Трибюн» лярд шел на двадцать пунктов ниже прошлого года. Говорилось о государственных субсидиях, Вильгельм не особенно вникал в эту кухню, но он понял так, что интересы фермера берегаются, рынок регулируется, а значит, лярд снова поднимется, так что рано паниковать. Но отец пока мог бы хоть предложить взять на себя оплату гостиницы. Но почему бы нет? Эгоист! Видит же тяжелые обстоятельства сына. Ему бы ничего не стоило помочь сыну. Ему бы это пара пустяков, а как важно для Вильгельма! Где же его сердце? Может, думал Вильгельм, я был раньше сентиментален, преувеличивал его доброту — теплый семейный очаг, то да се. Может, ничего подобного и не было.

Не так давно отец сказал ему своим обычным мягким приятным тоном:

— Ну вот, Уилки, снова мы под одной крышей — через столько лет.

Вильгельм было обрадовался. Наконец можно поговорить о прошлом. Но он испугался подвоха. Не значило ли это: «Почему ты здесь, со мною в гостинице, а не у себя дома в Бруклине, с женой и двумя сынишками? Не холостяк — не вдовец. Вечно от тебя надо ждать неприятностей. А мне что прикажешь со всем этим делать?»

Потому Вильгельм помолчал немного и сказал:

— Одна крыша с разницей в двадцать шесть этажей. Ну и через сколько же лет?

— Это я у тебя хочу спросить.

— Тьфу, пап, разве я помню точно? С того года, когда мама умерла? В каком году?

Он задал этот вопрос с самым невинным выражением на своем золотисто-смугловатом лице. В каком году? Как будто он не помнил год, месяц, число, да что число! — час маминой смерти.

— Не в тридцать первом? — предположил доктор Адлер.

— А-а, да? — сказал Вильгельм. И от подавляемой тоски и дикой иронии этого вопроса его передернуло, и он затряс головой и схватился за свой воротник.

— Знаешь,— сказал отец,— ты заметил, наверно, на стариковскую память полагаться не следует. Была зима, это я помню точно. В тридцать втором, нет?

Да, возраст. Но из этого ничего не следует, убеждал себя Вильгельм. Если спросить у старого доктора, в каком году он начал практиковать, он же ответит точно. И опять же из этого ничего не следует. Нечего ссориться с собственным отцом. Надо пожалеть старика.

— По-моему, скорей в тридцать четвертом, папа,— сказал он.

А доктор Адлер думал: Господи, ну почему нельзя постоять спокойно, пока я с ним разговариваю? То он брюки на себе за карманы дергает, то ногою трясет. Гора горой, а весь в тике, что же это с ним будет? У Вильгельма была такая манера носить ноги, будто, спеша войти в дом, он их сперва обтирает об коврик.

Вильгельм тогда сказал:

— Да, это было начало конца, правда, папа?

Вильгельм часто обескураживал доктора Адлера. Начало конца? Что он хочет этим сказать? Куда гнет? Чей конец? Конец семьи? Старик был озадачен, но не хотел, попавшись на удочку, выслушивать сетования Вильгельма. Он научился не обращать внимания на его странные выходы. А потому он мило согласился, будучи большим мастером вести беседу:

— Это было страшное несчастье для нас для всех.

А сам подумал: он еще мне будет рассказывать, как он тяжело переживает смерть матери.

Они стояли лицом к лицу, и каждый молча упорствовал на своем. Это было — нет, не было — начало конца, да, какого-то начало конца.

Не находя в этом ничего странного, привычными, отвлеченными пальцами Вильгельм снял пепел со своей сигареты и отправил окурочек в карман, к другим окуркам. Пока он смотрел на отца, у него дергался, трясся правый мизинец, он и этого не замечал.

И тем не менее Вильгельм был уверен, что при желании мог бы иметь приятнейшие манеры, получше даже отцовских. Несмотря на некоторые дефекты речи — чуть не до заикания доходило, когда он по несколько раз начинал фразу, приступом беря не удававшийся звук,— он умел красно говорить. Иначе как бы он работал в торговле? Еще он считал, что умеет слушать. Слушая, он плотно сжимал рот и задумчиво поводил глазами. Скоро он утомаялся, начинал часто, громко, нервно дышать, поддакивать: «Да-да... да... да. Совершенно с вами согласен». Когда уж никак невозможно было согласиться, он говорил: «Ну, не знаю. Я как-то не уверен. Это, знаете, как взглянуть». Никогда он никого сознательно не обидел.

А вот разговаривая с отцом, он сразу закипал. После каждой беседы с доктором Адлером Вильгельм расстраивался, и особенно он расстраивался, если они касались семейной темы. Вот он якобы старался помочь старику припомнить дату, а на самом деле хотел ведь сказать: «Ты освободился, когда умерла мама. Ты хотел ее забыть. Ты бы и от Кэтрин с удовольствием избавился. И от меня. И никого-то ты не обманешь». Вот на что намекал Вильгельм и чего не желал знать старик. В конце концов Вильгельм остался при своем раздражении, а отцу было хоть бы что.

И в который раз Вильгельм сказал себе: «Послушай! Ты же не ребенок. Ты и тогда не был ребенком!» Он кинул взглядом по своему непримично большому, запущенному телу. Оплыл, зажирел, стал похож на гиппопотама. Младший сынишка звал его гамапатам — это Пол, его маленький. И вот по-прежнему он борется со стариком отцом, весь в былых печалях. Вместо того чтоб сказать: «Прощай, молодость! Ох, прощайте, чудные, зарзя загубленные деньки. Ну и кретин же я был — и остался».

Вильгельм до сих пор жестоко расплачивался за свои ошибки. Жена Маргарет не давала развода, а ему приходилось поддерживать ее и двоих детей. То и дело она соглашалась на развод, а потом думала-думала и ставила новые условия, еще невозможней. Ей никакой суд не присудит тех сумм, которые она из него вытягивает. Одно из писем, так он и знал, было от нее. В первый раз в жизни он ей послал чек, датированный передним числом, и она протестовала. И еще вложила счета по страховке на

образование, истекающие на следующей неделе. Теща Вильгельма взяла этот полис в Беверли Хиллз, и после ее смерти, вот уже два года, Вильгельм выплачивал взносы. И чего она суется не в свое дело! Это его собственные дети, он заботится о них и всегда будет заботиться. Он собирался открыть траст-фонд. Но то — раньше. А теперь приходилось пересматривать планы на будущее из-за денежных затруднений. Но вот — счета, и надо по ним платить. Увидев две суммы, аккуратно прокомпостированные на карточках, он послал к черту компанию с ее этой техникой. Сердце рвалось, голова кипела от злости. Предполагается, что деньги есть у всех. Компании — ей что? Помещает себе фотографии похорон, страшает простачков, а потом пробивает на карточках дырочки, а ты лежи без сна и прикидывай, откуда деньги брать. И стыдно их не иметь. Компанию крупную тоже подводить не станешь, вот и вертись. В прежние времена человека за долги сажали в тюрьму, теперь додумались до кой-чего потоньше. Теперь не иметь денег — позор, и каждого заставляют работать.

Так, ну что еще припаса для него Маргарет? Большим пальцем он взрывал конверт, давая себе слово, если там окажется еще хоть один счет, не глядя все отослать ей обратно. К счастью, больше ничего не было. Он сунул прокомпостированные карточки в карман. Неужели Маргарет не понимает, что он на пределе? Понимает, конечно. Чувствует удобный момент, вот и изводит.

Он вошел в столовую в гостинице «Глориана», в которой дело было поставлено на австро-венгерский манер. На европейскую ногу. Пекали изумительно, особенно студель. Он часто брал к вечернему кофе яблочный студель.

Как только вошел, он сразу увидел некрупную голову отца в солнечном луче, услышал его четкий голос. Со странно-отважным выражением лица Вильгельм пересек столовую.

Доктор Адлер любил сидеть в углу, который выходил на Бродвей — на Гудзон, на Нью-Джерси. Через улицу стояло сверхмодерное кафе с золотисто-лиловой мозаикой на колоннах. Школа частных сыщиков, зубопротезный кабинет, гимнастический зал для тучников, клуб ветеранов и еврейская школа мирно делили просторы второго этажа. Старик посыпал свою клубнику сахарной пудрой. Стаканы с водой обручами бросали блеск на белую скатерть, хоть день и хмурился слегка. Началось лето, высокое окно распахнуто было внутрь; на стекле билась бабочка; замазка облупилась, и морщинами пошла белая краска на рамах.

— Ха, Уилки,— сказал старик запоздавшему сыну.— Ты не знаком с мистером Перлсом, нашим соседом? С пятнадцатого этажа.

— Зарасьте,— сказал Вильгельм.

Он был не рад чужому человеку, сразу принялся выискивать в нем недостатки. У мистера Перлса была тяжелая трость с костыльной ручкой вместо набалдашника. Крашенные волосы, тощий лоб — все это еще не преступление. И мистер Перлс не виноват, если понадобился доктору Адлеру, когда тот не пожелал завтракать вдвоем с собственным сыном. Но более мрачный внутренний голос шептал Вильгельму: «Кто эта старая селедка с поношенной физиономией, крашеными волосами, рыбьими зубами и вислыми усиками? Очередной папин германский приятель? И где только он их подбирает? Зубы-то из чего? В жизни не видел таких диких коронок. Нержавейка? Серебро? Как может человеческое лицо дойти до такого? Уф!»

Впервые в мистера Перлса широко расставленные серые глаза, Вильгельм всей мочуей тупшей обмяк под спортивным пиджаком. И тискал руки на скатерти каким-то молящим жестом. Потом он стал смягчаться к мистеру Перлсу, начиная с зубов. Каждая из коронок вопила о больных зубах, и считая зубные страдания за два процента от общих плюсов его бегство из Германии и вероятность происхождения этих скорбных морщин, которые ведь не спутаешь с улыбочной сеточкой,— получится нечто довольно-таки внушительное.

— Мистер Перлс вел оптовую торговлю трикотажем,— сказал доктор Адлер.

— Это тот самый сын, который, вы мне сказали, у вас по торговой части, да? — сказал мистер Перлс.

Доктор Адлер ответил:

— Это у меня единственный сын. Есть еще дочь. Работала в медицине, пока замуж не вышла,— анестезиологом. Одно время занимала важный пост в Маунт Синае.

Не мог он не хвастать, говоря о своих детях. С точки зрения Вильгельма, хвастать было особенно нечем. Кэтрин, как и Вильгельм, была большая, светловолосая. Вышла замуж за судебного репортера и устроила ему ту еще жизнь. Также взяла творче-



ский псевдоним — Филиппа. Сорок лет женщине, а все мечтает стать настоящей художницей. Вильгельм не брался судить о ее работе. До него это не доходит, он говорил, но он не знаток. А вообще-то они с сестрой по большей части были в контрактах, так что он почти не видел ее картин. Работала она жутко много, но их таких пятьдесят тысяч в Нью-Йорке, с красками и кистями, и каждый свое доказывает. Просто Вавилонская башня какая-то. Он лично не желал в это вникать. Везде черт-те что.

Доктор Адлер решил, что сегодня у Вильгельма особенно неопрятный вид, какой-то он вострепанный весь и веки красные — доурился. Дышит ртом, совершенно потерянный, красные глаза бегают дико. Как всегда, задрал воротник, будто сейчас выскочит под дождь. Когда на службу ходил, он хоть немножко следил за собой, а то — распускается, смотреть невозможно.

— Что с тобой, Уилки, опять ночь не спал?

— Да, в общем-то.

— Ты принимаешь слишком много различных таблеток — сначала стимуляторы, потом депрессанты, аналептики после анодинов, это совершенно сбивает с толку несчастный организм. Люминал теряет снотворное действие, первитин и бензедрин уже не бодрят. Господи! Это же потенциальные яды, а все сейчас на них помешались.

— Нет, папа, это не от таблеток. Просто я как-то не могу снова привыкнуть к Нью-Йорку. А ведь родился здесь — странно, да? Тут никогда не было по ночам этого грохота, и каждая мелочь вырастает в проблему. Например, эти стоянки. Выезжать надо в восемь часов, чтобы как-то протиснуться. А где ставить машину? Чуть зазеваться — ее отбуксируют. Или олух какой-нибудь сунет рекламку под дворники, а у тебя аж за квартал с сердцем плохо — вдруг штраф? На штраф напорешься — ничего не докажешь, судись не судись, государству нужен доход.

— Это вам в связи с вашей работой есть необходимость в машине? — спросил мистер Перлс.

— Господи, да какой идиот станет заводить машину в этом городе, если она ему не нужна до зарезу?

Старенький «понтак» Вильгельма был припаркован на улице. Раньше, когда фирма возмещала расходы, он его всегда держал в гараже. Теперь он боялся трогать машину с Риверсайд-Драйв, чтоб не потерять место, и пользовался ею только по субботам, если «Доджеры» играли на Эббетс-Филдз и он возил на матч своих мальчиков. В прошлую субботу «Доджеров» не было в городе, и он съездил на могилу к маме.

Доктор Адлер с ним ехать не захотел. Он терпеть не мог этой манеры водить. Вильгельм в забывчивости километрами гнал на второй скорости, редко когда вставал в правый ряд, не сигналил, не замечал светофоров. Обивка у его «понтака» вся лоснилась, пошла пятнами от пепла. Одна сигарета вечно горит в пепельнице, вторая в руке, третья на полу среди карт, прочего бумажного хлама, бутылок из-под кока-колы. То он дремлет за рулем, то спорит и жестикулирует, а потому доктор не хотел с ним ездить.

Вернулся Вильгельм с кладбища злой — скамейку между могилами мамы и бабушки разбили вандалы.

— Это хулиганье недорослое все хамеет, — говорил он. — Ведь это ж кувалдой бить надо, чтоб скамья надвое разлетелась. Ну попадись мне такой!

Он хотел, чтобы доктор дал деньги на новую скамейку, но эта мысль отца не воодушевила. Сам он лично, сказал он, предполагает кремироваться.

Мистер Перлс сказал:

— Я вас не обвиняю, если вы не способны засыпать там, где вы находитесь. — Он слегка надаживался, будто недослышал. — Ведь вы там имеете, кажется, Парижди, этого учителя пения? Боже, здесь, в отеле, они имеют много непонятного элемента. На каком этаже находится эта эстонка, у которой столько кошек и собак? Ее давно следует прогнать.

— Ее перевели на двенадцатый, — сказал доктор Адлер.

Вильгельм взял к завтраку большую бутылку кока-колы. По секрету орудуя в кармане, он нащупал две таблетки, пакетики под настойчивыми пальцами протерлись и поддались. Укрывшись за салфеткой, он проглотил фенафен и юникэп, но глаз у доктора был острый, и он сказал:

— Уилки, что это ты там принимаешь?

— Витаминами просто. — Он сунул окурочек в пепельницу на столике у него за спиной: доктор не любил сигаретного запаха. Потом выпил свою кока-колу.

— Вот что вы пьете за вашим завтраком, а не апельсиновый сок, нет? — сказал мистер Перлс. Кажется, он смекнул, что не лишится благосклонности доктора Адлера, говоря с его сыном в ироническом тоне.

— Кофеин стимулирует мозговую деятельность, — сказал старый доктор. — И действует должным образом на респираторные центры.

— Просто дорожная привычка такая, — сказал Вильгельм. — Когда едешь долго, все мозги выворачивает. И желудок и все.

Отец объяснил:

— Уилки работал с «Роджекс корпорэйшн». Долгие годы был их представителем по торговле в северо-восточном секторе, но недавно с ними порвал.

— Да, — сказал Вильгельм. — С конца войны с ними работал.

Он потягивал кока-колу, сосал лед и поглядывал на одного, на другого, большой, с сомнительным и терпеливым достоинством. Официантка поставила перед ним два крутых яйца.

— Какого рода продукцию производит эта «Роджекс»? — спросил мистер Перлс.

— Детская мебель. Маленькие креслица, стульчики, столики, санки, спортивные стенки, качели.

Это вступительное слово Вильгельм предоставил отцу. Большой, натянутый, он старался сидеть спокойно, но ужасно ерзали ноги. Ладно! Отцу надо произвести впечатление на мистера Перлса? Пожалуйста. Лично он исполнит свою партию. Чудно. Он подыграет отцу, поможет держать фасон. Главное ведь фасон. Ну и чудно!

— Я работал с «Роджекс корпорэйшн» чуть не десять лет, — сказал он. — Мы расстались, когда они захотели, чтобы я разделил район действий. Взяли в фирму зятя — новый человек. Его идея.

Про себя он думал: одному Богу ведомо, почему я обязан отчитываться за всю свою жизнь перед этой плюгавой селедкой. Никто так не делает. Только я. Другие держат свои дела при себе. Так нет же. Он продолжал:

— Объяснение было такое, что якобы для одного человека мой район действий велик. У меня была монополия. Но настоящая причина не в этом. На самом деле они по всем статьям должны были ввести меня в правление. Вице-президентом. Подошла моя очередь на повышение, а тут появляется этот зять, ну и...

Доктор Адлер счел, что Вильгельм чересчур разоткровенничался о своих неприятностях, и перебил:

— Доход моего сына выражался пятизначной цифрой.

Как только были упомянуты деньги, голос у мистера Перлса моментально зазвенел.

— Да? В группе тридцатидвухпроцентщиков? Может, еще и выше?

Он требовал намека и цифру взял не с потолка, не просто брякнул — навязывал со сладострастием. Уф! Как они любят деньги, думал Вильгельм. Они обожают деньги! Блаженные денежки! Дивные денежки! Людям, можно сказать, плевать на все, кроме денег. Нет их у тебя — и ты пешка, пешка! Ты должен извиняться, что существуешь на свете. Срам! Вот и все. Везде одно и то же. И где выход, где выход?

Таким мыслям только дай волю. До нервного припадка можно себя накрутить. Поэтому он умолк и взялся за еду.

Прежде чем надбить яйцо, он его обтер салфеткой. Потом ложечкой дубасил (по мнению отца) больше, чем следовало. Когда счистил скорлупу, на белке угадывались пятна от пальцев. Доктор Адлер смотрел на это молча, с отвращением. Ну и сыночка произвел он на свет! Даже рук утром вымыть не может! Бритва у него электрическая, вот и обходится без воды. Невыносимый грязнуля. Только раз в жизни заглянул доктор в комнату Уилки — и больше ноги его там не будет! Вильгельм, в пижаме, в носках, на кровати пил джин из кофейной чашки, вперся в телевизор, где шел бейсбол: «Бей! Жми! Ну! Обводи, Дюк!» Рухнул на матрас. Бэм! Кровать чуть не разлетелась. Дул джин, как воду, махал кулачищами, болел за своих «Доджеров». Омерзительно воняло грязным бельем. Возле кровати валялась пустая литровка, idiotские журналы, детективы, припасенные на часы бессонницы. Вильгельм зарос грязью, как дикарь. Когда доктор об этом заикнулся, он сказал: «У меня же нет жены, чтоб за мною приглядывала». А кто, кто, спрашивается, виноват? Нет, не Маргарет. Доктор знал точно — она хотела, чтоб он вернулся.

Кофейная чашка в руке Вильгельма ходуном ходила. Непростительно красные глаза бегали. Рывком он брякнул чашку на стол, сунул в рот окуроч, зубами, что ли, прикусил, как сигару.

— Я им этого так не оставляю. Тут вопрос нравственности.

Отец поправил:

— Ты хочешь сказать «нравственный вопрос»?

— Ну и это. Надо же мне как-то защищаться. Мне обещали место в правлении.— Замечание при постороннем было унижительно, и золотисто-смугловатое лицо изменилось в цвете, побелело, потом еще гуще потемнело. Он продолжал обращаться к Перлсу, но глазами следил за отцом.— Это я же открыл для них этот район. Я могу переметнуться к конкуренту и отбить у них клиентуру. Мою же клиентуру. Тут речь идет об их нравственности — они пытались меня дезавуировать.

— И вы бы предлагали тем же людям, но уже иной товар? — Мистер Перлс недоумевал.

— А что? Я знаю, что не так в продукции «Роджекс».

— Чуть,— сказал отец.— Чуть и детские разговоры, Уилки. Ты только на неприятности нарвешься. Ну чего ты добьешься этой глупой склокой? Тебе надо думать о заработках, об исполнении своих обязанностей.

Обиженный, злой, Вильгельм ответил гордо, покуда ноги яростно дергались под столом:

— Не надо мне напоминать о моих обязанностях. Я их годами исполняю. Больше двадцати лет я ни от кого не получаю помощи ни на грош. Я предпочел рыть канавы для WPA<sup>6</sup>, но ни на кого не перекладывал свои обязанности.

— Уилки много чего пришлось пережить,— сказал доктор Адлер.

Лицо у старого доктора было цветуще розовое, просвечивающее, как спелая абрикосина. Глубокие морщины вдоль ушей показывали, как плотно пригнана по костям кожа. Он был весь такой из себя здоровый и элегантный старик маленького роста. Белый жилет в светленькую клеточку. Слуховой аппарат в кармане. Невозможная рубашка в красно-черную полоску облекала грудь. Он обарахался в университетской лавке, где-то там подалее от центра. Вот уж Вильгельм не стал бы на его месте разряжаться, как жокей, хоть бы из уважения к своей профессии.

— Да,— сказал мистер Перлс.— Я умею понимать ваши чувства. Вы стремитесь бороться. В определенном возрасте начать все сначала нелегко, но хороший человек может всегда начать все сначала. Однако вы настойчиво стремитесь придерживаться дела, которое вы уже знаете, и не вступать в новые связи.

Опять Вильгельм думал: с какой стати обсуждать именно меня и мою жизнь, а не его, скажем, и его жизнь? Он бы этого не позволил. А я идиот. Весь нараспашку. Обсуждайте меня — пожалуйста. Болтаю. Сам нарываюсь. Задушевно поговорить каждый рад, но умный человек наизнанку не вывернется. Только дурак. Умный человек будет говорить задушевно насчет дурака, всего его выпотрошит и еще советов надает. Да с какой же стати? Его задел намек на возраст. Да чего уж, возраст — действительно. Такие дела.

— А покамест,— сказал доктор Адлер,— Уилки хладнокровно переживает и рассматривает различные предложения. Ведь правда, Уилки?

— Ну, в общем,— сказал Вильгельм.

Он предоставил отцу поднимать его авторитет в глазах мистера Перлса. Канавы WPA роняли престиж семейства. Он несколько устал. Душа, неотторжимая ноша, надавила, как гиря, как горб, как нанос. Когда расслаблялся, когда, исключительно от усталости, он больше не мог трепыхаться, вдруг он чувствовал этот таинственный груз, который он вечно был обречен волочить. Для того, видно, и живет человек. Этот большой, нелепый, взбудораженный, толстый, светловолосый, резкий субъект по имени Вильгельм, или Томми, был здесь, сейчас, в настоящий момент — уж как только ни впикивал в него Тамкин понятия настоящего, «здесь и сейчас». — этот Уилки, или Томми Вильгельм, сорочачетырехлетний, отец двоих сыновей, живущий в настоящий момент в гостинице «Глорiana», был назначен носильщиком груза, который был — он сам, его суть. Цена, стоимость груза ни в каких цифрах не обозначена. Но, может, он ее несколько и забыл? Этот Томми Вильгельм. Из разряда животных, склонных к фантазиям. Который принимает на веру, будто знает, для чего существует на свете. А ведь ни разу всерьез не задумался — для чего.

Мистер Перлс сказал:

<sup>6</sup> Основная в 1935 году организация для помощи безработным, в которой им давали черную работу. Существовала до 1942 года.

— Если нужно обдумать ситуацию и немного отдохнуть — почему бы не отправиться во Флориду? Не в сезон там дешево и спокойно. Волшебный край. Как раз созревает манго. У меня там имеется два акра. Настоящая Индия.

Мистер Перлс чрезвычайно озадачил Вильгельма, говоря про волшебный край со своим иностранным акцентом Манго — Индия? При чем тут?

— Было время, — сказал Вильгельм, — я работал по рекламе для одной гостиницы на Кубе. Устроишь им объявление у Леонарда Лайонса или еще где-нибудь — и пожалауйста, отдыхай себе бесплатно. У меня давным-давно не было отпуска, так что отдохнуть бы не грех, я дико устал. Это ведь правда, папа, ты знаешь.

Он хотел этим сказать, что отец знает, до чего дошло. Как он бьется из-за денег. И не может он отдохнуть. Только зазеваешься — раздавят. Его доконают эти обязанности. Не оступись, не споткнись. Деньги! — он думал. Когда они у меня были, я их не считал. Меня просто доили. Деньги лились рекой. И вот я дошел чуть не до ручки, и откуда мне теперь брать деньги?

Он сказал:

— Честно говоря, папа, я устал, как черт.

Но тут мистер Перлс начал расплываться в улыбке:

— Я так понял со слов доктора Тамкина, что вы сообща сделали капиталовложение?

— Весьма, знаете ли, оригинальный тип, — сказал доктор Адлер. — Просто его слушаешься. Интересно — он действительно врач?

— А разве нет? — сказал Перлс. — Все думают — да. Он говорит про пациентов. И он же выписывает рецепты?

— Не знаю, не проверял, — сказал доктор Адлер. — Он жох.

— Я так понимаю, он психолог, — сказал Вильгельм.

— Не знаю, какой он там психолог, психиатр или кто, — сказал доктор Адлер. — Он вообще мне не ясен. Нынче это становится главной отраслью, и весьма разорительной. Надо держаться на очень высоких постах, чтоб выкладывать такие гонорары. Но этот Тамкин не глуп. Он вовсе не утверждает, будто у него практика здесь, и я-то полагаю, он заделался врачом в Калифорнии. Там у них, кажется, насчет этого не очень-то строго и за тысячу долларов можно приобрести диплом Лос-Анджелесского заочного. Впечатление такое, что он кое-что смыслил в фармакологии и в таких вещах, как гипноз. Но я бы ему не доверился.

— А почему? — спросил Вильгельм.

— Потому что, возможно, он все врет. Ты веришь, что он действительно сделал все эти изобретения?

Мистер Перлс цвел улыбкой.

— Про него писали в «Форчун», — сказал Вильгельм. — Да, в «Форчун», в журнале. Он мне показывал статью. Я видел вырезку своими глазами.

— Это ничего не доказывает, — сказал доктор Адлер. — Возможно, это другой какой-нибудь Тамкин. Не заблуждайся, он махинатор. И возможно, даже помешанный.

— Помешанный, ты говоришь?

Мистер Перлс вставил свое слово:

— Он может быть и помешанный и нормальный. Теперь точную границу никто не в состоянии провести.

— Электрическое устройство для водителей грузовиков. Вдвигается в головной убор. — Доктор Адлер описывал одно из рационализаторских предложений Тамкина. — Если они засыпают за рулем, оно тут же их будит. Приводится в действие изменением кровяного давления в момент наступления сна.

— Ну и что тут такого невероятного? — сказал Вильгельм.

Мистер Перлс сказал:

— А мне он говорил про водолазный костюм, в котором можно пройти по дну Гудзона в случае атомной атаки. Он сказал, что пройдет в таком костюме вплоть до Олбани.

— Ха-ха-ха-ха-ха! — хрипло, старчески пролаял доктор Адлер. — Ничего себе. А почему, например, не устроить туристский поход под Ниагарским водопадом?

— Ну, у него так фантазия работает, — сказал Вильгельм. — Ничего особенного. Изобретатели все такие. У меня у самого есть разные забавные идеи. Каждому что-то сделать хочется. Американцу тем более.

Но отец пропустил его слова мимо ушей и сказал Перлсу:

— Ну а какие он вам еще описывал изобретения?

Хохотали — отец в неприличной идиотски полосатой рубашке, этот мистер Перлс с поношенной физиономией, и Вильгельм не выдержал, тоже захохотал своим задушливым смехом. Но он был в отчаянии. Они хохотали над человеком, которому он доверил последние свои семьсот долларов для игры на продовольственной бирже. И они с ним купили весь этот лярд. Сегодня он должен подняться. В десять, в пол-одиннадцатого — самый пик, и тогда видно будет.

## 3

Мимо белых скатертей, мимо стаканов и блистающего серебра, сквозь бьющий наотмашь свет длинная фигура мистера Перлса удалялась в темноту холла. Он выбрасывал трость и приволакивал огромный ортопедический башмак, ошибкой не включенный Вильгельмом в смету бедствий. Доктору Адлеру хотелось о нем поговорить.

— Несчастнейший человек, — сказал он, — Костное заболевание, которое постепенно его разрушает.

— Это такая прогрессирующая болезнь? — спросил Вильгельм.

— Очень тяжелая. Я научился, — сообщил ему доктор, — приберегать свое сочувствие для истинных страданий. Этот Перлс достоин жалости больше чем кто бы то ни было из всех, кого я знаю.

Вильгельм понял, что ему делают втык, и высказываться не стал. Он ел. Не спешил, наваливал еду на тарелку, пока не умял свои пышки и отцовскую клубнику, а потом еще остатки ветчины. Выпил несколько чашек кофе и, покончив с этим со всем, сидел, оторопелый великан, не зная, что с собой делать дальше.

Отец и сын невероятно долго молчали. Попытка Вильгельма произвести благоприятное впечатление на доктора Адлера начисто провалилась. Старик думал: и не скажешь, что он из хорошей семьи. Ну что за неряха мой сынок. Почему нельзя себя хоть чуточку приаккуратить? Как можно до такой степени опускаться? И совершенно же абстрактный какой-то вид.

Вильгельм сидел как гора. На самом деле отец был чересчур строг к его внешности. В нем была даже, можно сказать некоторая изысканность. Рот, пусть большой, был тонко очерчен. Лоб и нос с легкой горбинкой были благородны, белокурые волосы дымились сединой, но отливали и золотом, отливали каштаном. Когда Вильгельм служил в «Роджес», он держал квартирку в Роксбери, две комнатки в большом доме с терраской и садом, и по утрам, когда свободен, в такую вот погоду поздней весной растягивался, бывало, в плетеном кресле, и солнце лилось сквозь плетиво, солнце лилось сквозь дырочки, проеденные слизняками в молодом алтее, и сквозь высокую траву солнце подбиралось к цветам. Этого покоя (он забыл, что и тогда тоже были свои неприятности), — этого покоя нет уже. Да как будто и не с ним это было. Нью-Йорк, старик отец — вот она, его настоящая жизнь. Он отлично понимал: у него никаких шансов вызвать сочувствие отца, объявившего, что он его приберегает для истинных страданий. И сколько раз уже он зарекался лезть со своими делами к отцу, который хочет и, можно сказать, имеет право чтобы его не дергали. И знал же Вильгельм, что, когда заговоришь о таких вещах, становится только хуже, совсем деться некуда, окончательная безнадега. Говорил же он себе: отцепись, парень. Только тяжелей будет. Но вот откуда-то изглубока подмывало другое. Если все время не держать неприятности в голове, того гляди совсем их запустишь, а это, он по опыту знал, уже полная гибель. И еще — как ни старался, он не мог себя убедить, что отца оправдывает возраст. Нет. Нет и нет. Я его сын, думал он. Он мой отец. Я сын, он отец, старый — не старый. И утверждая это, хоть и в полном молчании, он сидел и, сидя, задерживал отца за столом.

— Уиаки, — сказал старик, — ты хоть уже спускался к купальням?

— Нет, папа, пока еще нет.

— А в «Глориане», знаешь ли, один из лучших бассейнов Нью-Йорка. Двадцать пять метров, синий кафель, Удивительно.

Вильгельм его видел. Когда идешь играть в джин, проходишь поворот к этому бассейну. Его не прельщал запах забранной кафелем хлорированной воды.

— Тебе б надо попробовать русские и турецкие бани, кварц и массаж. Насчет кварца я не большой поклонник. Но массаж — прекраснейшая вещь, и ничего нет лучше гидротерапии, если ею умело пользоваться. Простая вода обладает успокаивающим эффектом и принесла бы тебе куда больше пользы, чем все твои барбитураты и алкоголь.

Этот совет, рассудил Вильгельм, был максимумом того, на что он мог рассчитывать по части отцовской помощи и сочувствия.

— Я-то думал,— сказал он,— водное лечение — только для сумасшедших.

Доктор считал это типичным остроумием своего сына и отвечал с усмешкой:

— Ну, здорового человека оно сумасшедшим не сделает. Мне оно безмерно много дает. Я жить бы не мог без парилки и без массажа.

— Может, ты и прав. Надо как-нибудь попробовать. Вчера вечером у меня просто раскалывалась башка, надо было проветриться, и я прошелся вокруг водохранилища, сидел у спортивной площадки. Душа радуется, когда смотришь, как детишки прыгают через скакалку, в классики играют.

Доктор одобрил:

— Ну вот, то-то же.

— А сирень кончается,— сказал Вильгельм.— Как высохнет — значит, лето. По крайней мере в городе. В кондитерских открывают витрины, торгуют на тротуарах содовой. И хоть вроде я вырос тут, папа, а городская жизнь мне больше нелегко, по деревне скучаю. Здесь для меня чересчур много толкотни. Тяжело. Не пойму, чего бы тебе не перебраться куда потише.

Доктор расправил на столе свою маленькую пятерню таким давним, таким знакомым жестом, будто он в самом деле физически нащупывал жизненные центры Вильгельма.

— Я тоже вырос в городе, должен тебе напомнить,— объяснил доктор Адлер.— Но если тебе тут тяжело — надо отсюда выбираться.

— Я и выберусь,— сказал Вильгельм.— Вот только с делами улажу. А пока что...

Отец перебил:

— Пока что не мешало бы покончить с наркотиками.

— Ты преувеличиваешь, папа. Я же не то что... Это же просто некоторое облегчение... — Он чуть не брякнул «страданий», но вспомнил о своем решении не жаловаться. Доктор, однако, настаивал на своем совете — общепринятая ошибка. Это было все, что он мог дать сыну,— так чего же по второму разу не дать?

— Вода и моцион,— сказал доктор.

Ему нужен молодой, бодрый, процветающий сын, подумал Вильгельм, и он сказал:

— Ах, папа, спасибо тебе огромное за твой медицинский совет, но парилкой то, что меня мучит, не вылечишь.

Доктор сразу понял, что мог означать натянувшийся голос Вильгельма, вдруг опавшее лицо, вздыбившийся, хоть и укрошенный ремнем живот, и заметно отпрянул.

— Новые новости? — спросил недовольно.

Обширная преамбула, в которую пустился Вильгельм, потребовала усилий всего организма. Он тяжело вздохнул, замер не выдыхая, покраснел, побледнел, прослезился.

— Новые? — сказал он.

— Ты чересчур носишься со своими проблемами,— сказал доктор.— Не стоит на этом специализироваться. Сосредоточься-ка лучше на реальных несчастьях — неизлечимые болезни, несчастные случаи.

Весь вид его говорил: не лезь ко мне, Уилки, дай ты мне покой, я имею на это право.

Вильгельм и сам молился о сдержанности; знал за собой эту слабость, ее перебарывал. И вдобавок знал характер отца. И начал мягко:

— Ну, если говорить о неизбежном — все, кто пока не переступил роковую грань, по отношению к смерти находятся на одной и той же дистанции. Конечно, мои неприятности никакая не новость. Мне надо платить взнос по двум страховым полисам мальчиков. Маргарет прислала. Все на меня валит. Мать ей оставила кой-какое наследство. А она даже не захотела подать на совместную налоговую декларацию. Меня общипали. И тэ де и тэ пе. Ну да ты все это слышал.

— Безусловно,— сказал доктор.— И говорил тебе, чтоб прекратил ее пичкать деньгами.

Вильгельм складывал губы. примерялся, молчал. Нет, это было невыносимо.

— Ах, папа, но мои дети. Мои дети. Я же люблю их. Я хочу, чтоб они ни в чем не нуждались.

Доктор произнес благожелательно, будто не расслышав:

— Да, разумеется. Ну а получатель по этим полисам, естественно, она сама.

— Да бог с ней. Лучше я умру, чем брать хоть цент из таких денег.

— Ах, ну да.— Старик вздохнул. Он не любил упоминаний о смерти.

— Я тебе говорил, что твоя сестра Кэтрин-Филиппа снова на меня наслеза?

— По какому поводу?

— Хочет снять галерею для выставки.

Вильгельм справедливости ради выдал:

— Ну, это, правда, твое дело, папа.

Крутлоголовый, поросший белым пухом старик сказал:

— Нет, Уилки. Эти ее полотна — полная чушь. Я в них не верю. Новое платье короля. Может, конечно, мне и пора впадать в детство, но, по крайней мере, я давно уже вышел из детского возраста. Когда ей было четыре года, я, кажется, с радостью покупал ей карандаши. Но теперь она сорокалетняя женщина, и нечего потакать ее заблуждению. Хватит. Она не художница.

— Я не то что считаю ее истинным дарованием, нет,— сказал Вильгельм.— Но она пробует силы в достойном деле, это же не предосудительно.

— Вот пусть ее собственный муж и балует.

Он изо всех сил старался быть справедливым к сестре, искренне собирался щадить отца, но непроницаемая благожелательная глухота старика подействовала на него, как всегда. Он сказал:

— Когда речь идет о деньгах и о женщинах — я пас. Ну почему, скажи, Маргарет так себя ведет?

— Хочет доказать, что тебе от нее никуда не деться. Старается тебя вернуть силой финансового давления.

— Но если она меня гробит, папа, как это я, интересно, вернусь? Нет, у меня же есть чувство чести. Она хочет меня доконать, ты просто не видишь.

Отец удивленно смотрел на Вильгельма. Что, мол, за ерунда? А Вильгельм думал: вот дашь разок-другой маху — и воображаешь, что ты, наверно, болавая. Выдающийся такой болван. И даже этим гордишься. А гордиться-то нечем — а, парень? Нечем. К папе я не в претензии. И для гордости нет оснований.

— Я этого не понимаю. Но если у тебя такое впечатление, почему бы тебе с ней не разобраться раз и навсегда?

— О чем ты, папа? — удивился Вильгельм.— Я-то думал, я тебе объяснил. Думаешь, я сам не хочу разобраться? Четыре года назад, когда мы порвали, я оставил ей все — вещи, сбережения, мебель. Хотел по-хорошему — а что вышло? Пеналь, например, мой пес. Когда я его попросил, потому что мы жили с ним душа в душу — уж хватит с меня того, что пришлось расставаться с мальчиками! — она же наотрез отказала. У них обычно один глаз белый или белесый, это немного сбивает с толку, но они благороднейшие существа, и не дай бог предложить им не ту еду или не то им сказать. Оставь мне хотя бы общество этого животного! Нет, ни за что.

Вильгельм ужасно разволновался. Он промокал, утирал салфеткой лицо. Доктор Адлер считал, что сын чересчур преаается эмоциям.

— Как только может меня уесть — ни за что не пропустит случая. Ради этого и живет, наверно. И требует все больше, больше, больше. Два года назад захотела опять учиться, еще диплом получить. Это отягчило мою ношу, но я думаю — пусть, разумно, если в конце концов она таким образом получит лучшее место. А она по-прежнему с меня дерет. Потом доктором философии стать захочет. Говорит, женщины в ее роду долголетние — а я, значит, до гроба плати и плати.

Доктор уже нервничал:

— Ну, это не принципиально, это детали. И детали, которые вполне можно опустить. Пес! Ты все валишь в одну кучу. Пойди к хорошему адвокату.

— Но, папа, я же тебе говорил. Есть у меня адвокат и у нее есть, и оба платят мне счета, и я извожусь. Ах, папа, папа, в каком я тупике! — Вильгельм был в полном отчаянии.— Адвокаты — ты понимаешь? — вынесут решение, в понедельник она согласится, а во вторник опять требует денег. И все по новой.

— Я всегда находил, что она странная женщина,— сказал доктор Адлер. Он считал, что, с самого начала не симпатизируя Маргарет и не одобряя этого брака, он исполнял родительский долг.

— Странная? Сейчас я тебе покажу, папа, какая она странная.— Вильгельм обхватил свою толстую шею пальцами в бурых пятнах, с обгрызенными ногтями и стал себя душить.

— Что ты делаешь? — крикнул старик.

— Показываю тебе, что она со мной делает.

— Прекрати! Прекрати немедленно! — Старик властно стукнул кулачком по столу.

— Ах, папа, она меня ненавидит. Она душит меня. Я дышать не могу. Она задалась целью меня доконать. Доканывает на расстоянии. Скоро меня из-за нее удар хватит, или я умру от удушья. Я дышать не могу.

— Убери руки с горла, перестань idiotничать, — сказал ему отец. — Прекрати свою декламацию. Меня этими твоими фокусами не проймешь.

— Что ж, называй как хочешь. Пожалуйста. — Лицо у Вильгельма вспыхнуло, побелело, раздулось, он дышал с присвистом. — Но я тебе говорю: с тех пор как я ее встретил, я раб. Декларация независимости — только для цветных. Муж вроде меня — раб в железном ошейнике. Духовенство отправляется в Олбани, пересматривает закон. Они против развода. Суд заявляет: «Свободы захотел? Так работай вдвое больше, по крайней мере вдвое! Работай, дундук». И мужики горло друг другу перегрызут из-за денег, и кто-то, может, и освободился бы от жены, которая его ненавидит, так нет же — он запродан компании со всеми потрохами. Компания знает, что жалованье ему позарез, ну и жмет. Не говори ты мне про свободу. Богач может быть свободным — с чистым миллионом дохода. Бедняк может быть свободным, потому что на его дела всем плевать. А человек в моем положении должен ишачить, пока не свалится замертво.

На это отец ответил:

— Уилки, ты сам во всем виноват. Нельзя доводить до такого.

Он прервал поток красноречия Вильгельма, и тот осекся, не знал, что дальше сказать. Ошарашенно, задыхаясь, морща лоб, смотрел на отца.

— Я не понимаю твоих проблем, — сказал старик. — Я с таким никогда не сталкивался.

И тут Вильгельм сорвался, он махал руками, его понесло.

— Ах, папа, а вот этого не надо, лучше не надо, папа, не говори ты мне, пожалуйста, таких вещей.

— Ну, положим, — сказал ему отец. — У меня и жизнь была совершенно другая. У нас с твоей матерью были совершенно другие отношения.

— Ах, как ты можешь сравнивать маму, — сказал Вильгельм. — Мама тебе была поддержкой. Неужели она бы стала тебя изводить?

— Оставь этот оперный стиль, Уилки, — сказал доктор. — Это всего лишь твоя точка зрения.

— Что? Но это же правда.

Старик не хотел слушать, он тряс круглой головой, одергивал жилет на своей неотразимой рубашке и так элегантно откидывался, что тот, кто не слышал, мог все это принять за обыкновенный разговор немолодого уже человека с почтенным родителем. Вильгельм, громоздясь, ковылялся неряшливой тушей, серые глаза налились кровью, и, кудлато огневая, вздыбились медовые волосы. Неправедливость бесила его, унижала. Но он хотел договориться с собственным отцом и он допробовал капитулировать. Он сказал:

— Ты не сравнивай маму с Маргарет и меня с собой ты не сравнивай, потому что ты, папа, имел в жизни успех. Успех есть успех. А я неудачник.

Старое лицо доктора вдруг утратило благоприличие, стало злым, жестким. Грудка ходуном заходила под красной и черной полоской. Он сказал:

— Да. И все своим горбом. Я не болтался, не ленился. Мой отец мануфактурой торговал в Вильямсберге. Мы были никто — соображаешь ты это? Я знал, что не имею права упускать свои возможности.

— Ни на секунду не могу согласиться, что я ленился, — сказал Вильгельм. — Если что, так уж скорей не в меру усердствовал. Согласен, я совершил много ошибок. Например, считал, что мне не следует делать все, как ты. Химию изучать. Как ты. Не пошел по семейной стезе.

Отец продолжал:

— Я не бегал за сотней юбок. Я не был голливудской звездой. У меня не было времени отдыхать на Кубе. Я сидел дома и воспитывал своих детей.

Ох, думал Вильгельм, закатив глаза. И чего я, во-первых, сюда приперся, жить у него под боком? Нью-Йорк — как бензин. Смывает все краски. У меня голова совершенно дурная. Сам не соображаю, что делаю. Он думает, я хочу отнять его деньги или я ему завидую. Не понимает он, чего я хочу.



— Папа,— вслух сказал Вильгельм,— ты очень несправедлив. Кино действительно было ошибкой. Но я люблю своих мальчиков. Я их не бросаю. Я оставил Маргарет потому, что иначе не мог.

— Почему ты не мог?

— Ну...— сказал Вильгельм, мучительно сияясь втиснуть все свои резоны в несколько доходчивых слов.— Я не мог — не мог.

Вдруг, удивив его грубостью, отец спросил:

— У тебя с ней что — в постели не ладится? Тогда надо было перетерпеть. Со всеми случается. Нормальный человек с этим мирится. И все налаживается. А ты, видишь ли, не захотел. вот и расплачивайся теперь за свой идиотский романтизм. Ясно я излагаю свой взгляд на вещи?

Куда уж ясней. Будто эхо со всех сторон повторяло этот взгляд на вещи Вильгельму, а он только головею наклоняло туда-сюда, вслушивался, думал. Наконец он сказал:

— Это, видимо, медицинская точка зрения. Может, ты и прав. Я просто не мог жить с Маргарет. Хотел перетерпеть, но уж очень было немоготу. Она так устроена, я иначе. Она не желала приспособливаться ко мне, значит, надо было мне приспособиться, а я не смог.

— Ты уверен, что это не она тебе предложила уйти? — спросил доктор.

— Ах если бы. Мое положение было бы лучше. Нет, я сам. Я не хотел уходить, но просто не мог остаться. Кто-то должен был взять на себя инициативу. Я и взял. Вот теперь расхлебываю.

Заранее отменяя все возражения сына, доктор сказал:

— А почему тебя выгнали из «Роджекс»?

— Меня не выгоняли, я же тебе рассказывал.

— Врешь. Ты сам не лорвал бы с ними. Тебе позарез нужны были деньги. Наверно, попал в историю.— Старик говорил с большим выражением и нажимом.— Раз ты не можешь оставить эту тему и все время про это говоришь — скажи правду. Был какой-то скандал? Женщина?

Вильгельм яростно оборонялся.

— Нет же, папа, никакая не женщина. Я тебе все рассказывал.

— Ну так, может, мужчина? — скривился старик.

Вильгельм, шокированный, смотрел на отца. Его охлестнула бледность, пересохла губы. Он даже пожелтел слегка.

— Ты, кажется, сам не знаешь, что говоришь,— ответил он, помолчав.— Зря ты даешь такую волю воображению. Живешь на Бродвее и думаешь, что понимаешь современную жизнь. Мог бы хоть чуть получше знать собственного сына. Ладно, не будем.

— Ну, положим, Уилки. Я не настаиваю. Но что-то тем не менее у тебя в Роксбери произошло. Ты туда не вернешься. Мелешь что-то насчет конкурирующей компании. Чувь. Чем-то ты подмочил свою репутацию. Но кой-какие девушки ждуть не ждутся, когда ты вернешься к ним, разве нет?

— Бывали у меня женщины во время разъездов. Я не монах.

— Не то что одна какая-нибудь? Ты уверен, что не запутался?

Душу облегчить хотел, думал Вильгельм, вот и подвергаюсь допросу с пристрастием. только чтоб доказать, что я заслуживаю доброго слова. Отец явно считал его способным на любую гадость.

— Есть в Роксбери одна женщина, с которой я сблизился. Мы полюбили друг друга и решили пожениться, но ей надоело ждать, пока я разведусь. Маргарет правильно вычислила. В довершение всего эта девушка католичка, и мне надо было идти объясняться к священнику.

Даже такое признание не тронуло доктора Адлера, не нарушило его старческого равновесия, не изменило его цвет лица.

— Нет, нет, нет, все не то,— сказал он.

Снова Вильгельм взял себя в руки. Вспомнил про его возраст. Он уже не тот человек. Он оберегает себя от волнений. А меня как пыльным мешком стукнули, я уже не могу судить справедливо. Может, все утрясется когда-нибудь, я выкарабкаюсь, буду снова спокойно сообщать. Нет куда там. Беды подтачивают организм.

— Ты действительно хочешь развода? — спросил отец.

— За ту цену, которую я плачу, не мешало б хоть что-то иметь.

— В таком случае,— сказал доктор Адлер,— мне кажется, ни один нормальный человек не позволил бы женщине так с собой обращаться.

— Ах, папа, папа! — сказал Вильгельм. — Вечно с тобой одно и то же. Ну посмотри, до чего ты меня доводишь. Сначала всегда собираешься мне помочь, разобраться с моими делами, посочувствовать и так далее. Я начинаю таять, развешиваю уши. А не успеем поговорить — я еще в сто раз больше расстраиваюсь. Почему это? Да в тебе нет сочувствия. Ты всю вину хочешь свалить на меня. Ты знаешь, наверно, что делаешь. — Вильгельм уже зашелся. — Ты только и думаешь о своей смерти. Ну прости. Но ведь я-то тоже умру. Я твой сын. И я в этом, во-первых, не виноват. И можно вести себя достойно и не цепляться друг к другу. Но вот что хотелось бы уяснить — зачем тебе со мной начинаться, если помогать ты не собираешься? Зачем вникать в мои заботы, а, папа? Чтобы всю ответственность сложить на меня? Для очистки совести? А я, по-твоему, должен сидеть и тебя утешать, что у тебя такой сын? Да? — Злой узел завязался в груди у Вильгельма и жал, и вскипали слезы, но он удерживал их. И так уж кошмарное зрелище. Голос у него сел, он заикался, он давился своими ужасными чувствами.

— Ты, очевидно, задался какой-то целью и нарочно ведешь себя так невозможно, — сказал доктор. — Чего ты от меня хочешь? Чего ты ждешь?

— Чего жду? — переспросил Вильгельм. Он растерялся. Самообладание уходило, как мяч, захлестнутый буруном, — не удержать. — Я помощи жду!

Слова вырвались громким утробным воплем, испугали старика, и уже озирались завтракавшие за соседними столиками. Лицо у Вильгельма раздулось, грива цвета седого битого меда вздыбилась, он сказал:

— Я страдаю, а тебе даже не жалко. Просто ты не любишь меня, ты плохо ко мне относишься.

— А почему я обязан одобрять твое поведение? Да, мне оно не нравится, — сказал доктор Адлер.

— Ну хорошо. Ты хочешь, чтоб я переменялся. Допустим, я переменяюсь — что из меня выйдет? Что может выйти? Допустим, всю свою жизнь я ошибался на свой счет, неверно себя оценивал. И даже не обезопасил себя на случай чего в отличие от большинства, вроде того как сурок роет несколько ходов в норке. Но теперь-то что мне прикажешь делать? Больше полжизни прожито. Больше полжизни. А ты мне говоришь, что я вообще ненормальный.

Старик тоже потерял равновесие.

— Вот ты решишь, чтоб тебе помогали. Когда ты вполбил себе в башку, что должен идти в армию, я каждый месяц посылал Маргарет чек Ты семейный человек, тебя бы освободили. Нет, как же. Без тебя бы не обошлись на войне, ты призвался — ну и что? Бегал по тихоокеанскому фронту рассыльным. Любой приказчик делал бы это не хуже тебя. Ничего поинтереснее не придумал как солдатом заделаться.

Вильгельм собирался ответить, уже приподнялся со стула медвежьей тушей, уже надавил растопыренными пятернями на стол так, что пальцы побелели, но старик не дал говорить. Он сказал:

— Я вот вижу, тут другие пожилые люди поддерживают своих никчемных детей, тянут их без конца ценой невероятных жертв. Я этой ошибки не сделаю. Тебе не приходит в голову, что, когда я умру — через год, через два, — ты еще будешь здесь. Ну а я думаю об этом.

Он хотел сказать, что имеет право на то, чтоб его оставили в покое. А прозвучало это так, что несправедливо, когда лучший из двоих, более ценный и уважаемый, должен раньше покинуть сей мир. Может, он и это имел в виду — в общем-то; но при других обстоятельствах не стал бы этого так явно выказывать.

— Папа... — Вильгельм просто вдруг наизнанку вывернулся. — Папа, думаешь, я не понимаю твоих чувств? Мне тебя жалко. Я хочу, чтоб ты жил долго-долго. Я бы рад был, чтоб ты меня пережил.

На это признание отец ничего не ответил, отвел глаза, и тут Вильгельма прорвало.

— Но ты же меня ненавидишь. А если б у меня были деньги, ничего бы такого не было. Господи, не спорь уж ты лучше. Все дело в деньгах. И жили бы дружно — сынок и папаша, и ты бы мною гордился, хвастался бы мною на всю гостиницу. Но я не тот сын. Я для тебя слишком старый, старый и невезучий.

Отец сказал ему на это:

— Я не могу тебе дать денег. Только начать — и конпа не будет. Вы с твоей сестрицей выпотрошите из меня все до последнего. Я жив пока, я пока не умер. Я пока здесь. Жизнь не кончилась. Я жив точно так же, как ты или кто-то еще. И я никому

не позволю сидеть у меня на шее. Basta! И тебе, Уишки, хочу дать тот же совет. Никого не сажай на шею.

— Главное, береги свои деньги,— сказал в отчаянии Вильгельм.— Соли их и наслаждайся. Самое милое дело.

## 4

Дубина! осел! боров! ничтожество! гипопотам несчастный! — ругал себя Вильгельм, на ватных ногах уходя из столовой. Эта его гордость! Заносчивость! И ведь унижаася, кланячил! Вступил в перепапку со своим старым отцом — и еще больше все усложнил. Ах, как недостойно, как мелко, как смехотворно он себя вел! И эта громкая фраза: «Мог бы получше знать собственного сына» — уф, до чего пошло и отвратительно.

Он уходил из спящей столовой недостаточно быстро. Совершенно не было сил. Шея, плечи, вся грудная клетка болели, будто его скрутили веревками. В ноздрях был запах соленых слез.

И в то же время, поскольку было в Вильгельме глубинное, тайное, о котором он, кстати, догадывался, где-то на задворках сознания маячило, что дело своей жизни, настоящее дело жизни — нести этот груз, чувствовать стыд, и беспомощность, и запах непролитых слез,— единственно важное, главное дело он как раз сейчас выполнял. Наверно, так ему на роду написано, и никуда тут не деться. Наверно, в этом его суть и предназначение. Наверно, так именно надо, чтоб он вечно делал ошибки и глупости и мучился из-за них на белом свете. И хоть вот он ставил себя выше отца и мистера Перлса, потому что они обожают деньги, но они-то созданы для энергичных действий, а это лучше, чем хныкать и киснуть, канючить и жаловаться и вслепую наткаться на пращи и стрелы яростной судьбы, и стояло ли ополчаться на море смут, и умереть, уснуть — это несчастье было бы или избавление?

Но тут опять его взяла досада на отца. Другие люди с деньгами хотят, пока живы, употребить их на что-то хорошее. Допустим, он не должен меня содержать. Но я разве об этом просил когда-нибудь? Хоть когда-нибудь вообще я просил у него денег — для Маргарет, для мальчиков, для себя? Тут не деньги, тут речь о внимании, и даже не о внимании — о чувстве. А он пытается мне доказать, что взрослому человеку пора излечиться от чувств. Из-за чувств я и сел в лужу с «Роджекс». У меня было такое чувство, что я для них свой, и мои чувства были оскорблены, когда они поставили надо мной этого Гербера. Папа меня считает чересчур наивным. Не такой уж я наивный, как он думает. Да, а как насчет его собственных чувств? Он ни на секунду не забывает о смерти — вот откуда у него это все. И он не только сам вечно думает о смерти, но из-за этих своих денег и меня заставляет думать. Вот чем он меня давит. Сам же заставляет, а потом обижается. Был бы он бедный, я бы о нем заботился, он бы увидел. И уж как бы я заботился, мне же только дай волю. Он увидел бы, сколько во мне любви и почтительности. И он бы сам стал совсем другим человеком. Он бы меня обнял и благословил.

Кто-то в серой соломенной шляпе с широкой, шоколадного цвета лентой заговорил с Вильгельмом. В холле было сумрачно. Ковер пыл красным пятном, зелеными — мебель, желтыми — рассеянный свет.

— Эй, Томми! Постоите-ка.

— Извините,— сказал Вильгельм и двинулся к телефону.

Но оказалось — это Тамкин, которому он как раз и собрался звонить.

— Вид у вас обалделый,— сказал доктор Тамкин.

Вильгельм подумал: в своем репертуаре. Если б я только мог его раскусить.

— Да ну? — сказал он Тамкину.— В самом деле? Что ж, раз вы так считаете, значит, так оно и есть.

Появление Тамкина ставило на ссоре с отцом точку. Вильгельма уже несло по другому руслу.

— Что же будем делать? — сказал он.— Что будет сегодня с лярдом?

— Не берите в голову. Попридержим его — и он обязательно поднимется. Но чего это вы так разъярились, Вильгельм?

— Да так, семейные дела.

Тут бы ему и уточнить свое представление о Тамкине, и он пристально вглядывался в него, но опять от его стараний толку не было никакого. Очень вероятно, что Тамкин — именно то, за что себя выдает, а сылетни все — ерунда. Ученый он или

нет? Если нет, скажем, то такими вещами юридическая контора должна заниматься. Врун он или нет? Вопрос деликатный. И на вруна ведь тоже можно в чем-то иногда положиться. Да, но имел ли он право положиться на Тамкина?

Он лихорадочно, безрезультатно искал ответа.

Но спрашивать раньше надо было, теперь оставалось только верить. Он долго маялся в поисках решения и в результате отдал ему деньги. Здравый смысл был уже ни при чем. Вильгельм совершенно извелся, и решение было, конечно, никакое не решение. Как же так? Ну а как началась его голливудская карьера? Разве дело в Венеце, который сводником оказался? Дело в самом Вильгельме, который был готов сделать глупость. И с женитьбой в точности то же. Из-за таких вот решений и складывалась у него жизнь. Так что, учуяв вокруг доктора Тамкина веяние рока, он уже не мог не отдать ему деньги.

Пять дней назад Тамкин сказал: «Встречаемся завтра, идем на биржу». И Вильгельму просто пришлось пойти. В одиннадцать они отправились в маклерскую контору. По дороге Тамкин сделал сообщение Вильгельму, что хоть они и компаньоны на равных, он как раз в данный момент не может выложить свою половину суммы, деньги заморожены в одном из его патентов. Сегодня у него не хватает двухсот долларов, на той неделе он их возместит. Но они же оба не нуждаются в этом доходе от биржи. Это ведь так, спортивный интерес, сказал Тамкин. Вильгельму пришлось ответить: «Конечно». Отступать было поздно. Что ему оставалось делать? А потом были эти формальности, и они пугали. Сам зеленый оттенок тамкинского чека выглядел подозрительно. Лживый, обескураживающий цвет. Почерк неслыханный, просто чудовищный: «а» похожи на «и», «д» неотличимы от «б», «о» невозможно пузатые, — почерк первоклашки. Правда, ученые в основном оперируют формулами; на машинке печатают. Так это себе объяснил Вильгельм.

Доктор Тамкин выдал ему свой чек на триста долларов. Вильгельм, содрогаясь, в помрачении ума, с нажимом, с нажимом, стараясь унять дрожь в руке, выписывал свой чек на тысячу. Он стиснул зубы, тяжело навалился на стол и водил оробелыми, не слушающимися пальцами, зная, что если тамкинский чек будет возвращен, то и его чек не будет акцептован. Соображения у него хватало единственно поставить дату днем позже, чтоб было время на клиринг зеленого чека.

Затем он подписал доверенность на имя Тамкина, дающую тому возможность распорядиться его деньгами, и это был документ еще пострашней. Раньше Тамкин ни словом ни о чем таком не обмолвился, и вот — оказалось, так надо.

Уже подписав то и другое, Вильгельм принял меру предосторожности: вернулся к менеджеру в контору и конфиденциально спросил:

— Э-э, я насчет доктора Тамкина. Мы тут только что были, помните?

День был дымно-дождливый. Вильгельм удизнул от Тамкина под предлогом, что ему надо на почту. Тамкин отправился завтракать в одиночестве, а Вильгельм, захавшийся, в мокрой шляпе, задавал менеджеру свой нелепый вопрос.

— Да, сэр, я знаю, — сказал менеджер. Сухой, вежливый, худощавый немец, он был исключительно корректно одет, и на шее у него болтался бинокль, чтоб смотреть на табло. Он был во всем чрезвычайно корректен, только вот никогда не брился по утрам, видно, плевал на то, что подумают о нем раззявы, старичье, игроки, маклеры и бродвейские зеваки. Биржа закрывалась в три. Может, думал Вильгельм, у него густая щетина, и вечером он водит даму ужинать и хочет выглядеть свежевыбритым.

— Всего один вопрос, — сказал Вильгельм. — Я только что подписал доверенность, по которой доктор Тамкин может действовать от моего имени. Вы еще мне выдали бланки.

— Да, сэр, я помню.

— И вот я хотел бы узнать, — сказал Вильгельм. — Я не юрист и я только так, бегло взглянул на бумагу. Что, эта доверенность дает доктору Тамкину права на другое мое достояние — деньги, имущество?

Дождь капал с покоробленного прозрачного плаща Вильгельма Пуговицы рубашки, всегда выглядевшие крошечными, кой-где пообломались до перламутровых полумесяцев, и там повылезли темные, золотистые, кустившиеся на животе волоски. Менеджеру — тому по штату было положено не выдавать своих впечатлений. Он был четок, мрачен, корректен (хотя небрит) и разговаривал только по делу. Возможно, он угадал, что Вильгельм из тех, кто долго раздумывает, а потом принимает решение, которое двадцать раз отвергал. Серебрящийся, хладнокровный, четкий, длиннолицый,

длинноносый, сосредоточенный, выдержанный, незыблемый в своей небритой лощености, он едва глянул на Вильгельма, кошмарно дрожавшего из-за этой неловкой ситуации. Лицо менеджера, бледное, носатое, работало как единый воспринимающий агрегат; на долю глаз выпадало немного. Этот вроде Рубина — тоже все-все-все знал. Он, иностранец, все знал. Вильгельм в своем родном городе был как в потемках.

Менеджер сказал:

— Нет, сэр, не дает.

— Только на вклад, который я сделал у вас?

— Да, совершенно верно, сэр.

— Спасибо, я только это хотел уточнить, — сказал благодарный Вильгельм.

Ответ его успокоил. Хотя вопрос не имел смысла. Абсолютно ни малейшего. Потому что другого достоинства не было у Вильгельма. Он доверил Тамкину свои последние деньги. Их все равно не хватило бы на все его долги, и Вильгельму рассчитал, что через месяц он бы так и так оказался банкротом. «Разорюсь либо разбогатею», — решил он, и эта формула его подхлестнула. Ну, насчет «разбогатею» это он хватил, но, может, Тамкин и вправду научит его кое-что заработать на бирже. чтоб выкрутиться. Теперь он как-то забыл про свои эти выкладки и понимал только одно — что навеки простился со своими семистами долларами до последнего цента.

Доктор Тамкин подавал дело так, что вот два джентльмена ставят эксперимент с лядром и зерном. Деньги, какая-то там сотня-другая, для обоих не имеют значения. Он сказал Вильгельму: «Учтите, это будет роскошная встряска, и вы будете диву даваться, почему бы и другим не попробовать. Думаете, они там, на Уолл-стрит, такие умные, гении прямо? Да просто большинство из нас психологически не готово вникать в детали. Вот скажите. Вы, предположим, в дороге, и вы не в курсе, что у вас творится под капотом машины, и вам небезразлично, надеюсь, что будет, если откажет мотор. Или я неверно говорю?» Нет, почему же, все было верно «То-то, — сказал Тамкин со спокойной победоносностью на лице, смахивающей даже несколько на глумливую ухмылку. — Это тот же психологический принцип, Вильгельм. Они богатеют за счет того, что вы не понимаете, что творится. Но тайны тут нет никакой: вкладываешь чуточку денег, усваиваешь кой-какие приемчики наблюдения — и все идет как по маслу. Абстрактный подход тут ничего не дает. Надо на пробу рискнуть, чтоб на себе испытать весь этот процесс когда деньги текут в карман, весь этот комплекс. Окунуться, так сказать, в гущу событий. И мы глазом не успеем моргнуть, как получим стопроцентную прибыль». Так что Вильгельму для начала пришлось притворяться, будто биржа его интересует чисто теоретически.

— Так-так, — говорил теперь Тамкин, встретившись с ним в холле. — Какие такие проблемы, семейные дела? А ну выкладывайте.

Он изображал рьяного психоаналитика. Вильгельм в таких случаях всегда терялся. Что бы он ни сказал, что бы ни сделал, доктор Тамкин, кажется, видел его насквозь.

— Да так, с папой поссорился.

Доктор Тамкин не находил в этом ничего особенного.

— Вечная история, — сказал он. — Естественный конфликт отцов и детей. Этому конца не будет. Даже с таким благороднейшим стариканом, как ваш родитель.

— Да, конечно. Я ничего абсолютно не могу ему втолковать. Он отказывается понять меня. Во всем подозревает корысть и низость. Я его огорчаю, он сердится. Может, все старики такие.

— Ну и сыновья тоже. Сужу по вашему покорному слуге лично, — сказал доктор Тамкин. — Все равно вы можете гордиться таким благородным патриархом отцом. Могу вас обнадежить. Чем дольше он проживет, тем больше у вас шансов на долголетие.

Вильгельм сказал грустно, задумчиво:

— Да-да. Но я, по-моему, скорей в маму пошел, а она не дожила до шестидесяти.

— Тут, кстати, возникли трения между одним молодым человеком, которого я лечу, и его отцом. Я только что давал консультацию. — И Тамкин снял свою темно-серую шляпу.

— В такую рань? — спросил Вильгельм подозрительно.

— По телефону, естественно.

Боже ты мой, ну на кого Тамкин стал похож, когда снял шляпу! Рассеянный свет высветил все подробности голого черепа, плутоватого носа, довольно красивые брови, фатоватые усики, темные глаза обманщика. Он был приземистый, кряжистый, корот-

кошей, так что круглый затылок лежал на воротничке. Суставы у него имели довольно странный вид, будто выгнуты дважды там, где положено быть одному изгибу, плечи торчали двумя островерхими пагодами. В поясе он расплылся. Стоял носками внутрь, кажется, признак неискренности, а может, ему много чего приходилось скрывать. Кожа на руках была дряблая, ногти без лунок, сплюснутые, как клешни, и производили впечатление накладных. Глаза темные, как бобровый мех, исчерчены странными блесточками. Два больших темных шара казались задумчивыми — но не зря ли казались? И честными — но был ли честен доктор Тамкин? Гипнотическая сила была в этих глазах, но не всегда в равной мере, и Вильгельм сомневался, что она им дана от природы. Видимо, доктор Тамкин специально развивал силу своего взгляда и выявил его гипнотический эффект путем упражнений. Иногда этот эффект слабел, подводил Тамкина, и тогда суть лица перемещалась вниз, на толстую (вот не дурацкую ли?) красную нижнюю губу.

Вильгельму хотелось поговорить насчет лярда, но Тамкин сказал:

— Этот мой случай — взаимоотношений отца с сыном — будет для вас небезынтересен. Тут совершенно не тот психологический принцип, что с вашим родителем. Отец этого малого считает, что сын не от него.

— И почему же?

— А потому что он кое-что выяснил, в смысле что мать путалась с другом дома в течение двадцати пяти лет.

— Вот это да! — сказал Вильгельм. А про себя подумал: вранье, сплошное вранье.

— Кстати, учтите, какая удивительная особа эта жена. Иметь двух мужей! От кого дети? Он ее прижал к стенке, и она подписала показания, что двое из четырех не от отца.

— Потрясающе, — сказал Вильгельм, но сказал как-то рассеянно.

Он привык к этим рассказам доктора Тамкина. Послушать Тамкина — все на свете одним миром мазаны. В отеле кого ни копни — у всех расстройства психики, какие-то загадочные истории, тайные болезни. Жена Рубина из газетного киоска — на содержании у Карла скандального, шумливого игрока в джин-рамми. Жена Фрэнка из парикмахерской сбежала с солдатом, пока муж встречал ее с рейсом из Франции. Все, как карты, вверх тормашками перевернуты, перетасованы. Для каждого социального типа характерен свой специфический невроз. Самые бешеные — бизнесмены, бездушные, горластые, нахрапистые, забравшие всю власть в этой стране, с этой их грубой хваткой, наглой ложью, беспардонным трепом, в который никто не верит. Эти самые сумасшедшие. Вся зараза от них. Вильгельм, вспомнив про «Роджекс», был готов согласиться, что многие бизнесмены ненормальные люди. Он счел, что Тамкин при всех своих странностях говорит иногда, в общем, правду и приносит кой-кому, в общем, пользу. Слова о существовании заразы подтверждали худшие опасения Вильгельма, и он сказал:

— И не говорите. Все готовы продать, все готовы украсть, циничны до мозга костей.

— Но поймите в виду, — продолжал Тамкин свой рассказ про пациента, или клиента, — показания матери недействительны. Это показания, данные под нажимом. Я все вдальбавлю парню, что надо плюнуть на липовые показания. Да логикой его разве проймешь.

— Нет? — сказал Вильгельм, уже сильно нервничая. — По-моему, нам пора на биржу. Уже скоро откроют.

— А ну вас, кончайте, — сказал Тамкин. — Еще девяти нет, да и вообще весь первый час сплошная бодяга. В Чикаго они только к пол-одиннадцатому раскоцегариваются, и они, учтите, на час от нас отстают. И я же сказал — лярд поднимется, значит, поднимется. Можете не беспокоиться. Я специально изучал цикл вина — агрессия, в нем подоплека всех этих дел, немножечко разбираюсь в вопросе, уж будьте уверены. Воротник поправьте.

— И все же, — сказал Вильгельм, — мы на той неделе понесли убытки. Вы уверены, что ваша интуиция сейчас хорошо работает? Может, лучше пока отложить. обождаю?

— Ну как вы не можете усвоить, — сказал ему Тамкин. — что никто не приходит к победе по прямой? Вас качает, вы приближаетесь к ней волнообразно. От Евклида до Ньютона были прямые. Современность анализирует колебания. Я — сам, лично — на той неделе погорел на кожах и кофе. Но разве же я теряю уверенность? Я их обстав-

лю, куда они денутся.— И он одарил Вильгельма беглой улыбкой — дружеской, утешной, хитрой, шаманской, снисходительной, таинственной и победной. Он видел его страхи насквозь и все их отматывал.— Уметь разобраться, как дух конкуренции по-разному проявляется у разных индивидуумов,— заметил он,— это тоже кое-что.

— Да? Ну ладно, пойдёмте.

— Но я еще не завтракал.

— Я завтракал.

— Пойдем, вы выпьете чашечку кофе.

— Я не хотел бы встретиться с отцом.

Вильгельм глянул через стеклянную дверь и убедился, что отец ушел другим ходом. Вильгельм подумал: он тоже не хотел на меня наткнуться. Тамкину он сказал:

— Ладно. Я с вами посижу, только вы поскорее, я хочу попасть на биржу, пока еще можно сесть. Каждый кому не лень норовит плюхнуться у тебя перед носом.

— Да, так я вам хочу рассказать про этого малого и его отца. Безумно волнительно. Отец был нудист. В доме ходили голышом. Может, жене больше нравились одетые мужчины? Он и на стрижку не налегал. Дантист. В кабинете ходил в штанах и сапогах для верховой езды и еще надевал козырек.

— А-а, да будет вам,— сказал Вильгельм.

— Подлинный медицинский случай.

И тут ни с того ни с сего Вильгельм расхохотался. Он сам не предчувствовал такой перемены настроения. Лицо стало милым, привлекательным, он забыл про отца, про свои тревоги. Пыхтел, как медведь, счастливо, не разжимая зубов.

— Он, по-видимому, лошадиный дантист? Мог бы и не надевать этих своих штанов, чтоб лошадку попользовать. Ну, что еще расскажете? Жена играла на мандолине? Сын записался в кавалерию? Ну, Тамкин, вы и даёте!

— Ах, вы думаете, я вас решил поразвлечь,— сказал Тамкин.— Все потому, что вы незнакомы с моим методом. Я оперирую фактами. Факты всегда поразительны.

Вильгельму не хотелось расставаться со своим веселым настроением. У доктора с чувством юмора было слабовато. Он серьезно смотрел на Вильгельма.

— Спорим на любые деньги,— сказал Тамкин.— Вас копнуть — тоже факты будут ого-го.

— Ха-ха-ха! Выдать вам их? Сразу сможете запродать в психоаналитический журналчик.

— Люди упускают из виду, какие они делают поразительные вещи. Не замечают за собой. Все тонет в повседневности.

Вильгельм улыбался.

— Вы уверены, что тот молодой человек говорит правду?

— Безусловно. Я знаю всю семью много лет.

— И вы занимаетесь психоанализом с собственными знакомыми? Вот не знал, что это допускается.

— Ну, я убежденный радикал. Стараюсь делать добро где только могу.

Лицо у Вильгельма снова стало скучное, бледное. Волосы золотистой лудой давили голову, он мучительно тискал на скатерти руки. Поразительно, но, как ни странно, довольно-таки плоско. Ну как прикажете это понять? Тонет в повседневности. Забавно, но не слишком. Достоверно, но лживо. Непринужденно, но вымучено было все в Тамкине. Особенно настораживало Вильгельма, когда тот переходил на сухой, деловитый тон.

— Со мной так,— говорил доктор Тамкин.— Лучше всего мне работается без гонорара. Когда я просто люблю. Без денежного вознаграждения. Отключаюсь от всех социальных факторов. От денег в первую очередь. Духовная компенсация — вот моя цель. Вводить людей в настоящее — в «здесь и сейчас». В подлинную реальность. В текущий момент. Прошлое — побоку. Будущее пугает. Существует одно настоящее. Здесь и сейчас. Лови момент.

— Ясно,— сказал Вильгельм, опять посерьезнев.— Конечно, вы человек необыкновенный. Насчет «здесь и сейчас» — это вы хорошо говорите. Так, значит, все, кто к вам приходит, личные ваши друзья, они же и пациенты? Та высокая миленькая девица, например, которая всегда в таких красивых юбках дудочкой?

— Страдала эпилепсией. Кстати, очень серьезный, тяжелый случай. Я успешно ее лечу. Уже полгода обходится без припадков, а раньше каждую неделю повторялись.

— А тот юный киношник, который нам показывал фильм про джунгли в Бразилии,— он ей не родственник?

— Брат. Я его тоже наблюдаю. Имел кошмарные наклонности, что естественно при сестре-эпилептичке. Я вошел в их жизнь, когда они невероятно нуждались в поддержке, и горячо взялся им помочь. Один тип, на сорок лет же старше, помылка его и нарочно доводил до припадка каждый раз, когда она пыталась уйти. Знали бы вы хоть на один процент, что творится в городе Нью-Йорке! Видите ли, я ж понимаю, что это такое, когда одинокий человек чувствует себя затравленным зверем. Когда ночью хочется по-волчьи выть на луну. Я постоянно лечу этого молодого человека и его сестру. Я должен снимать у него возбуждение, не то он завтра же из Бразилии метнется в Австралию. Я поддерживаю в нем чувство реальности тем, что занимаюсь с ним греческим.

Вот уж полнейшая неожиданность!

— Как, вы знаете греческий?

— Один приятель меня выучил, когда я жил в Каире. Я с ним читал Аристотеля, чтоб зря не терять время.

Вильгельм пытался осмыслить эти новые сообщения. Выть ночью по-волчьи, положим, понятно. Тут ничего не скажешь. Но греческий! Он сообразил, что за его реакцией следят. Все время подбрасывалось что-то новое. На днях Тамкин намекнул, что был связан с преступным миром, с шайкой Фиолетовых в Детройте, в свое время руководил психиатрической клиникой в Толедо. Разрабатывал с одним польским изобретателем модель непотопляемого судна. Был техническим консультантом на телевидении. В жизни гения все эти вещи могли быть. Но были ли они в жизни Тамкина? Гений ли он? Он часто рассказывал, что пользовал в качестве психиатра одно египетское королевское семейство. «Все одним миром мазаны, что простые, что аристократы,— говорил он Вильгельму.— Аристократы жизнь хуже знают».

Египетская принцесса — он лечил ее в Калифорнии от страшного расстройства, которое он описал Вильгельму,— взяла его с собою на родину, и там он пользовал многих ее родственников и знакомых. Ему предоставили виллу на берегу Нила. «Из этических соображений я вам не стану описывать кой-какие детали»; но Вильгельму уже известны были детали, странные и пугающие, если все это правда. Если правда. Он не мог побороть сомнения. Например, относительно генерала, который вставал перед зеркалом голый, в одних шелковых женских чулках, и прочее. Вильгельм пытался синхронно переводить протокольные отчеты доктора на свой собственный язык, но не выдерживал темпа и слов у него не хватало.

— Эти шипки египетские тоже играют на бирже, так их разедак! Им-то куда деньги девать? Я тоже за компанию чуть не заделался миллионером, мне бы действовать с головой, и неизвестно, как бы все еще закрутилось. Послом чуть не стал. (Интересно — американским послом? египетским?) Один мой друг дал мне информацию насчет хлопка. Закупила гигантскую партию. Денег у меня таких нет, но все меня знают. Им и в голову не входит, что у человека их круга может не быть денег. Сделка производится по телефону. Ну вот, партия уже отправлена, а тут цена подскакивает втрое. На мировом хлопковом рынке дым коромыслом, ищут, кто же хозяин гигантской партии. Я! Проверяют мой кредит, узнают, что я какой-то занюханый доктор, и аннулируют сделку. Незаконно. Подаю в суд. Но у меня денег не было с ними тягаться, и я уступил иск одному адвокату с Уолл-стрит за двадцать тысяч долларов. Он подал и выигрывал дело. Ему сунули миллион отступного. Но на обратном пути из Каира — авария самолета. Все погибли. И у меня на совести чувство вины за смерть этого адвоката. Хоть он был прохиндей.

Вильгельм думал: ну каким надо быть дебилом, чтоб сидеть и глотать этот бред. Я просто находка для всякого, кому не лень углубляться в загадки бытия, пусть даже в такой дикой форме.

— У нас, ученых, существует понятие «комплекс вины», Вильгельм,— сказал доктор Тамкин так, будто Вильгельм сидит у него в классе за партой.— Но в данном случае я действительно желал ему зла — из-за денег. Сейчас не время вникать в детали, но — да, я виноват. Из-за денег. Деньги, дьявол — то и другое на «д». Дрязги. Дрянн. Из Вильгельма полезло наобум:

— Ну а доброта? Душа? Достоинство?

— Поимейте в виду одно. Жажда денег — это агрессия. Все очень просто. Единственно верное объяснение — функциональное. Люди идут на биржу убивать. Говорят



же — убийственный куш. Это не случайно. Только кишка тонка убить по-настоящему, вот и воздвигается символ убийства. Деньги. Убийство в воображении. Считать — всегда проявление садистичных тенденций. Как ударять. По Библии, евреи не разрешали себя пересчитывать. Знали, что садистично.

— Я не совсем вас понимаю,— сказал Вильгельм. Было тяжело и неловко. Припекало, в голове мутилось.

— Ничего, постепенно усвоите,— уверил его Тамкин. Было в его поразительных глазах что-то от драгоценной сухости темного меха. Бесчисленные сверкающие волоски, колоски — штриховкой по наглой поверхности.— Сперва надо-таки годы ухлопать на изучение рамок поведения человека и животного, глубоких химических, органических, духовных жизненных тайн. Я поэт психологии.

— Если вы такой уж поэт,— сказал Вильгельм, напаривая тем временем в кармане капсулу фенафена,— что вам делать на бирже?

— А вот это в точку. Возможно, я как раз и схватываю игру, потому что незаинтересован. Деньги для меня, по существу, не имеют значения, так что мне, в общем, плавать.

Вильгельм подумал: действительно! Чем не ответ? Да прижми я его, он бы мигом пошел на попятный. Поплясал бы у меня. Ишь — поглядывает, как я клюю! Он проглотил фенафен с большим глотком воды. Веки у него покраснели, пока он заглатывал воду. И сразу полегчало.

— Минуточку, сейчас я, кажется, дам ответ, который вас устроит,— сказал доктор Тамкин. Перед ним поставили пышки. Он намазал их маслом, полил темной патокой, нарезал и приступил к уничтожению, поскрипывая бодрыми, рьяными челюстями. Приставил ручку ножа к груди, сказал: — Вот тут, в груди человеческой — вашей, моей, любой,— тут не одна душа. Тут их много. Но две главных — истинная душа и притворная. Вот! Каждый человек понимает, что должен кого-то или что-то любить. Приложить себя к чему-то. «Если ты не можешь возлюбить, что ты еси?» Ухватываете?

— В общем, да, док,— сказал Вильгельм, слушавший несколько скептически, но старательно.

— Кто ты еси? Пустое место. Ноль без палочки. Вот ответ. Ничто. Абсолютное ничто. Кому же это захочется? Хочется быть Чем-то. И человек старается. Но вместо того чтоб стать этим Чем-то, человек все переваливает на других. С себя что возьмешь? Он ведь любит чуть-чуть. Собаку, к примеру, держит (Пеналь!) или деньги дает на благотворительность. Но это разве любовь? Что это? Эгоизм, чистойшей воды эгоизм. Способ угодить душе-притворщице. Тщеславие. Сплошное тщеславие. Работа на публику. Интересы души-притворщицы совпадают с общественными интересами, с механизмами социума. Это основная трагедия человеческой жизни. Ох, это кошмар! Кошмар! Ты не свободен. Предатель сидит внутри и предает тебя постоянно. Ты от него в рабской зависимости. Он тебя настегивает, как лошадь. И для чего? Для кого?

— Да, для чего? — Слова доктора глубоко зацепили Вильгельма.— Совершенно с вами согласен,— сказал он.— И когда же мы освободимся?

— Главное-то, чтоб все шито-крыто. Ну а расплачиваться приходится истинной душе. Она мучается, страдает и понимает в результате, что душу-притворщицу любить невозможно. Потому что это воплощение лжи. Истинная душа любит истину. И тогда уж истинная душа жаждет убить притворщицу. Любовь превратилась в ненависть. Ты становишься опасным. Убийцей. Тебе надо убить ложь.

— И это что же — ко всем относится?

Доктор ответил просто:

— Да. Ко всем. Конечно, это я в целях упрощения говорю о душе; термин не научный, но так будет доходчивей. Всякий раз, как убийца убивает, он хочет убить в себе душу, которая его обставила, надула. Кто его враг? Он сам. Кто любимый? Он же. Значит, всякое самоубийство есть убийство и всякое убийство — самоубийство. Это одно и то же явление. Биология: притворная душа высасывает соки из истинной, ослабляет ее, как глист. И все это несознательно, исподволь, в глубине организма. Паразитологией занимались?

— Нет, это же папа у меня доктор.

— Я вам книжку дам почитать.

Вильгельм сказал:

— Но тогда выходит, что вокруг сплошные убийцы. Что же это за жизнь? Сущий ад.

— Именно,— сказал доктор.— По крайней мере чистилище. Мы ходим по трупам. Кругом мертвецы. Я слышу, как они рыдают *de profundis*<sup>7</sup>, ломают руки. Я их слышу — бедные млекопитающие. Не могу их не слышать. И глаза мои видят все. И мне самому остается только рыдать. Такова человеческая трагикомедия.

Вильгельм постарался зрительно представить себе эту картину. И снова доктор показался ему подозрительным, он в нем усомнился.

— Ну,— сказал он.— Есть же и простые, добрые, отзывчивые люди. Там, в деревне. Повсюду. И что за ужасов, кстати, вы начитались. (Комната доктора была завалена книгами.)

— Я читаю самые сливки. Из художественной, научной, философской литературы,— сказал доктор Тамкин. Вильгельм заметил, у него даже телевизор стоял на стопке книг.— Корzybски<sup>8</sup>, Аристотель, Фрейд, Шелдон<sup>9</sup>— все великие поэты. Вы мне отвечаете не по существу. Вы не вникали как следует.

— Очень интересно,— сказал Вильгельм. Он знал, что ни во что не вникает как следует.— Но вы не подумайте, что я болван. У меня у самого есть идеи.

Взгляд на часы напомнил ему, что скоро откроется биржа. У них оставалось всего несколько минут. Он еще многое хотел разузнать у Тамкина. Он отметил погрешности в его речи, но ученый человек не обязан ведь быть грамотеем. Теория двух душ потрясала. В Томми он распознал притворную душу. Да и Уилки не совсем ему соответствует. Может, имя его истинной души то, каким называл его дедушка,— Велвел? Но имя души и есть душа. Какая она с виду? Похожа моя душа на меня? Есть такая душа, которая выглядит, как папа? Как Тамкин? Откуда истинная душа черпает свою силу? Откуда это известие, что она любит истину? Вильгельм терзался, но старался отвлечься от этих мук. Он втайне молился, чтоб доктор дал ему ценный совет, помог изменить жизнь.

— Да-да, я вас понял,— сказал он.— Не зря вы старались.

— Я разве говорю, что вы неумный? Просто вы не изучали вопроса. Вы, по существу, глубокая личность с богатой творческой потенцией, но с расстройством. Вы меня заинтересовали, я вас потихоньку лечу.

— Без моего ведома? А я и не замечаю? Как же так? А может, я не хочу, чтоб меня лечили без моего ведома. Даже не знаю. Да в чем дело, вы что — ненормальным меня считаете?

И действительно, он не знал, что и думать. Приятно, что доктор в нем принимает участие. Вот чего ему не хватало — заботы, участия. Доброта, милосердие — почему же? Но — и он повел могучими плечами на свой особый манер: руки втянулись в рукава, ноги нервно заерзали под столом — в то же время и неприятно и даже злит. С какой стати Тамкин лезет к нему без спроса? Скажите пожалуйста, избранник судьбы. Берет у людей деньги, чтоб ими манипулировать. Всех-то он пользуется. Ничто от него не утаится.

Доктор уткнул в него глухо-темный, тяжкий, непроницаемый взгляд, сверкающую лысину, вислую красную губу, сказал:

— Вины у вас на совести хватает.

Вильгельм, чувствуя, как краска заливает его большое лицо, жалко признал:

— Да, я и сам так считаю. Но лично я,— он добавил,— убийцей себя не ощущаю. Я всегда скорей отстану. Это другие меня доводят. Знаете, гнетуще действуют. И если вы не возражаете, если вам все равно, лучше бы вы в дальнейшем предупреждали меня, когда приступаете к лечению. А сейчас, Тамкин, ради Христа, они уже раскладывают обеденное меню. Подписывайте чек, и пойдем!

Тамкин сделал, как он просил, и они поднялись. Когда проходили регистратуру, Тамкин вытащил пухлую пачку тонких бумажек.

— Квитанции. Дубликаты. Лучше вы при себе держите, а то счет на вас, они вам понадобятся для подоходного. А это стихотворение, я вчера написал.

— Мне надо кое-что оставить для отца,— сказал Вильгельм и сунул гостиничный счет в конверт вместе с запиской: «Дорогой папа, потяни меня этот месяц, твой У.». Он смотрел, как регистратор с угрюмым остреньким рыльцем и надменным взором кладет конверт в отцовский ящик.

<sup>7</sup> Из глубин (*лат.*).

<sup>8</sup> Корzybски Альфред Хабданк (1879—1950) — американский ученый, секретарь Польской комиссии Лиги Наций.

<sup>9</sup> Шелдон Чарльз Монро (1857—1946) — американский писатель и теолог.

— Ну а из-за чего вы поругались с родителем, если не секрет? — спросил переждавший в сторонке Тамкин.

— Да, из-за будущего из-за моего, — сказал Вильгельм. Он, торопясь, сбежал по лестнице — эдакая башня низринувшаяся, руки в карманах. Ему было стыдно все это обсуждать. — Он мне рассказывал, по какой причине я не могу вернуться на свое прежнее место, а я и сам знаю. Я должен был стать членом правления. Все к этому шло. Мне обещали. А потом обштопали из-за своего зятя. А я уже хвастался, хвост распускал.

— Будь вы поскромней, преспокойно бы вернулись. Но это не играет значения. Биржа чудно прокормит.

Они вышли на верхний Бродвей, на солнце, тусклое, продравшееся сквозь пыль, дым, сквозь прямо в нос бьющие газовые ветры, выпускаемые автобусами. Вильгельм по привычке поднял воротник.

— Один чисто технический вопрос, — сказал Вильгельм. — Что происходит, если ваш проигрыш превышает вклад?

— А-а, не берите в голову. У них сверхмодерные электронные вычислители, так что в долги не залезешь. Тебя механически отключают. Но я хочу, чтоб вы прочитали это стихотворение. Вы еще не прочли.

Легкий, как саранча, вертолет с почтой из ньюаркского аэропорта в Ла-Гуардию одним прыжком одолел город.

Вильгельм развернул листок. Поля были отчеркнуты по линейке красными чернилами. Он прочитал:

#### Механизм VS<sup>9</sup>. Функционализм

О, скорее бы Ты прозрел,  
Что Величие — Твой удел.  
Счастье-радость испей до дна  
В триединстве Море—Земля—Луна.

Так доколе же медлишь Ты  
В невидимостях красоты,  
Пока природа — Твоя щедрая мать —  
Жаждет Тебя обнять?

Ты покойся во славе Твоей,  
Не от дальнего мира краса.  
Ты, поднявшись выше идей,  
Еси царь. Так и твори чудеса.

Ты смотри, Ты смотри в упор,  
Ты вперед устремляй свой взор.  
У подножья горы Бесконечности —  
Колыбель Твоя к вечности.

Что за бред, что за абракадабра! За кого он меня принимает? Подлец, это же все равно что по башке шарахнуть, с ног сшибить, укокошить. Зачем он мне это подсунул? Чего ему надо? Прощупать? Запутать? И так уж запутал донельзя. В головоломках я никогда не был силен. Нет — поставить крест на своих семистах любезных и еще одну ошибку вписать в длинный список. Ох, мама, какой список! Он стоял у сияющей витрины экзотических фруктов с бумажкой Тамкина в руке, ошарашенный, как ослепленный фотографической вспышкой.

Но он же моей реакции ждет. Надо же что-то ему сказать про его стихи. Это не шуточки. Что я ему скажу? Кто этот Царь? Стихи к кому-то обращены. Но к кому? Я слова из себя не могу выдавить. Просто не продохну. Как он ухитряется столько читать и оставаться таким безграмотным? И почему это каждый воображает, будто все его обязаны понимать? Нет, я не понимаю. Никто не поймет. Планеты, звезды, мировое пространство — никто. Это противоречит постоянной Планка, всему на свете противоречит. Тогда зачем? Для чего? Что он разумеет под горой Бесконечности? Метафора для Эвереста, что ли, такая? Раз он говорит, что все совершают самоубийство, так, может, те парни, которые взбирались на Эверест, просто убить себя хотели, а кто стремится к покою, пусть и сидит у подножья? «Здесь и сейчас»? Но ведь и на склоне — «здесь и сейчас», и на вершине, куда они лезли ловить момент. «В невидимостях красоты» — нет, это невообразимое что-то. Сейчас я начну пенной брызгать. «Колыбель Твоя» —

<sup>9</sup> Сокращенное versus (лат.) — против.

да кто в этой колыбели? Во славе своей? Нет, больше не могу. Хватит. Дальше некуда. К ядрене фене — все! Деньги и вообще. Не надо мне их! Пока у меня есть деньги, меня едят заживо, как те хищные рыбки в кино про бразильские джунгли. Как омерзительно они обглодали в реке этого быка. Стал белый, как глина, и в пять минут ничего не осталось, только косяк остов не разъятый уплывал по воде. А не будет их у меня — меня хоть в покое оставят.

— Ну и как? — спросил доктор Тамкин. И особенной, мудрой улыбкой улыбнулся Вильгельму, которому теперь-то уж полагалось понять, с кем он дело имеет.

— Здорово. Очень здорово. И долго вы писали?

— Я годами вынашивал замысел. Вы все ухватили?

— Вот только не соображу, кто этот Ты?

— Ты? Ты — это вы.

— Я? Как? Значит, это ко мне относится?

— И почему бы нет? Я думал про вас, когда сочинял, да. Разумеется, герой поэмы — страдающее человечество. Стоит ему прозреть — и оно сделается великим.

— Да, но я-то при чем?

— Основная идея стихотворения: де-струкция либо кон-струкция. Третьего не дано. Механизация — это значит деструкция, разрушения. Деньги, естественно, — де-струкция. Когда выроют последнюю могилу, могильщик потребует вознаграждения. Доверьтесь природе — и не пропадете. Природа не подкачает. Природа — создатель, конструктор. Скорый. Щедрый. Вдохновенный. Она создает листву. Гонит воды земные. И человек — властелин всего этого. Все творение принадлежит ему по праву наследства. Вы сами не знаете, что в вас сидит. Человек либо создает, либо разрушает. И третьего не дано...

— Я понял, вы не новичок, — нашелся Вильгельм. — У меня только одно замечание. По-моему, «доколе» требует будущего времени. Надо бы написать «доколе ты будешь медлить».

И подумал — ну? Карты брошены. Только чудо может меня спасти. Пели мои денежки, так что они уже не будут меня разрушать. Но он-то — он тоже не может просто так их профукать. Сам повязан. Наверно, тоже дела не ахти. И даже точно — как он кровавым потом тогда обливался над этим чеком. Но я-то, я-то — куда я соуюсь? Воды земные накроют меня.

## 5

Человек во фруктовой витрине упорно совком разбрасывал лед между своих овощей. Там были еще дыни «канталупки», сирень, тюльпаны с черным сверканием в сердцевине. Многие уличные шумы погоды отдавались от небесных пещер. Пересекая лавину бродвейских машин, Вильгельм говорил себе: видно, Тамкин меня потому поучает, что его самого поучали, а стихотворение — это так, в качестве доброго совета. Все что-то знают. Вот и Тамкин. Все знают, что делать, а кто делать-то будет?

Конечно, он должен, он может и действительно он вернет то хорошее, счастливое, мирное, что было в жизни. Да, он наделал ошибок — но теперь-то чего уж? Да, он идиот, но достоин же он снисхождения. Время потерянное надо просто перечеркнуть. Что еще остается? Все чересчур усложнилось, но ничего, можно снова свести к простоте. Есть, есть надежда на выздоровление. Прежде всего — вон из этого города. Нет, прежде всего — спасти свои деньги...

После карнавала улиц — тележки разносчиков, аккордеон и скрипка, чистильщик сапог, попрошайки, пыль, завихренная, как женщина на ходулях, — вошли в тесную толчею биржи. Она вся была забита бродвейской толпой. Но как там лярда сегодня? Вильгельм через весь зал сел на разобраные крохотные цифирки. Немец-менеджер смотрел в свой бинокль. Тамкин встал от Вильгельма слева, прикрыл свою вызывающую лысину. Шепнул: «Сейчас насчет маржи прицепится». Но их не заметили. «Смотрите — лярда как и был».

Очевидно, глаза у Тамкина отличались повышенной зоркостью, если он мог разобрань цифры через все эти головы и в такой дали, — снова удивительная особенность. Народу тут всегда бывало битком. Все шумели. Только в передних рядах можно было уловить потрескивание колесиков.

На освещенный экран сбегали с телетайпа все новые данные.

— Лярда. А как там рожь? — И Тамкин встал на цыпочки.

Здесь он был совершенно другой человек — бойкий, активный. Вовсю работал

локтями. Лицо решительное. По обоим углам рта под усами выросли какие-то вздутия. Он уже показывал Вильгельму что-то новое на доске:

— Что-то там сегодня происходит.

— Вы бы еще дольше завтракали.

Билетов не было. Кто куда сядет. Тамкин всегда сидел во втором ряду слева от прохода. На нескольких стульях лежали шляпы его знакомых: ему заняли место.

— Спасибо, спасибо,— говорил Тамкин, а Вильгельму он шепнул:— Я вчера таки кое-что устроил.

— Блестящая мысль,— сказал Вильгельм.

И они уселись.

У стены, сложив руки, сидел старый бизнесмен-китаец в полосатом пиджаке. Толстый, гладкий, седая бородка клинышком. Как-то Вильгельм видел его на Риверсайд-Драйв: катал в колясочке двух девочек, своих внучек. Потом сидели две женщины за пятьдесят, сестры, кажется, хитрые и ловкие деляги, по словам Тамкина. Вильгельм от них ни разу слова не услышал. Но они прекрасно болтали с Тамкиным. Тамкин со всеми разговаривал.

Вильгельм сидел между мистером Роулэндом, пожилым человеком, и мистером Рапшпортом, совсем стариком. Вчера Роулэнд ему рассказал, что в 1908-м, когда он кончал Гарвард, мать ко дню рождения подарила ему двадцать акций на сталь, и с тех пор он начал читать биржевые ведомости, так и не пошел по юриспруденции и навеки приковался к бирже. Теперь он интересуется только соей — это его специальность. Со своим консервативным подходом, Тамкин говорил, он выжимает две сотни в неделю. Мелочевка. Но он холостяк, один — зачем ему деньги?

— Без иждивенцев,— сказал Тамкин,— он не имеет наших с вами проблем.

Так у Тамкина есть иждивенцы? Все у него есть, что только может быть у человека,— наука, фармакология, поэзия, греческий и вот, оказывается, еще иждивенцы. Не та ли красивая девушка с эпилепсией? Он часто говорит, что она чистое, прекрасное, возвышенное дитя не от мира сего. Он о ней заботится и, если не врет, ее обожает. Но если только развесить уши, даже просто воздерживаться от вопросов, окажется еще много всякого. То как-то выяснилось, что он оплачивает ее уроки музыки. То получалось, что чуть ли не за его счет этот ее брат разъезжал с кинокамерой по Бразилии. И еще он сиротку поддерживает, оставшуюся после смерти его возлюбленной. Все эти намеки, бросаемые туманно и вскользь, в результате повторов вырастали в удивительные откровения.

— Лично мне много не надо,— говорил Тамкин.— Но не может же человек жить для себя, и деньги мне нужны на разные важные вещи. Как вот вы считаете, сколько вам нужно, чтоб перекрутиться?

— Не меньше пятнадцати кусков после вычета налогов. На жену и двоих сыновей.

— Может, у вас еще кто-то есть? — рубанул Тамкин почти безжалостно. Но взгляд его помягчел, когда Вильгельм буркнул, не желая распространяться о другой своей печали:

— Ну было. Но деньги тут ни при чем.

— Будем надеяться! — сказал Тамкин.— Любовь свободна, мир чаруя. Ну, пятнадцать кусков — это вы не так уж много требуете от жизни с вашим-то интеллектом. Болваны, жестокосердые преступники, убийцы сорят миллионами. Все сжигают — нефть, уголь, дерево, металл, почву, даже воздух и небо высасывают. Потребляют, потребляют — ничего не давая взамен. Человеку вашего склада, простому и скромному, который хочет чувствовать и жить, приходится нелегко, ибо, не желая,— заметил Тамкин по своему обыкновению в скобках и вскользь,— ни грана своей души обменивать на пуды власти, он беспомощен в этом мире. Но вы можете не волноваться. (Вильгельм схватился за это заявление.) Будьте уверены. Превысить эту сумму для нас пара пустяков.

Доктор Тамкин успокоил Вильгельма. Он часто говорил, что заколачивает на продовольственной бирже тысячу в неделю. Вильгельм видел счета, но до этого момента ему и в голову не приходили никакие квитанции по дебету. Ему показывали только кредитные.

— Пятнадцать кусков — тоже мне сумма,— говорил Тамкин.— Стоит ли из-за таких денег мотаться, иметь дело с ограниченными людьми? Вдобавок многие, наверно, евреев не любят?

— Как-то мне не до того. Я рад бываю, когда занимаюсь своим делом. Тамкин, так вы считаете, что выручите наши деньги?

— Ах, значит, я забыл вам сказать, что я сделал вчера до закрытия? Понимаете, я ликвидировал один контракт на лярд и подстраховался декабрьской рожью. Рожь уже поднялась на три пункта, с ней большой порядок. Но лярд тоже поднимется.

— Где? Господи, да, верно. — Вильгельм, оживившись, вскочил на ноги. В душе шелохнулась надежда. — Что же вы молчали?

И Тамкин улыбнулся, как добрый волшебник.

— Учитесь, учитесь доверию. Лярд упал ненадолго. И гляньте на яйца. А? Что я говорил? Уж тут пониженья не будет! Выше и выше! Если б мы купили яйца, дело было бы в шляпе.

— Почему же мы их не купили?

— Мы как раз собирались. У меня уже был приказ на покупку по двадцать четыре, а перелом пошел с двадцати шести с четвертью, чуть-чуть всего промахнулись. Ничего. Лярд еще вернется на прошлогодний уровень.

Возможно. Но когда? Вильгельм не давал особенной воли надежде. Но на какое-то время ему стало легче дышать. Атмосфера накалялась. Сверканье цифр лилось по доске, и доска трещала, гремела огромной, наполненной заводными птицами клеткой. Лярд оставался на одном уровне, рожь неуклонно поднималась.

Он прикрыл напряженные, страшно серьезные глаза, покачивал головой, как Будда, слишком громадный, чтоб выносить эту неопределенность. И на несколько мгновений он вернулся в тот садик в Роксбери.

Он вдыхал чистую сладость утра.

Он слышал долгие фразы птиц.

Враг не жаждал его гибели.

Вильгельм думал — надо убираться отсюда. Не создан я для Нью-Йорка. И вздыхал как во сне.

Тамкин сказал: «Извините», встал со стула. Он не мог усидеть на месте, мотался между фондовой и товарной секциями. У него тут была куча знакомых, со всеми он заговаривал. То ли советы давал, то ли собирал — поставял? — информацию. А может, это он работал по своей, кто ее знает какой, специальности? Может, это гипноз? Может, пока он с людьми разговаривает, они погружаются в транс? Да, странная, невозможная личность, эти его острые плечи, лысина, ногти как накладные, когти почти, и глаза — темные, вкрадчивые, тяжелые, страшные.

Он заговаривает о существованном, а поскольку про такое говорить не положено — он вас ошарашивает, волнует, трогает. Может, он хочет делать добро, может, стремится к самоусовершенствованию, может, он верит в свои пророчества, или он сам себя накручивает. Кто его знает. Нахватался разных идей. Вильгельм, конечно, не мог утверждать с уверенностью, он только подозревал, что Тамкин не вполне их усвоил.

Например, они с Тамкиным партнеры на равных, но Тамкин внес всего триста долларов. Предположим, он это сделал не раз и не два, а, скажем, пять раз; тогда, внеся полторы тысячи, он может орудовать пятью. А если во всех этих случаях он имеет уверенность, он может переводить деньги со счета на счет. Ну нет, немец за ним, конечно, присматривает. И все же, и все же. От этих прикидок Вильгельму сделалось тошно. Тамкин явно игрок. Но как он выкручивается? Ему же за пятьдесят. Чем он зарабатывает на жизнь? Пять лет в Египте; еще до этого Голивуд; Мичиган. Огайо, Чикаго. Если человеку за пятьдесят, значит, он уже тридцать лет зарабатывает на жизнь. И уж, конечно, Тамкин никогда не торчал на предприятиях или в конторе. Как же он управляется? Вкус у него кошмарный, но дешевую тряпку он не купит. Носит вельветовые рубашки от «Клайда», расписные галстуки, носки в полосочку. От него чуть пахнет, на мытье он не налегает, что для доктора странно. У доктора Тамкина, опять же, хорошая комната в «Глориане», и она за ним числится чуть не год. Но и сам Вильгельм вот живет в «Глориане», и в данный момент его неоплаченный счет положен в почтовую секцию на отцовское имя. Может, та красивая девушка в длинных юбках платит ему? Может, он общопыивает своих так называемых пациентов? Такое множество неразрешимых вопросов не станешь ведь задавать по поводу честного человека. Или про человека нормального? Так, может, он сумасшедший? Этот хворый мистер Перлс за завтраком сказал же, что трудно отличить нормального от помешанного, и уж в большом-то городе это точно, а в Нью-Йорке подавно. Конец

света — этот ужас машинный, камень, стекло, железо, высоты и ямы. Может, все тут с ума походили? Что за люди крутом? Каждый разговаривает на особенном каком-то языке, до которого дошел своим умом, у каждого свои идеи, своя манера. Если ты захочешь поговорить про стакан воды, тебе сперва надо завести речь про то, как Бог сотворил небо и землю; про пресловутое яблоко; про Авраама, Моисея и Иисуса, про Рим, средние века, изобретение пороха, революцию; про науку от Ньютона и до Эйнштейна, потом про войну у Ленина, Гитлера. Когда пересмотришь все это и утрясешь, можешь переходить к стакану воды: «Мне дурно, дайте мне, пожалуйста, немного воды». И то хорошо еще, если поймут. И так — с каждым, кого ни встретишь. Переводи им, переводи, разжевывай и разжевывай, это ж попытка — ты не понимаешь, тебя не понимают, и помешанного не отличить от нормального, умного от дурака, молодого от старого, здорового от больного. Отцы — не отцы, дети — не дети. Вот и разговариваешь сам с собой днем, рассуждаешь сам с собой по ночам. С кем еще разговаривать в этом Нью-Йорке?

На лице у Вильгельма — взгляд воздет, немой рот со вздернутой верхней губой — установилось странное выражение. Он еще немного продвинулся: когда так вот представишь себе, что буквально каждый — изгой, вдруг поймешь, что это не важно. Существует нечто более крупное, от чего тебя не оторгнуть. Стакан воды отступает на задний план. Ты не движешься от простого «а», простого «б» к великому «иксу» и «игреку», и не важно, договорился ты с кем-то насчет стакана воды или нет, потому что глубоко-глубоко подо всей этой тяготящейся истинная душа, как сказал бы Тамкин, произносит ясные, каждому понятные вещи. И отцы, оказывается, — отцы, дети — дети, а стакан воды — всего лишь орнамент: обруч света бросает на скатерть; это ангельские уста. И можно найти правду для всех, а путаница только... только временная, думал Вильгельм.

Идея эта, про нечто более крупное, возникла у него на днях возле Таймс-сквер, когда он ходил за билетами на субботний бейсбол. Он шел по переходу подземки — вот место, которое он терпеть не мог вообще, а в тот день ненавидел особенно. На стенах среди реклам мелом выведено: «Вперед не грешить»; «Не ешь свинины» — он отметил, в частности. И в этом-то темном туннеле, в спешке, в духоте, в темноте, которая безобразит, увечит, коржит глаза, зубы, носы, вдруг ни с того ни с сего любовь ко всем этим неважным, мертвенно-бледным людям пронзила сердце Вильгельма. Он почувствовал, что их любит. Всех до единого, всем жаром души. Они его братья и сестры. Он и сам — увечный, неважный человек, но что с того, раз он с ними слит воедино огнем любви? И он приговаривал на ходу: «О мои братья, мои братья и сестры» — и благословлял их всех и себя.

Ну и какая разница, сколько там существует языков и насколько трудно описать стакан воды? Какая разница, если еще через пять минут он не испытывал никаких братских чувств к тому, кто продавал ему билеты?

Уже вечером он был об этом порыве братской любви не столь высокого мнения. Подумаешь, ну и что? Раз им дана такая способность и надо ее упражнять, люди испытывают время от времени произвольные чувства. И, предположим, в подземке. Та же неконтролируемая эрекция. Но сегодня, в свой судный день, он снова и снова ворошил свою память и думал — надо вернуться к этому. Это верный ключ, ключ к чему-то хорошему. К очень чему-то большому. К истине, что ли.

Старик справа, мистер Раппопорт, был почти слепой и то и дело спрашивал у Вильгельма: «Что там нового насчет ноябрьской пшеницы? Заодно уж июльскую сою скажите». Ответишь ему — он спасибо не скажет. Скажет «угу» или «так-так» и отвернется до тех пор, пока ты снова ему не понадобишься. Он был совсем старый, старше даже, чем доктор Адлер, и, если верить Тамкину, в свое время сколотил громадное состояние на цыплятах.

У Вильгельма было странное чувство, что производство цыплят — это что-то злое. Когда ездил, он часто проезжал птицефермы. Большие деревянные бараки вразброс среди голых полей. Как застенки. Всю ночь там горит свет, мороча бедных курочек и заставляя нестись. А потом — бойня. Громоздите одна на другую клетки убитых, и за неделю у вас вырастет гора выше горы Эверест, или горы Бесконечности. Кровь заполняет Мексиканский залив. Острый птичий помет разбедает землю.

До чего же он старый, мистер Раппопорт, до чего старый! Нос изрыт багровыми пятнами, хрящ уха — как кочерыжка, Глаза тусклые, заволоченные — какие уж тут очки.

— Прочтите-ка мне, молодой человек, как там соя?— просил он, и Вильгельм читал. Он рассчитывал понабраться опыта у старика или, может, получить полезный совет или какие-то сведения относительно Тамкина. Но нет. Тот делал записи в своем блокноте и совал блокнот в карман. Чтоб никто не увидел, что там у него понаписано. Именно так, думал Вильгельм, и должен вести себя человек, разбогатевший на убийстве миллионов невинных существ, бедных цыпляток. Если есть загробная жизнь, ему придется держать ответ за убийство всех этих цыпляток. Может, они там жадут. Но если есть загробная жизнь — каждому ответить придется. Но если есть загробная жизнь, у цыплят-то как раз у самих — полный порядок.

Уф! Что за бредятина ему сегодня лезет в голову! Тьфу!

Наконец старый Раппопорт нашел-таки несколько слов для Вильгельма. Он заинтересовался, заказал ли он место в синагоге на Йом-Кипур<sup>11</sup>.

— Нет,— сказал Вильгельм.

— Так надо же спешить, если вы хотите сказать «Искор»<sup>12</sup> за ваших родителей. Я лично никогда не пропускаю.

И Вильгельм подумал — да, надо бы когда-нибудь помолиться за маму. Его мать принадлежала к либеральному иудаизму. Отец был просто неверующий. На кладбище Вильгельм заплатил человеку, чтоб прочитал молитву. Тот стоял среди могил и ждал чаевых за «Ель молаи рохаим». Кажется, это значит «Боже милостивый», «Бган Аден» — «на небесах». Они пели, тянули: «Бган Ай-ден». И скамейка эта разбитая. Надо что-то делать. Вильгельм, конечно, молился по-своему. В синагогу не ходил, но молился по-своему, как чувство подсказет. Сейчас он подумал: в папиных глазах я не тот еврей. Ему не нравятся, как я себя веду. Только он такой еврей, как надо. Как ни веди себя — все, видите ли, не то.

Мистер Раппопорт кричал и попыкивал длинной сигарой, табло жужжало роem искусственных пчел.

— Раз вы цыплят выводили, мистер Раппопорт, я подумал, может, вы яйцами интересуетесь? — И Вильгельм хохотнул своим теплым задушливым смехом, обольщая старика.

— А-а. Из лояльности, э? — сказал мистер Раппопорт. — Мне бы их не бросать. Я столько времени жил среди цыплят. Прямо стал экспертом по цыплятьему полу. Как цыпленок вылупится — вы обязаны определить, это девочка или мальчик. Очень сложно, учтите. Дается многолетним опытом. Что вы думаете — я шучу? На этом все производство стоит. Да, бывает, я и покупаю контракт на яйца. А что у вас сегодня?

Вильгельм сказал, трепеща:

— Лярд. Рожь.

— Покупаете? Продаете?

— Купили.

— А-а,— сказал старик.

Вильгельм не разобрал, что он имел в виду. Но он и не мог рассчитывать на более детальную информацию. Это было бы не по правилам. Изнемогая, Вильгельм мечтал, чтоб мистер Раппопорт сделал для него исключение. Ну один-единственный раз! Ведь случай критический! Молча, сосредоточась в телепатическом усилии, он молил старика хоть словечко вымолвить ради его спасения, подать хоть какой-нибудь знак. Ох, ну пожалуйте, пожалуйте, помогите, чуть не говорил он вслух. Хоть бы этот Раппопорт глаз прикрыл, что ли, или голову склонил на плечо, или ткнул пальцем в колонку цифр на табло, у себя в блокноте. Хоть какой-то намек! Намек!

Пепел нерушимо нарастал на сигаре белым призраком листа, храня все его прожилки и тающую едкость. Старик не замечал этой красоты. А ведь какая красота. Вильгельма он тоже не замечал.

Тут Тамкин сказал:

— Смотрите, Вильгельм, как рожь подскочила.

Декабрьская рожь поднялась у них на глазах на три пункта; бежали цифры, жужжали лампы.

— Еще полтора пункта — и мы покроем убытки на лярд,— сказал Тамкин. Он показывал Вильгельму свои выкладки на полях «Таймс».

— По-моему, самое время продавать. Выйти с малым убытком.

<sup>11</sup> Судный день в иудейском религиозном календаре.

<sup>12</sup> Поминание усопших.



— Сейчас? Ничего себе!

— А что? Чего еще ждать?

— А то,— Тамкин улыбался с почти откровенной издевкой,— что успокойте-ка ваши нервы, когда начинается самое-самое.

— Я хочу выйти из игры, пока не поздно.

— Ну-ну, возьмите себя в руки, разве так можно? Мне как раз совершенно ясен весь ход событий, начиная от Чикаго. Декабрьская рожь в дефиците. Смотрите-ка, еще на четверть поднялась. Надо же пользоваться.

— Мне это уже как-то поднадоело,— сказал Вильгельм.— И не радуется, что она поднимается так стремительно. Значит, так же быстро и упасть может.

Строго, будто ребенку малому, на грани долготерпения, Тамкин сказал:

— Послушайте, Томми. Я в диагностике не ошибаюсь. Если вы так настаиваете, я могу, конечно, подать на продажу. Но тут-то и разница между нормой и патологией. Один объективен, не меняет каждую секунду решений, наслаждается элементом риска. И совершенно иное — характер невротика. Характер невротика...

— Хватит, Тамкин! — оборвал Вильгельм грубо.— Кончайте. Мне это надоело. Характер мой ни при чем. Хватит мне голову морочить. Надоело — слышите?

И Тамкин не стал развивать свою мысль, пошел на попятный.

— Я имел в виду,— сильно сбавил тон,— что вы как коммерсант в основе принадлежите к типу артистическому. Деятельность продавца связана со сферой воображения. И вы как-никак артист.

— При чем тут мой тип? — Злость вместе со сладкой слабостью подступила к горлу Вильгельма. Он закашлялся, как в простуде. Двадцать лет прошло с тех пор, как он появился на экране статистом. Дул в волынку в фильме под названием «Энни Лори». Эта Энни приходит предостеречь юного хозяина замка. Тот ей не верит и кличет волынщиков, чтоб те перекрыли ее голос. Он над ней насмехается, она заламывает руки. Вильгельм, в шотландской юбочке, голоногий, дул, дул, дул и ни звука не извлекал из волынки. Само собой, была фонограмма. Он после этого заболел, и до сих пор еще ему иногда закладывало грудь...

— У вас что-то в горле застряло? — сказал Тамкин.— Вы, кажется, от расстройства не можете сосредоточиться? Попробуйте мои умственные упражнения на «здесь и сейчас». И не будете так много думать о прошлом и будущем. Очень помогает.

— Да, да, да, да,— говорил Вильгельм, не отрывая глаз от декабрьской ржи.

— Природа знает одну-единственную вещь — настоящее. Настоящее, настоящее — вечное настоящее, как большая, огромная, гигантская волна, колоссальная, яркая, дивная, несущая жизнь и смерть, вздымающаяся до небес, встающая со дна морского. Надо придерживаться настоящего, здесь и сейчас, его славы...

...закладывало грудь, вспоминал дальше Вильгельм. Маргарет его выхаживала. У них было две комнаты с мебелью, которую потом описали. Она сидела на кровати и ему читала. Он целыми днями заставлял ее читать, она читала рассказы, стихи, все, что было в доме. Голова у него кружилась, он задыхался, когда пытался курить. На него напаяли флаanelевую фуфайку.

О приди, Печаль!  
Услада, Печаль!  
Как младенца тебя на груди я взлелею!<sup>18</sup>

И почему вдруг вспомнилось? Почему?

— Надо выбрать что-то в настоящий, текущий момент,— говорил Тамкин.— И говорить себе «здесь и сейчас, здесь и сейчас, здесь и сейчас». «Где я?»—«Здесь».—«Когда?» — «Сейчас». Возьмите какой-нибудь предмет или лицо. Кого угодно. «Здесь и сейчас я вижу человека. Здесь и сейчас я вижу мужчину. Здесь и сейчас я вижу мужчину в коричневом костюме. Здесь и сейчас я вижу вельветовую рубашку». Суживайте, суживайте, постепенно, постепенно, не давайте воображению забегать вперед. Придерживайтесь настоящего. Часа, минуты, секунды.

Что это он? Гипнотизирует меня? Морочит? От продажи хочет отвлечь? Ну, положим, я даже верну свои семьсот долларов, все равно — что это мне даст?

Как на молитве, приспустив выношенные, набрякшие веки на свои внушительные глаза, Тамкин приговаривал:

<sup>18</sup> Из поэмы Д. Китса «Эндимион». Перевод С. Сухарева.

— Здесь и сейчас я вижу пуговицу. Здесь и сейчас я вижу нитку, которой пришита пуговица. Здесь и сейчас я вижу зеленую нитку...

Он исследовал себя сантиметр за сантиметром, демонстрируя Вильгельму, как это успокаивает. А Вильгельм слушал голос Маргарет. И Маргарет без особой охоты читала:

О приди, Печаль!  
 . . . . .  
 Я хотела sluкавить,  
 Тебя оставить.  
 Но люблю все сильнее, сильнее.

Тут мистер Раппопорт сдавил ему бедро своей старческой рукой и сказал:

— Как моя пшеница? Вот сволочи, все мне загородили. Я ничего не вижу.

## 6

Рожь еще поднималась, когда они пошли обедать, лярд оставался как был.

Вот они в кафе с раззолоченным фасадом. Красота — что снаружи, та же внутри. Пища впечатляет роскошью. Цельные рыбины, как картины, забраны в морковные рамы, салаты — как уступчатые парки, как мексиканские пирамиды; солнцами, лунами, звездами сияют кружочки лука, редиски, лимона; невесть как взбита толща крема; пирожные пышны, как грезы кондитера.

— Вы что будете? — спросил Тамкин.

— Да так. Я же плотно позавтракал. Я место поищу. Принесите мне йогурта, крекеров и чашку чая. Я не хочу терять время на еду.

Тамкин сказал:

— Ну поесть-то надо.

Найти свободный столик оказалось не так легко. В это время старики бездельно калякают над чашечкой кофе. Пожилые дамы, все в туши, помаде, побрякушках и хне, с подведенными глазами, подсиненными волосами, хорохорятся и бросают на тебя взгляды, не вяжущиеся с их возрастом. И куда подевались почтенные старушки, которые вязали, и стряпали, и присматривали за внучатами? Бабушка надевала на Вильгельма матроску, качала его на коленях, дула на кашку, говорила: «Адмиралу полагается хорошо кушать». Да что уж теперь вспоминать.

Ему удалось найти столик, и доктор Тамкин принес поднос, уставленный чашками и тарелками. Он взял себе жаркое в горшочке, красную капусту, картошку, большой кусок арбуза, две чашки кофе. Вильгельм даже свой йогурт не мог проглотить. Еще саднило в груди.

Тамкин с ходу втянул его в долгий нудный разговор. То ли морочил Вильгельму голову, чтоб отвлечь от продажи, то ли наверстывал позиции. Упущенные, когда Вильгельм поставил его на место с этими его намеками насчет невротического характера? А может, просто молол языком?

— По-моему, вы чересчур беспокоитесь, что там скажет ваша жена, что там скажет ваш отец. Это что? Так важно?

Вильгельм ответил:

— Иной раз может надоест копать и разбираться в себе. Всей второй половины жизни не хватит, чтоб очухаться от ошибок, какие понаделал за первую половину.

— Ваш папаша, кажется, говорил мне, что сможет вам оставить кой-какие деньжата.

— Наверно, у него кое-что есть.

— Много?

— Кто знает, — сказал Вильгельм осмотрительно.

— Вам надо прикинуть, как их поместить.

— Я буду слитком немощен, чтоб куда-нибудь их помещать, когда я их получу. Если вообще получу.

— Такие вещи надо тщательно взвешивать. Не промахнитесь.

И он стал разворачивать схемы, как покупаешь облигации, а потом как-то так используешь их в качестве гарантии для покупки чего-то еще и таким образом имеешь на своих деньгах верных двенадцать процентов. Вильгельм упустил детали. Тамкин сказал:

— Если б он сейчас оформил дарственную, вам не пришлось бы платить налог на наследство.

Вильгельм сказал с горечью:

— Мысль о смерти заслоняет от отца все остальное. Он и меня заставляет о ней думать. И если это ему удастся — ненавидит меня. Когда я прихожу в отчаяние, конечно, я думаю о деньгах. Но я не хочу, чтоб с ним что-то случилось. Конечно же, я не хочу, чтоб он умирал. (Темные глаза Тамкина сверкнули пронзительно.) Вы не верите. Возможно, это противоречит психологии. Но вот честное слово. Кроме шуток. На эту тему я шутить не хочу. Когда он умрет, я буду обездолен, потому что лишусь отца.

— Любите своего старика?

Вильгельм за это ухватился.

— Конечно, конечно, я его люблю. Мой отец. Моя мать...

И тут что-то рвануло в самом центре души. Вот рыба колотится об лесу, и рука чувствует: живое. Таинственное существо под водой попало из-за голода на крючок и бросается прочь, бьется в корчах. Вильгельм так и не понял, что это билось у него внутри. Не обнаружилось. Ускользнуло.

А Тамкин, мастер смущать и запутывать, уже пошел рассказывать то ли сочинять удивительную историю собственного папаша.

— Он был великий певец, — говорил Тамкин. — Оставил нас, пятерых малышей, влюбившись в оперную певицу, сопрано. Я ничего против него не имел, наоборот, восхищался его жизненным кредо, хотел идти по его стопам. От несчастья в определенном возрасте начинают сохнуть мозги. (Правда, правда! — думал Вильгельм.) Через двадцать лет я производил эксперименты для одной фотофирмы в Рочестере и нашел своего старика. У него оказалось еще пятеро детей. (Вранье, вранье!) Он плакал, ему было стыдно. Я ничего против него не имел. Странно было, конечно.

— Вот и мой отец мне кажется странным, чужим, — сказал Вильгельм и пригрюнился. Где тот свой, близкий человек, каким он был когда-то? Или каким я был когда-то? Кэтрин, та вообще не желает со мной разговаривать — родная сестра! Меня не так огорчает, что папа меня знать не хочет, как обескураживает. Это же чересчур. Просто мир рушится и на обломках — хаос и древняя ночь. Может, папе легче уйти, если мы будем в плохих отношениях? Может, хочется на прощанье хлопнуть дверью: «Будь ты проклят!»? Но почему, думал Вильгельм дальше, папа или кто-то еще обязан меня жалеть? Почему надо жалеть меня, а не кого-то еще? Это, наверно, все моя инфантильность — раз мне что-то надо, значит, вынь да положь.

И Вильгельм стал думать про своих сыновей — как он выглядит в их глазах, что они про него думают. Пока, хорошо еще, можно за бейсбол уцепиться. Но когда он заезжает за ними, чтоб ехать на Эббегс-Филдз, он же на себя не похож. Он делает хорошую мину, но чувствует себя так, будто песка наглотался. Странный свой дом, дикая неловкость. Пес, Пеналь, катается по полу, лает, визжит. Вильгельм делает вид, что все в порядке, но ему страшно тяжело. По дороге во Флэтбуш он вымучивает для мальчиков анекдоты на темы спорта — воспоминания о старых бейсбольных звездах, — дело идет со скрипом. Не знают они, как он их любит. Все Маргарет виновата, она их настраивает. Видите ли, вполне с ним мила, а ведь хочет доконать. В Роксбери ему пришлось объясняться со священником, тот ему не сочувствовал. Что им отдельная личность, им свои принципы надо блюсти. Олив сказала, что выйдет за него, не венчаясь, когда он разведется. А Маргарет не отпускает. Отец Олив, он остеопат и он очень даже ничего, он все понимает, так вот он ему сказал: «Послушайте, я должен дать Олив совет. Она меня спрашивает. Я сам, в общем-то, широких взглядов, но ведь девочке жить в этом городе». Ну и у них с Олив теперь масса сложностей, она стала уже чуть не со страхом ждать его наездов в Роксбери — сама говорила. Он дрожит, как бы не обидеть маленькую смуглую ненаглядную девочку, он ее обожает. В воскресенье, если проспит, она будит его, чуть не плача, что опоздала к обедне. Он ей застегивает резинки, обдергивает платье и комбинацию, даже шляпку ей надевает трясущимися руками, потом мчит ее к церкви, как всегда по забывчивости, на второй скорости и по дороге оправдывается, старается ее утешить. Она выходит за квартал до церкви, чтоб не было сплетен. И все равно она его любит и пошла б за него, если б он добился развода. Но Маргарет, видно, все просекла. Она ему внушает, что на самом-то деле ему развод ни к чему, якобы он боится развода. Он уж кричал: «Возьми себе все, что у меня есть, Маргарет! Отпусти ты меня. Неужели сама ты замуж не хочешь?» Нет. Встречается с другими мужчинами и берет с него деньги. Целью задалась его уморить.

Доктор Тамкин сказал Вильгельму:

— Ваш папаша вам завидует.

Вильгельм улыбнулся:

— Мне? Остроумно.

— Нет, правда. Человеку, который бросил жену, всегда завидуют.

— А-а. — Вильгельм поморщился. — Ну, что касается жен, тут ему завидовать не приходится.

— Да. И жена вам завидует. Думает — хорошо ему, он свободен, может за девочками ухаживать. Она ведь уж старовата, нет?

— Ну не то что, — сказал Вильгельм. Ему взгрустнулось от этих разговоров. Он ясно увидел ее — ловкий синий костюм, шляпка из той же материи — двадцать лет назад. Он склонял свою желтую голову, заглядывал под шляпку, видел ясное простое лицо, живые глаза, носик маленький, четкий и нежный, мучительно чистый овал. День был прохладный, но пахло хвоей на солнце в гранитном каньоне. К югу от Санта-Барбары все это было. — Ей сорок с чем-то, — сказал Вильгельм.

— Я был женат на пьянице, — сказал Тамкин. — Клиническая алкоголичка. С ней нельзя было в ресторан пойти: скажет, в уборную надо, а сама — в бар. Я уж барменов предупредил, чтоб ей ничего не давали. Но я люблю ее страстно. Она самая одухотворенная из всех женщин, с какими я имел дело.

— А где она сейчас?

— Утонула, — сказал Тамкин. — В Провинстауне, залив Кейп-Код. Видимо, самоубийство. Вполне в ее плане. Чего я только не пробовал, чтоб ее вылечить. Ибо, — сказал Тамкин, — по истинному своему призванию я целитель. Я уж сам мучаюсь. Глубоко страдаю. И рад бы бежать от чужих болезней, да вот не могу. Я сам себе дан взаимы, так сказать. Я принадлежу человечеству.

Лжец! — про себя припечатал Вильгельм. — Оголтела ложка! Изобрел женщину, тут же ее укокошил, себя произвел в целители, и все это с серьезнейшим видом, так что на какую-то вредную овцу стал похож. Шипи на ровном месте, ноль без палочки, и ноги воняют. Доктор! Доктор бы мылся. Возомнил, что производит потрясающее впечатление, буквально шляпу снять приглашает, когда повествует о своей особе. Думает, у него богатейшее воображение, а воображения-то никакого, и тоже мне — блестящий ум. Но я-то, я-то хорош, и зачем я дал ему эти семьсот долларов?

Судный день, судный день. День, когда, хочешь не хочешь, придется пристально глянуть правде в глаза. Он тяжело дышал, деформированная шляпа наполнила из золотисто-смуглое набрякшее лицо. Жуткий вид. Тамкин прохиндей, более того — он гнусняк. И более того — Вильгельм всегда это знал. Но он, видно, в глубине души прикинул, что если Тамкин за тридцать — сорок лет прошел огонь, воду и медные трубы, значит, он и из этой передраги вылезет, а заодно вытащит Вильгельма. И Вильгельм понял так, что он сидит на шее у Тамкина. И было такое чувство, что фактически он оторвался от земли и едет на другом человеке. Ноги болтаются в воздухе. А Тамкин пусть делает шаги.

Лицо доктора, если он, конечно, был доктор, не выражало тревоги. Но насчет выражений лица у него вообще небогато. Вечно толкует о спонтанных эмоциях, открытых рецепторах, свободных импульсах, а сам не впечатлительней ночного горшка. Когда гипнотическая сила подводит, он со своей толстой нижней губой кажется просто кретином. Иногда из глаз его глянют страх, такой приниженный, что даже его жалко. Вильгельм раза два ловил этот взгляд. Как собачий. Сейчас, пожалуй, такого не было, но он очень нервничал, Вильгельм не сомневался, хоть не мог себе позволить в открытую это признать. Надо было дать доктору время. Ни в коем случае не давить на него. Вот Тамкин и выдавал свои байки.

Вильгельм думал: я у него на шее — у него на шее. Швырнулся семистами любезными, и теперь никуда не денешься. Так что придется на нем ехать. Поздно. Уже не соскочишь.

— Знаете, — говорил Тамкин, — этот слепой старик Раппопорт, а он ведь почти совершенно слепой, — одна из любопытнейших фигур в нашем окружении. Э-э, если бы вы могли из него вытянуть его подлинную историю. Это что-то особенное. Мне он все рассказал. Часто слышишь о двоеженцах с тайной жизнью. А этот старикан никогда ничего ни от кого не скрывал. Такой весь из себя патриарх. Но послушайте только, что вытворают. У него две семьи, совершенно отдельно, одна в Вильямсберге, другая в Бронксе. Обе жены всегда знали одна про другую. В Бронксе — та помоложе, сейчас ей под семьдесят. Как надоест ему одна жена, он уходит к другой. И тем временем разводит себе цыпляток в Нью-Джерси. От одной жены у него четверо детей, от дру-

гой — шестеро. Все уже взрослые, но ни разу не видели своих единокровных братьев и сестер — не желают. Вся эта орава есть в телефонной книге.

— Не верится, — сказал Вильгельм.

— Он же сам мне рассказывал. И знаете, что еще интересно? Пока он не лишился зрения, он много читал, но исключительно Теодора Рузвельта. В обеих семьях стояли собрания его сочинений, он по ним учил детей читать.

— Пожалуйста, — сказал Вильгельм, — хватит травить эту баланду. Очень прошу.

— А я ведь не просто так вам все это рассказываю. — Опять в ход пошли гипнотические штучки. — Я хочу, чтоб вы уяснили, как некоторые освобождаются от гнетущего комплекса вины и свободно отдаются инстинктам. Женщине дано от природы средство допечь мужчину, играя на чувстве вины. Это тоже один из видов де-струкции. Она преследует свою цель, доводя человека до импотенции. Она как бы говорит: «Вот захочу я — и ты уже не будешь мужчиной». А мужчины вроде моего папки или мистера Раппопорта отвечают: «Что мне и тебе, жено?»<sup>14</sup> А вас на это не хватает. Вы — промежуточный вариант. Вы и хотели бы следовать своим инстинктам, но вы чересчур озабочены. Например, по поводу своих детей.

— Слушайте! — Вильгельм топнул ногой. — Во-первых! Не трогайте вы моих мальчиков. И все. Прекратите.

— Я только хочу сказать, так им лучше, чем когда в доме скандалы.

— У меня отняли моих детей. — Вильгельм кусал губу. Уклоняться было поздно. Он ужасно мучился. — Мне остается платить и платить. Я их совсем не вижу. Они вырастут без меня. Она сделает их такими же, как она сама. Врагами мне воспитывает. И не надо про это, пожалуйста.

Но Тамкин сказал:

— Зачем вы ей позволяете причинять вам такую боль? Ваш уход тем самым уже не играет никакого значения. Не пляшите вы под ее дудку. Я, Вильгельм, вам желаю добра. Я хочу сказать, не держитесь вы так за свою боль. Некоторые любят свою боль. Не желают с ней расставаться, пить-есть без нее не могут, буквально как муж и жена. И если вдруг отдадутся радости, ну прямо изменой это считают.

Слушая Тамкина, Вильгельм против воли вынужден был признать, что в этом что-то есть. Да-да, думал Вильгельм, они считают, что чего-чего, а боли у них не отнять, ну а если они вдруг перестанут мучиться, что же у них останется в жизни? Он это понимает. На сей раз мошенник знает, что говорит.

Глядя на Тамкина, он, кажется, читал все это на обычно пустом лице. Да, и он тоже. Горы вранья — и наконец одна правда: ночью по-волчьи выть на луну. Непереносимо. И так прет из каждого, что скоро все заорут про это! Про это!

Вдруг Вильгельм встал и сказал:

— Ладно. Хватит, Тамкин, пошли на биржу.

— Я же еще арбуз не доел.

— Ничего. Сколько можно есть? Пошли.

Доктор Тамкин подпихнул через столик два чека.

— Кто вчера платил? По-моему, ваша очередь.

Только уже выходя из кафе, Вильгельм определенно вспомнил, что и вчера платил он. Но стоит ли спорить?

На улице Тамкин все повторял, что многие себя посвящают боли. Но он сказал Вильгельму:

— Что касается вас, я оптимист, а уж я понагляделся на неприспособленных. В вашем случае как раз есть надежда. Вы, в общем-то, не хотите себя гробить. Вы всю стараетесь держать свои чувства на открытом счету, Вильгельм. Что я — не вижу? Семь процентов в этой стране совершают самоубийство посредством алкоголя. Еще примерно три — посредством наркотиков. Следующие шестьдесят тихо вымирают со скуки. Еще двадцать запродали душу дьяволу. Так что на долю желающих жить приходится весьма скромный процент. Это и есть единственная значительная проблема современности. Существует две категории людей. Одни хотят жить, но подавляющее большинство не хотят. — Этот невозможный Тамкин уже, кажется, себя превзошел. — Не хотят. А то откуда же войны? И я вам больше скажу Любовь умирающих сводится к одному: они хотят, чтоб и вы умерли вместе с ними. А все потому, что любят. Уж будьте уверены.

Правда! Правда! — думал Вильгельм, пронзенный этими откровениями. И откуда

<sup>14</sup> Евангелие от Иоанна, 2, 4.

он все знает? Как можно быть таким подонком и, наверно, даже мошенником, жуликом — и так все понимать? Он же верно говорит. Это упрощает многое — все упрощает. Люди дохнут как мухи. Я стараюсь выжить и лезу из кожи вон. Вот отчего я с ума сожму. Нельзя так лезть из кожи — этим подрывается цель. Где-то надо было взять новый старт. Вернуться бы к тому месту и все поправить заново.

Кафе от макерской конторы отделяло всего несколько сот метров, и на этом коротком отрезке Вильгельм, в общем, успел от широких соображений снова вернуться к проблемам текущего момента. Чем ближе они подходили к бирже, тем больше думал Вильгельм о деньгах.

Вот кинохроника, вот чистильщики сапог, их зазывали маленькие оборванцы. Тот же с перебинтованным нищенским лицом бородач — крошечные ноги в опорках, старая газетная вырезка на футляре скрипки, призванная доказать, что и он выступал когда-то в концертах, — ткнул в Вильгельма смычком: «Эй вы!» Вильгельм торопился мимо с озабоченным взглядом к переходу через Семьдесят вторую. Предвечерний поток машин бешено гнал к Коламбус Серка, втекал в жерло делового центра, и стекла небоскребов отбрасывали желтое каление солнца.

Когда подошли к шлифованному каменному фасаду новой конторы, доктор Тамкин сказал:

— Кто это там в дверях? Старый Раппопорт? Ему бы белую трость носить, так нет же, он разве признает, что у него что-то с глазами?

Вид у мистера Раппопорта был неважный, колени подгибались, брюки пусто болтались на нем, расстегнулась ширинка.

Он протянул руку и задержал Вильгельма, каким-то образом его опознав. И приказал своим глухим голосом:

— Отведите меня в табачную лавку.

— Вы хотите, чтобы я...? Тамкин! — Вильгельм шепнул: — Отведите его.

Тамкин покачал головой.

— Он же хочет, чтобы вы. Не отказывайте пожилому человеку. — И уже значительно, понизив голос: — Вот вам еще один пример на «здесь и сейчас». Вам надо жить именно данным моментом, а вы артачитесь. Человек к вам обратился за помощью. Не думайте вы о бирже. Она никуда не денется. Уважьте старика. Ну, вперед. Возможно, это более ценно.

— Отведите меня, — повторил старый торговец цыплячьими жизнями.

В страшной досаде Вильгельм, сморщась, глянул на Тамкина. Взял старика за мосластый, но невесомый локоть.

— Ну, идемте. Или нет, погодите, я сперва гляну на табло, как там что.

Но Тамкин уже привел в движение мистера Раппопорта. Тот на ходу выражал свое недовольство Вильгельмом:

— Вы меня — что? Посреди тротуара бросите? Я боюсь. Раздавят еще.

— Ладно. Давайте проталкиваться, — сказал Вильгельм, и Тамкин исчез в конторе. Бродвейский транспорт как обрушивался с небес, покуда солнце катило с юга желтые спицы. Из подземки бил каменный горячий дух.

— Беспокоит меня эта малолетняя шпана. Боюсь я эту мелюзгу порториканскую и молодежь, которая принимает наркотики, — сказал мистер Раппопорт. — Так под бабдой и расхаживают.

— Шпана? — поддержал Вильгельм. — Вот я у мамы на кладбище был, так они там скамейку разбили. Просто шею бы за это свернул. Вам в какой магазин?

— Через Бродвей. Там вывеска «Ла магнита», с закусочной рядом.

— А чем плох на этой стороне магазин?

— Моего сорта не держит, вот чем.

Вильгельм было выругался, но прикусил язык.

— Что вы сказали?

— Да вот такси эти чертовы, — сказал Вильгельм. — Просто норовят тебя сбить.

Вошли в магазин, в пахучую прохладу. Мистер Раппопорт тщательнейшим образом рассовывал длинные сигары по разным карманам Вильгельм про себя бормотал: «Да поживей ты, старая рухлядь. Вот мямя! Все его обязаны ждать!» Раппопорт не предложил Вильгельму сигару, но, вертя в пальцах одну, спросил:

— Как вам понравится этот размерчик? Такие Черчилль курил.

Еле ползает, думал Вильгельм. Уж портки спадают, держаться не на чем. Слепой почти, весь пятнами пошел, а деньги на бирже зашибает. Небось набит деньгами. И детям, конечно, ни шиша не дает. Им, некоторым, небось уж за пятьдесят. Так чело-

век средних лет и ходит в мальчишках. Нет, этот своего не упустит. Подумать! Подумать только! От кого все зависит! От них, стариков. Которым ничего не надо. Им ничего не надо, и все у них есть. А мне надо — и вот у меня нет ничего. Слишком жирно было бы.

— Я даже старше Черчилля, — сказал Раппопорт.

Поговорить ему, видите ли, захотелось! А попробуй задай вопрос насчет биржи — он же не сочтет нужным ответить.

— Да, конечно, — сказал Вильгельм. — Ну, идемте, идемте.

— Я старый рубака, тоже как Черчилль, — сказал старик. — Когда мы Испании напододали<sup>15</sup>, я во флот вступил. Да, морячком служил. А чего мне было терять? Нечего. После битвы у гор Сан-Хуан еще меня Тедди Рузвельт шуганул с берега.

— Осторожно, тротуар, — сказал Вильгельм.

— Разобрало меня любопытство — что там было. Не мое, конечно, дело, но я беру лодку и гребу к берегу. Двоих наших парней тогда уложило, их накрыли американским флагом — от мух. И я говорю малому, который их, значит, стерег: «Глянуть бы на них. Очень хочется понять, что тут было», — а он: «Нет». Ну да я его уломал. Снял он флаг, а под флагом высокие двое такие благородного вида лежат, и причем в сапогах. Очень высокие. Усы еще длинные у обоих. Из самого высшего общества парни. Одного, по-моему, фамилия Фиш, с Гудзона, знатная семья. Поднимаю глаза, а рядом Тедди Рузвельт, снял шляпу и на этих двоих любитесь. Только их ведь двоих тогда и хлопнуло. А потом говорит: «А флот тут при чем? У тебя что — приказ?» «Нет, сэръ», — говорю. «Ну а тогда марш отсюда, к чертовой матери». — Старый Раппопорт очень гордился этим воспоминанием. — Умел сказать! Да! Люблю Тедди Рузвельта. Люблю!

Вот люди! На ладан дышит, сколько там жить осталось, но Тедди Рузвельт один раз на него рявкнул — и за это он его любит. Да, наверно, это любовь. Вильгельм улыбался. А может, и все вообще правда, что Тамкин рассказывал, — про десятерых детей, про жен, про телефонную книгу?

Вильгельм сказал:

— Идемте, идемте, мистер Раппопорт, — и потянул старика за мосластый полый локоть, уцепившись за него сквозь легкую хлопковую ткань.

Вошли в биржу, где лампы и барабанный грохот, мельканье фигур как никогда напоминали китайский театр, и Вильгельм, щурясь, разглядывал табло.

Что там за цифры? Неужели это лярд? Может, пазы перепутали? Он еще раз проверил. Лярд стоял на девятнадцати и с обеда упал на двадцать пунктов. А как же насчет ржи? Она опустилась до прежней позиции, и они упустили возможность продать контракт.

Старый мистер Раппопорт уже просил Вильгельма:

— Прочитайте, как там моя пшеница.

— Ах, оставьте вы меня хоть на минуту в покое, — сказал Вильгельм. И буквально заслонился от старика ладонью. Он искал Тамкина, лысину Тамкина или серую соломенную шляпу с лентой шоколадного цвета.

Тамкина нигде не было. По обеим сторонам Роулэнда уже сидели. Вильгельм бросился по проходу к бывшему стулу мистера Раппопорта, вцепился в спинку, но захвативший место рыжий с решительным тощим лицом только уклонялся, не желая вытряхиваться.

— Где Тамкин? — спросил Вильгельм у Роулэнда.

— Я знаю? А что?

— Вы же его видели! Он недавно вернулся!

— Я его видел? Нет.

Вильгельм нашарил в нагрудном кармане ручку и начал подсчеты. У него даже пальцы и те цепенели, он боялся от волнения наврать в десятичных дробях, проделывал вычитание и умножение, как школьник на экзаменах. Чего только не натерпелось сердце зашло в новой тревоге. Да, конечно, его отключили. Можно и не интересоваться у этого немца-менеджера. Само собою понятно, что их электронное это устройство отключило его. Наверно, менеджер знал, что на Тамкина нельзя положиться, мог бы, наверно, предупредить. Да как же — станет он вмешиваться.

— Что, погорели? — спросил мистер Роулэнд.

И Вильгельм ответил невозмутимо:

<sup>15</sup> Речь идет об американо-испанской войне 1898 года.

— Ну, бывает и хуже, я думаю.

Он сунул свои расчеты в карман к сигаретным бичкам и пилулям. Ложь вырвала — был момент, когда он думал, что расплачется. Он взял себя в руки с усилием. От усилия рвущая боль вертикально прошла по груди от воздушного мешка под ключицей. Старого торговца цыплятами, который успел убедиться в падении лярда и ржи, он тоже уверил, что ничего серьезного не происходит: «Что ж, временный спад, бывает. Пугаться нечего». — сказал он, владея собой. Будто сзади, из толпы, подступал, толкал, душил плач. Вильгельм даже оглянуться боялся. Говорил себе: нет, не расплачусь я при всех. Ни за что, ни за что не расплачусь при всех, как мальчик, хотя, конечно, я их никого никогда больше не увижу. Нет! Нет! А непролитые слезы закипали, душили, и он похож был на тонущего. Но когда с ним заговаривали, он очень четко отвечал. Старался говорить с достоинством.

—...уезжать? — дошел до него вопрос Роуланда.

— Что?

— Я думал, вы, наверно, тоже собрались уезжать. Тамкин говорил, он летом поедет в отпуск в Мэн.

— А-а, уезжать?

Бросив Роуланда, Вильгельм пошел искать Тамкина в мужскую уборную. В комнате через коридор была аппаратура табло, там будто жужжали, свистели сотни заводных птиц и поблескивали в сумраке трубки. Двое бизнесменов, крутя сигареты в пальцах, беседовали в уборной. На двери кабинки сидела серая соломенная шляпа с лентой шоколадного цвета.

— Тамкин, — сказал Вильгельм. Он пытался опознать ноги под дверью. — Это вы, доктор Тамкин? — спросил, подавляя злость. — Ответьте же. Это я, Вильгельм.

Шляпу убрали, подняли щеколду, на Вильгельма сердито шел незнакомец.

— Вы стойте? — спросил один бизнесмен, намекая Вильгельму, чтоб не совался без очереди.

— Я? Я — нет, — сказал Вильгельм. — Я знакомого ищу.

Сам не свой от злости, он обещал себе, что вырвет из Тамкина хотя бы двести долларов от его доли в депозите. И прежде чем он сядет в свой поезд на Мэн. Прежде чем хоть пенни на свой отпуск потратит — жулик! Мы же партнеры на равных!

## 7

Это я был внизу; Тамкин сидел у меня на шее, а я думал — наоборот. Ехал на мне вместе с Маргарет. Так и едут на мне. Оседлали. Рвут на части, топчут, увечат.

Снова древний скрипач ткнул в Вильгельма смычком, но он торопился мимо. Отвернувшись от попрыщайки, на роковое предостережение — наплевал. С трудом пробрался между машинами, быстрым, мелким шагом взбежал по ступеням в нижний холл «Глорианы» с темными, снисходительными к нашей наружности зеркалами. Из холла позвонил Тамкину в номер. Никого. Вошел в лифт. Раскрашенная дама за пятьдесят в норковом палантине ввела на сворке трех собачонок — как крошечных оленей — на тоненьких ножках, лупоглазых, трясущихся. Та самая эксцентричная эстонка, которую вместе с любимцами перевели на двенадцатый.

Она узнала Вильгельма:

— Вы сын доктора Адлера?

Он кивнул без улыбки.

— Я близкий друг вашего отца.

Он стоял в углу, избегал ее взгляда, и она, конечно, считала, что это хамство, и собиралась пожаловаться доктору.

У двери Тамкина стояла тележка с бельем, ключ горничной болтал в двери длинным медным языком.

— Был тут доктор Тамкин? — спросил Вильгельм у горничной.

— Нет, не видала.

Все же Вильгельм вошел. Он рассматривал лица на фотографиях, стараясь в них опознать странных персонажей тамкинских историй. Толстые большие тома были свалены под рогатой телевизионной антенной, Вильгельм прочитал: «Наука и здоровье»; и много было поэтических сборников. Разрозненные листы «Уолл-стрит джорнэл» свисали с ночного столика, припечатанные серебряным кувшином. Купальный халат в красно-белых зигзагах раскинулся в изножье кровати и там же — дорогая батиковая пижама. Комната крошечная, но из окна видишь реку до самого моста в одну сторону



и в другую сторону — до Хобокена. А то, что между, — глубинное, синее, мутное, сложнопереливчатое, ржавое, и красные остовы новых многоквартирных домов сквозят по откосам Нью-Джерси, и грузные лайнеры стоят на якорях, и спутанные бороды своих снастей полощут буксиры. В окна лез запах реки — как от швабры. Со всех сторон перли звуки — пианино, голоса, вперемешку мужские и женские, распевали гаммы и арии, и ворковали голуби по карнизам.

Снова Вильгельм схватился за телефон.

— Можете вы найти для меня в холле доктора Тамкина? — спросил он, и когда телефонистка ответила, что нет, не может, Вильгельм назвал отцовский номер, но доктора Адлера тоже не оказалось на месте. — Ну тогда дайте, пожалуйста, массажиста. Я говорю — массажную. Вы не понимаете? Мужской клуб здоровья.. Ну пусть Макс Шлиппер — откуда же я фамилию буду знать?

Иностраный голос:

— Токтор Атлер?

Это старый чех-боксер с перебитым носом и рваным ухом, он там выдает мыло, тапочки, полотенца. Ушел куда-то. Настала пустая, неразрешимая тишина. Вильгельм барабанил по трубке, дул в нее, но ни боксер, ни телефонистка не отзывались.

Горничная заметила, как он рыщет взглядом по пузырькам на столе доктора Тамкина, и, кажется, насторожилась. У него почти кончился фенафен, он надеялся чем-нибудь разжиться. Но проглотил все же собственную таблетку, вышел, опять вызвал лифт. Спустился в клуб здоровья. Выходя из лифта, он видел сквозь запотевшие стекла отражение бассейна. зелено клубившееся на дне самого нижнего марша. Прощел сквозь занавеси раздевалки. Двое, завернутые в полотенца, играли в пинг-понг. Играли плохо, мячик безнадежно подпрыгивал. Негр чистил ботинки в уборной. Он не знал, кто такой доктор Адлер, и Вильгельм спустился в массажную. На столах лежали голые люди. Было жарко, полутемно, бледные тела сияли под белым лунным свечением потолка. Со стен глядели календарные красотики, и крохотные оборочки им служили одеждой. На первом столе, крепко сжав веки, таяжко, немо нежился коротконогий крепыш с черной окладистой бородой. Православный русский, не иначе. С ним рядом, укутанный в простыню, ждал очереди свежевывбритый и красный после парилки. У него было большое, блаженное лицо. Он спал. Дальше лежал атлет с поразительной мускулатурой, мощный, юный, с белым крутым изгибом к мошонке и злобноватой улыбкой на губах. Доктор Адлер лежал на четвертом столе, и Вильгельм встал над белым легким телом отца. Ребра были мелкие, узкие, и круглый, белый торчал живот. Живот был будто сам по себе. Бедрa хлипкие, хилые мышцы рук, морщинистая шея.

Массажист в майке нагнулся, шепнул ему в ухо: «Ваш сын» — и доктор Адлер открыл глаза. Он сразу опознал на лице Вильгельма несчастье, мгновенно, рефлекторно отпрянул, остерегаясь заразы, сказал безмятежно:

— А-а, Уилки, внял моим рекомендациям?

— Ах, папа,— сказал Вильгельм.

— Поплавать, принять массаж?

— Ты записку мою получил?

— Да, но, к сожалению, тебе придется поискать кого-то другого. Я не смогу. Я и понятия не имел, до чего ты докатился. И как тебя угораздило? Совсем ничего не откладывал?

— Ах, папа, ну пожалуйста,— сказал Вильгельм, чуть не заламывая руки.

— Мне очень жаль,— сказал доктор.— Поверь. Но я взял себе такое правило. Я долго над ним размышлял, и правило, по-моему, хорошее, я не стану от него отступать. Ты вел себя неблагоприятно. Что случилось?

— Все. Просто все. Спроси лучше, чего не случилось. У меня кое-что было, но я все проשляпал.

— Пустился в игру? Проиграл? Это все Тамкин? Я же предупреждал тебя, Уилки, чтоб ты с ним не очень. А ты? Боюсь, что...

— Да, папа, да, я ему доверился.

Доктор Адлер предоставил свою руку массажисту, и тот ее умял оливковым маслом.

— Доверился? И погорел?

— Да, боюсь, вроде того...— Вильгельм глянул на массажиста, но тот был поглощен своим занятием. Наверное, не имел привычки прислушиваться к разговорам.— Видимо, да. В общем, да. Надо было тебя послушаться.

— Ладно. Уж не буду тебе напоминать, сколько раз я тебя предупреждал. Это, наверно, очень тяжело.

— Да, папа.

— Не знаю, сколько раз тебе надо обжечься, чтоб ты что-то зарубил себе на носу. Все те же ошибки, вечно одно и то же.

— Совершенно с тобой согласен,— сказал Вильгельм с отчаянным лицом.— Как ты прав, папа. Те же ошибки, а я все обжигаюсь и обжигаюсь. Я не понимаю... Я просто глуп, папа, я дышать не могу. Грудь теснит, я задыхаюсь. Не продохнуть.

Он смотрел на наготу своего отца. Вдруг до него дошло, что доктор Адлер с трудом сдерживается, что вот-вот он взорвется. Вильгельм поник лицом и сказал:

— Никому не нравится невезенье, а, папа?

— Так! Теперь это оказывается невезенье. Только что это была глупость.

— Да, глупость, в общем, и то и другое. Я действительно никак не могу ничему научиться. Но я...

— Я не желаю вдаваться в эти твои подробности,— сказал его отец.— И я хочу, чтобы ты наконец усвоил: я слишком стар, чтоб взваливать на себя новую тяжесть. Просто слишком стар. И если кому-то так уж хочется дожидаться помощи — пусть подождет. Пора бы уж перестать дожидаться.

— Дело не только в деньгах. Есть и другое, что отец может дать сыну.

Он поднял серые глаза, ноздри у него раздулись, и это выражение мучительной мольбы окончательно взбесило доктора. Он сказал с предостережением:

— Смотри, Уилки! Ты злоупотребляешь моим терпением.

— Вот уж чего не хотел. Но одно твое слово, просто слово так много бы сделало. Я никогда не одолевал тебя просьбами, но ты недобрый человек, папа. Ты не даешь и той малости, о которой я прошу.

Он понял, что отец в полной ярости. Доктор Адлер хотел что-то сказать, потом приподнялся, прикрылся простыней. Рот перекоксился, большой, темный, и он сказал Вильгельму:

— Ты хочешь превратить себя самого в мой крест. Но я не собираюсь взваливать этот крест. Скорей я тебя в гробу увижу, Уилки, чем допущу такое.

— Папа, послушай! Послушай!

— Да уйди ты, уйди! Видеть тебя не могу, слизняк! — орал доктор Адлер.

Вильгельм весь зашелся от точно такой же ярости, но сразу же он сник, охваченный безвыходной тоской. Еле выговорил, с какой-то светскостью даже:

— Хорошо, папа. Достаточно. Кажется, больше не о чем говорить.

И тяжело двинулся за дверь, прошел через бассейн, парилку, с трудом одолел два долгих марша. На лифте поднялся в холл. Справился в регистратуре про Тамкина.

Регистратор сказал:

— Нет, я его не видел. Но тут, по-моему, вам что-то есть.

— Мне? Дайте сюда.— Вильгельм раскрыл записку — это жена звонила. Прочел: «Просьба позвонить миссис Вильгельм. Срочно».

Всегда, когда получал от жены такие записки, он пугался за детей. Бросился к телефону, рассыпал мелочь из карманов на стальную гнутую полочку под аппаратом, набрал номер.

— Да? — сказала жена.

В прихожей лаял Пеналь.

— Маргарет?

— Да, я тебя слушаю.— Других форм приветствия не полагалось. Она сразу его узнала.

— Мальчики в порядке?

— На велосипедах катаются. А что такое? Пеналь, молчать!

— Меня напугала твоя записка. Хорошо бы ты пореже употребляла это твое «срочно».

— Нам надо поговорить.

От знакомых непререкаемых интонаций у него засосало под ложечкой, потянуло не к Маргарет, нет, но к тому давнему покою.

— Ты мне прислал чек с неверной датой,— сказала она.— Я не могу этого допустить. На пять дней позже. Ты поставил двенадцатое число.

— Ну нет у меня денег. И негде взять. Не отправишь же ты меня в тюрьму по этому поводу. Хорошо еще, если к двенадцатому раздобуду.

Она ответила:

— На твоём месте я бы постаралась, Томми.

— Да? А зачем? Ответы! Чего ради? Чтоб ты налево и направо меня поливала? Ты...

Она оборвала:

— Ты сам прекрасно знаешь, чего ради. Я должна растить мальчиков.

Вильгельма в тесной будке прошиб пот. Он свесил голову, задрал плечи, раскладывая мелочь рядками, маленькие монетки, покрупней, покрупней.

— Я делаю что могу,— сказал он.— У меня тяжёлая полоса. Честно говоря, я не знаю, на каком я свете. Не знаю, как выкручусь. Ума не приложу. Лучше не думать. Это все случилось на днях, Маргарет. Не приведи бог снова дожить до такого. Честно тебе говорю. Так что сегодня даже смысла нет ломать голову. Завтра я кой с кем увижусь. Один — менеджер. Другой с телевиденья. Но с актёрством это не связано,— заторопился он.— Это по деловой части.

— Опять эти разговоры, Томми,— сказала она.— Надо помириться с «Роджекс корпорэйшн». Они тебя возьмут. Хватит тебе. Уже не молоденький.

— Не понял.

— Ну вот,— сказала она спокойно, и непререкаемо, и беспощадно,— ты рассуждаешь как молоденький. Каждый день собираешься начать все сначала. Но этот номер уже не пройдет. Тебе восемнадцать лет осталось до пенсии. Никто не возьмет нового человека в таком возрасте.

— Знаю. Но послушай, зря ты со мной так резко. Я не стану ползать перед ними на коленях. И зря ты со мной так резко. Не так уж я много тебе вреда причинил.

— Томми, мне приходится за тобою гоняться, выбывая из тебя деньги, которые ты нам должен, и мне это крайне неприятно.

Вдобавок ей было крайне неприятно, что голос у нее, оказывается, резкий.

— Я стараюсь сдерживаться,— сказала она.

Он так и видел всегда аккуратно подстриженную седеющую челку над решительным лицом. Она горда своей справедливостью. Не желаем мы, думал он, понимать, что мы такое творим. Пусть льется кровь. Пусть у кого-то душа расстается с телом. Пусть. Так действуют слабые; спокойно, по справедливости. И вдруг — р-раз! р-раз!

— А на «Роджекс» меня возьмут? Да мне на брюхе перед ними ползать придется. Не нужен я им. Через столько лет — не сделать меня пайщиком фирмы! Как я вытяну вас троих и сам смогу жить, если они мне вдвое сократят район действий? Да и чего мне стараться, раз ты палец о палец не желаешь ударить, чтобы помочь? Я послал тебя снова учиться, правда? Ты тогда говорила...

Он повысил голос. Ей это не понравилось, она перебила:

— Ты меня неверно понял.

— Пойми — ты меня убиваешь. Неужели ты настолько слепа? Не убий! Забыла? Она сказала:

— Ты просто сейчас разъярен. Вот успокойся, тогда и поговорим. Я верю в твою способность зарабатывать.

— Маргарет, ты, кажется, не вполне улавливаешь ситуацию. Тебе надо поступить на работу.

— Абсолютно не надо. Я не могу бросить двоих детей на произвол судьбы.

— Они уже не маленькие,— сказал Вильгельм.— Томми четырнадцать. Полу скоро десять.

— Послушай,— сказала Маргарет.— Если ты будешь так орать, Томми, мне придется повесить трубку. У них опасный возраст. Сколько этих дурных компаний — родители оба работают, или семья развалилась.

Снова она ему воткнула, что это он ее бросил. Она взваливает на себя воспитание детей, ну а ему уж придется платить за свою свободу.

Свобода! — думал он с тоской. Пепел ем как хлеб, вот и вся свобода. Дай ты мне моих детей. Они и мои ведь тоже дети.

Неужели ты та женщина, с которой я жил? — чуть не сказал он. Неужели ты забыла, как долго мы спали вместе? И ты можешь так безжалостно со мной поступать?

Ему будет лучше с Маргарет — вот к чему она гнула, вот что разжевывала. «Плохо тебе? — говорила она.— Так тебе и надо». И не мог он к ней вернуться, не мог, как не мог он клянуть, чтоб его приняли обратно в «Роджекс». Нет, невозможно, хоть режь. Маргарет ему все отравила с Олив. Она бьет его, бьет, топчет, дух из него вышибает.

— Маргарет, пожалуйста, прошу тебя, ты все же подумай насчет работы. У тебя же этот диплом. Зачем я, спрашивается, платил за обучение?

— Потому что так казалось целесообразней. Но это была ошибка. Мальчикам в переходном возрасте нужен родительский глаз, нужен дом.

Он молил:

— Маргарет, пощади меня. Сколько можно! Я дошел до ручки, я погибаю. Ну подумай, зачем тебе брать на душу грех? Не надо, Маргарет. Я чувствую, я вот-вот рухну.— Лицо у него раздулось. Он стучал кулаком по стали, дереву и гвоздям телефонной будки.— Дай ты мне продохнуть. Ну очокурюсь я— и что? Одного я никак не пойму. Как ты можешь так обращаться с человеком, с которым так долго жила, который отдал тебе лучшие годы своей жизни? И так старался. Который тебя любил.— От одного слова «любил» его бросало в дрожь.

— Ах,— сказала она и шумно вздохнула.— Начинается. Ну а как ты это себе представлял? Что все тебе сойдет без сучка без задоринки? Ты, кажется, знал, на что идешь.

Возможно, она не собиралась грубить, но долго копила обиду и вот сорвалась, не удержалась и в отместку лягнула его побольнее.

Снова он стукнул по стене будки, на сей раз костяшками пальцев, воздуху в легких хватало только на шепот, сердце выскакивало из груди. Он топтался в тесном загоне.

— Разве я вечно не стараюсь изо всех сил? — вопил он, но сам слышал только слабенький, жиденький свой голос.— От меня берется все, а мне ничего не дается. Нет такого закона, чтоб за это карать, но ты совершаешь против меня преступление. Перед Богом. Это не шутка. Я серьезно. Перед Богом. Рано или поздно мальчики все узнают.

Твердым ровным голосом Маргарет сказала ему:

— Я не позволю на себя орать. Вот когда ты будешь говорить нормально и сообщая что-нибудь конструктивное, тогда я тебя выслушаю. А теперь хватит.— И повесила трубку.

Вильгельм пытался сорвать аппарат. Скрежетал зубами, цеплялся за черный ящик остатанельными пальцами, стонал, дергал. Потом увидел, что пожилая дама в совершенном ужасе смотрит на него сквозь стекло, и бросился из будки, забыв на полке всю мелочь. Сбежал по ступенькам на улицу.

На Бродвее еще горел день, загазованный воздух застывал под свинцовыми спицами солнца, у зеленных и мясных петляли опилочные следы. И огромные, огромные толпы неистощимым потоком всех родов и племен текли, перли — всех возрастов, всех настроений, владельцы всех человеческих тайн, древних, будущих, но в каждом лице что-то особенно четко чеканилось, что-то главное, суть: я работаю, я транжирую, я боюсь, замышляю, я люблю, я держусь, я сдаюсь, я завидую, уповаю, презираю, погибаю, скрываю, я хочу. Валят, валят, и никому бы не честь. Тротуары шире любой мостовой; улица разбухла, дрожала, сверкала и, Вильгельму казалось, билась на последнем пределе. И хотя солнечный свет был как широкая сеть, он тяжело давил на Вильгельма, и Вильгельм качался как пьяный.

Умру, но добыюсь развода, думал он. Ну а с папой, ну а с папой... сдам машину в утиль и заплачу за гостиницу. На коленях приползу к Олив, скажу: «Еще немножко потерпи меня. Не дай ей победить, Олив!» И он думал: я попробую начать все сначала с Олив. Да, я должен. Олив меня любит. Олив...

Возле лимузинов, в ряд стоявших у тротуара, он, кажется, увидел Тамкина. Конечно, он уже раз купился на шляпу с шоколадной лентой, не хотелось бы повторить ошибку. Но разве это не Тамкин, вздернув плечи, так серьезно беседует с кем-то под тентом похоронного бюро? Там какие-то пышные похороны. Он ловил неповторимую физиономию под темно-серой модной шляпой. Две открытых машины завалены цветами, полицейский расчищает дорогу пешеходам. И разве там, под тентом, не Тамкин проклятый беседует, жестикулируя, с важным видом?

— Тамкин! — завопил Вильгельм и ринулся вперед.

Но его отстранил полицейский, держа дубинку в обеих руках, как скалку. И Вильгельм оказался даже дальше от Тамкина и тихонько ругал легавого, который все теснил его, отгирал, пер на него пузом: «Проходите, проходите»,— лицо красное, потное, рыжим мехом брови. Вильгельм сказал надменно:

— Нечего людей пихать.

Но полицейский был, в общем, не виноват. Ему приказали расчищать дорогу. Вильгельма уже несли толпа.

Он кричал:

— Тамкин!

Но Тамкин исчез. Или, верней, самого Вильгельма улипа внесла в храм. Вдавила внутрь, в прохладный сумрак, и там отпустила. Вентилятор овеял и обсушил лицо, которое он нещадно тер платком, стирая соленую едкость. Он вздохнул, услышав придыханья органа, увидев людей на скамьях. Мужчины в парадных костюмах, черных шляпах мягко ступали взад-вперед по пробковому полу, взад-вперед по трансепту. Белизна витража была перламутровая, синева Звезды Давидовой текла бархатной лентой.

Ничего, думал Вильгельм, если это там Тамкин стоял, лучше я тут его подожду, тут прохладно. Странно, он не говорил, что идет сегодня на похороны. Ну да на него и похоже.

Но через несколько минут он забыл про Тамкина. Он стоял у стены вместе с другими и смотрел вперед, на гроб и на медленную очередь, которая двигалась мимо, глядя в лицо покойного. Вот и Вильгельм попал в эту очередь и медленно, медленно, шаг за шагом, под тревожный, гулкий, пугающий, но щедрый стук сердца он подошел к гробу, остановился и посмотрел. Он задержал дыхание, глядя на труп, и вдруг лицо у него набрякло и глаза засияли от неожиданных слез.

Мертвец был седой. Две крупных седых волны вставали надо лбом. Но он был не старый. Лицо длинное, костистый, тонкий, с легкой горбинкой нос. Брови подняты будто от последней, окончательной мысли. Наконец-то она посетила его после всей путаницы и сомнений и когда плоть его уже перестала быть плотью. И Вильгельма так пронял этот задумчивый вид, что он не мог отойти. Был момент острого ужаса, потом мутно затомилось сердце, а он все не мог отойти. Он вышел из очереди и остался у гроба и сквозь тихие слезы разглядывал мертвого, куда похоронщики с застланными взглядами двигались мимо атласного гроба вперед, к насыпи лилий, сирени и роз. Переполненный огромной теснящей печалью, почти восторгом, Вильгельм кивал, кивал. На первый взгляд мертвец в торжественной этой рубашке с галстуком, в шелковых лацканах, пудренный, был так благопристоен; но если приглядеться, так — страшен, думал Вильгельм, и до чего проваленные глаза.

Отступив в сторонку, он дал волю слезам. Сперва он просто всплакнул от сентиментальности, но дальше его всего захватило. Он рыдал в голос, лицо искажилось, горело, слезы жгли кожу. Человек, иное человеческое существо, — вот что сначала проходило в сознание, но было другое, совсем другое, что отрывал, отнимали у него. Что же мне делать? Меня обобрали и кинули... Ох, Отец мой, чего прошу у тебя? Что я буду делать с детками — Томми, Полом? С моими детками. А Олив? Милая! За что? За что? Защити ты меня от дьявола, который жаждет моей гибели. Если хочешь — убей меня. Возьми, возьми мою жизнь.

Потом слов уже не было, не было мыслей. Он рыдал и не мог остановиться. Его прорвало, в нем открылся источник слез, глубинный, горячий, и слезы были ужасны, текли, и текли, и душили его, и горбили плечи, сотрясали все тело, искажали лицо и даже руки коржили, которые мяли платок. Все попытки сдержаться были напрасны. Узел боли и тоски завязался в груди, разбух, и он совершенно сдался, он уже не боролся с рыданиями. Он надрывал себе сердце в слезах.

Он, единственный во всем храме, плакал. Его никто не знал.

Одна женщина сказала:

— Может, это брат двоюродный из Орлеана, которого ждали?

— Видно, из своих — так убиваться!

— Ой-ей, ой-ей! Чтоб меня так оплакивали, — сказал кто-то и сверкнул на тяжело трясущиеся плечи Вильгельма, перекошенное лицо и седоватые светлые пряди заvistливым взглядом.

— Может, родной брат?

— Ну, сильно сомневаюсь, — сказал друтой. — Ни малейшего сходства. День и ночь.

Цветы и огни сплывались перед мокрым, слепым взглядом Вильгельма; музыка, тяжелая, как море, текла ему в уши. Она в него вливалась, и он стоял, прячась в толпе, в огромном счастливом забвении собственных слез. Он слышал музыку и он тонул, погружался — глубже печали, сквозь рваные всхлипы, рыдания туда, где успокоится сердце.

*Перевела с английского Е. СУРИЦ.*

# ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР ЦИПКО

\*

## ХОРОШИ ЛИ НАШИ ПРИНЦИПЫ?

*Наше общество нынче завязло в плюрализме. Это его страсть. Как будто плюрализм — это единственное и универсальное средство решения всех проблем, как будто он — уже само решение. При этом нам кажется, что мы впервые открываем не только самих себя, но и разного рода истины тоже. А между тем нам не только, а может быть, и не столько нужно открывать, сколько включаться в те понятия и дискуссии цивилизованного человечества, от которых мы отстали, отшатнулись, которые давным-давно развиваются без нашего участия, но то и дело — со ссылками на нас, прежде всего на нашу практику и опыт. Достаточно горький И теории наши в этом познавательном процессе современного мира заметной роли тоже не играют, потому что они слишком хороши при сопоставлении с нашими опытом и практикой. Мы привыкли не замечать, как наша практика опровергает наши же теории.*

*Статья А. Ципко — решительный и серьезный шаг в этом направлении. И публикуя ее, мы полагаем, что она вызовет не менее серьезные отклики наших теоретиков, более того — привлечет внимание и на Западе, а может быть, и на Востоке, одним словом, всюду, где читается и переводится наш журнал, а проблемы, поднятые А. Ципко, представляют интерес, где они десятилетиями и даже более ста лет владеют многими умами.*

С. ЗАЛЫГИН

Но горе тому, кто иллюзии своего тщеславия или заблуждения своего ума принял бы за высшее просвещение, которое будто бы освобождает его от общего закона!

П. Я. Чадаев.

1

**В** недавнем опубликованном дневнике М. М. Пришвина 1930 года есть одно наблюдение, которое имеет к нашим перестроечным делам самое прямое отношение. Речь там идет об особенностях мышления сочувствующей марксизму интеллигенции. М. М. Пришвин называет этих людей высшими барами марксизма, хотя, кроме Л. Б. Каменева, никого из видных большевиков не упоминает. Все остальные примкнувшие, сочувствующие — А. М. Горький, В. А. Руднев, А. И. Тихонов «Их руки чисты не только от крови, но даже от большевистских портфелей», — добавляет М. М. Пришвин. Правда, как записывает здесь же автор дневника, дело не в личностях, а в способе их мышления.

Странность этих людей, полагал М. М. Пришвин, состоит в том, что они, с одной стороны, все видят, но, с другой, не видят ровным счетом ничего. Они критикуют принудительную коллективизацию, хорошо понимают, что она ничего, кроме страданий, крестьянину не принесет, но не в состоянии даже про себя назвать вещи своими именами, сказать, что происходящее является преступлением, и самое главное, не видят, не понимают, чем вызвана эта страшная беда. Они, подмечает М. М. Пришвин, и мысли не могут допустить, что корень всех ужасных преступлений не в Сталине, а в исходной идее коллективизации общественной жизни. Напротив, они убеждены, что, мол, «все принципы у нас очень хорошие, желать больше нечего; разве сам по себе коллективизм плох или не нужна стране индустриализация?».

Вместо того чтобы наконец на тринадцатом году революции опомниться, понять, что произошло с их страной, они, записывает М. М. Пришвин, «все неразумное в политике презрительно называют головоутием. Это слово употребляют вообще и все высшие коммунисты, когда им дают жизненные примеры их неправильной, жестокой политики. Помню,— вспоминает М. М. Пришвин,— еще Каменев на мое донесение о повседневных преступлениях ответил спокойно, что у них в правительстве все разумно и гуманно. «Кто же виноват?» — спросил я. «Значит, народ такой», — ответил Каменев. Теперь то же самое, все ужасающие преступления этой зимы относят не к руководителям политики, а к «головоутиям»... Для них, высших бар марксизма, головоутиями являются уже и Сталины... Их вера, опорный пункт — разум и наука. Эти филистеры и не подозревают, что именно они, загородившие свое сердце стенами марксистского «разума» и научной классовой борьбы, являются истинными виновниками „головоутияства“<sup>1</sup>.

Время не властно над верой наших российских, советских ортодоксов. И сегодня, на семьдесят третьем году нашей революции, они убеждены, что принципы марксизма во всем хороши. Несмотря на то, что уже после страшной русской зимы конца 1929 — начала 1930 года во имя учения о классовой борьбе и диктатуре пролетариата были совершены еще сотни преступлений, они продолжают настаивать на том, что все беды — от головоутия Сталина и тех, кто шел за ним.

Сегодня уже на каждом углу, в каждой очереди говорят, что отказ от конкуренции и рынка разорил нашу экономику и нашу страну, что социалистическое монопольное производство является кладбищем для передовой техники и научно-технического прогресса, что общественная собственность всегда будет ничейной, что воровство и потери оттого, что нет хозяина, что никто ни за что не отвечает, никому ничего не надо. Но наши философы и публицисты предпочитают ничего не слышать, ничего не видеть и настаивать на истинности марксистской теории обобществления средств производства. И Г. Лисичкин, и О. Лацис, и Г. Водозапов, и А. Бутенко, и И. Клякин, и Н. Симония, и даже Г. Попов уверяют читателя в том, что ничего мудрее, чем марксистское учение о реальном обобществлении средств производства, человечество не придумало. Дружным хором звучат предостережения не рвать с Марксом, идти с Марксом до конца, делать перестройку по Марксу.

Сегодня, особенно после восстания Румынии против диктатуры Чаушеску и других сравнительно более мирных событий в восточноевропейских странах, уже, казалось бы, нельзя не признать, что везде и во всех случаях диктатура пролетариата, монополия правящей коммунистической партии ведет к тоталитаризму или авторитаризму, обобществляется новым жестоким подавлением личности и тех же трудящихся масс. Уже, казалось бы, очевидно, что полное обобществление средств производства, тотальная национализация, подрывает экономические основы демократии, создает благоприятные условия для произрастания различных деспотических режимов. Сталинизм, ракошизм, маоизм, полпотовщина, ходжеризм, семейная клика Чаушеску — вот далеко не полный перечень политических монстров, вскормленных идеями социалистической революции. Коммунистическая идеология породила за семьдесят лет столько чудовищ, сколько старая частнобуржуазная цивилизация не сумела породить за три века. Но этот кричащий факт также остается вне внимания нынешних советских ортодоксов. Напротив. Все они с упоением пишут о демократизме и гуманизме марксизма, обещающего чудеса свободы и духовного раскрепощения личности.

Несомненно, политика гласности, открытости, рожденная нашей перестройкой, подтолкнула и ускорила десталинизацию в странах Восточной Европы. Но нельзя не видеть, что одни и те же общие для всех социалистических стран демократические процессы ведут в СССР к неожиданным, непрогнозируемым мировоззренческим результатам.

Везде, во всех странах Восточной Европы десталинизация сопровождается деидеологизацией экономики, политической жизни, отказом от марксизма как государственной идеологии. Во всех этих странах всем с самого начала был виден корень зла, были видны марксистские доктринальные причины застоя в экономике и насилия в политической жизни. Тут всем было ясно, что не может быть какого-либо разговора о духовной свободе, пока не будет покончено с марксистской монополией на социальную истину, с мифом, согласно которому только марксизм является научной и верной социаль-

<sup>1</sup> Пришвин М., «1930 год» («Октябрь», 1989, № 7, стр. 146).

ной теорией. Не случайно даже в ГДР, которую многие наши философы рассматривали как оплот марксистского фундаментализма, движение к свободе началось с упразднения прежних идеологических структур, с роспуска Академии общественных наук при ЦК СЕПГ, Института марксизма-ленинизма, с закрытия кафедр научного коммунизма и т. д. Аналогичным образом развивались события и в ЧССР. Нашим восточноевропейским соседям ясно, что нельзя раскрепостить экономику, провести денационализацию, вернуться к индивидуальному и коллективному предпринимательству, не преодолев марксистское учение о плановой, монопольной экономике, не преодолев мечту о всеобщем равенстве, о бесклассовом обществе.

И наконец, наши соседи понимают (в Польше об этом писали уже в 1979 году), что государство должно принадлежать не одной лишь партии, а всем гражданам: беспартийным в равной мере, как и партийным, верующим в равной мере, как и атеистам. Поэтому в Восточной Европе первым шагом к демократии стала деидеологизация государства, деидеологизация армии и органов государственной безопасности, деидеологизация производства. Но так разворачиваются события у них.

Мы же в силу своей роковой ослепленности все делаем наоборот. Мы связываем десталинизацию с возвращением к марксистским идеалам Октября, с возвращением к «первоистинам». Об этом пишут и говорят не только лидеры партии, но и люди «неангажированные», включая многих наших «свободных художников». Вот в чем заковыка.

Сегодня, на семьдесят третьем году русской революции, несмотря на то, что наше многострадальное отечество уже десятки раз обжигалось о «подлинный и чистый марксизм» (чего стоила только одна наша борьба с мелкобуржуазными пережитками), ортодоксов от марксизма едва ли не больше, чем во времена Пришвина и Горького. Но тогда многие причисляли себя к марксистам от страха. А сегодня-то почему?

В марксизме, в его чистых, глубоких принципах ищут панацею от нынешних бед представители довольно-таки различных политических направлений и убеждений. И сталинисты типа Нины Андреевой, и антисталинисты, как, скажем, О. Лацис, Г. Лисичкин, А. Бутенко. И демократы, считающие себя подлинными европейцами, интернационалистами, и государственники, называющие себя патриотами России. И члены межрегиональной группы, и ее ярые противники. Люди борются, хватают друг друга за грудки. Но при этом все одновременно торопятся присягнуть на верность марксизму, а заодно и застолбить за собой право выступать в качестве его единственно верного толкователя.

Философ Г. Водолазов, протянувший через десятилетия руку Василию Гроссману, в статье, предвещающей журнальную публикацию повести «Все течет», полагает, что и ныне принципы марксизма, «развиваемые применительно к сегодняшним условиям, являются главным и наиболее совершенным инструментом борьбы против всех форм и разновидностей сталинизма»<sup>2</sup>. Но в этом убежден и писатель Александр Проханов, отвергающий повесть В. Гроссмана «Все течет», обвиняющий ее автора в русофобии. Он, Проханов, тоже настаивает на том, что без марксистской, социалистической идеологии Россия не будет счастлива. Писатель не только не связывает повседневные преступления сталинизма с марксистским учением о классах, но, напротив, видит в идеале в бесклассовом обществе интегрирующее начало нашей жизни. «Этот грядущий идеал,— пишет А. Проханов,— отдаленная почти в бесконечность «цель-мечта» проявлялись в обыденной жизни множеством установок, форм коллективного поведения, скрепляющих нас в единое государство и общество»<sup>3</sup>.

Уже два десятилетия ведут бескомпромиссную борьбу на страницах нашей печати философы А. Бутенко и Р. Косолапов. По-разному они оценивали и оценивают роль Сталина в нашей истории и жизни государства. Но они едины в том, что причины наших бед, включая причины хорошо известных преступлений насильственной коллективизации, следует искать не в принципах марксизма, а в отступлении от этих принципов, в «головотяпстве» Сталина и его преемников. И Р. Косолапов и А. Бутенко своей критикой «головотяпств» Сталина подводят читателя к выводу, что пора начинать все сначала, что перестройка имеет смысл только как возвращение к чистым принципам марксизма. Так как планирование по Марксу после Ленина фактически не осуществлялось, пишет автор работы «Плоды просвещения», то «одно из главнейших революцион-

<sup>2</sup> Водолазов Г., «Ленин и Сталин» («Октябрь», 1989, № 6, стр. 29).

<sup>3</sup> Проханов Александр, «Трагедия централизма» («Литературная Россия», 5.01.90, стр. 4).



ных требований перестройки состоит в том, чтобы его наконец начать»<sup>4</sup>. О том, что свобода и демократия возможны только на пути движения к идеалам и принципам марксизма, из статьи в статью повторяет и А. Бутенко<sup>5</sup>.

Вряд ли кто сомневается в гражданском мужестве Г. Попова. Но даже этот смелый и серьезный исследователь, отважившийся сказать, что большевики, начавшие мировую пролетарскую революцию в России, оказались в роли героев, штурмующих небо, тем не менее о марксизме мыслит точно так же, как и его политические противники, коммунистические фундаменталисты как герои дневника М. М. Пришвина. Своими статьями об ошибках второй программы РКП(б) Г. Попов вольно или невольно подталкивает читателя к той же мысли о прочности марксистского разума. Идеи научного коммунизма, идеи Маркса были верны, настаивает Г. Попов, но только надо было их применять не в России 1917 года и даже не в Западной Европе первой четверти XX века. Прибегать к ним следует лишь тогда, когда «коммунизм приходит как неизбежный итог объективного развития капитализма по присущим капитализму законам»<sup>6</sup>.

«Трудно утверждать, — пишет к примеру, А. Бутенко, — что политическая система времен культа личности с ее массовыми репрессиями, антигуманизмом и технократическим подходом представляла собой политическое господство рабочего класса и его союзников. Было бы кощунственно утверждать, что власть рабочего класса вообще способна на такое. Гораздо правильнее считать, что налицо была осуществленная И. Сталиным и его окружением узурпация классового господства со всеми ее извращениями, деформациями и бонапартистской игрой на несовпадении интересов рабочих, крестьян и служащих».

Многие наши ученые вполне искренне убеждены, что чем яростнее они будут разоблачать пороки сталинского режима или застойного общества, тем больше у читателей будет крепнуть убеждение в непричастности марксизма, его истин и принципов ко всему происшедшему в нашей стране в 30 — 40-е годы. «Разве можно назвать социализмом страну, превратившуюся в единую фабрику и функционирующую по образцу и подобию армейского гарнизона?», «Разве вяжутся с социализмом тюремная организация производства и жизни, отчуждение, крепостное право в деревне?» — вопрошает П. Бунич, автор статьи «Какой же строй мы построили?».

Нынешние поборники чистоты марксизма о цене не думают. Они готовы даже Ленина назвать головотягом, лишь бы сохранить у нашего легковерного российского читателя иллюзию в непогрешимости великих учителей-предсказателей, желание идти до конца, до полной и окончательной победы социализма во всемирном масштабе.

В этой ситуации, когда нарастающая волна социальной критики начала подступать к скрижалям их вероучения, они, чтобы хоть как-то сдержать бушующий поток, начали бросать в него все что можно. Лишь бы спасти «вечные принципы». Сначала, чтобы вывести марксизм из-под удара, они пожертвовали сталинским периодом нашей истории, убеждая нашего легковерного читателя, что мы жили тогда и строили не по Марксу и Энгельсу, а по Дюрингу<sup>7</sup>. Затем, когда обнаружилось, что Сталин с его сверхлевизной, администрированием, ненавистью к мелкой буржуазии, и прежде всего к крестьянству, тянет за собой в пучину и всех других вождей Октября, и прежде всего Ленина эпохи военного коммунизма, то оставалось только отрубить от марксизма, от его принципов и Октябрь, и весь новый опыт социалистического строительства. В результате и Октябрь, и вся наша последующая социалистическая история превратились в одно сплошное головотяпство, никакого отношения к марксизму не имеющее. (Любой кто не утратил здравого смысла, увидит, что дело Сталина — ну, допустим, ликвидация крепкого крестьянина, мелких ремесленников — органически связано с делом Октября, что большевики, избрав путь покорения мелкобуржуазной России, уже не могли отступить, не отказавшись от власти, не сложив головы.)

В этой новой идеологической ситуации у нынешних ортодоксов действительно оставался один выход: отказаться от Октября, отказаться от Ленина, дабы сохранить веру в истинность марксизма, а тем самым сохранить возможность нового коммунисти-

<sup>4</sup> Штраль Ил. «Плоды просвещения» («Московский университет», 14.02.89).

<sup>5</sup> См., например Бутенко А. П. «Виновен ли Карл Маркс в «казарменном социализме?» («Философские науки» 1989 № 4 стр. 25 — 26)

<sup>6</sup> Попов Г. «Программа, которой руководствовался Сталин» («Наука и жизнь», 1989, № 7, стр. 47)

<sup>7</sup> См.: Лисицкий Г., «Мифы и реальность. Нужен ли Маркс перестройке?» («Новый мир», 1988, № 11).

ческого наступления на старый мир, возможность строить новую жизнь в соответствии с Марксовыми предначертаниями. Все дело в том, разъясняет читателю истоки большевистского головоуятия, первородного греха нынешнего социализма, философ Н. Симония, что «в России к 1917 г. действительно не было или «почти не было» готового базиса (уклада) социализма», а потому здесь не могло быть и речи о применении учения Маркса о социализме на практике. Попытки произвести политический взрыв в условиях, когда не сложились материальные предпосылки бесклассового общества, цитирует Н. Симония известное высказывание Карла Маркса, «были бы донкихотством»<sup>8</sup>.

На том же постулате неготовности России для приложения принципов марксизма настаивает и автор статьи «Ленин и Сталин». Ситуация, сложившаяся после Октября 1917 года, пишет Г. Водолазов, была совершенно непригодна для реализации Марксовых «моделей». И здесь же: «...условия для строительства того социализма, о котором писал Маркс и Энгельс (а это, думается, и есть единственно научное понимание социализма), не было пытаться в этих условиях применять «модель Маркса» и означало нырять в ненаполненный бассейн»<sup>9</sup>.

Конечно, разговор о Ленине, в том числе и о его головоуятиях, о тех, которые он увидел сам, и о тех, которые он не сумел и не успел увидеть, назрел. Уместен, необходим разговор о Ленине и с той стороны, которую нам открыл Владимир Солоухин в своей статье «Читая Ленина» («Родина», 1989, № 10). Правда всегда уместна и необходима, тем более советскому человеку, привыкшему жить мифами и иллюзиями. Но у меня вызывает протест та «правда», которая призвана создать благоприятный фон для новой неправды, или для старой, укоренившейся лжи.

Нельзя не видеть, что многие нынешние разоблачители действий Ленина и других вождей Октября стремятся только закрепить у массового читателя веру в непогрешимость выкладок и положений Маркса. Эти авторы облачают грехи большевизма с единственной целью — доказать, что Маркс нужен перестройке, что у России нет будущего без Маркса, что мы, грешные, не доросли еще до понимания Маркса и марксизма. Не случайно же Н. Симония направляет свою критику против тех, кто рискнул сказать, что король голый, что не оправдались выдвинутые марксизмом прогнозы об отмирании товарного производства<sup>10</sup>.

Не скрывает мотивы своей борьбы за Маркса и Г. Лисичкин. Его тоже смущает тот факт, что в последнее время в нашей стране падает авторитет марксизма, что некоторые публицисты позволяют себе усомниться в целостности и универсальности марксистского знания<sup>11</sup>.

Так почему же нашему обществу так глубоко запали в душу Карл Маркс и его идеи? Почему мы не можем отступиться от того, от чего отступились другие народы?

## 2

Может быть, стоит искать причину нашей негибкой приверженности марксизму в поразительном легковерии российского человека, российского интеллигента в частности? Может быть, не случайно многие историки, литераторы, вожди Октября писали о Ленине как о русском национальном типе? Задолго до В. Гроссмана феномен Ленина пытались постичь Н. Устрялов, А. Троцкий, Н. Бердяев и многие другие.

Но, думается, искать истоки марксистской ортодоксальности в русском характере — бесплодная затея. Не следует забывать, что среди русской интеллигенции до революции марксисты-ортодоксы составляли ничтожное меньшинство. Марксизмом преобладали многие, но, как правило, наиболее одаренные, талантливые преодолели марксистские истины, обнаружив их ошибочность. Впрочем, применимо ли понятие «интеллигент» к человеку, который убежден, что нравственно все, что служит интересам рабочего класса, кто полагает, что для него законы, мораль, религия не более как буржуазные предрассудки? Не случайно же цвет русской интеллигенции после граж-

<sup>8</sup> См.: Симония Н. А., «Сталинизм против социализма» («Вопросы философии», 1989, № 7, стр. 29).

<sup>9</sup> Водолазов Г., «Ленин и Сталин» («Октябрь», 1989, № 6, стр. 12)

<sup>10</sup> В этой связи автор вспоминает о М. П. Евсееве, который еще в 1972 году утверждал, что «не все положения, высказанные марксистами о социализме в XIX в., подтверждены опытом современных социалистических стран». что «не оправдались предположения об отмирании товарного производства и денег при социализме и некоторые другие...» (Симония Н. А., «Сталинизм против социализма» — «Вопросы философии», 1989, № 7, стр. 39).

<sup>11</sup> См.: Лисичкин Г., «Мифы и реальность» («Новый мир», 1988, № 11, стр. 165).

данской войны вынужден был покинуть Россию. Не случайно и то, что в самой большевистской партии образованные люди составляли ничтожное меньшинство!

Ленин несомненно выдающаяся фигура не только русской, но и мировой истории. Однако что дает основание считать Ленина более национальным типом, чем лидеров Думы? Только то, что он выиграл, а те проиграли. Но ведь не всякий отважится эксплуатировать ненависть и злобу обойденных и униженных во имя собственного политического триумфа...

Думается, Гроссман абсолютно прав, когда утверждает, что нет проблемы Сталина, а есть проблема Ленина, большевизма. Но он не прав, когда игнорирует марксистские истоки большевизма. Потому-то В. Гроссман во многом и противоречит сам себе. С одной стороны, он утверждает, что Россия сама избрала Ленина, пошла за ним. Но с другой — что для достижения победы ему пришлось покорять Россию мечом и огнем, сметая с лица земли волости, губернии, опаривавшие его правоту. Так кто же шел за Лениным? Гроссман ошибается в главном — в утверждении, что «высшей святыней русской революции», Октября была свобода, которую якобы предал Ленин. Нетерпимость Ленина к политической свободе, о которой пишет В. Гроссман, идет не от русского характера, а прежде всего от марксистского учения о диктатуре пролетариата, от марксистского убеждения, что буржуазные права и свободы, буржуазный парламентаризм и свобода печати должны пасть в ходе победоносной пролетарской революции. Если бы В. Гроссман хорошо знал историю социалистической мысли, он бы обнаружил, что «нарушать житейские принципы морали ради принципов грядущего» учили не только Бакунин и Нечаев, но и Карл Маркс. Когда Ленин учил молодежь, что нравственно все, что служит делу победы коммунизма, то он повторял Маркса.

По-видимому, когда речь идет о революционере, тем более о стороннике учения о диктатуре пролетариата, то вопрос о национальном характере отступает на задний план. Русские Ленин или Бухарин намного ближе по своим чувствам и убеждениям к еврею Бела Куну или к поляку Дзержинскому, чем, допустим, к русскому В. Г. Короленко.

Если бы В. Гроссман внимательно прочитал труды Маркса, его переписку, то он обнаружил бы, что Ленин как личность весьма схож со своим учителем Марксом. Ему свойственны та же безжалостность, та же грубость по отношению к политическому противнику, та же органическая неспособность допустить «хотя бы частичной правоты своих противников, хотя бы частичной своей неправоты».

О Ленине как типично русскому представителе марксизма писали многие. Но, в сущности, никто так и не смог привести какое-либо развернутое обоснование своего тезиса. Принято считать, об этом, к примеру, писал Л. Д. Троцкий, что русскость Ленина проявляется в его цельности, в том, что он всего себя подчинил практике, подчинил всю свою умственную деятельность вопросам подготовки революции, организационным вопросам, что он деловит. «Литературный и ораторский стиль Ленина,— говорит Троцкий в статье «Ленин как национальный тип»,— страшно прост, утилитарен, аскетичен, как и весь его уклад. Но в этом могучем аскетизме нет и тени моралистики. Это не принцип, не надуманная система и уже, конечно, не рисовка,— это просто внешнее выражение внутреннего сосредоточения сил для действия. Это хозяйская, мужицкая деловитость, но только в грандиозном масштабе. Маркс — весь в «Коммунистическом Манифесте», в предисловии к своей «Критике», в «Капитале». Если б он даже не был основателем Первого Интернационала, он навсегда остался бы тем, чем является сейчас. Наоборот, Ленин весь в революционном действии. Его научные работы — только подготовка к действию. Если бы он не опубликовал в прошлом ни одной книги, он навсегда вошел бы в историю таким, каким входит теперь: вождем пролетарской революции, основателем Третьего Интернационала»<sup>12</sup>.

Но разве можно по цельности, практичности мысли, последовательности, деловитости как чертам одного отдельно взятого характера определить национальный тип? Если встать на точку зрения Троцкого, то тогда надо сказать, что Мартин Лютер был не немцем, а русским. Ведь человек, с именем которого связано начало реформации, обладал всеми теми же чертами, что Ленин. Поразительная цельность, целеустремленность, подвижническая вера в свое предназначение, но одновременно чисто крестьянская хитрость, мужицкая хватка и т. д. Если встать на точку зрения Л. Троцкого, то

<sup>12</sup> Троцкий Л. Ленин как национальный тип. Ленинград. 1924, стр. 6—7.

тогда надо сказать, что А. Герцен и М. Бакунин не были русскими, революционерами, ибо им как раз не хватало того, чем обладал Ленин: организационных способностей, верности избранному пути, фанатизма, сектантских черт. Да и с каких это пор аскетизм в быту и скрытность, замкнутость являются отражением русскости?

Есть что-то надуманное и ложное в этом назойливом подчеркивании русскости, и ленинской ортодоксальности, и ленинской жесткости, доходящей до фанатизма веры в революцию. Если уж говорить честно, то беда Ленина в том, что у него не хватало русскости, не хватало внутренней сопричастности и к русской жизни и к русской истории. У него не было подсознательного, органического самоощущения принадлежности к России, внутреннего понимания того, чего хотят и ждут миллионы и миллионы его соотечественников. Поражение Ленина — его неудачная попытка в 1918—1920 годы ввести в России с помощью штыка коммунистические способы организации труда — свидетельствует о том, что он очень плохо знал свою страну, плохо знал жизнь.

Его трагедия состояла в том, что он ни во что не ставил многовековые традиции русской жизни, православия, никогда серьезно, предметно не думал о них. Солженицын ближе к истине, чем Гроссман, когда упрекает Ленина в недостатке простого человеческого патриотизма, простой боли за людей.

Советская публицистика, как правило, судит о России не конкретно-исторически, а на основе реалий сталинской или нынешней России. А это ведет к ложному образу и русской истории и русского человека. На основе сегодняшнего состояния производства, сегодняшней подготовленности крестьян и рабочих к труду судят в целом о работоспособности русского человека, о его желании и умении хозяйствовать. А ведь от прежней России остался лишь обрубок... В равной мере по нынешнему отношению нашей интеллигенции к Марксу нельзя судить о приверженности русских к идее диктатуры пролетариата и классовой борьбы.

Когда мы вслед за Троцким противопоставляем мыслителя Маркса революционеру и политику Ленину, то не следует забывать, что Маркс стал заметной фигурой в общественной мысли, в истории только благодаря социалистической революции, совершенной Лениным. Останься он только автором «Капитала», интерес к нему и его теории был бы несравненно меньшим...

Как правило, русский интеллигент не мог внутренне принять марксизм, ибо учение о классовой борьбе и насилии как повивальной бабке истории никак не согласовывалось с христианскими традициями, с духовным наследием Толстого и Достоевского, на которых он был воспитан. Осознание того, что даже счастьем всего будущего человечества нельзя искупить грех насилия над одним невинным ребенком, определяло на рубеже XIX—XX веков сознание интеллигента. (Теракты и жертвенность народовольцев заслуживают отдельного обстоятельного и детального разговора.)

Если же духовно здоровый, не забывающий о совести человек и впускал в свою душу марксизм, то ненадолго. Отрывка наступала при первом же столкновении с жизнью. Вспомним, сколь быстро преодолел свою коммунистическую веру рабочий Андрей Платонов, как скоро он обнаружил то, что не могут обнаружить нынешние профессора философии, то есть самую прямую причастность марксистского учения о классах и классовой борьбе к преступлениям, совершавшимся в период коллективизации сталинскими активистами.

И Г. Лисичкин, и Г. Водолазов, и Н. Симония стараются убедить читателя, что научный социализм не имеет никакого отношения к сталинизму и его преступлениям и что исключительно с помощью мировоззрения Карла Маркса можно вести борьбу против всех форм и разновидностей сталинизма. Но вот не окончивший философского факультета, «не остепененный» Андрей Платонов не мог согласиться с фундаментальными принципами социализма, поскольку осознавал: за всеми ужасами, свидетелем которых он был, стоит обожествленный Карл Маркс и его мировоззрение. Писатель понимал: в основе сумасшествия коллективизации лежит сатанинская гордыня Маркса, призвавшего своих учеников подчинить себе стихийное, спонтанное начало жизни, вытравить каленым железом так называемую мелкобуржуазную стихию. «Организация», «организованное движение» и «организационное строительство» — это боги героев «Чевенгура» и «Котлована». Активисты гордятся тем, что после коллективизации «у нас стихии сейчас нет ни капли» и «детья никому некуда», они день и ночь думают о «плане общей жизни». Все их преступления, убийства, насилия над невинными людьми вызваны их стремлением предотвратить «мелкобуржуазный бунт». Безоглядная ка-

низация плана и сознательного начала неизбежно порождает нигилистическое отношение к «бесплановому миру», порождает опасную иллюзию, что «внутри всего света тоска, а только в нас одних пятилетний план».

Платонов видит, что марксистская вера в неизбежность коммунизма, в то, что «все равно счастье наступит исторически», ломает человека, лишает его веры в себя, в закон, мораль, лишает смысла его жизнь. Всему виной, говорит автор «Котлована» и «Чевенгура», учение социализма, классовый подход, разделивший людей на чистых и нечистых, на тех, кому уготовано будущее, и тех, кому суждено умереть. В «Котловане» Андрей Платонов показывает, что мышление рабочих, строящих новую жизнь в деревне, проводивших сплошную коллективизацию, ничем не отличается от мышления несчастной Насти, утратившей от страха, сиротства и одиночества ум. Эти люди даже крестьян убивают как бы во сне, находясь в состоянии гипноза, не отдавая себе отчет в том, что они совершают.

Платонов доказывает, что классовый подход, идея экспроприации экспроприаторов неизбежно порождают злобу, насилие, страх, открывают простор самым нездоровым и темным страстям человека, дают власть над людьми больным, патологическим типам. Руководитель чрезвычайной комиссии Пиюся, очистивший с помощью пулемета коммунистический Чевенгур от всех его мелкобуржуазных жителей, чтобы в нем никто, кроме пролетариев, не жил, в сущности, не нормальный человек, а духовный калека. Этот вершитель судеб десятков тысяч человек «часто забывал думать», у него нет ни ума, ни сердца, ни чувства. Андрей Платонов показывает, как русские люди, зараженные учением о классах и неотвратимости коммунизма, превратились в подлинных чудовищ.

Так писатель решил задачу, которую до сих пор не могут решить знатоки текстов Маркса. Он понял, где и в чем искать идеологическую подоплеку сталинской насильственной коллективизации и других повседневных преступлений сталинизма. Преступления эти были мотивированы мировоззренческими постулатами марксизма.

Разве нет прямой, непосредственной связи между марксистским учением о диктатуре пролетариата, о возможности ускорения общественного развития при помощи авторитета ружья и пушки и сталинской насильственной коллективизацией? Ведь дело не в частности — какими темпами Сталин проводил коллективизацию, — а в исходном марксистском убеждении, что только рабочему классу дано право решать судьбу всех «реакционных» и потому «обреченных» классов. Сталин очень хорошо постиг социальную сущность марксизма как просвещенного патернализма, закрепившего право одних, «просветленных», классов присваивать себе право распоряжаться жизнью и судьбами других, «непросветленных», классов. Поэтому он без тени смущения, без всяких мук совести сам присвоил себе право переломать жизнь миллионам крестьян России. Впрочем, оставаясь марксистом-ленинцем, он даже не имел права мыслить о совести. Учение о том, что законы, мораль, религия — все это для пролетариата не более как буржуазные предрассудки, вполне импонировало уголовному складу его души. Сталинская политика раскулачивания вполне вписывалась в убеждение Энгельса, что настоящий революционер не должен брезговать никакими средствами.

Раз революция, как полагал Карл Маркс, может ускорить муки рождения нового общества, его движение через необходимые фазы развития, то почему Сталин, свято веривший, как и нынешние ортодоксы, в разумность принципов марксизма, не имел права попытаться ускорить социалистическое созревание России. Ведь Ленин, руководствуясь этой же марксистской логикой, используя благоприятную для пролетариата политическую обстановку, решился, как он сам говорил, «протащить социализм в повседневную жизнь»<sup>13</sup>.

Да, Сталин не обладал необходимой философской культурой, чтобы научиться тому изощренному марксистскому языку, которым владели вожди Второго Интернационала. Но он всем своим интуитом воспринял революционную сущность марксизма, его стремление, его претензии на развалинах старого мира сотворить мир новый. Это начало марксизма, соблазняющее людей идеей перехода от предистории человечества к его подлинной истории, вполне соответствовало сатанинской, заговорщической природе Стэлина. Он буквально бредил планами созидания нового мира, новой, социалистической России, был одержим идеей коммунистического преобразования общественной жизни. Попутно разрушалось все — народный быт, семья, религия, национальные свя-

<sup>13</sup> Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 309.

тыни, традиции труда, права и свободы сословий, устои частной и даже личной собственности. Но разве не учил коммунистов Карл Маркс уничтожить все без исключения условия развития частной собственности, разве не учил он негативному критическому отношению к старому миру, к его гражданскому устройству?!

Сталин — марксист прежде всего в силу своей приверженности к революционному насилию, к власти штыка как главного орудия истории. Он, как и учили революционеры классики, не брезговал никакими средствами во имя быстреего продвижения страны по пути социализма и коммунизма, никогда не страдал ни «великодушием», ни «честностью»<sup>14</sup>. Сталин, как и Ленин, внял советам Маркса не бояться террора, прибегать к террору, когда он необходим для удержания власти.

Нежелание Сталина считаться с интересами и мнением подавляющей части жителей города и деревни легко было оправдать марксизмом, отличающим класс, который стал «классом для себя», от класса, который все еще пребывает в политическом сне, является еще «классом в себе».

Польский философ Адам Шафф прав, когда утверждает, что суть сталинизма была выражена задолго до того, как Сталин стал всевластным правителем России. Она — в убеждении многих марксистов, которое этот автор формулирует следующим образом: «...не так важно, что люди мыслят, а важно то, что они должны мыслить». При этом, добавляет А. Шафф, само собой подразумевалось: только партия пролетариата знает, что люди должны мыслить, только она знает истины марксизма.

Конечно, сам по себе факт разграничения научного сознания (что люди должны мыслить) от обыденного (что они мыслят) или противопоставления «передового» мировоззрения авангарда рабочего класса «отсталому» мировоззрению крестьянских масс не ведет автоматически к тем или иным злоупотреблениям или репрессиям. Все зависит от правовой культуры общества, от морального и духовного развития людей, могущих влиять на ход событий. Но убеждение одного человека, что он лучше других знает истину, знает нечто такое, что другим недоступно, само по себе, особенно в экстремальных политических условиях, может стать источником оправдания любого насилия. Возвышая теоретическое сознание революционного авангарда, марксизм закономерно возносил до невероятных пределов власть вождей революции над людьми, возвышал тех, кто якобы овладел законами истории. В рамках некритического отношения ко всему, что выступает от имени марксизма, от имени науки о законах общественного развития, резко возрастала угроза субъективизма и политического произвола над тем, что не совпадало с теоретическим прогнозом будущего.

В этом отношении наибольшую опасность представляют именно эпохи бури и натиска, ибо во время всеобщего экстатического напряжения нет ни духовных, ни политических условий для самопроверки знаний о будущем, для сомнений. Сомневающийся в это время обречен на участь контрреволюционера, противника прогресса, великого дела всемирной пролетарской революции.

Наверное, можно согласиться с А. Шаффом и в том, что гносеологические истоки сталинского пренебрежения к реальным помыслам и чувствам людей лежат еще глубже, и прежде всего в гносеологии Гегеля. Ведь именно Гегель пришел к мысли о различии между «классом в себе» и «классом для себя». Наша всегдашняя привычка противопоставлять подлинные, коренные интересы класса так называемым мнимым, эмпирическим интересам отдельных его представителей как раз и коренится в гегелевском убеждении, что не надо доверять тому, что люди сами думают о себе, поскольку они якобы сейчас не в состоянии дойти своим умом до своих подлинных, сущностных интересов.

Дихотомия «класс в себе» — «класс для себя» подразумевает возможность произвола над «ущербным» классом. Где найти критерий, чтобы отличить истинные мысли от ложных, подлинные интересы от мнимых? Что, к примеру, давало основания Сталину полагать, что большие фабрики зерна суть подлинные интересы крестьянства, а

<sup>14</sup> «Если они окажутся побежденными,— писал Карл Маркс в письме Людвигу Кугельману 12 апреля 1871 года о парижских коммунарах,— виной будет не что иное, как их «великодушие».. Момент был упущен из-за советливости. Не хотели начинать гражданской войны, как будто бы чудовищный выродок Тьер уже не начал гражданскую войну своей попыткой обезоружить Париж! Вторая ошибка. Центральный комитет слишком рано сложил свои полномочия, чтобы уступить место Коммуне. Опять-таки благодаря «честности», доведенной до мнительности!» (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 33, стр. 172).

привязанность к своему клочку земли — мнимые, ложные интересы? Сталин, как и Троцкий, апеллировал к «великой исторической задаче», к идее создания общества, где не будет крестьян. Но ведь сама мысль о подобной великой цели относится к ряду гипотетических идей марксизма.

У «мнимых» интересов при всей их неизбежной ограниченности (ибо фактическое всегда ограничено тем, что наличествует) есть то несомненное преимущество, что они действительны. Ставя их ниже тех интересов, к которым они со временем, как мы полагаем, должны прийти, мы рискуем очень многим. Хорошо, если люди, теоретики и политики, не ошибутся и найдут, сформулируют за рабочих и крестьян их сокровенные интересы. А если ошибутся? А если нет абсолютно достоверных критериев для определения подлинных интересов класса, то как отличить проходимцев, эксплуатирующих веру людей в возможность иной, более счастливой жизни, от тех, кто пришел в этот мир, чтобы пострадать за других?

Трудно доказать, что у Сталина после 1929 года от марксизма, от идеалов социалистической революции осталась только «фразеология», только «теоретическое обличье». Вообще, по-видимому, невозможно отделить идеи и воззрения Сталина от их политико-экономического содержания. Всегда и во всех случаях философское, социально-экономическое содержание тех или иных идей существенно детерминировало идеологические способы их реализации и, самое главное, духовный климат, социально-психологический эфир их существования, воспроизводства. Для Сталина характерна твердая убежденность в реальности объективных, неодолимых закономерностей развития истории, в неизбежном скором крахе капиталистического способа производства, в реализуемости всех предначертаний теоретического прогноза коммунистического будущего, содержащихся в работах классиков. Сталин — убежденный атеист, ему глубоко наплевать на все нравственные ценности христианства, Сталин — ярый, смертельный враг частной собственности.

Кстати, в отношении к религии, к частной собственности, к крестьянству состоит коренное различие между традиционным русским консерватизмом и нынешним «нашенским» антиперестроечным консерватизмом, не принявшим радикальную экономическую реформу и гласность. Поэтому вряд ли правы те, кто рассматривает сталинизм как ренессанс русской патриархальной традиции.

У русского патриархального консерватизма свои грехи. Но у него не было навязчивого желания догматиков от марксизма еще раз попытаться построить жизнь на принципах утопической оузовской коммуны, перетряхнув попутно культурное наследство человеческой цивилизации. Это тоже своего рода консерватизм — всегда сохранять состояние ломки, перетряхивания, разрушения. Наш нынешний консерватизм является сторонником особой неподвижности. Он радуется за устойчивость прежнего генерального курса на разрушение кооперации, семейного труда, рынка. Он жаждет непрерывных, сменяющих друг друга потрясений, но только таких, которые оставяют неизменным главное — дают возможность сохранять власть, управлять жизнью и думами людей.

Вся сложность сегодняшней ситуации как раз и состоит в том, что в работах, в лозунгах новоявленных отечественных консерваторов трудно найти хоть что-нибудь, что не согласовывалось бы с привычными, хрестоматийными представлениями о марксизме, да и с текстами самого Маркса. (Точно так же, кстати, как в работах и лозунгах Сталина, который любил все согласовывать с классиками, а если в чем-то и отступал от основ, то объяснял почему. К примеру, Сталин прекрасно знал слова Энгельса о том, что коммунисты должны стоять на стороне «мелкого крестьянина» и предоставить ему возможно больше времени подумать об этом на своей парцелле. Он приводил эту выдержку из работы Ф. Энгельса «Крестьянский вопрос во Франции и Германии» в своем докладе «К вопросам аграрной политики в СССР». Но при этом просто полагал, что в России в отличие от Европы ни к чему ждать, так как крестьянину не нужно «возможно больше времени», — в России коммунисты имеют дело совсем с другим крестьянином. (Аргументация Сталина в защиту ускоренной коллективизации весьма близка той, которую приводят сегодня некоторые публицисты для доказательства того, что русский патриархальный крестьянин должен «примириться с колхозами».) «Чем объяснить такую с первого взгляда преувеличенную осмотрительность Энгельса? Из чего исходил он при этом? — как обычно, риторически спрашивал Сталин. И отвечал: — Очевидно, что он исходил

из наличия частной собственности на землю, из того факта, что у крестьянина имеется «свой клочок» земли, с которым ему, крестьянину, трудно будет расстаться. Таково крестьянство на Западе... Можно ли сказать, что у нас, в СССР, имеется такое же положение? Нет, нельзя этого сказать. Нельзя, так как у нас нет частной собственности на землю, приковывающей крестьянина к его индивидуальному хозяйству. Нельзя, так как у нас имеется национализация земель, облегчающая дело перехода индивидуального крестьянина на рельсы коллективизма» («Сочинения», т. 12, стр. 153). Мы должны признать, что именно марксистский тезис об идиотизме деревенской жизни, о «дурацком крестьянском хозяйственном укладе»<sup>15</sup>, о несовместимости социализма с parcelным (то есть на своем клочке земли) производством был использован Сталиным для обоснования коллективизации. Не будь у него возможности подвести под экспроприацию деревни марксистские идеи, он вряд ли получил бы поддержку у партии. В 1929 году в основу своей речи о правом уклоне в ВКП(б) на апрельском Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) Сталин положил марксистский тезис о крестьянстве как последнем капиталистическом классе.

## 3

Думаю, когда речь идет о людях, верящих в Маркса, верящих в то, что насилие униженных, диктатура пролетариата в состоянии облагородить мир и человека, то национальный фактор тут отступает на задний план. Скорее всего истоки этой веры надо искать в состоянии души человека. По крайней мере что касается природы ортодоксальности высших бар марксизма, то тот же М. М. Пришвин, на мой взгляд, был ближе к истине, чем В. Гроссман. «Трудно теперь,— писал Пришвин,— оценить это действие большевиков, когда они брали власть, подвиг это или преступление, но все равно: важно только, что в этом действии было наличие какой-то гениальной не-вменяемости»<sup>16</sup>. Это наблюдение совпадает по смыслу с тем, что записал в свой дневник в это же самое время и по тому же поводу Андрей Платонов. «Новый мир реально существует,— размышляла наедине с собой автор «Котлована»,— поскольку есть поколение искренне думающих и действующих в плане ортодоксии, в плане оживленного „плаката“»<sup>17</sup>. Правда, здесь же, в записных книжках начала 30-х годов, Платонов предупреждает, что это состояние всеобщей увлеченности марксизмом возможно только как местное явление. Он, этот мир, подчеркивал автор «Котлована», «локален, этот мир... местный, как географическая страна наряду с другими странами, другими мирами. Всемирным, универсально-историческим этот новый мир не будет и быть им не может»<sup>18</sup>.

Платонов прав. Инстинкт самосохранения не может пропасть сразу у всех народов. Гениальная не-вменяемость — это удел «избранных». Да и тут все висит на волоске. Если бы этот мифический мир, о котором писал М. М. Пришвин в своем дневнике, был гласно, во всеуслышание подвергнут суду правды, если бы все сохранившие способность думать и видеть начали вслух, открыто говорить то, что они говорили про себя, то он просто рассыпался бы под напором здравого смысла. Ибо этот мир с самого начала, со времен гражданской войны, был соткан из дичайших, уму непостижимых противоречий.

Тысячи, сотни тысяч людей, и прежде всего детей, умирают в городах от голода, от отсутствия хлеба. Но в то же время из умирающих от недоедания людей создаются заградительные отряды, призванные защищать город от мешочников, от хлеба, защитить смерть от жизни. И все эти ужасы из-за мистической веры в иной, более светлый мир, где не будет спекуляции, торговцев, товарного обмена, где не будет хозяев ночлежки Костылевых с их страстью к наживе. Но разве мародерство и людоедство, порожденные гражданской войной, не были страшнее мерзости дна, описанного Горьким? В годы гражданской войны, когда обезумевшие от голода люди одичали, превратились в зверей, когда и выдающиеся и невыдающиеся россияне умирали как мухи, СНК в лице его руководителей начинает поход против личных подсобных хозяйств,

<sup>15</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 27, стр. 71.

<sup>16</sup> Пришвин М., «1930 год» («Октябрь», 1989, № 7, стр. 175).

<sup>17</sup> Андрей Платонов, «Деревянное растение. Из записных книжек. 1927—1950» («Огонек», 1989, № 33, стр. 14).

<sup>18</sup> Там же.



против кур и огородов<sup>19</sup>. Поистине все руководство большевистской партии до своего X съезда находилось в состоянии этой «гениальной невменяемости», подавившей страдание, здравый смысл, зачатки экономического мышления.

Мириться с абсурдной стратегией военного коммунизма могли только невменяемые люди, ослепленные сказкой о будущем царстве всеобщего равенства. Один абсурд наслаивался на другой, наркотизация мышления приобрела глобальный характер. Самоучки, не получавшие систематического образования, знавшие только одну профессию — революционную борьбу, не имевшие элементарных представлений об основах организации современного им промышленного производства, конкретных экономических знаний, ставят перед собой задачу достигнуть невозможного, того, что никому ранее не удавалось, то есть подчинить единому плану миллионы хозяйственных связей, добиться в рамках всей национальной экономики такого же порядка, который царит на образцовой капиталистической фабрике. Поставив перед собой задачу цивилизовать Россию, они с нарастающей от года к году энергией искореняли образованных, способных к самостоятельному мышлению россиян, выжигая один пласт интеллигенции за другим, убивая всех, кто не мог, как М. Горький, видеть в повседневных преступлениях коллективизации величайшее благодеяние, кто не мог согласиться с тем, что экономика очередей и тотального дефицита обладает преимуществом перед экономикой, ищущей покупателя.

Революция, поставившая перед собой задачу добиться более высокой, чем при капитализме, производительности труда, его более рациональной и эффективной организации, всю свою власть употребила на то, чтобы свести со свету хорошего, культурного работника, тот слой общества, который обладал и знаниями, и навыками, и хозяйственной энергией, необходимыми для экономического прогресса страны.

Примириться со всем этим мог только тот человек, который перестал думать и видеть. Он был уже не филистером, а просто человеком, духовно раздавленным и поработанным абсурдным неподвластным ему собственному социальному бытию. С такого человека, наверно, и спрос невелик.

Вспоминаю обо всем этом не для того, чтобы оправдать высших бар марксизма 20-х — начала 30-х годов, а для того, чтобы лучше понять мотивы, которые движут нынешними защитниками чистоты марксизма — учения о классах и классовой борьбе. Что побуждает их не видеть очевидного, использовать всю силу интеллекта для доказательства разумности марксистских постулатов, будто бы никакого отношения не имеющих к ужасам нашей истории (дело, мол, не в хороших принципах, а в плохих исполнителях)?

Уму непостижимо: как можно сегодня, в конце XX века, имея за плечами многолетний опыт коммунистического экспериментирования на всех континентах, причитать вслед за Л. Троцким и Л. Каменевым, что беды социализма от мелкого буржуа, от плохого народа, от недостатка чистого пролетарского сознания?! Разве теперь не видно, что народ, какой бы он ни был, российский, германский, чешский, китайский, польский, здесь ни при чем? Всюду куда ни кинь коллективная организация труда в национальном масштабе (то есть мечта Маркса о превращении национальной экономики в одну большую фабрику) вела к одним и тем же плачевным результатам: к свертыванию хозяйственной инициативы и предприимчивости, к распространению безответственности, равнодушия к труду, к формированию иждивенческого типа личности. Не случайно в восточноевропейских странах сегодня крепнет и уже реализуется стремление граждан как можно быстрее избавиться от всех однажды выращенных и предложенных Марксом форм труда и жизни..

#### 4

Не хочется брать греха на душу, да придется. Должен ведь кто-нибудь наконец-то назвать вещи своими именами. Так вот, позиция большинства нынешних наших радетелей чистоты Марксова учения объясняется не их невменяемой верой в него, а лу-

<sup>19</sup> Так, в марте 1919 года, в разгар голода, Ленин с присущей ему страстью зашифровал закон, согласно которому «никто из рабочих и служащих не имеет права заводить в хозяйствах собственных животных, птиц и огороды... А если снова заводить отдельные огороды, отдельные животные, птиц и т. д., то, пожалуй, все вернется к мелкому хозяйству, как было и до сих пор. В таком случае, стоит ли и огород городить? Стоит ли устраивать советское хозяйство» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 38, стр. 28).

кавством, двоемыслием. Лукавят, когда речь идет о Марксе, почти все. И демократы-интернационалисты, и государственники-патриоты, и западники, и славянофилы, и сталинисты, и антисталинисты.

Посудите сами. Разве способен искренне заблуждающийся человек на откровенный обман, на передергивание, на мухлевание? Наверное нет. Марксисты 20-х были последовательны в своей вере, в своей неумяняемости. Горький, поддерживал ленинскую борьбу с зажиточным крестьянином в период военного коммунизма, защищал и сталинский «великий перелом», сталинскую борьбу с крестьянским миром России, убеждая себя и других, что, «в общем, все идет отлично». «Это — переворот почти геологический, — пишет Горький Сталину, — и это больше, неизмеримо больше и глубже всего, что было сделано партией. Уничтожается строй жизни, существовавший тысячелетия, строй, который создал человека крайне уродливо своеобразного и способного ужаснуть своим животным консерватизмом, своим инстинктом собственника»<sup>20</sup>.

В подобном случае, в общем-то, ясно. Не может писатель-гуманист так просто согласиться с убийством миллионов невинных соотечественников. Здесь упоминание. Иррациональная романтическая вера в нового человека<sup>21</sup> убила у Горького чувство сострадания к ближнему, ожесточила его. У него не хватило культуры, духовной развитости, чтобы увидеть изначально ложность самой идеи насильственной переделки человеческой природы.

Но когда читаешь нынешних поклонников марксизма, только диву даешься. Взять хотя бы публицистику последних лет такого писателя, как Александр Проханов. С присущей ему пылкостью и страстностью прозаик отгаивает святость марксистского коммунистического идеала, ругает почему зря нашу страну, которая, по его словам, «сегодня плохо изучает Маркса, может быть, не знает его»<sup>22</sup>. В уже упоминавшемся выше эссе «Трагедия централизма» писатель сожалеет о том счастливым сталинском прошлом, когда, по его словам, «социалистическая идеология» нас всех интегрировала, когда коммунистический идеал «из будущего формировал наше настоящее, объединял нас в общий социум». И в принципе такую позицию можно принять всерьез. Однако в публицистических статьях Проханова рядом с утверждением незыблемости марксистских принципов соседствует прямо противоположная оценка марксизма. В «Трагедии централизма» Проханов говорит о коммунистическом идеале как об утопии, внедрение которой в русскую жизнь обошлось нашему народу утратой жизни 60 миллионов сограждан. Проханов сравнивает ленинско-сталинское протаскивание России в социализм с протаскиванием верблюда через игольное ушко. После такой операции от старой России, естественно, могла остаться одна пыль.

Неясно, когда же А. Проханов искренен. Или в первом случае, когда пишет, что марксизм с его коммунистическим идеалом хорош и жалеть больше нам нечего, или во втором, когда называет марксизм утопией, разрушившей старую Россию. Конечно, можно предположить, что это противоречие в суждениях Проханова о Марксе от безысходности нашей ситуации. Дескать, марксизм, конечно, утопия, вздор и иллюзия, но что поделаешь, если наш покалеченный революцией народ свыкся с однажды предложенным ему наркотиком, жить без которого он уже не может. Правда, при внимательном прочтении эссе «Трагедия централизма» убеждаешься — Александр Проханов все же еще оставляет читателю надежду на спасение. В конце очерка писатель порывает со своими прямыми суждениями о предрешенности российской судьбы, об-

<sup>20</sup> А. М. Горький — И. В. Сталину. 8 января 1930 года («Известия ЦК КПСС», 1989, № 7, стр. 215).

<sup>21</sup> М. Горькому казалось, что Ленин видит будущее таким, каким его видел он, литератор. «Иногда дерзость воображения, обязательная для литератора, — писал он в статье «Владимир Ильич Ленин», — ставит предомною вопрос: — Как видит Ленин новый мир? И предо мной развертывается грандиозная картина земли, изыщно ограниченной трудом свободного человека в гигантский изумруд. Все люди разумны, и каждому свойственно чувство личной ответственности за все, творящееся им и вокруг него. Повсюду города-сады — вместилища величественных зданий, везде работают на человека покоренные и организованные его разумом силы природы, а сам он — наконец! — действительный властелин стихии. Его физическая энергия не тратится больше на грубый, грязный труд, она переродилась в духовную, и вся мощь ее направлена к исследованию тех основных вопросов бытия, над решением которых издревле безуспешно бьется мысль... Облагороженный технически, осмысленный социально, труд стал наслаждением человека» («Родина», 1989, № 4, стр. 13).

<sup>22</sup> Проханов Александр, «На часах истории — сегодня» («Ленинградский рабочий», 24.07.87).

рученной с железными вождями и вечной жертвенностью, призывает к гражданскому миру и терпимости, призывает «снести в общую братскую могилу красные и белые кости». Подобному духовному прозрению прозаика можно было бы порадоваться, если бы не исходная двусмысленность его мировоззрения. Простому, не испушенному в нынешних политических играх читателю трудно уяснить, когда Александр Проханов прав. То ли когда он зовет следовать марксизму и его учению о классовой борьбе, то ли когда проповедует христианское примирение.

Впрочем, двойственность позиции Проханова в оценке марксизма — еще, пожалуй, самый безобидный вид лукавства в сравнении с теми ухищрениями, к которым прибегают ортодоксы, сетующие на то, что наша страна изувелилась в принципах коммунизма. По крайней мере Александр Проханов хотя бы не лукавит в главном: он не отрицает причастности марксизма и коммунистической идеологии к тому, что случилось со страной после Октября.

Те же из новых ортодоксов, а их большинство, кто отказывает нашей революции и нашему государству в праве на марксистское первородство, просто фальшивят. Например, Сергей Чернышев, когда утверждает, что русские марксисты, мол, неправильно поняли пафос «Манифеста Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, что сам Маркс не был сторонником революционного насилия, что он не призывал силой устранять помещиков и капиталистов, не призывал к террору, к «красногвардейской атаке»<sup>23</sup>. Автор, обращающийся к многомиллионной аудитории читателей журнала «Знамя», не может не знать, что идея пролетарской революции, призыв к насильственному свержению капиталистического общественного строя составляют суть мировоззрения создателя «Капитала». И речь у него шла не о гегелевском «снятии», не о гегелевском «преодолении», а об элементарной экспроприации экспроприаторов. Нет никакой содержательной нравственной и тем более политической разницы между знаменитым Марксовым «бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют»<sup>24</sup> и банальным отечественным «грабь награбленное». Ленин был абсолютно прав, утверждая: «Если мы употребляем слова: экспроприация экспроприаторов, то — почему же здесь нельзя обойтись без латинских слов?»<sup>25</sup>

Карл Маркс и Фридрих Энгельс мыслили точно такими же понятиями и категориями, какими мыслил Владимир Ленин. Они, основатели научного социализма, связывали приход нового строя прежде всего с вооруженным восстанием, с тем, что у нас в России обернулась «красногвардейской атакой» на капитал. Маркс и Энгельс не верили в силу слов, они верили прежде всего в силу оружия. Маркс был первым и единственным философом в истории человечества, кто призвал сменить оружие критики на критику оружием<sup>26</sup>. «Революция есть, несомненно, самая авторитарная вещь, какая только возможна. Революция есть акт, в котором часть населения навязывает свою волю другой части посредством ружей, штыков и пушек, то есть средств, чрезвычайно авторитарных. И если победившая партия не хочет потерять плоды своих усилий, она должна удерживать свое господство посредством того страха, который внушает реакционерам ее оружие»<sup>27</sup> — эти слова принадлежат Фридриху Энгельсу.

В материале С. Чернышева неприятно поражает еще и то пренебрежительное отношение к соотечественникам, которым буквально дышит текст статьи. Автор «Новых вех» очень обеспокоен тем, что мы, утратив социальные ориентиры, ищем виновного, что маститые литераторы принимаются с пристрастием читать Ленина. Он взволнован, как бы критика Ленина не обернулась судом над Марксом. Как и Александра Проханова, Чернышева беспокоит, что Маркса давно не читают. Но его абсолютно не беспокоит тот факт, что своим раболопием перед Марксом, своим постоянным противопоставлением «гениального» ума Маркса «скудоумию» его русских последователей он сеет в душе читателя неверие в свои духовные силы и интеллектуальные возможности.

Не Ленин, а Маркс первым пришел к мысли, что революционный террор может стать мощным орудием в руках победившего пролетариата. «...сократить, упростить и концентрировать кровавадную агонию старого общества и кровавые муки родов

<sup>23</sup> Чернышев Сергей, «Новые вехи» («Знамя», 1990, № 1, стр. 156).

<sup>24</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 23, стр. 773.

<sup>25</sup> Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 289.

<sup>26</sup> См.: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 1, стр. 422.

<sup>27</sup> Там же, т. 18, стр. 305.

нового общества» может «только *одно средство — революционный терроризм*»<sup>28</sup>. Эти слова принадлежат Карлу Марксу.

И Карл Маркс и Ленин были поклонниками якобинской диктатуры, оба оправдывали плебейский террор Великой французской революции. Да, Ленин уже в 1905 году хотел «разделаться с царизмом по-якобински или, если хотите, по-плебейски»<sup>29</sup>. Но не следует забывать, что и здесь он следовал советам Карла Маркса. «*Весь французский терроризм*,— писал Маркс в знаменитой «Новой Рейнской газете» в 1848 году,— был не чем иным, как *плебейским способом разделаться с врагами буржуазии, с абсолютизмом, феодализмом и мещанством*»<sup>30</sup>.

Даже теория перманентной революции, которая с таким «блеском» была применена Лениным и Троцким в России, изобретена Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом: «...сделать революцию непрерывной до тех пор, пока все более или менее имущие классы не будут устранены от господства, пока пролетариат не завоеует государственной власти, пока ассоциации пролетариев не только в одной стране, но и во всех господствующих странах мира не разовьются настолько, что конкуренция между пролетариями в этих странах прекратится и что, по крайней мере, решающие производительные силы будут сконцентрированы в руках пролетариев»<sup>31</sup>. Так было предначертано классиками, и так поступали большевики в России.

Не было никакого русского марксизма. Был только тот марксизм, который мог возникнуть среди русской революционной интеллигенции после знакомства с теми работами, которые сами основатели научного социализма рекомендовали для издания в России, и прежде всего после знакомства с «Манифестом Коммунистической партии», открыто призывавшим к разрушению старого мира.

Разве не Марксу принадлежит мысль о возможности возведения социалистического здания на фундаменте русской общины, конечно, в том случае, если революция в России получит вовремя политическую и технологическую помощь от победившего пролетариата развитых капиталистических стран?! Разве не Маркс в конце жизни вопреки всему, что он раньше заявлял о предпосылках социалистической революции, призывал «не... особенно бояться слова „архаический“»?!<sup>32</sup> Разве не основоположник теории научного социализма писал Вере Засулич, что «специальные изыскания, которые я произвел на основании материалов, почерпнутых мной из первоисточников, убедили меня, что община является точкой опоры социального возрождения России»?!<sup>33</sup> В чем же суть так называемого расхождения между европейцем Марксом и русскими большевиками? Ведь последнее, идя на штурм Зимнего, тоже связывали основные надежды с политической и прочей помощью от неизбежной и скорой, как им казалось, пролетарской революции на Западе.

В конце концов, если, как предлагает С. Чернышев, азиатами следует называть тех людей, которые стремятся разрешать конфликты только при помощи насилия, революции, призывают не бояться гражданской войны, истреблять политического противника, то тогда первым азиатом следует считать именно Карла Маркса.

Идея диктатуры пролетариата принадлежит не Марксу. Первым ее сформулировал вождь плебейского крыла Великой французской революции Грахх Бабеф. Однако именно Карл Маркс философски обосновал неизбежность и необходимость истребительного характера пролетарской социалистической революции. «...нужно ли удивляться,— спрашивал Маркс,— что общество, основанное на *противоположности* классов, приходит, как к последней развязке, к грубому *противоречию*, к физическому столкновению людей?»<sup>34</sup> И сам себе отвечал: «Только при таком порядке вещей, когда не будет больше классов и классового антагонизма, *социальные эволюции* перестанут быть *политическими революциями*. А до тех пор накануне каждого всеобщего переустройства общества последним словом социальной науки всегда будет: „...кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса“»<sup>35</sup>.

Что было, то было. Марксизм невозможно отделить от событий, разворачивавшихся в России после Апрельских тезисов Ленина 1917 года. Влияние Маркса на боль-

<sup>28</sup> Там же, т. 5, стр. 494.

<sup>29</sup> Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 11, стр. 47.

<sup>30</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 6, стр. 114.

<sup>31</sup> Там же, т. 7, стр. 261.

<sup>32</sup> Там же, т. 19, стр. 492.

<sup>33</sup> Там же, стр. 251.

<sup>34</sup> Там же, т. 4, стр. 184.

<sup>35</sup> Там же, стр. 185.

шевиков в тот переломный период русской истории поразительно. Складывается впечатление, что голос живого Маркса все время звучал в их сознании, толкая их к захвату власти.

Маркс учил революционеров не быть «великодушными» и «честными»<sup>36</sup>, и они, насколько им позволяла совесть, стремились не церемониться в средствах достижения своей главной цели. Например, выдвигали популярные лозунги, зная, что на второй день после победы от них откажутся.

Маркс призывал не бояться гражданской войны<sup>37</sup>, и его русские последователи переступили через тот страх перед нравственным законом, который сдерживал Керенского, меньшевиков, все политические партии России того времени. Большевики не испугались страшной ответственности за последствия гражданской войны, при одной мысли о которых бил озноб всех других политических деятелей России. Они, большевики, в 1918 году сознательно разжигали костер гражданской войны в городе и деревне, полагая, что тем самым способствуют приближению счастья бесклассового общества. И в этом они опять шли вслед за Марксом, учившим не искать примирения и согласия, учившим, что «конфликты, возникающие из самих условий буржуазного общества, должны быть преодолены в борьбе»<sup>38</sup>.

И наконец, мысль о том, что не надо бояться жертв во имя прогресса, что любой ценой необходимо сохранять революционный дух пролетарских масс, разделяемая всеми большевиками, тоже очень характерна для Маркса. Он, к примеру, ставил в заслугу коммунарам то, что они не сдались без борьбы. «Деморализация рабочего класса,— писал он,— в последнем случае была бы гораздо большим несчастьем, чем гибель какого угодно числа „вожаков“»<sup>39</sup>.

Идеи Маркса и вся наша послеоктябрьская история слиты воедино.

Со школьной скамьи остались у нас в памяти ленинские слова, определившие судьбы миллионов россиян в XX веке, что не надо бояться социализма<sup>40</sup>, «идти вперед, в России XX века, завоевавшей республику и демократизм революционным путем, нельзя, не идя к социализму»<sup>41</sup>. Все мы помним, что в драматические дни, предшествовавшие Октябрю, переломившие ход мировой истории, Ленин говорил не об альтернативе русской многоукладной экономике, как настаивает Г. Водолазов, а о переходе от русского капитализма, который, по словам Ильича, «стал монополистическим», к более высокой форме организации труда — к социализму. Он рассуждал здесь о русском монополистическом капитализме, о «Продуголе», о «Продамете», сахарном синдикате как «о полнейшей материальной подготовке социализма», его «*preconditions*»<sup>42</sup>.

Неубедительной выглядит попытка Г. Лисичкина сочетать критическое отношение к социализму, построенному в России, с восхвалением мудрости и пронизательности Ленина, которые якобы никогда не покидали его. Не отвечает действительности и утверждение Г. Лисичкина, что Ленин в отличие от Сталина сразу же после Октября проникся всей глубиной учения Маркса о реальном экономическом обобществлении средств производства и это подтолкнуло его к мысли о необходимости сохранения рынка, хозяйственного расчета.

Сразу после Октября Ленин связывал так называемое обобществление на деле не с рынком, не с хозяйственным расчетом, а прежде всего с милитаризацией труда, военной дисциплиной на производстве. Обобществление он рассматривал лишь как необходимое организационное подкрепление разворачивающейся ускоренными темпами национализации, как учет имущества конфискованного<sup>43</sup>. Обобществление в то время,

<sup>36</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 33, стр. 172.

<sup>37</sup> Там же.

<sup>38</sup> Там же, т. 5, стр. 141.

<sup>39</sup> Там же, т. 33, стр. 175.

<sup>40</sup> «В XX веке, в капиталистической стране нельзя быть революционным демократом, ежели бояться идти к социализму» (Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 190).

<sup>41</sup> Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 34, стр. 192.

<sup>42</sup> Там же, стр. 191, 193.

<sup>43</sup> Популярное разъяснение ленинской политики учета и контроля дали Н. Бухарин и Е. Преображенский. В своей книге «Азбука коммунизма» они писали: «Под влиянием революции фабриканты выпустили бразды правления из своих рук, и первоначально кое-где фабрики просто были без хозяина. Потом начался беспорядочный захват рабочими предприятий: рабочие уже не могли более ждать, и эта «национализация» на местах началась даже несколько ранее Октябрьской революции. Понятно всякому, что это была, в сущности, не национализация, а простой неорганизованный захват предприятий теми рабочими, которые на этих предприятиях работали: этот захват лишь потом пре-

весной 1918 года, никак не связывалось с развитием экономических стимулов к труду, с какой-либо дифференцированной экономической политикой, с идеей экономического вытеснения частной собственности путем соревнования с государственной. Все это открытие более позднего периода — нэпа.

В первые послереволюционные годы Ленин связывал политику учета и контроля прежде всего с практикой трудовой повинности, с непосредственным политическим насилием над работником. Речь шла у Ленина о том же, о чем она шла и у Бухарина в его работе «Экономика переходного периода», — о полном отчуждении у трудящихся, у всех членов общества свободы выбора, где трудиться и сколько трудиться. В государстве диктатуры пролетариата подобные вопросы должны были решаться центральной властью. Тех же, кто сопротивляется новым порядкам, кто не желает работать, считал в декабре 1917 года Ленин, придется силой принудить к труду. Опыт такого рода принуждения, с его точки зрения, может быть разным. «В одном месте посадят в тюрьму десятков богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы (так же хулигански, как отлынивают от работы многие наборщики в Питере, особенно в партийных типографиях). В другом, — писал Ленин, — поставят их чистить сортиры. В третьем — снабдят их, по отбытии карцера, желтыми билетами, чтобы весь народ, до их исправления, надзирал за ними, как за *вредными* людьми. В четвертом — расстреляют на месте одного из десяти, виновных в туеядстве. В пятом — придумают комбинации разных средств»<sup>44</sup>.

О том, что принципу трудовой повинности придавалось первостепенное значение в первый послеоктябрьский период, свидетельствует и работа Ленина «Очередные задачи Советской власти», в которой в наиболее систематической форме излагался первоначальный план строительства социализма в России. Здесь Ленин, в частности, рассматривал социалистические суды в качестве основного средства установления порядка и дисциплины в новом обществе. «Новый суд, — писал он, — нужен был прежде всего для борьбы против эксплуататоров, пытающихся восстановить свое господство или отстаивать свои привилегии... Но, кроме того, на суды, если они организованы действительно на принципе советских учреждений, ложится другая, еще более важная задача. Это — задача обеспечить строжайшее проведение дисциплины и самодисциплины трудящихся... Без принуждения такая задача совершенно не выполнима. Нам нужно государство, нам нужно принуждение. Органом пролетарского государства, осуществляющего такое принуждение, должны быть советские суды. И на них ложится громадная задача воспитания населения к трудовой дисциплине»<sup>45</sup>.

Таким образом, трагедия нашего общества состояла не в том, что Сталин отступил от ленинского учения об обобществлении, как оно было сформулировано весной 1918 года, а в том, что он вернулся к нему вскоре после смерти Ленина и слепо следовал этому учению, хотя сам Ильич в конце жизни и отказался от прежней трактовки обобществления.

Г. Лисичкин вводит читателя в заблуждение и тогда, когда в своей опубликованной «Новым миром» статье «Мифы и реальность. Нужен ли Маркс перестройке?» утверждает, что уравнивательные идеи распределения Сталин взял в готовом виде у Дюринга<sup>46</sup>. В том не было никакой нужды. Энгельс как марксист защищал идеи уравнительного распределения с еще большей страстью, чем Дюринг. Читатель может раскрыть «Анти-Дюринг» Энгельса и самостоятельно познакомиться с разделом VI о простом и сложном труде. Там он обнаружит для себя много поучительного. К примеру, высказывание Энгельса по поводу попытки приписать Марксу мысль о возможной дополнительной оплате в будущем обществе за сложный труд. «...это просто бесстыдная подтасовка, подобную которой можно встретить разве только у разбойников пера»<sup>47</sup>, — негодовал друг Маркса. Энгельс настаивал на том, что «вопрос о более высокой оплате сложного труда» вообще не имеет права на существование в рамках научного социа-

вращался в национализацию. Но и после октябрьского переворота национализация вначале шла очень беспорядочно... Выполнение этой задачи на практике началось с УЧЕТА, то есть с выяснения того, что имеется в распоряжении пролетарской власти: количества запасов, количества предприятий и т. д.» (Бухарин Н. и Преображенский Е. Азбука коммунизма. Самара. 1920, стр. 177—179).

<sup>44</sup> Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 204.

<sup>45</sup> Там же, стр. 163.

<sup>46</sup> «Уравнивательные идеи распределения по труду, — пишет Г. Лисичкин, — разработаны также Дюрингом настолько, что Сталин мог брать их в готовом виде» («Новый мир», 1988, № 11, стр. 179).

<sup>47</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 20, стр. 205.

лизма. «В обществе частных производителей, — писал он в «Анти-Дюринге», — расходы по обучению работника покрываются частными лицами или их семьями; поэтому частным лицам и достается в первую очередь более высокая цена обученной рабочей силы: искусный раб продается по более высокой цене, искусный наемный рабочий получает более высокую заработную плату. В обществе, организованном социалистически, эти расходы несет общество, поэтому ему принадлежат и плоды, т. е. большие стоимости, созданные сложным трудом»<sup>48</sup>.

Г. Лисичкин не имеет никаких оснований утверждать, что Фридрих Энгельс в отличие от Дюринга был противником отмены денег, натурального обмена в будущем социалистическом обществе, что он якобы видел и понимал универсальность денег как средства элементарного общения между людьми, близкого по своим функциям языку, письменности. Никогда этого Энгельс не понимал. Все, что приписывает Энгельсу автор статьи «Мифы и реальность...», находится в противоречии с теоретическими убеждениями Маркса и Энгельса. Классики стояли на прямо противоположной точке зрения, они исходили из того, что деньги, рынок, товарно-денежные отношения являются таким же переходящим моментом в развитии человеческой цивилизации, как и частная собственность. По этой причине Энгельс резко критиковал Дюринга за то, что тот проявил непоследовательность при решении этого вопроса. С одной стороны, Дюринг запрещал денежные расчеты между коммунами, но с другой — выдавал заработную плату денежными знаками, разрешал делать накопления. Именно последняя деталь вызвала возмущение Энгельса, а отнюдь не стремление Дюринга перейти к натуральному обмену между коммунами. Во всем этом опять-таки легко убедиться, ознакомившись с тем, что писал он сам по этому поводу в «Анти-Дюринге»<sup>49</sup>.

В том-то и дело, что Энгельса и его представление о социалистической экономике никак нельзя актуализовать. Он явно устарел и в своей борьбе с мировыми деньгами, и в своей борьбе с правом трудящихся делать с собственным заработком все что они хотят, и в своей борьбе с обязанностью родителей содержать детей. Он устарел в своем убеждении, что подлинной целью общества является отмена всяких денежных знаков и их заменителей и что общество «сделало бы шаг вперед в направлении к своей цели и поднялось бы на более высокую ступень развития»<sup>50</sup>, если оно сумело бы добиться упразднения денег. Энгельс устарел в равной мере и в своей борьбе за единую и неделимую общественную собственность, в своей борьбе против кооперативных, групповых форм собственности в будущем социалистическом обществе. Он никогда не был ни сторонником кооперации, ни сторонником самостоятельности.

Г. Лисичкин уверяет, будто сталинская борьба с кооперативной собственностью, с конкуренцией никак не вытекала из марксизма и Сталин подавлял экономическую самостоятельность предприятий, подавлял мелкое индивидуальное производство вопреки марксистской теории обобществления средств производства.

Нет более «гнусного» искажения марксизма, возмущался тот же Энгельс, как подтасовка, заключающаяся в утверждении г-на Дюринга, будто общая собственность является у Маркса «собственностью одновременно и индивидуальной, и общественной»<sup>51</sup>. Маркс, настаивал Энгельс, и мысли не мог допустить, чтобы «публичное право данной хозяйственной коммуны на ее средства труда являлось исключительным правом собственности, по крайней мере по отношению ко всякой другой хозяйственной коммуне, а также по отношению ко всему обществу и государству», чтобы «существовали богатые и бедные хозяйственные коммуны и их выравнивание... происходило путем притока населения к богатым коммунам и отлива его из бедных коммун»<sup>52</sup>.

Трудно объяснить, почему Г. Лисичкин и все публицисты, присягнувшие на верность исходной идее статьи «Мифы и реальность...», именно «Анти-Дюринг» Энгельса используют для отлучения Сталина от марксизма. Более неудачного хода, кажется, и придумать-то невозможно. Ведь нигде так явственно не проглядывает социальный утопизм марксизма, как в этой работе Энгельса, нигде так явственно не обнаруживается несоответствие экономической доктрины Маркса реальной жизни, психологии обычного, эмпирического человека.

И самое главное. Нигде столь наглядно не обнажены доктринальные корни сталинского административного, государственного социализма, как в этой работе Фридри-

<sup>48</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 20, стр. 207.

<sup>49</sup> См. там же, стр. 315.

<sup>50</sup> Там же, стр. 317.

<sup>51</sup> Там же, стр. 300.

<sup>52</sup> Там же.

ха Энгельса. Дело тут вовсе не в каких-то частных совпадениях, а в единстве главных социально-экономических установок и ориентиров Энгельса и Сталина, ориентиров на всеобщее, всех уравнивающее равенство, на одну общественную или государственную собственность, на уничтожение рыночных механизмов, на коллективный, коммунистический быт.

Нравится это нам или нет, но принципы, провозглашенные Марксом и Энгельсом, никак не могут способствовать преодолению нашего нынешнего экономического кризиса. Национализацию земли, на которой настаивали классики, мы осуществили давно, еще в 1917 году. Ее плоды хорошо известны. Земля без хозяина оказалась в роли сироты, которого каждый, кому не лень, может обидеть. Деградация значительной части почв, и прежде всего нашего национального богатства — чернозема, деградация крестьянства, а в итоге и деградация горожанина, вынужденного идти на все вплоть до преступления, лишь бы добыть хлеб насущный, — вот к чему это привело. Марксистская аграрная программа явилась на деле программой достижения всеобщей бедности.

Не помогла и идея всеобщей трудовой повинности, организации трудовых земледельческих армий, скомпрометировавшая себя еще во времена военного коммунизма, во времена Л. Троцкого<sup>33</sup>. Иной читатель может удивиться: как же так — марксизм и трудовые армии? Но вспомним «Манифест Коммунистической партии», где провозглашаются одинаковая обязательность труда для всех и учреждение промышленных армий, в особенности для земледелия.

Не оправдала себя и идея классиков о чередовании сельскохозяйственного труда с промышленным, а тем более идея привлечения студентов и школьников к уборке урожая. Человек, не связанный с землей собственностью, никогда не станет рачительным, толковым земледельцем. Дабы у читателя не оставалось сомнений и на этот счет, напомним ему, как классики мыслили себе общий труд на общей земле по общему плану. «Превратите всю Германию в хозяйства по 2000—3000 Morgenов, — писал Энгельс Р. Мейеру 19 июля 1893 года, — больше или меньше, в зависимости от природных условий, — введите машинное производство и все современные усовершенствования; разве тогда мы не будем иметь среди крестьянского населения более чем достаточно обученных рабочих? Ведь тогда земледельческой работы не хватит, чтобы занять это население в течение всего года. Большие массы людей будут продолжительное время бездельничать, если мы не займем их в промышленности. А наши промышленные рабочие тоже захиреют физически, если им не предоставить возможности работать на свежем воздухе, и особенно в сельском хозяйстве. Допустим даже, — продолжает Энгельс, — что нынешнее взрослое поколение не годится для этого. Но молодежь-то можно этому обучить. Если несколько лет подряд в летнюю пору, когда есть работа, юноши и девушки будут отправляться в деревню, — много ли семестров придется им зубрить, чтобы получить ученую степень пахаря, косаря и т. п.? Вы же не будете утверждать, что необходимо весь свой век ничем другим не заниматься, что надо так отупеть от работы, как наши крестьяне, и только так научиться чему-нибудь путному в сельском хозяйстве?»

Вряд ли возможно отыскать хотя бы одну экономическую идею Карла Маркса, которая не была бы использована в процессе социалистического строительства в нашей стране или в других социалистических странах и которая не обернулась бы пустой тратой сил и средств и в конечном итоге экономическим крахом. Все социалистические страны заплатили большую цену за марксистскую страсть к максимальной централизации и концентрации производства, за марксистскую любовь к крупным формам. О печальной истории сталинских крупных фабрик зерна — советских совхозах — и говорить нечего...

## 5

Итак, коль скоро мы действительно строили социализм по Марксу и Энгельсу и из этого ничего не вышло (то есть теория проверки практикой не выдержала), тогда отчего же у нас и сегодня так много ортодоксов? Почему столько людей, рискуя своим

<sup>33</sup> В своих тезисах «Переход ко всеобщей трудовой повинности в связи с миллионной системой» Л. Троцкий писал: «До тех пор, пока всеобщая трудовая повинность не войдет в норму, не закрепится привычной и не приобретет бесспорного и непреложного для всех характера (что будет достигнуто путем воспитания, социального и школьного, и найдет полное выражение лишь у нового поколения), до тех пор, в течение значительного еще периода, переход к режиму всеобщей трудовой повинности должен неизбежно поддерживаться мерами принудительного характера, т. е. в последнем счете вооруженной силой пролетарского государства» (Т р о ц к и й Л. Материалы и документы по истории Красной Армии в трех томах. М. 1924, том второй, книга вторая, стр. 33).



Добрый именем, научным авторитетом, пренебрегая элементарным здравым смыслом, продолжают настойчиво утверждать, что истины марксизма, мол, верны и неоспоримы, что сами принципы, несмотря ни на что, у нас всегда были хороши, лучшего и желать не надо?

Конечно, мотивы такого, в данном случае сознательного, упорства могут быть самые разные. Наверное, сказывается инерция прежней социальной патологии, в которой все мы пребывали не одно десятилетие. Не может же в самом деле быть так, чтобы экономика оказалась деформированной, политическая система бесчеловечной, а сознание людей нормальным. Не может быть, чтобы идеология, запечатлевшаяся в наших программных документах недавнего прошлого, не несла в себе печати всеобщей патологичности.

Иллюзия, утопия, воплотившаяся в жизнь, неизбежно должна была бесконечно воспроизводить подкрепляющие ее иллюзии.

Возможно предположить, что советские люди думали и действовали в плане «оживленного плаката» марксистской ортодоксии не потому, что они в нее искренне верили, а потому, что у них, оставшихся в России, другого выхода, в сущности, и не было. Не каждый готов платить жизнью, годами лагерей за право называть абсурд абсурдом, за право быть верным здравому смыслу, видеть мир таким, каков он есть на самом деле. В этой ситуации остается только мыслить и думать по законам сохранения жизни. То есть думать и действовать безопасно с политической точки зрения.

Но с другой стороны, мыслить об одном и том же двояко — со знаком плюс и со знаком минус, думать одно, а говорить другое — накладно для психики. В этой ситуации человек страдает не только от душевной двойственности, но и от зависти к тем людям и странам, которые избавлены от необходимости мучить себя двойной жизнью.

Жизнь умнее нас. Она находит выход из подобной ненормальной ситуации. Противоречия между логикой абсурда, в котором оказались люди, и логикой здравого смысла, которая какое-то время после коммунистической революции сохраняет свою власть над человеком, разрешаются просто. Патологическая ситуация рождает патологическое же, неестественное видение мира. Оно обычно приходит (высшие бары марксизма не в счет) со вторым коммунистическим поколением. Не случайно студенты 30—40-х годов были большими ортодоксами, нежели студенты 20-х. Суть этого видения мира в том, что оно относит неестественное в общественной жизни к рязряду высших социальных добродетелей, а нормальное осуждает как аномалию. В результате новый, революцией рожденный человек не только не страдал от своей духовной ущербности, но, наоборот, полагал, будто ущербны все остальные, живущие иначе. Ущербны те, кто живет в демократическом, плюралистическом обществе, кто имеет свободу передвижения, свободу выбора места жительства, кто волен верить или не верить, волен выбирать себе ту социальную и политическую истину, которая ему по душе.

Наша патологическая экономическая и политическая ситуация создала десятки идеологических мифов, помогавших советскому человеку искренне верить, что ему действительно живется хорошо и он самый счастливый человек в мире. Так крепло всеобщее убеждение, что революции являются подлинными праздниками истории, а народы, не пережившие столь жестокой, кровавой гражданской войны, как мы, просто обделены судьбой и не знают истинного счастья.

Словно дети, мы радовались тому, что у нас практически ничего не осталось от старой, досоциалистической России — не только помещиков-господ, но и интеллигенции, духовенства, купцов, зажиточного крестьянства. Мы искренне верили, что и другие народы не станут счастливы, пока не поступят как мы, пока не пойдут за нами, пока не взорвут храмы, не покончат с торговцами, частными ремесленниками, кулаками, пока полностью не уподобятся нам.

Точно такое компенсаторное происхождение имел и имеет и миф о пророке Марксе, о первом, единственном человеке в мире, которому якобы открылись все тайны и законы истории.

Философы, экономисты, историки, в массе своей лишены доступа к культурным достижениям современной цивилизации, права выезда и свободного общения с коллегами на Западе, неизбежно должны были верить в то, что после Маркса ничего существенного уже в общественной мысли произойти не может, что невелика беда, если они ничего не знают о современной социальной науке и ни с кем «посторонним» не общаются.

Тысячи выдвигенцев, «людей из народа», отобранных для обучения философии и истории по классовому, партийному признаку, никак не могли осилить высоты евро-

пейской общественной мысли XVIII—XIX веков — Шеллинга, Гегеля, Канта, не говоря уж о тех мыслителях, которых нельзя было прочесть в переводе на русский язык. Поэтому-то они оказались просто обреченными на веру в то, что тексты Маркса («Капитал» и «Манифест Коммунистической партии») являются сосредоточением всей европейской культуры. Маргинальные, в лучшем случае, боковые линии развития общественной мысли (к примеру, социалистическая) возводились в ранг центрального столба культуры, а генеральные, сквозные, как философия бытия человека, отбрасывались за ненадобностью.

Советский интеллигент, уверовавший в созданный им же самим миф о Марксе как центре интеллектуальной вселенной, потому и склонен принять критику «великого учения» за варварство, за разрушение культуры. Ему, видимо, кажется, что, защищая Маркса от здравого смысла, он защищает самые основы культуры, место нашей страны в мировом культурном процессе. И это не предположение. На многих нынешних перестроечных семинарах, посвященных Марксу, рефреном звучит одна и та же мысль: не забирайте у советского народа Маркса, ибо, лишившись веры в него, он лишится культуры. Как раз здесь, видимо, и кроется изъян мышления многих демократических ортодоксов. Но хочется все же верить, что в большинстве наши литераторы, экономисты и философы лукавят, кривят душой по соображениям альтруистическим, из милосердия к своим соотечественникам, опасаясь ошеломить их, быть может, самой страшной правдой — что они страдали, мучились, отрывали от себя и от своих детей последний кусок хлеба во имя призрака, кабинетной, оторванной от жизни химеры. Да что хлеб! В жертву на алтарь этой химеры были принесены жизни десятков миллионов ни в чем не повинных людей, беззащитных детей и стариков... Вспомним, вдумаясь, какая страшная концентрация лишений, страданий, мук, унижений, насилия над личностью произошла на сравнительно коротком отрезке истории. Такой вселенской катастрофы еще не случалось. От начала мира было создано множество утопий, идей-призраков. Множество пророков прельщали людей чудом, обещаниями превратить камни в хлеб. Их слушали. Но жить все же предпочитали своим умом, мудростью веков и своих предков. А наш народ дал-таки себя соблазнить, поверил в чудо. Поверил Ленину, посулившему в 1920 году молодежи, что она через десять—двадцать лет будет жить при коммунизме, поверил в какой-то момент даже Хрущеву, предрекавшему «светлое будущее» в самой что ни на есть ближайшей перспективе. И главное — поверил Марксу, его пророчествам о неотвратимости и неизбежности коммунизма, о земном рае, где всем воздастся по потребностям. Даже сегодня, когда иллюзорность, утопичность марксистских проектов обнаруживают себя во всем и вроде бы уже ни у кого не должны вызывать сомнений, 37 процентов населения нашей самой образованной в мире страны продолжают верить в коммунизм!

После того как мы дали себя обмануть, до основания разрушили свое государство, культуру, обкорнали свою мысль и совесть, признаться в заблуждении, в преступной ошибочности содеянного действительно трудно. А ведь мы еще тащили за собой, силой заставляя служить утопии, другие народы: венгров, чехов, поляков, немцев, румын. — полагая, что делаем великое благодеяние, учим их коммунистическому, марксистскому разуму, ведем их к неотвратимому счастью. Некоторые авторы до сих пор никак не могут взять в толк, почему в один миг, как только стало ясно, что мы не прибегнем к авторитету танков и пушек, страны Восточной Европы сбросили с себя навязанное им коммунистическое счастье и возвращаются к нормальной жизни, на ту дорогу, по которой уже тысячелетия идет человечество<sup>54</sup>.

Мы промучили лагерями и тюрьмами, страхом и голодом, карточками и вечными, никогда не кончающимися очередями по крайней мере три поколения россиян, чтобы не прийти, а лишь подступиться к тому, что было очевидно многим серьезным ученым уже на рубеже XIX—XX веков.

Разве не предупреждал Эдуард Бернштейн о том, что Маркс ошибся в своих прогнозах относительно перспектив укрупнения и концентрации сельскохозяйственного

<sup>54</sup> «Разрушена в одночасье,— пишет Александр Проханов,— вся геополитическая архитектура Восточной Европы, создавая которую страна заплатила громадную цену. Нарушен баланс внутриевропейских сил с непредсказуемыми последствиями. Сентиментальная теория «Европа — наш общий дом» привела к крушению восточноевропейских компартий, смене государственности, неизбежному объединению Германии» («Литературная Россия», 5.01.90). Автор ищет происки врага, заговоры там, где не было ничего, кроме происков нашей советской веры в чудо коммунизма. Ищет и не хочет понять, что не популярная теория единого европейского дома привела к крушению восточноевропейские компартии, а правда о марксизме.

производства, что идея организации аграрного сектора в национальном масштабе — наподобие одной фабрики — утопична, а наиболее рациональным и приемлемым способом ведения хозяйства на земле будет оснащенная техникой семейная ферма? Однако мы всячески открещивались от Бернштейна как ревизиониста и с нечеловеческим упорством воплощали Марксову утопию в жизнь, разрушая народный быт, землю, души людей. Теперь, кажется, опомнились, решили вроде бы вернуться к аренде, к индивидуальному хозяйству. Но неужели надо было тратить век, чтобы прийти к очевидному: проверенная мировым опытом форма землевладения — это крестьянина на собственной земле? Неужели требуется столетие, чтобы понять: раскрестьянивание крестьянина приводит к голоду?

Разве не предупреждал в начале XX века Петр Струве, что нет никаких серьезных, научных оснований полагать, будто противоречие между производительными силами капитализма и его юридической оболочкой разрешится, по Марксовой формуле, революционным взрывом (во что свято верили все русские марксисты)? Скорее всего, говорил Струве, взаимодействие между этими двумя противоположностями приведет к изменению качества капитализма; его производственные отношения достаточно гибки, эластичны, чтобы приспособляться к постоянным революциям в технологии производства. (Отсюда и многообразие путей разрешения экономических и социальных конфликтов.) «Оба противопологающиеся явления могут взаимно притуплять друг друга, приспособляться друг к другу и при этом и благодаря этому изменяться существенным образом, именно качественно»<sup>55</sup>. Русские же социал-демократы на протяжении века игнорировали работы выдающегося мыслителя, со дня на день ожидая чуда: капитализм, товарное производство, институт частной собственности исчерпают свои экономические возможности — и наконец все народы мира дружными и стройными рядами двинутся к счастью нерыночной экономики, где производитель будет лишен всякой хозяйственной самостоятельности.

Разве не предостерегал Прудон в своих письмах Марксу, что экономическая доктрина, предполагающая монопольное бесконкурентное производство, с неизбежностью ведет к деспотизму, к всевластию центральных органов коммуны над жизнью ее членов? Предупреждал. О том, что монополия, присущая плановому нетоварному производству типа оузовской коммуны, влечет за собой деспотизм, писали Бакунин, Кропоткин.

Русский революционер Михаил Бакунин говорил, что общество не кролик и никому не дозволено производить над ним эксперименты. «И если можно быть почти уверенным,— писал он, полемизируя с Марксом,— что никакой ученый не посмеет теперь обращаться с человеком, как он обращается с кроликом, тем не менее всегда следует опасаться, как бы коллегия ученых, если только это ей позволить, не подвергла живых людей научным опытам, без сомнения менее жестоким, но которые были бы не менее от этого губельны для человеческих жертв. Если ученые не могут производить опытов над телом отдельных людей, они только и жаждут произвести их над телом социальным»<sup>56</sup>.

Когда автор этих строк без малого четверть века назад, будучи студентом, конспектировал книгу Михаила Бакунина «Кнута-германская империя и социальная революция», его посетила простая, очевидная мысль. Научный, то есть достоверный, социализм в принципе нельзя создать. Ибо нельзя создать науку о том, чего нет, что не поддается чистому, отвлеченному эксперименту. Существует только один путь проверить научность учения Маркса о коммунизме — разрушить; развалить некоммунистическое общество, то есть провести социальный эксперимент.

Конечно, капитализм (особенно старый, домонополистический) порождает и порождает противоречия, вызывающие естественное недовольство трудящихся масс. Но капитализм никогда и ни при каких условиях не вел к разрушению традиционного частного быта и частного обеспечения через рынок, тем более он сам по себе не вел к отмене института наследства, обязанности родителей воспитывать и содержать детей<sup>57</sup>.

<sup>55</sup> Струве П. Марксовская теория социального развития. Киев. 1906, стр. 12.

<sup>56</sup> Бакунин Михаил. Избранные сочинения. 2-е издание. Петербург—Москва. 1922, т. II («Кнута-Германская Империя и Социальная Революция»), стр. 174.

<sup>57</sup> Не следует забывать, что Маркс и Энгельс, как и другие предшествовавшие им утописты, связывали будущее коммунистическое общество «с установлением свободного объединения людей в общество и превращением частной домашней работы в общественную промышленность», с «обобществлением воспитания юношества, а вместе с тем действительно свободными взаимоотношениями членов семьи» (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 20, стр. 331).

Капитализм никогда и ни при каких условиях не разрушал мировоззренческие или моральные стимулы к труду. Не вел капитализм и к соединению задач организации рационального и эффективного труда с задачами формирования коллективности.

Стоит только заставить работать свой разум — и сразу же обнаружится, что революционеры, разделяющие веру в самоотрицание капиталистической экономики, в любом случае оказались бы в роли человека, бросающегося вниз головой в пустой бассейн. Результат был бы одним и тем же и в России 1917 года и в Америке 1990 года, ибо как в первом случае, так и во втором готовность капитализма к социалистической организации труда всегда и всюду одинакова, а именно — равна нулю.

В том-то и дело, что сталинские, военно-коммунистические методы налаживания нового, коллективистского производства неизбежны до тех пор, пока сохраняется марксистская утопическая вера в возможность организации такого производства, которое было бы свободно от соображений прибыли и личной выгоды. Сталинизм — роковая плата за экономический утопизм марксизма, за стремление отвлечься от соображений предпринимательского интереса как главного стимула развития производства, главного условия инициативы, хозяйственной активности людей.

На примере известного «Предисловия к критике политической экономии» хорошо видно, как Маркс абсолютизирует, превращает в универсальное то явление, что по сути своей было уникальным, то есть переход от позднего феодализма к буржуазной демократии с помощью политической революции.

Действительно, капитализм подобен плоду, что созревает во чреве позднего феодализма, он с самого начала формируется как организационная целостность, как сложившаяся система механизмов саморазвития и саморегуляции, как система экономических отношений и побудительных мотивов. Абсолютно все элементы капитализма сложились в условиях позднего феодализма. Тут действительно дело революции состоит только в том, чтобы расчистить дорогу созревшему дитяти, обеспечить простор уже сформировавшимся экономическим отношениям. Революционеры в данном случае утверждают и защищают то, что уже есть, что уже доказало свою жизнеспособность в недрах феодального общества. Речь здесь идет о развитии истории в рамках одного и того же частнособственнического направления.

Но социализм в отличие от капитализма — как качественно новая формация, как система механизмов саморегуляции — не может сложиться в недрах капиталистического общества. Капитализм не создает ни мотивов нового способа производства, ни его субъектов, то есть людей, подготовленных для строительства новой системы экономических отношений. Вопрос о том, кто может заменить организаторов капиталистического производства, заинтересованных в прибылях, несущих материальную ответственность за свои решения, заботящихся о сохранении преемственности квалифицированного руководства, так и не был систематически рассмотрен в работах классиков. Мы его так и не решили на практике за семьдесят лет социалистического хозяйствования.

То, что в теории имело название объективных предпосылок перехода от капитализма к социализму (централизация и концентрация средств труда, достижения промышленности, капиталистическая дисциплина труда и т. д.), в жизни оказалось обломками старого производства. Как только революция подорвала право собственности, право на предпринимательскую прибыль, прежнее, капиталистическое производство угасло, рассыпалось на отдельные куски.

И действительно, одно дело самодвижение научно-технического прогресса в условиях капиталистической конкуренции, другое — в условиях монопольного коллективного производства, с которым связывали будущее общество основатели научного социализма. Из текстов Маркса и Энгельса трудно выяснить, что именно явится двигателем научно-технического прогресса в социуме, отказавшемся от конкуренции, от предпринимательской прибыли и личной экономической ответственности организаторов и руководителей производства за принимаемые ими решения. Учение Маркса и Энгельса о коммунизме нельзя даже назвать вполне научной гипотезой, ибо в основе его лежит посылка, которая ничем не подкреплена — ни экономическим анализом перспектив развития современного им производства, ни анализом возможных социальных и демографических сдвигов, ни анализом динамики и тенденции развития основных потребностей человека. Здесь, в этой части марксизма, все построено на вере в то, что «теперь благодаря развитию крупной промышленности... созданы капиталы и производительные силы в размерах, ранее неслыханных, и имеются средства для того, чтобы в короткий

срок до бесконечности увеличить эти производительные силы»<sup>58</sup>. С этой верой в будущий строй, который в состоянии «до бесконечности увеличить эти производительные силы», Энгельс рождается как коммунист, революционер. С ней он и умирает. В своей самой крупной работе «Анти-Дюринг» он обещает будущим поколениям, что только при коммунистических отношениях уже достигнутые технологические истины могут быть осуществлены на практике, а переход к ассоциированному производству избавит людей от многих «трудностей и препятствий», характерных для классового общества, «обещает небывалый научный, технический и общественный прогресс»<sup>59</sup>.

Теория Энгельса не отвечает элементарным требованиям достоверности, так как ее автор вообще не знает вопросов «на каком основании?», «почему?». Неясно, чем он руководствуется, предполагая, что высокие темпы развития техники, производства, вызванные к жизни капиталистической конкуренцией, стремлением к прибыли, сохранятся и в условиях ассоциированного общества, где исчезнет и первое и второе, где коренным образом изменятся условия жизни людей. Энгельс, похоже, вообще об этом не задумывался, игнорировал проблему условий и стимулов эффективного качественно-го труда.

Ответа на вопрос «почему?» мы при всем желании не найдем и у Маркса. В «Критике Готской программы» он рисует величественную картину перерастания низшей фазы коммунизма в высшую, описывает кульминацию исторического развития, «когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы и все источники общественного богатства польются полным потоком»<sup>60</sup>. Но опять-таки Маркс ничего не говорит о предпосылках, условиях, механизмах желанного чуда. Он предлагает своему читателю поверить, что в будущем нужда в конкуренции, рынке, в экономическом принуждении к труду отпадет сама собой, ибо природа человека изменится. А как же иначе! Ведь «вся история есть не что иное, как беспрерывное изменение человеческой природы»<sup>61</sup>.

Вера в неизбежное преобразование природы человека, понятно, слишком зыбкое основание для учения, претендующего на то, чтобы экономически, социально и политически переиначить, перевернуть мир и судьбы миллионов людей. Невольно хочется спросить: а если человек не изменится так быстро, как надеялись Маркс и Энгельс, если он проявит упорство и надолго сохранит потребность в конкуренции, соревновательности? что станет в этом случае питать коммунистический прогресс? Исчерпывающие ответы на эти вопросы как раз и дали Сталин и его система.

Карл Маркс судит историю, человека, современную ему действительность с позиции несуществующего, невозможного, как бы мы сегодня сказали, с позиции нежизни, с позиции так называемого родового существа<sup>62</sup>. В основе его учения лежит противопоставление идеальной личности, человека, воплотившего в себе все богатство человеческой культуры и социальной жизни, преодолевшего все формы отчуждения, так называемому эмпирическому, случайному человеку. Маркс вслед за немецкими романтиками полагался на чудо, на личность, воплотившую в своем коротком индивидуальном существовании весь смысл, все нормы социального бытия человека, на человека-бога. Но такое противопоставление, соотнесение мечты, фантазии, то есть того, чего никогда не было и никогда не будет, с тем, что есть и было всегда, вряд ли могло обогатить позитивное знание о человеке и обществе. Максимализм и глобализм не способствуют социологической трезвости.

Убеждение Маркса, что его современник, «мирское существо», лишен истинности<sup>63</sup>, подточило его интерес к реальному, смертному человеку, помешало ему увидеть, что есть истина души, что есть истина людского бытия. Поражает легкость (если не лег-

<sup>58</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 4. стр. 331.

<sup>59</sup> Там же, т. 20, стр. 118.

<sup>60</sup> Там же, т. 19, стр. 20.

<sup>61</sup> Там же, т. 4, стр. 162.

<sup>62</sup> «Политическая демократия является христианской постольку, поскольку в ней человек — не какой-либо отдельный человек... испорченный всей организацией нашего общества, потерявший самого себя, ставший чуждым себе, отданный во власть бесчеловечных отношений и стихии, одним словом, человек, который еще не есть действительное родовое существо» (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 1, стр. 397).

<sup>63</sup> «В своей ближайшей действительности, в гражданском обществе, человек — мирское существо. Здесь... он представляет собой явление, лишенное истинности» (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 1, стр. 391).

комыслие), с какой Маркс отбрасывает одно из величайших достижений человеческой культуры — христианский принцип суверенитета «всякого человека» как «высшего существа». И делает он это из убеждения, что христианский человек испорчен «всеядной организацией нашего общества»<sup>64</sup>.

Выбрав неверный, максималистский масштаб измерения человека, Маркс встал на путь нигилистического отрицания всех социальных институтов и механизмов гражданского общества, всего того, на чем держалась и до сих пор держится человеческая цивилизация. Все, что он, Карл Маркс, проклял как формы отчуждения человека, то есть религия, моногамная семья, христианская мораль государства, частная собственность, дом, как выяснилось сейчас, составляет фундамент цивилизации, правового государства. Всю свою жизнь в науке Маркс ловил этукую чудо-рыбу, а тем временем через его сеть, как вода через сито, проскользнули все основные фундаментальные аспекты человеческого бытия и жизни современного общества. Проблемы жизни и смерти, греха и покаяния, совести и милосердия, одиночества и любви и многие, многие другие остались вне его внимания. Маркс, призывавший к мужеству мысли в познании истины, тем не менее никогда не размышлял всерьез, по крайней мере в своих текстах, о самом главном: о человеке, его душе, его страстях, скрытых страданиях, затаенных мыслях. Он не видел, скорее не хотел видеть, что человеку, даже самому честному, совестливому, порой трудно противостоять своему природному эгоизму, чувству зависти, лести, соблазнам славы, власти, богатства. С. Н. Булгаков справедливо и точно отмечал: «Маркс остается мало доступен религиозной проблеме, его не беспокоит судьба индивидуальности, он весь поглощен тем, что является общим для всех индивидуальностей, следовательно, не индивидуальным в них, и это неиндивидуальное... обобщает в отвлеченную формулу, сравнительно легко отбрасывая то, что остается в личности за вычетом этого неиндивидуального в ней, или с спокойным сердцем приравнивая этот остаток нулю»<sup>65</sup>.

Марксизм в силу характера и способа мышления его создателя был наглухо закрыт для духовной проблематики. Мало того, Маркс в своем пренебрежении к «нестинному» человеку редуцировал не только духовную, религиозную сущность бытия, но и экономического человека, который, казалось, являлся главным предметом его забот и внимания. Духовный и интеллектуальный максимализм Маркса закрыл ему дорогу и в царство экономики. Карл Маркс, учивший, что идея всякий раз посрамляла себя, как только отрывалась от интересов людей, сам в исследовании и капитализма и будущего коммунистического общества мало считался с тем обстоятельством, что корысть во многом движет этим грешным миром. Всю жизнь в своих основных работах, включая «Капитал», Маркс доказывал, что капиталист, для которого целью является получение меновой стоимости, по природе своей не заинтересован в производстве добротных вещей, что только в ассоциации, с самого начала нацеленной на производство потребительной стоимости, потребности человека будут поставлены во главу угла. Но в жизни, как мы теперь знаем, все обстоит прямо противоположным образом, то есть так, как говорили Адам Смит и современники Маркса, критики «Капитала», стоявшие на точке зрения здравого смысла. Предприниматели, пекущиеся вроде бы исключительно о прибыли, принесли достаток и благосостояние для значительной части общества. Поскольку капиталист не может получить прибыль, не продав вещь на рынке, то он по логике вещей в условиях конкуренции будет прилагать все возможные усилия для повышения качества продукции. Сами эти условия заставляют его денно и нощно думать о совершенствовании своих изделий. Между тем монополичный производитель национальной ассоциации, освобожденный от контроля со стороны рынка, по той же логике вещей слабо заинтересован или совсем не заинтересован в совершенствовании производимой им продукции.

Когда читаешь тексты классиков, складывается такое впечатление, что Маркс и Энгельс никак не могут продаться через опутавшую их сознание сетку сущностных понятий, не могут увидеть и осмыслить очевидные вещи. Ни один из предшествовавших им социалистов-теоретиков не обошел своим вниманием проблему лени, проблему стимулов к труду, замены, компенсации тех стимулов хозяйствования, которые дает частная собственность. А вот для Маркса и Энгельса всех этих проблем не существовало. Классики никогда всерьез и систематически не исследовали такую фундаментальную

<sup>64</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 1, стр. 397.

<sup>65</sup> Проф. Булгаков С. Н. Карл Маркс как религиозный тип. С.-Петербург. 1907, стр. 15.

проблему, как стимулы к труду, к совершенствованию производства. Они полагали, что инженеру будет стыдно просить лишнюю тарелку супа за свой добавочный труд. Как будто не было печального опыта коммун Оуэна, где все были охочи до сочинения стихов, но так и не нашлось желающих работать в поле. В своем «Манифесте Коммунистической партии» Маркс и Энгельс открыто иронизируют над теми, кто напоминал в полемике с социалистами о существовании проблемы стимулов, кто «выдвигал возражение, будто с уничтожением частной собственности прекратится всякая деятельность и воцарится всеобщая лень». Если бы это действительно было так, полагали Маркс и Энгельс, то «в таком случае буржуазное общество должно было бы давно погибнуть от лени, ибо здесь тот, кто трудится, ничего не приобретает, а тот, кто приобретает, не трудится»<sup>66</sup>.

Противопоставление сущности явлению, родового человека — эмпирическому, подлинной истории — «предыстории» человечества, идея скачка в принципиально новые, коммунистические измерения жизни неизбежно рождали скептическое отношение к «несовершенной», но настоящей жизни, провоцировали насилие над ней. Программа обновления жизни человека, которой руководствовались левые коммунисты во время военного коммунизма, вполне созвучна мечте Маркса о полном преодолении отчужденного человека. От идеи Маркса покончить с «эгоистическим человеком», «случайным человеком», со всей этой «частнособственнической дрянью», «эгоистической жизнью» до идеи Бухарина и Преображенского о полном преодолении старого общества был один шаг.

В молодости Маркс критиковал грубый, вульгарный коммунизм с позиции последовательного гуманизма. В своих «Экономически-философских рукописях 1844 года» он видит опасность приобщения люмпена к процессу изменения мира, угрозу вырождения коммунистической революции рабочих в банальное и жестокое разграбление чужого богатства. Он понимает, что подлинное упразднение частной собственности имеет смысл только тогда, когда оно будет совершаться духовно развитыми людьми, которые переболели жаждой обогащения, у которых есть совесть и которым доступно чувство прекрасного. Нет ничего омерзительнее, пишет Карл Маркс, как желание люмпена обладать тем, чем обладают другие, расправиться с тем, с чем на началах частной собственности не могут обладать все, расправиться с талантом. И вот этот гуманист, не доверявший люмпену, в конце концов связал и судьбы пролетарской революции и судьбы истории именно с той социальной прослойкой, которую называл продуктом разложения буржуазного общества.

Казалось бы, из продуктов разложения и распада прежнего общества никак нельзя построить новое, более совершенное общество. Казалось бы, со всех точек зрения Марксу было бы лучше связать переход к коммунизму со зрелым, цивилизованным пролетариатом. Но еще Эдуард Бернштейн обратил внимание на то, что Маркс вопреки своему учению об упразднении частной собственности на самом деле связывает коммунистическую революцию с вырождающимся рабочим классом. Основатель ревизионизма критиковал первосвященника Второго Интернационала Карла Каутского за его утверждение, будто бы «теория Маркса — Энгельса... выводит необходимость грядущего краха капитализма из роста пролетариата и его силы и зрелости...»<sup>67</sup>. В «Капитале», писал Бернштейн, «Маркс излагает теорию переворота... в которой говорится не о растущей силе и зрелости пролетариата, а о его вырождении и рабстве»<sup>68</sup>.

Первый ревизионист был прав. В своем основном, опубликованном при его жизни труде, в первом томе «Капитала», Карл Маркс действительно связывал грядущий революционный взрыв с пауперизацией большинства рабочего класса, с его абсолютным обнищанием. Здесь, в первом томе «Капитала», он ни на йоту не отступил от исходного тезиса «Манифеста Коммунистической партии», гласящего: «Крепостной в крепостном

<sup>66</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 4, стр. 440.

<sup>67</sup> Бернштейн Эдуард. Очерки из истории и теории социализма. С.-Петербург. 1902, стр. 281, 282.

<sup>68</sup> «Вместе с постоянно уменьшающимся числом магнатов капитала, которые узурпируют и монополизуют все выгоды этого процесса превращения, возрастает масса нищеты, угнетения, рабства, вырождения, эксплуатации, но вместе с тем растет и возмущение рабочего класса, который постоянно увеличивается по своей численности, который обучается, объединяется и организуется механизмом самого процесса капиталистического производства» (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 23, стр. 772).

состоянии выбился до положения члена коммуны так же, как мелкий буржуа под ярмом феодального абсолютизма выбился до положения буржуа. Наоборот, современный рабочий с прогрессом промышленности не поднимается, а все более опускается ниже условий существования своего собственного класса. Рабочий становится паупером, и пауперизм растет еще быстрее, чем население и богатство. Это ясно показывает, что буржуазия неспособна оставаться долее господствующим классом общества и навязывать всему обществу условия существования своего класса в качестве регулирующего закона. Она неспособна господствовать, потому что неспособна обеспечить своему рабу даже рабского уровня существования, потому что вынуждена дать ему опуститься до такого положения, когда она сама должна его кормить, вместо того чтобы кормиться за его счет. Общество не может более жить под ее властью, т. е. ее жизнь несовместима более с обществом»<sup>69</sup>.

Позже, уже в России, на это сущностное противоречие между представлением Маркса о социализме как царстве красоты и таланта и его учением о субъекте пролетарской революции обратил внимание П. Струве. «Свое эмпирическое основание «теория крушений», — писал он, — нашла у Маркса в учении о естественно необходимом обнищании народных масс с течением капиталистического развития. Этого учения Маркс никогда не оставлял, но оно отвергнуто фактами и почти совершенно отброшено марксистами. И если бы это учение было правильно, его правильность была бы только доказательством против возможности социализма, самоосвобождение пролетариата и прогресс культуры, таким образом, против возможности марксовского социализма»<sup>70</sup>.

Было бы чрезвычайно интересно узнать, почему Карл Маркс так и не заметил этого противоречия в своем учении, не задумался о неизбежных негативных последствиях приобщения обнищавшего, вырождающегося рабочего класса к революционному переустройству мира. Ведь и для него должно было быть очевидным, что обнищавший человек обозлен, жаждет мести и, как только получит в руки оружие, сейчас же воспользуется учением об относительности моральных норм — начнет расправляться с ненавистными ему буржуями и вместо созидания красоты начнет созидать виселицы для своих притеснителей. По логике процесса революционного взрыва, который Маркс и Энгельс описали в «Манифесте Коммунистической партии», все случившееся в России сразу после Октября (расправа обнищавших рабочих и крестьян над всеми, кто жил лучше их) было закономерно и неизбежно.

Но об этом, о человеческих последствиях революции, о тех страданиях, с которыми сопряжено революционное насилие, классики, по-видимому, никогда всерьез не задумывались. Более того, они, как хорошо известно, питали неприязнь к социалистам, задававшимся вопросом о цене пролетарской революции, предупреждавшим о грядущих ужасах гражданской войны. Энгельс в письме Марксу от 25—26 октября 1847 года с пренебрежением говорит об их соратнике по Союзу коммунистов Мозесе Гессе, который «беспрестанно помещает в газете свои фантазии о последствиях пролетарской революции»<sup>71</sup>.

Возможно, Маркс и Энгельс рассчитывали на то, что вырождающийся, обнищавший пролетариат, вовлеченный в процесс обновления мира, сам обновится, очистится от грязи зависти и ненависти. Возможно, они, увлеченные конструированием диалектических законов саморазрушения капитализма, вообще теряли ощущение человеческого, природного смысла описываемых ими процессов. Как бы там ни было, ясно одно: цельного, стройного, вылитого из одного куска стали марксизма не существовало. И существовать не могло. Человек не в состоянии сделать больше того, что в состоянии сделать человек. Противоречивы были устремления Маркса. В его душе уживались и желание создать социальную науку в строгом немецком смысле слова, и желание увидеть своими глазами, при своей жизни мировой пожар победоносной пролетарской революции; искреннее увлечение гуманизмом Фурье, гегелевское, фаталистическое восприятие истории, убеждение, что нет ни малой, ни большой цены прогресса; искренняя, глубокая критика вульгарных коммунистов, но в то же время не менее искренняя ориентация на Бабефа, на коммунистические, насильственные, разрушительные методы, на диктатуру революционных масс; искреннее желание помочь рабочему классу, облегчить его страдания и судьбу, но в то же время и презрительное, высокомерное отношение к

<sup>69</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 4, стр. 435.

<sup>70</sup> Струве П. Марксовская теория социального развития, стр. 47.

<sup>71</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 27, стр. 97.



этим несчастным, необразованным людям, не могущим встать вровень с ним<sup>72</sup>. Все эти противоречия и наши свое непосредственное отражение в учении Карла Маркса. Потому-то с самого начала не было более безнадежного дела, чем сверять свое бытие с мыслями Маркса, строить новый мир по Марксу. И уж совсем неразумным является желание некоторых наших ортодоксов воспользоваться помощью Маркса — экономиста и политика при лечении болезней современного советского общества.

Учение Карла Маркса никак не может помочь перестройке по той простой причине, что на многие вопросы, поставленные жизнью, оно содержит в себе сразу два отрицающих друг друга ответа. Руководствуясь учением Карла Маркса, можно пойти резко влево, но, если поднапрячься, можно найти в нем основания и для резкого поворота вправо. В текстах Маркса содержатся обоснования любого экономического и политического решения.

Если вы будете опираться на «Экономические рукописи 1857—1859 гг.», то с блеском докажете, что Карл Маркс предполагал отмирание товарно-денежных отношений на очень высоком уровне развития производительных сил, когда экономика перестает зависеть от количества простого живого труда как основного богатства общества, когда отпадает необходимость в физическом труде рабочих, в процессе расходования их мускульной энергии, сама собой отмирает необходимость в меновой стоимости как в условии и механизме дисциплинирования, прищипоривании труда<sup>73</sup>. Ссылаясь на тексты этой рукописи, вы с полным основанием докажете, что все большевики были абсолютными головотяпами, ибо в России 1917 года нет и не было даже намека на отмирание товарных механизмов контроля за дисциплиной и качеством труда, то есть отсутствовали условия для естественного, автоматического отмирания частной собственности. Дополнительным аргументом, позволяющим уличить большевиков и Сталина в головотяпстве, является и мысль Маркса о необходимости воспитания у рабочих привычки работать сверх того, что необходимо для поддержания их жизни. По Марксовым прогнозам, для зарождения «всеобщего трудолюбия»<sup>74</sup> рабочих необходима целая цепь сменяющих друг друга поколений. У Маркса речь шла не о десятилетиях, а о веках капиталистической дрессировки рабочих.

Но если вы начнете, к примеру, руководствоваться идеями «Критики Готской программы», то вы с не меньшим блеском докажете прямо противоположное утверждение, а именно: Маркс допускал возможность отмены товарно-денежных отношений даже на том уровне развития производительных сил, каким обладала капиталистическая Франция в 1881 году. В этой работе Карл Маркс говорит об ассоциации производителей, обменивающих простой труд, простую мускульную энергию рабочих, обменивающих шесть часов работы на поле на шесть часов работы за токарным станком, подобно тому как они обменивали изделия своего труда на рабочих базарах<sup>75</sup>.

Сверья действия и решения большевиков России по текстам «Критики Готской программы» или «Гражданской войны во Франции», вы успокоите свою совесть, убедившись в том, что они были нормальными марксистами и мыслили так, как и должны мыслить марксисты-революционеры.

<sup>72</sup> «У нас есть теперь, наконец, опять — в первый раз за долгое время, — возможность показать, что мы не нуждаемся ни в какой популярности... Отныне мы ответственные только за самих себя, а когда наступит момент и эти господа будут в нас нуждаться, мы сможем диктовать им свои собственные условия... Впрочем, по существу, мы не можем даже слишком жаловаться, что эти маленькие великие мужи нас боятся; разве мы в продолжение стольких лет не делали вид, будто всякий сброд — это наша партия, между тем как у нас не было никакой партии, и люди, которых мы, по крайней мере официально, считали принадлежащими к нашей партии, сохраняя за собой право называть их между нами несправимыми болванами, не понимали даже элементарных начал наших теорий?.. Какое значение имеет «партия», то есть банда ослов, слепо верящих нам, потому что они нас считают равными себе, для нас, плюющих на популярность, для нас, перестающих узнавать себя, когда мы начинаем становиться популярными? Воистину мы ничего не потеряем от того, что нас перестанут считать «истинным и адекватным выражением» тех жалких глупцов, с которыми нас свели вместе последние годы» (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 27, стр. 177).

<sup>73</sup> Но как только живой труд теряет его свое качество, добавляет Маркс, «как только... рабочее время перестает и должно перестать быть мерой богатства, и поэтому меновая стоимость перестает быть мерой потребительной стоимости... рушится производство, основанное на меновой стоимости» (Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 46, ч. II, стр. 214).

<sup>74</sup> Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 46, ч. I, стр. 280.

<sup>75</sup> См. там же, т. 19, стр. 18—19.

Опираясь на тексты классиков, вы, если захотите, даже сможете доказать, что Маркс и Энгельс были противниками классового подхода, настаивали на защите универсальных норм и ценностей буржуазного, гражданского общества. Они действительно были поборниками универсальных ценностей, универсальной нравственности в том случае, когда вели теоретическую и политическую борьбу с анархистами, когда пытались развеять их, уличить в аморализме. Так, в работе «Альянс и международное товарищество рабочих» Маркс и Энгельс резко критикуют «всеразрушительных анархистов, которые хотят все привести в состояние аморфности, чтобы установить анархию в области нравственности»<sup>76</sup>. Основатели научного социализма в этой статье протестуют против призыва Нечаева и Бакунина «разорвать всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями и нравственностью этого мира»<sup>77</sup>.

Однако литератору, апеллирующему к авторитету классиков в защите вечных принципов морали, следует помнить: существует и другой марксизм, учивший коммунистов совсем другому — тому, что революционер не имеет права зарекаться от каких-либо средств достижения своих конечных целей. Фридрих Энгельс в письме Герсону Триру 18 декабря 1889 года писал: «...для меня как революционера пригодно всякое средство, ведущее к цели, как самое насильственное, так и то, которое кажется самым мирным»<sup>78</sup>.

Не следует забывать, что Маркс и Энгельс первыми в истории общественной мысли попытались доказать условность, исторический преходящий характер нравственных норм, на которых держался современный им гражданский порядок, дискредитировать в глазах рабочих правила и законы общечеловеческой морали как выдумку буржуазии. Тут нет ничего удивительного. Идея насильственного ниспровержения существующего строя, экспроприации экспроприаторов, всем своим содержанием отрицала устои гражданского общества. Авторитет оружия, революционного насилия никак нельзя было совместить с авторитетом нравственности, христианских заповедей. Идея слома государства была направлена не только против права частной собственности, но и против неприкосновенности жилища, идеи достоинства, суверенитета и независимости каждой личности. Маркс не скрывал, что пролетарская революция разрывает целиком со всеми «старыми законами», отрицает их<sup>79</sup>. Логика революционной борьбы с неизбежностью вела к решительному отклонению всяких попыток навязать марксистам какую-нибудь моральную догму<sup>80</sup>.

В этой ситуации как раз и стало необходимым учение о преходящем, классовом характере нравственных и правовых норм, позволяющее приглушить криминальный характер учения о революции и диктатуре пролетариата. Не случайно всю жизнь Маркс и Энгельс с поразительным усердием утверждали относительность морали и этики, стремились доказать бессилие категорического императива Канта<sup>81</sup>, ложность библейского «итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Основоположники марксизма ссылались на то, что принципы эти, мол, скроены для всех времен, для всех народов, для всех обстоятельств и именно поэтому якобы не применимы нигде и никогда...

## 6

Сейчас уже очевидно: без внутренних духовных потрясений, не пройдя курса интенсивной шокотерапии правдой, общество наше духовного здоровья не обретет. Грядущая переоценка ценностей носит глобальный характер. Это и понятно. Никто и никогда в истории человечества не был так поработен мифами, как наш народ в XX веке. Мы полагали, что связали свою судьбу с великой истиной, а выяснилось, что доверились интеллектуальной фантазии, которой не суждено было никогда воплотиться в кровь и плоть человеческой жизни. Мы полагали, что являемся первопроходцами, ведем за собой все остальное человечество в царство свободы и духовной благодати, а оказалось — наша дорога была дорогой в никуда. Мы полагали, что

<sup>76</sup> Там же, т. 18, стр. 415.

<sup>77</sup> Там же, стр. 416.

<sup>78</sup> Там же, т. 37, стр. 275.

<sup>79</sup> См. там же, т. 6, стр. 259.

<sup>80</sup> См. там же, т. 20, стр. 95.

<sup>81</sup> См. там же, т. 21, стр. 298.

строительство коммунизма в СССР является величайшим подвигом нашего народа, и целенаправленно занимались самоистреблением. Мы полагали, что капитализм — приговоренный к смерти, дышащий на ладан старик, а оказалось, что это крепкий и сильный молодец, который только сейчас и начал по-настоящему распрямлять плечи. Мы полагали, что нас окружают единомышленники, благодарные нам за спасение от капиталистического рабства, что вместе мы образуем мощный социалистический лагерь, а выяснилось, что наши друзья и соседи, придавленные нашим «счастьем», только и ждут момента, чтобы вернуться к старой жизни. Мы полагали, что наше национальное производство, организованное как одна большая фабрика с одним всемогущим директором, с одной всевластной диспетчерской, является верхом человеческого разума, а оказалось, что все это экономический абсурд, закрепостивший хозяйственную и духовную энергию народов России.

Конечно, не каждый в состоянии выдержать такой мощный напор всепокрушающей правды. Тут и душе надоиститься недолго. Но разве сокрытие всей правды, разве новая неправда лучше? Что же это за идеалы, для сохранения которых приходится скрывать от народа истину?! Так не достойней ли примириться с действительным положением вещей, пусть со страшной, но правдой, тем успокоить свою душу и найти в себе силы для предстоящих трудов и испытаний? Жизнь-то продолжается. Дел у нас впереди масса. Надо строить новое, свободное, демократическое общество, создавать крепкое и стабильное правовое государство, обеспечивать достойные условия жизни нашим детям. Смерть мечты о коммунистическом рае — это еще не смерть человечеству. Мифы рождаются и умирают, но, к счастью, человеческая цивилизация по-прежнему существует и развивается.

Худо-бедно, за плечами у нашего народа тысячелетняя история, на семидесяти годах коммунистического экспериментирования свет клином не сошелся. Ведь раньше мы двигались по пути истории и прогресса, как все народы: шли трудно, но шли. В конце концов, разве не должен вселять в нас уверенность тот факт, что, несмотря на страшные муки, мы все-таки выжили, у нас хватило нравственных сил, чтобы очиститься от преступлений сталинизма и грязи брежневской эпохи, чтобы вернуться к своей истории, восстановить прерванную связь времен? Кто нам мешает сохранять уважение к предшествующим поколениям, к тем, кто в условиях страшного гнета, нежизни сохранял жизнь, к тем, кто работал, кто сеял и строил, защищал родину, кто сложил свои головы за отечество? Кто нам мешает сохранять мудрость и не разрушать то, без чего мы сегодня не проживем? Обезопасив тылы, успокоившись, подготавливая себя морально к серьезному испытанию, мы обязаны посмотреть правде в глаза. Той правде, за которую мы заплатили страшную цену. Другого выхода просто нет. А затем... Затем предстоит многое заново переосмыслить, многое восстановить, многому заново научиться...

Преодолевая марксистскую догматику, надо учиться любить и уважать не того человека, который будет, а того человека, который есть. Невозможное невозможно. Нежизнь не может стать жизнью. Нет и не может быть альтернативы цивилизованности, устоям гражданского общества. Нет и не может быть альтернативы общечеловеческой морали, идеалам добра, справедливости и уважению к каждой человеческой личности. Нет и не может быть альтернативы правам и свободам человека. Нет и не может быть альтернативы законам рационального и эффективного хозяйствования.

Общество нельзя полностью подчинить априорной схеме, противоестественной идее. С помощью насилия утопия в состоянии подчинить себе громадные пространства бытия человека, держать его долго в узде, издеваться над ним. Но она не всеисильна. К счастью, чистый, абсолютный тоталитаризм невозможен. Он не в состоянии полностью контролировать мысль человека, он не в состоянии проникнуть в глубины отношений между родителями и детьми. Невозможно добиться от всех детей, чтобы все они, подобно Павлику Морозову, доносили на родителей. Невозможно добиться от матери, чтобы она в соответствии с указаниями Маркса и Энгельса, родив ребенка, перестала заботиться о нем и передала его на попечение общественных нянь, коммунистических интернатов. Невозможно добиться от человека, чтобы он в соответствии с указаниями коммунистической морали перестал бы заботиться о себе и ближних, а думал бы только о дальних, чтобы он отказался полностью от собственного «я». Невозможно добиться от людей, чтобы они думали одинаково, видели мир только сквозь призму официальной пропаганды.

Нет, религия не является дурманом, вздохом угнетенной твари, как утверждали Маркс и Энгельс. Благодаря религиозному чувству человек открыл свою душу, открыл в себе совесть. Ничто так не развивает мысль, душу и сердце, как поиски Бога. Разрушение храмов и алтарей не могло привести ни к чему иному, кроме оголенного язычества, поклонения человекобожеству, уродливой, оскверняющей человеческое достоинство вере в мудрость вождей. Никогда человечество не падало так низко, как в эпоху атеистического вождизма.

Теперь мы знаем, что вопреки авторитетному мнению человечество очень часто ставит себе такие задачи, которые оно не в состоянии решить, расплачиваясь за это морем крови невинных людей, их бесконечными муками и страданиями. Мысль, свободная от законов пространства и времени, парит в облаках, она совращает втиснутого в материальное бытие смертного человека. Мы поняли, что добиваться полного соответствия между красотой мысли и красотой мира — безумная затея. В равной мере как было бы противоестественно отказывать красивой идее (мечте и даже призраку) в праве на существование только потому, что она никогда не сможет в чистой форме воплотиться в действительность.

Не подтвердилось учение пророков коммунизма, внушающих, что законы, мораль, религия — это всего лишь буржуазный предрассудок, что духовная благодать и процветание гарантированы лишь тем, кто не верит в вечные принципы морали. Оказалось, что нельзя духовно возвысить человека, вовлекая его в грабеж награбленного, в дело экспроприации экспроприаторов. Лозунг «грабь награбленное» мог привести только к перманентным погромам и грабежам. Дурные средства сразу же пожирают самую благородную цель, а одна расправа или месть непременно рождает новую расправу, новую месть, не решая ни одной социальной проблемы и только усугубляя патологию общественного бытия.

Насилие никогда не может быть рычагом истории, повивальной бабкой нового. Чаще всего оно свидетельствует о духовной болезни общества и духовной болезни его вратевателей. Чем неистовее революции, чем большее затмение революционных умов, тем труднее вернуть общество к нормальной жизни. Дело, во имя которого приходится ставить к стенке невинных людей, с самого начала обречено.

Борьба с частной собственностью под знаменем марксизма не привела к искоренению старых преступлений, но породила новые, еще более тяжелые, с трудом поддающиеся опознанию и выкорчевыванию. Все, что унифицировано, сделано по одной мерке, генетически, политически и философски упрощено, в конечном счете гибнет, уступая место богатству и разнообразию форм жизни.

Неверно, что пролетариат не имеет и не должен иметь своего отечества. Никто не имеет права отбирать у человека величайшую радость принадлежности к своему народу, отечеству, ощущать связь со своими предками, верованиями, традициями, чувствовать себя необходимым, важным звеном в вечной цепи жизни своего рода. Духовный комфорт одного народа не должен достигаться мучениями другого, путем разлома его души, отчуждения у него национального самосознания. Попытки покушения на национальное сознание, национальный идентитет любых, как больших, так и малых, народов всегда ведут ко всеобщей беде. Утрата национального самосознания народом всегда и во всех случаях оборачивается бедой не только для него, но и для соседей. Даже у искалеченного народа, пережившего болезнь самогеноцида, самоистребления, рано или поздно просыпается потребность прочувствовать себя, понять, откуда он родом и зачем пришел в этот мир.

Только человек, испытывающий гордость за свой народ, его язык, его культуру и святыни, кому дороги могилы предков, способен проникнуться уважением к языку и святыням другого народа. Тот, кто не принадлежит своему отечеству, не в состоянии принадлежать и всему человечеству.

Безусловно, необходимо разоблачать нравственную и духовную ущербность национализма как национального высокомерия, как шовинизма. Но одновременно надо бороться и с теми, кто лишает нацию возможности чувствовать себя нацией. Никому не дано права решать свои национальные проблемы, ущемляя национальные интересы других наций, преодолевать драматизм, историческую несправедливость своего существования, плодя новую несправедливость, новую боль, новые трагедии.

И последнее... Всем известные истории социалистического строительства, попытки стимулировать труд бедностью неизменно оканчивались поражением. Человеку трудно примириться с ролью винтика. Он инстинктивно сопротивляется однообразию, бе-

жит от принудительного, навязанного труда. Идею свободного, творческого развития личности — одну из немногих гуманистических идей марксизма, — как оказалось, трудно соединить на практике с марксистской же идеей планирования, полного вытеснения экономической инициативы снизу. На фундаменте поголовной бедности невозможно построить богатое государство. Мы постепенно возвращаемся к старой народной истине, утверждающей, что богатство державы создается старательным хозяином, мастером, работающим, уверенным в себе и пребывающим в достатке.

Впрочем, если посмотреть на то, что с нами произошло, к чему привели полное огосударствление производства, попытки уничтожить рынок, самостоятельность производителя, в более широкой, исторической перспективе, то должно не только печалиться. Есть чему и порадоваться. Все же человек, в том числе и российский человек, не смог, не захотел согласиться с участью второстепенной, неприметной детали механизма административно-командной системы, не принял навязанный ему порядок повсеместного опекуства, тотального единообразия и запретов. Значит, старый мир, основанный на частной инициативе, имел смысл, и его нельзя разрушать до основания. Значит, история человечества, труд, мышление, инициатива сотен поколений, в том числе и поколений крестьян, живших до нас, не были напрасны. История и сама жизнь поставили на место зарвавшихся честолюбцев, полагавших, что они видят дальше и лучше других.

Мы обязаны признать бесповоротно: наша многолетняя борьба с психологией собственника, за психологию несобственника была величайшей глупостью, коль скоро уничтожение частной собственности, по сути, обернулось не только разрушением основ экономики, но и основ самой общественной жизни. Собственность не только дает человеку экономическую, а потому и социальную защищенность, но и делает его гражданином, у которого есть что защищать и о чем заботиться. Частная собственность, и прежде всего собственность на орудия и на результаты собственного же труда, на землю, орошаемую собственным потом, превращает просто человека в личность заинтересованную, мыслящую, инициативную и ответственную. Она по природе своей несовместима с бесхозяйственностью и ленью, несовместима с недомыслием, она побуждает к накоплению, противостоит расточительному потреблению. Собственность — это материальная основа преемственности в человеческой истории, она заставляет заботиться о потомстве, о том, кому можно доверить дело твоей жизни. Она одновременно рождает и питает уважение детей к родителям (Чем беднее мужчина, тем ему труднее стать не только настоящим мужем, но и настоящим отцом.)

Разумеется, влияние частной собственности на общественную жизнь противоречиво: она может разделять людей, пробуждать зависть и меркантилизм, опустошать душу. Собственность, как смерть и любовь, выступает непрременной участницей драмы человеческого бытия. Но кто доказал, что существование человека может быть недраматичным, что человеку можно, как мечтал молодой Маркс, преодолеть все известные проблемы своего существования?! Вместе со старым, наивно-романтическим отрицанием частной собственности постепенно умирает идущая от марксизма вера в возможность идеального, бесконфликтного человеческого существования. Люди у нас, кажется, начинают понимать, что стремление к полному искусственному исключению социальных конфликтов есть утопия, приводящая к самому страшному злу. Попытки построения рая на земле неизбежно заканчиваются созданием реального земного ада...

Уроки наши, доказывающие, что невозможное невозможно, что естественное в конечном счете одерживает победу над неестественным, искусственным, выморочным, несомненно имеют всемирно-историческое значение. Быть может, именно в них и заключен подспудный, подлинный смысл событий, которым мы положили начало в октябре 1917 года. Но уроки эти в равной мере важны и для нас самих. Если жизнь в нашей стране все же победила морок и мертвечину, то, следовательно, мы имеем в этическом, духовном отношении все необходимое, чтобы вернуться назад в историю, нам есть на что надеяться...

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

*Из истории русской общественной мысли*

С. Л. ФРАНК  
(1877—1950)

\*

## ПО ТУ СТОРОНУ «ПРАВОГО» И «ЛЕВОГО»

Статьи по социальной философии

Творческое наследие Семена Людвиговича Франка без сомнения входит в золотой фонд русской философской мысли XX века, и потому возвращение его идей на родную почву воспринимается как естественное и должное. Но то, что это возвращение совершается именно сегодня, когда мы в очередной раз оказались на распутье и стоим перед решающим, быть может, выбором, заставляет усматривать в нем дополнительный смысл. Франк уже прошел долгий путь от марксизма к идеализму и потом к религиозному миропониманию, а в социально-политических взглядах — от революционного радикализма с его пафосом борьбы и разрушения к «либеральному консерватизму» с его оправданием лишь того социального творчества, которое укоренено в традиции и абсолютных ценностях веры. И этот путь Франк и его единомышленники осознавали как реальный и единственный верный выход из того духовного кризиса, который поразил Россию.

«По силе философского зрения Франка без колебания можно назвать самым выдающимся русским философом вообще,— не только среди близких ему по идеям»,— писал историк русской философии В. В. Зеньковский<sup>1</sup>. С такой оценкой можно тем более согласиться, если сделать акцент на слове «зрение», ибо как раз здесь сказалась особенная сила Франка — в умо-зрении. Именно «умное зрение» дает возможность воспринять реальность, которая «дается», «открывается» и познание которой осуществляется «не через активность познающего взгляда субъекта, а через активность направленной на „меня“ реальности. Реальность, как „голос“, „зов“, „обращение“»<sup>2</sup>. На эту особенность мыслительного облика философа указал Н. С. Арсеньев: «...он — подчиненный, он — прислушивающийся, он — свидетель. Он не строит изящного дома для истины; он захвачен ею, он жадно улавливает ее присутствие своим ухом исследователя, мыслителя и свидетеля...»<sup>3</sup>. Франк действительно хотел быть и был свидетелем истины во всем, куда обращался его сосредоточенный взор.

К реальной деятельной политике Франк не чувствовал призвания, не любил ее — но и уйти от нее не мог. Все русские мыслители XX века были поставлены перед очевидным для них фактом кризиса цивилизации и культуры Нового времени, который проявился в разрушительных мировых войнах и не менее разрушительных революциях, а завершился нарождением античеловеческих тоталитарных режимов. Эта социально-политическая реальность сама врывалась в умы и судьбы, заставляла обратить на себя внимание и требовала осмысления. Не мог уйти от этого «зова» реальности и Франк.

Но и тут философ сохранил положение «свидетеля истины», что дало ему возможность избежать оков партийного доктринерства и следовать спинозовскому прин-

Составление, вступительная статья и комментарии А. КАЗАКОВА.

<sup>1</sup> Зеньковский В. В., прот. История русской философии. Париж. 1950, т. 2, стр. 392.

<sup>2</sup> Из письма Франка Л. Бинсвангеру. Цит. по: Бинсвангер Людвиг, «Воспоминания о Семене Людвиговиче Франке» (в кн.: «Сборник памяти Семена Людвиговича Франка». Мюнхен. 1954, стр. 31).

<sup>3</sup> Арсеньев Н. С., «Раскрывающиеся глубины (О философии С. Л. Франка)» (в кн.: «Сборник памяти Семена Людвиговича Франка», стр. 73).

ципу «не плакать, не смеяться, не ненавидеть,— а понимать». Выход из захватившего мир энтропийного процесса Франк видел в новом, постреволюционном осмыслении назначения человека: «Когда человек уже не знает, что ему начать и куда идти, он должен, забыв на время о сегодняшнем дне и его требованиях, задуматься над тем, к чему он, собственно, стремится и, значит,— в чем его истинное существо и назначение»<sup>4</sup>. Современный человек должен найти в себе силы остановить инерцию радикалистских установок сознания и оценить свое положение в мире — вновь оценить. Задача философа состоит в том, чтобы от изменения мира вновь вернуться к его пониманию. Иначе путь «перманентной революции» грозит превратиться в неуклонное движение к бездне.

Получив воспитание в среде радикально настроенной интеллигенции, Франк еще в гимназии примкнул к марксистскому кружку. «Марксизм,— писал он впоследствии,— увлек меня своей наукообразной формой, именно в качестве «научного» социализма. Меня привлекала мысль, что жизнь человеческого общества можно познать в его закономерности, изучая его, как естествознание изучает природу»<sup>5</sup>. Но Франк быстро расстается с этим умонастроением и уже к началу века приходит от политической экономии к «социальной психологии».

Духовный перелом завершается к 1902 году, по прочтении книги Ф. Ницше «Так говорил Заратустра», которая поразила Франка глубиной духовного опыта: «С этого момента я почувствовал реальность духа, реальность глубины в моей собственной душе — в бед каких-либо особых решений моя внутренняя судьба была решена. Я стал «идеалистом», не в кантовском смысле, а идеалистом-метафизиком, носителем некоего духовного опыта, открывавшего доступ к незримой внутренней реальности бытия. Я стал «философом»...»<sup>6</sup>. Но пройдет еще много лет, прежде чем философу удастся оформить свое новое мирозерцание. А пока он участвует в сборнике «Проблемы идеализма» статьями «Этика любви к гальнему», где пытается обосновать героическую мораль, сочетая идеи Ницше с политическим радикализмом.

Революция 1905 года окончательно убеждает Франка в ложности радикалистских путей в политике, а дальнейшее осмысление революционного опыта приводит его к всестороннему пересмотру духовных основ мировоззрения русской интеллигенции — вдохновительницы революции.

Окончательно эти новые взгляды сложились у Франка к 1909 году, когда он публикует в «Вехах» статью «Этика нигилизма» — одну из самых сильных в сборнике. Здесь он определяет нравственное мирозерцание интеллигенции как «нигилистический морализм». «Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентировки в жизни, кроме морального разграничения людей, поступков, состояний на хорошие и дурные, добрые и злые». Невосприимчивость к ценностям абсолютным, отсутствие религиозной перспективы в понимании общественной жизни приводит русского интеллигента к нечувствию проблем личного греха и вообще греховности человека. Единственным препятствием на пути к всеобщему счастью признается внешний социальный строй, ограничивающий и погавляющий изначально благую природу человека. Следовательно, достижение счастья возможно через простое разрушение существующего строя. В этом искаженном понимании природы общества Франк усматривал истоки «принципиального революционаризма».

Следующий важный шаг в оформлении социально-политической философии Франка — его статья «De profundis» («Из глубины»; в одноименном сборнике, 1918). В ней продолжена линия «Вех», но теперь, после революционного катаклизма, философа прежде всего интересует не столько восторжествовавший радикализм, сколько вопрос — почему либеральное и консервативные направления русской общественности оказались бессильными перед ним?

Основную причину слабости либеральной партии Франк видел «в отсутствии у нее самостоятельного и положительного общественного мирозерцания и я». Несамостоятельность русского либерализма проявилась, в частности, в его «полу-социалистичности». В основе этого сближения лежала та особенность русского либерализма, что в нем не было философски и религиозно укорененной веры в абсолютную ценность права и свободы, нации и государства, которая обеспечила бы противостоя-

<sup>4</sup> Франк С. Л. Духовные основы общества. Изд. 2-е. Нью-Йорк. 1988, стр. 13.

<sup>5</sup> Франк С. Л., «Предсмертное. Воспоминания и мысли» («Вестник РХД», Париж, 1986, № 146, стр. 110—111).

<sup>6</sup> Там же, стр. 121.

ние разрушительным началам. Русские либералы видели в социалистах скорее неразумного союзника, чем противника, и потому никогда не были готовы к удару слева.

Несостоятельность русского официального консерватизма тоже обусловили, по Франку, духовные причины. Эта идеология опиралась «на ряд давних привычек чувства и веры, на традиционный уклад жизни, словом, — на силы исторической инерции...», но, постепенно теряя реальную связь с духовной жизнью народа, консерватизм превращался в элементарное охранительство, а на крайнем радикальном полюсе — в чернотенство.

Главной же слабостью как русского либерализма, так и консерватизма оказалась их органическая неспособность увидеть религиозную оправданность друг друга. Либералы не видели силы и значимости «древних культурно-исторических жизненных чувств и навыков», а консерватизм «обессилил и обесплодил себя своим фактическим неверием в живую силу духовного творчества и неверием к ней». Став, таким образом, в оппозицию друг к другу, русский либерализм и консерватизм не смогли создать противовеса напору «социалистского нигилизма».

Выход из этого кризиса Франк и его политический наставник П. Б. Струве искали на путях преодоления крайностей как либерализма, так и консерватизма за счет положительных ценностей того и другого, в своем сочетании дающих «либеральный консерватизм». Философское же обоснование этой политической доктрины Франк предпринял в книге «Духовные основы общества Введение в социальную философию» (1930).

В поисках абсолютной ценностной основы социально-политического мироздания Франк исходит из изначально двойственной — духовной (внутренней) и физической (внешней) — природы человека вообще. Соответственно он видит два различных уровня общественного бытия — «соборность» и «общественность». Но эти уровни не существуют порознь: второй — внешний, механический — уровень имеет «соборность» как живое, органическое духовное единство общества своей необходимой основой. Признание этого сосуществования соборности и общественной дает возможность оправдать и совместить ценности как либерализма, так и консерватизма. Свобода и самостоятельность личности при таком взгляде не противоречат солидарности, равенство — духовному иерархизму, гражданское общество — государственности и власти. «Носителем традиции, начала устойчивости и непрерывности общественного бытия является общественное единство, общество как целое, тогда как носителем временной изменчивости, творческой активности становится отдельная личность, в лице ее индивидуальной свободы».

Франк был убежден, что воплощение идей либерального консерватизма в общественной жизни поможет избежать безумного чередования анархии и деспотизма и прийти к нормальному социальному творчеству, не разрушающему, но создающему.

## ИЗ РАЗМЫШЛЕНИЙ О РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

**Ч**то такое есть русская революция? Как осмыслить и понять эту ужасную катастрофу, которая нам, современникам и жертвам ее, легко кажется чем-то небывалым, доселе невиданным по своей опустошительности и которую и бесстрастный объективный историк должен будет признать одной из величайших исторических катастроф, пережитых человечеством?

Вопрос этот, кажется, принято теперь ставить, прежде всего, в форме дилеммы: есть ли русская революция настоящая «революция» или она есть лишь великая «смута»? Критику этой постановки вопроса мы берем исходной точкой наших размышлений.

Те, кто ставит эту дилемму, подразумевают следующее. Бывают в жизни народов «революции» в подлинном смысле слова, когда органические творческие силы общества, устремленные на воплощение созревших в глубине общественного сознания новых идеалов, на удовлетворение новых органических потребностей и не находя мирного исхода для своих стремлений, разрушают старый порядок как преграду для творчества и тем дают простор для созидания назревшего нового порядка. Как бы болезнен ни был такой процесс, какими бы эксцессами он ни сопровождался, он есть, с точки зрения телеологии общественного развития, не просто патологическое явление, а кризис роста или созревания; поэтому он исторически оправдан. Но бывают в жизни народов и «смуты» — процессы простого разрушения и разложения, имеющие, правда, какие-то причины, но не имеющие телеологического смысла и потому не имеющие исторического



оправдания. Такая смута, в качестве простой болезни, либо имеет смертельный исход, либо, будучи преодолена консервативными силами, силами самосохранения общественного организма, не имеет иных последствий, кроме более или менее значительного ослабления организма. Когда такая «смута» кончается, общество снова возвращается к тому месту, с которого оно было унесено смутой, или даже, в результате ослабления, оказывается отброшенным далеко назад; в процессе смуты не налаживается и не является никакой новый порядок, и общество просто должно, в условиях худших, чем до «смуты», начать с начала свой нормальный процесс развития, бессмысленно преванный и нарушенный «смутой».

Мы считаем оба эти понятия, в таком их противопоставлении, социологически ложными и исторически неоправданными. Нельзя ставить ни в отношении русской революции, ни в отношении какого угодно иного исторического внутреннего потрясения вопрос, есть ли это «настоящая революция» или «только смута». Понятия «революции» и «смуты» можно правомерно употреблять только как обозначения всегда и необходимо связанных между собою моментов внутренних потрясений или исторических кризисов. В этом смысле всякая революция есть смута и всякая смута есть революция.

Всякая революция есть смута. Как бы глубоки, настоятельны и органичны ни были потребности общества, не удовлетворяемые «старым порядком», революция никогда и нигде не есть целесообразный, осмысленный способ их удовлетворения. Она всегда есть только «смута», то есть только болезнь, раздражающаяся в результате несостоятельности старого порядка и обнаруживающая его несостоятельность, но сама по себе не приводящая к удовлетворению органических потребностей, к чему-то «лучшему». Телеологически или исторически революция всегда есть бессмыслица. Она есть попытка с помощью взрыва исправить недостатки паровой машины, или с помощью землетрясения установить целесообразно распланировку улиц города. Всякая революция обходится народу слишком дорого, не окупает своих издержек; в конце всякой революции общество, в результате неисчислимых бедствий и страданий анархии, оказывается в худшем положении, чем до нее, просто потому, что истощение, причиняемое революцией, всегда неизмеримо больше истощения, причиняемого самым тягостным общественным строем, и революционный беспорядок всегда хуже самого плохого порядка. Революция есть всегда чистое разрушение, а не творчество. Правда, на развалинах разрушенного, по окончании разрушения или даже одновременно с ним, начинают действовать и восстанавливающие творческие силы организма, но это суть силы не самой революции, а скрытые, сохраненные от разрушений живые силы; и то, что они творят, всегда совсем не похоже на то, к чему стремились силы революции, во имя чего затеялась и подготовлялась революция. Эти живые силы не порождены революцией и даже не освобождены ею; как все живое, они имеют органические корни в прошлом, действовали уже при «старом порядке», и как бы затруднено ни было тогда их действие, оно во всяком случае не менее ослаблено разрушением и пустотой, причиненными революцией. Поэтому телеологически при обсуждении осмысленности действий, планомерно направленных на улучшение, всякая революция должна быть признана бессмыслицей и потому преступлением. Как бы тягостен ни был какой-либо сложившийся общественный порядок, как бы ни задерживал он творческого развития народной жизни, он имеет преимущество живого перед мертвым, бытия перед небытием; как бы медленно и болезненно нишло произрастание новых форм жизни в лоне старого, сохранение этого лона всегда лучше отрыва от него и его разрушения. Поскольку народом не овладевает безумие, он никогда не устраивает революции. Когда же народ впадает в безумие, тогда совершается нечто с рациональной точки зрения абсолютно бессмысленное: наступает хаос саморазрушения — наступает смута.

Но, с другой стороны, всякая смута есть революция. Это значит: безумие саморазрушения имеет всегда свою органическую, внутреннюю причину, обусловлено всегда перенапряжением и болезненным раздражением подземных творческих сил, не находящих себе выхода в нормальном, здоровом развитии. Не будучи ни в малейшей мере удовлетворительной и осмысленной формой развития и никакого положительного развития не осуществляя, смута есть все же всегда показатель и симптом накопления исторических сил развития, благодаря некоторым неблагоприятным условиям превратившихся в разрушительные, взрывчатые силы. Смута есть бесспорно болезнь, явление патологическое. Но в жизни народов не бывает чисто заразных, наносных болезней; всякая историческая болезнь идет изнутри, определена органическими процес-

сами и силами. А так как все органические силы имеют телеологический характер, то и болезнь исторического организма имеет скрытый телеологический смысл, и все ее разрушительные процессы суть действия ложно направленных, извратившихся сил самосохранения и саморазвития. И так как эта болезнь есть всегда вместе с тем душевная болезнь, помутнение и извращение общественного самосознания, то лозунги, идеалы и политические теории смуты, ее официально возвещаемые цели и принципы, ее миссоцерцание никогда не совпадают с подлинным существом глубинных телеологических сил, ее определяющих, и по большей части резко с ними расходятся. Поэтому в результате смуты, с одной стороны, всегда изобличается призрачность и несостоятельность ее сознательного умысла, ее официальной цели, которые именно в процессе изживания смуты отмирают и опадают, как омертвевшая шелуха. И, с другой стороны, историческим результатом смуты никогда не бывает чистый нуль или только отрицательная величина, именно одно лишь причиненное смутой разрушение; органические телеологические силы, в конечном счете определяющие само наступление смуты, продолжают незаметно, подземно действовать во время смуты, несмотря на все истощение, причиняемое смутой; рано или поздно в этом процессе наступает разрыв между органическими тенденциями и тенденциями разрушения, благодаря чему последние теряют всю свою действенную силу. Силы, породившие смуту и поддерживавшие ее против всех попыток «старого порядка» ее прекратить, неизбежно обращаются теперь против нее и вместе с тем сближаются с здоровыми, выдержавшими испытания смуты, элементами «старого порядка». Согласно общему закону исторической инерции, а также вследствие истощенности и раздробленности общества в результате смуты, осуществление этого процесса самоопределения совершается относительно медленно, запаздывая по сравнению с моментом и дейного выздоровления, духовного преодоления лозунгов смуты. Последние еще продолжают некоторое время господствовать, в виде мертвой официальной лжи, и причинять зло и разрушение, отныне ничем в общественном сознании не оправдываемое, благодаря чему нарастает особенно острое впечатление от революции как совершенно бессмысленной «смуты». Но рано или поздно, постепенно или в бурной форме нового потрясения эти лозунги и их носители извергаются общественным организмом. И тогда — неожиданно для многих — обнаруживается, что за ликвидацией смуты сохраняется не пустое место, а поле, уже заросшее ростками новой жизни, ничуть не похожей на замысел смуты, но не похожей и на старую жизнь, сметенную смутой.

Эти отвлеченные социологические размышления мы иллюстрируем лишь двумя историческими примерами, имеющими, однако, решающее значение как *experimentum crucis*\* критикуемой нами теории. Вряд ли мы ошибемся, если допустим, что классическим образцом «истинной революции» явлением, из ориентировки на которое возникло само это понятие, служит «великая французская революция». И, с другой стороны, когда русские люди склонны понимать переживаемую нами катастрофу как «смуту», то у них возникает невольная аналогия с эпохой русского «смутного времени» начала XVII века. Но ссылка на эти примеры в подтверждение различия между «революцией» и «смутой» есть лишь доказательство живучести исторических легенд. Несмотря на Тэна, раз навсегда разоблачившего легенду о великой французской революции, и несмотря на то, что, пройдя через опыт нынешней русской революции, мы, казалось бы, должны быть достаточно подготовлены к пониманию истинного существа революции, — мы продолжаем по привычке верить в легенду великой французской революции, усвоенную нами в эпоху, когда большинство русских людей веровало в революцию вообще и мечтало о ней. Для объективного исторического сознания, конечно, не может быть сомнения, что французская революция была фактически такой же безобразной и бессмысленной смутой, как нынешняя русская революция. С точки зрения целесообразности она не может быть оправдана никакими ссылками на препятствия к новому экономическому и политическому развитию, заключавшиеся в «старом режиме», просто потому, что вместе с этими препятствиями в ней были уничтожены и все нормальные и элементарные условия общественной жизни и что, с другой стороны, порядок, установившийся после окончания и преодоления революции, имел, как известно, очень глубокие корни в самом старом режиме. Обратная легенда парит доселе о русском смутном времени, питаясь теперь тягостным опытом современной русской разрухи. Вопреки этой легенде, исторически мы теперь знаем из исследования Платонова<sup>1</sup>

\* Острый опыт (лат.).

что смутное время было не только бессмысленным разложением государства, но что в этой безобразной анархии осуществлялся и осуществился стихийно-органический процесс гибели старого боярства и рождения и продвижения нового поместного дворянства. Смутное время было поэтому настоящей «революцией» не в меньшей мере, чем «великая французская революция».

Еще одну оговорку нужно сделать для устранения возможного недоразумения. Когда мы говорим о телеологических силах, действующих во всяком внутреннем потрясении и заблуждении, мы отнюдь не разумеем под ними сил, всегда и необходимо ведущих к чему-то объективно-лучшему, приближающих общество к идеалу совершенства. Изложенное нами обычное различие между «революцией» и «смутой» может быть выражено и так, что под революцией разумеют потрясение, вызванное «прогрессивными» силами и ведущее к «прогрессу», к улучшению общественной жизни, под смутой же — потрясение, в котором не участвуют силы, осуществляющие общественный «прогресс». Но внесение в исторические понятия таких категорий совершенно запутывает и искажает объективное познание. Легкость этого внесения основана на нелепом предрассудке, от которого надо наконец отказаться раз навсегда, — на вере в «прогресс», на убеждении, что всякое общественное развитие есть тем самым прогресс, переход к объективно-лучшему состоянию. Что есть «прогресс» и что — «регресс», это зависит, прежде всего, от содержания личной веры каждого, от того, в чем он именно усматривает абсолютное добро или зло; и совершенно очевидно, что историческое развитие вообще никогда не может удовлетворить всех, и будучи для одних «прогрессом», для других есть «регресс». С другой стороны, поскольку мы вправе установить объективные и общеобязательные критерии добра или идеала общественной жизни, мы не имеем никакого права утверждать ни что вся всемирная история в целом есть «прогресс», ни что, в частности, новая и новейшая европейская история есть неуклонное и непрерывное приближение к абсолютному добру. Словом, когда мы говорим о телеологических силах, действующих во всяком внутреннем потрясении, мы разумеем лишь имманентный телеологизм растительно-органических процессов, мы имеем в виду лишь глубокие, но индивидуально-стихийные силы исторического развития, формирующие органическое видоизменение общественного порядка и связанные с основной энтелехией общественно-органического организма. Процессы старения и упадка в этом смысле столь же телеологически определены, как и процессы роста и расцветания, а также отличны от неорганических процессов внешнего разрушения.

Если мы, исходя из намеченных выше понятий, попытаемся осмыслить русскую революцию, то мы сразу должны будем возвыситься над уровнем ходячих споров о ней и признать их неадекватными существу дела. Те, кто старается уловить какой-то внутренний смысл в революции, сводят свою мысль обычно к утверждению, что, кроме разрушения, революция осуществила некие положительные «завоевания», что она принесла с собой не только бросающееся в глаза зло, но и некое новое добро, за которое она и должна быть оправдана и «принята». Напротив, те, кто отрицательно относятся к революции как таковой и считают ее явлением губительным и разлагающим, склонны полагать, что она не имеет никакого вообще исторического «смысла», и в объяснение и осмысление ее ссылаются только на злую волю или политические заблуждения лиц и кругов, повинных в ее осуществлении. Обе точки зрения представляются нам одинаково ложными и неудовлетворительными.

Говорить перед лицом ужасающей современной русской действительности о каких-либо положительных «завоеваниях», которыми революция могла бы быть телеологически оправдана как разумное дело, совершенно недопустимо. Не то чтобы было правомерно окрашивать современную русскую действительность в один сплошной черный цвет, видеть в ней одну лишь мерзость запустения «Совдепии» и не замечать в ней элементов новой жизни, как это склонны делать сторонники противоположного взгляда. Но нельзя зарождение этих новых начал вменять в заслугу революции, считать ее «завоеваниями» и подводить баланс ее прибылей и убытков с выведением в итоге какого-либо, хотя бы малейшего «чистого дохода». Русская революция не есть исключение из общего, изложенного выше, социологического закона об убыточности революций; напротив, она есть разительное и потрясающее своей очевидностью подтверждение его. Все, что достигнуто революцией — если не причислять к «завоеваниям» революции то получение, которое народ извлек и еще извлечет из живого опыта гибельности революции, — есть ускорение темпа некоторых социальных и духовных процессов, которые

совершались уже до революции и совершились бы и без нее, ускорение, купленное ценою таких жертв и разрушений, в силу которых страна в других отношениях отброшена далеко назад. Здесь достаточно привести лишь один, особенно поучительный и явственный пример — факт гибели дворянского землевладения. По общему суждению экономистов, процесс ликвидации дворянского землевладения и перехода его к крестьянам совершался за последние 50—60 лет с такой неудержимостью и быстротой, что еще лет через 20—30 без всякой революции в России не осталось бы в сколько-нибудь заметном размере дворянского землевладения. Не входя совершенно в оценку объективного экономического и культурного значения этого процесса, достаточно констатировать, что то, что совершилось в результате революции, произошло бы несколько позднее без всякой революции, мирным и естественным путем и потому при условиях, конечно, неизмеримо более выгодных для крестьянства и для народного хозяйства России. И так же обстоит дело — как мы постараемся показать ниже — со всеми новыми явлениями русской жизни, органически вырастающими или назревающими среди разрушений революции: все они лишь мнимым образом могут быть отнесены за счет самой революции.

Из этого, однако, с другой стороны, отнюдь не следует, что русская революция не имеет никакого исторического основания или «смысла» и есть несчастная случайность, обусловленная слепым скрещением злых волей или заблуждений. Условимся раз навсегда, что надо разуть под историческим основанием или смыслом. Если разуть под ним рациональную осмысленность или целесообразность, то, конечно, русская революция, как все революции, не имеет никакого смысла; как все революции, она есть чистое безумие. Но если под основанием или смыслом разуть, как это делаем мы, наличие глубоких стихийно-телеологических, как бы сверхчеловечески-космических сил истории, лишь проявлениями и орудиями которых служат воли и оценки отдельных участников революции, то русская революция, как и все революции, имеет исторический смысл. Даже если бы эти силы, обусловившие русскую революцию, признать силами чистого зла — что, по существу, было бы односторонне и поверхностно, — даже и тогда усмотрение космически-сверхчеловеческой природы этих сил имело бы огромное принципиальное и практическое значение, ибо определяло бы характер и форму необходимой борьбы с революцией. Независимо от какой-либо абсолютной оценки этих сил, существенно усмотреть саму природу этих онтологических глубин революции в их отличии от всей пены и накипи революционного волнения — от всех официальных лозунгов, сознательных идей и принципов и планомерно замышленных действий революции, — существенно потому, что пена и накипь очень быстро выкипят и растворятся, исчезнут без следа вместе с самой революцией, глубинные же силы в иной форме будут роковым образом продолжать действовать после революции.

И в этом отношении нельзя достаточно подчеркнуть, что наступила пора от чисто внешней борьбы с проявлениями революции перейти к задаче действительного внутреннего овладения ее глубинами. Мы говорим: «овладения» этими глубинами, потому что, по нашему убеждению, такие стихийно-космические силы нельзя никаким внешним способом истребить или искоренить, а можно только перевоспитать и направить по надеждшему пути. Если мы не хотим так же слепо бороться с революцией, как большинство из нас боролось раньше со старым порядком, если мы не хотим, на следующий же день после ликвидации революции, неожиданно очутиться перед лицом сил, о наличии которых мы не подозревали и которые могут снова увлечь нас неведомо куда, — если мы хотим не просто гибели революции во что бы то ни стало, а прекращения ее ради торжества и осуществления положительных начал общественного бытия, — то мы должны, прежде всего, постараться объективно ориентироваться в революции и понять ее внутреннее, подземное существо. Когда видишь, сколько духовной энергии затрачивается противниками революции на борьбу с ее лозунгами, на разоблачение лжи ее знамен — которые давно уже износились и на глазах всей России превратились в рваные, грязные тряпки — и как мало думают об овладении подлинными силами революции и внутреннем их преодолении, то невольно возникает мысль, что безумие революции заразило собою и ее противников.

Откуда же взялась русская революция? Какие силы ее породили?

Когда вглядываешься теперь в прошлое, наученный настоящим, становится сразу же ясным одно: русская революция началась не в 17-ом году, и не в 1905 году. Идео-

логически она идет по меньшей мере от декабристов и уже совсем явственно от Белинского и Бакунина. Как общественное движение, как выступление и продвижение вперед нового общественного слоя, с резко оппозиционным настроением и с разрушительными в отношении старого порядка тенденциями, она начинается во всяком случае уже в начале второй половины XIX века, в конце 50-х и начале 60-х годов, с момента появления в литературе и общественной жизни разночинца-нигилиста. Первые признаки разрыва и надлома, кончившегося в наши дни ужасающим обвалом, описаны Тургеневым в разладе между «отцами и детьми». Ненависть Базарова к барской жизни и барскому либерализму Кирсановых по содержанию своему, так сказать, по духовной своей субстанции совершенно тождественна с большевистской злобой; в спорах между Базаровым и Кирсановым, так же как в одновременном с ними столкновении между Герценом и людьми, которых он назвал метким именем «желчевиков»<sup>2</sup>, явственно слышны раскаты грозы, обрушившейся теперь на Россию.

Два течения сплелись между собою и в своем единстве образовали могучую революционную силу, которая в момент ослабления государства под влиянием длительной войны обрушилась на старую русскую государственность и культуру и уничтожила их. Эти два течения не случайно скрестились; они сблизились и слились в силу внутреннего тяготения и некоторого исконного духовного сродства между собой; или скорее они с самого начала были только двумя моментами одного и того же движения. Это,—с одной стороны, идеологический процесс назревания и распространения атеистически-революционного радикализма, вскоре же вылившегося в форму социализма, и, с другой стороны, социально-политический процесс демократизации России, то есть пробуждения к активности и выступления в общественно-политической жизни низших классов — крестьянства и близко примыкающих к нему слоев населения. Мы начинаем с уяснения последнего момента.

Русская революция по своему основному, подземному социальному существу есть восстание крестьянства, победоносная и до конца осуществленная всероссийская пугачевщина начала XX века. Чтобы понять самую возможность такого явления, нужно вспомнить многое. Русский общественно-сословный строй, сложившийся в XVIII веке — строй дворянско-помещичий, — никогда не имел глубоких, органических корней в сознании народных масс. Правомерно или нет — что здесь совершенно безразлично, — русские народные массы никогда не понимали объективных оснований господства над ними «барина», ненавидели его и чувствовали себя обездоленными. Это была не одна лишь «классовая» ненависть, обусловленная экономическими мотивами; характерной особенностью русских отношений было то, что эта классовая рознь подкреплялась еще гораздо более глубоким чувством культурно-бытовой отчужденности. Для русского мужика барин был не только «эксплуататором», но — что, быть может, гораздо важнее — «барин», со всей его культурой и жизненными навыками, вплоть до платья и внешнего облика, был существом чуждым, непонятым и потому внутренне неоправданным, и подвластность этому существу ощущалась как бремя, которое приходится и даже нужно «терпеть», но не как осмысленный порядок жизни. Казалось, великая реформа освобождения крестьян должна была прекратить это ненормальное состояние. Но отчасти потому, что эта реформа не была доведена до конца — не создала из мужика экономически самостоятельного и граждански равноправного мелкого собственника — и затем еще сменилась дворянской реакцией в лице института земских начальников<sup>3</sup> и иных форм опеки над крестьянством, — отчасти потому, что культурно-бытовые формы изживались гораздо медленнее соответствующих им юридических отношений, отчасти, наконец, в силу общего закона исторической инерции, по которому вековой душевный опыт народа продолжает жить еще долго после устранения условий, его породивших, — но деление на «господ» и «мужиков» и соответствующие ему чувства сохранялись и в современной России, по правовой своей форме уже давно бессословной и непомещичьей. Чтобы уловить это, достаточно вспомнить хотя бы сыгравшую такую роковую роль отчужденность между офицерами и солдатами еще в последнюю войну, — отчужденность, которая, конечно, в такой форме ни в одной из европейских армий не существовала.

Эта отчужденность между верхами и низами русского общества была так велика, что удивительна, собственно, не шаткость государственности, основанной на таком обществе, а, напротив, ее устойчивость. Как могло грандиозное здание старой русской государственности держаться на столь необъединенном и неуравновешенном фундаменте? Для объяснения этого — а тем самым для объяснения того, почему она в

конец концов рухнула,— нужно вспомнить, что подлинным фундаментом русской государственности был не общественно-сословный строй и не господствовавшая бытовая культура, а была ее политическая форма — монархия. Замечательной, в сущности, общезвестной, но во всем своем значении не оцененной особенностью русского общественно-государственного строя было то, что в народном сознании и народной вере была непосредственно укреплена только сама верховная власть — власть царя; все же остальное — сословные отношения, местное самоуправление, суд, администрация, крупная промышленность, банки, вся утонченная культура образованных классов, литература и искусство, университеты, консерватории, академии, все это в том или ином отношении держалось лишь косвенно, силою царской власти, и не имело непосредственных корней в народном сознании. Глубоко в недрах исторической почвы, в последних религиозных глубинах народной души было укреплено корнями — казалось, незыблемо — могучее древо монархии; все остальное, что было в России, — вся правовая, общественная, бытовая и духовная культура произрастала из ее ствола и держалась только им; как листья, цветы и плоды — произведения этой культуры висели над почвой, непосредственно с ней не соприкасаясь и не имея в ней собственных корней. Это трагическое положение всегда беспокоило русское образованное общество; но оно сознавалось им лишь смутно — иначе как объяснить то роковое историческое заблуждение, которое позволяло носителям русской культуры — в том числе и величайшим ее гениям — в течение более 100 лет систематически подрубать единственную ее опору?\* Неудивительно, что с крушением монархии рухнуло сразу и все остальное — вся русская общественность и культура, — ибо мужицкой России она была непонятна, чужда и — по его сознанию — не нужна. Но почему же рухнула сама монархия?

Это величайшее и роковое в истории России событие, знаменующее конец одной эпохи и начало другой, необъяснимо ни из каких частных причин, как бы значительны они ни были, — ни из потрясения, причиненного мировой войной, ни из политических ошибок и недостатков последнего монарха, постепенно создавших вокруг него атмосферу враждебности или равнодушия. Все это — лишь приводящие обстоятельства, содействовавшие наступлению катастрофы и определившие разве только ее срок и форму. Истинная и последняя причина лежит в глубоком духовном процессе, совершавшемся уже давно в народной душе. Медленно и незаметно одно политическое мирозерцание и самочувствие сменялось в нем другим. Вера в устроение жизни через покорное подчинение благотельно-опекающей власти постепенно исчезала и сменялась верой в самоопределение и самостоятельность, стремлением стать хозяином и распорядителем своей собственной судьбы. Идеал «царя-батюшки» как полновластного хозяина русского народа, царя, который, подобно Богу, с недостижимой высоты водворяет на землю правду, желает добра народу и лучше всех знает, в чем это добро, — этот идеал медленно, но неуклонно угасал в народной душе; и на смену ему шла смутная, но острая тоска по народовластию, самоопределению, по общественной автономии. Уже в 1905 году такой гениальный наблюдатель русской души, как покойный В. В. Розанов, с полной отчетливостью подметил этот роковой и неотвратимый перелом, который он назвал «падением великого фетиша»<sup>5</sup>. Монарх постепенно в глазах народа переставал возвышаться над противоречиями жизни, в качестве высшей, надсословной, религиозно-освященной инстанции, и все более сливался с самим порядком, с «властью господ», которую народ ненавидел и которой противостояла мечта о собственном, мужицком царстве. Этот конфликт вполне уже выявился после неудачной японской войны и привел к революции 1905 года. Безмерное испытание мировой войны окончательно поколебало неустойчивое равновесие страны. Не только вспыхнуло с небывалой силой вековое чувство обиды в народной душе, под влиянием которой народу стало казаться, что «господа» посылают его на убой, но — что, быть может, еще важнее — в течение войны народ, с другой стороны, ощутил себя самого вершителем судеб страны, закалился в школе насылая и приобрел веру в него. Создалось поло-

\* Пушкин — не только величайший русский поэт, но и один из мудрейших русских людей — создал положение довольно ясно, как это показывает одно его письмо к Чаадаеву, в котором он в ответ на жалобы на некультурность и деспотизм правительства указывает, что, несмотря на все, царское правительство есть самая культурная часть России<sup>1</sup>. Образец редчайшей проницательности и объективности, если вспомнить, как много самому Пушкину приходилось страдать от самодурства Николая I и Бенкендорфа. И все же — тот же Пушкин мечтал, как Россия «вспрянет ото сна» и «на обломках самовластья» прославит его имя! Реальная Россия, как она есть, на обломках самовластья написала имя — Демьяна Бедного!

жение, которое лучше всех понял и учел Ленин: стоило лишь «повернуть в другую сторону» штыки и пулеметы — и международная война обратилась в войну гражданскую. Разразился великий и победоносный «бунт рабов».

Какую роль сыграла во всем этом движении интеллигенция и усвоенное ею атеистически-революционное социалистическое мирозерцание? Ближайшим образом, конечно, бесспорно, что роль эта была чрезвычайно велика. Тем, для кого в настоящее время осмысление революции равнозначно с отысканием отдельных лиц или групп, виновных в ней, конечно, легко разыскать ее главного виновника в лице революционной интеллигенции и исповедуемого ею социализма. Что интеллигентская доктрина социализма повинна в особо болезненном, длительном и уродливом протекании революции, это совершенно очевидно, и об этом нам еще придется говорить ниже. Но, прежде чем оценить по существу более глубокое и принципиальное значение слияния указанного социально-политического процесса с силами духовного порядка, с определенным мирозерцанием, мы должны обратить внимание на одну сторону дела, обычно упускаемую из виду. Усмотрение главного виновника революции в интеллигенции и ее идеях методологически стоит на одном уровне с утверждением, что революцию создали инородцы, евреи, или с утверждением, что Россию загубили слабость и безволие Временного правительства, легкомыслие и безответственность Керенского и т. п. Все такого рода утверждения одновременно и верны, и неверны. Все они правильно улавливают влияние некоторых тенденций, групп или лиц на судьбу России, но, во-первых, чрезмерно преувеличивают удельный вес какого-либо одного ограниченного фактора из числа многих, вложившихся в революцию, и, во-вторых, не дают никакого объяснения происхождению самого этого фактора и возможности особой его влиятельности. Когда мы говорим о роковом влиянии интеллигенции и ее верований в судьбе России, то надо, прежде всего, попытаться уяснить себе, что такое была сама «интеллигенция», откуда она взялась и как объяснима такая исключительная влиятельность ее идей, которые еще лет 25 тому назад самой этой интеллигенции казались почти бессильными перед лицом коренных, органических верований и навыков народных масс.

Здесь, в плане социально-политическом, в котором пока идут наши размышления, надо уяснить себе одно существенное обстоятельство. Русская радикально-революционная интеллигенция, по крайней мере, поскольку она была русской по национальности, была сама глубоко народным, по своему происхождению и значению, явлением. Она стала фактором новейшей политической истории России именно потому, что она возникла из недр русской жизни, была симптомом и выражением одновременно и коренного сдвига народных пластов, и заболевания народной души. Революционная интеллигенция XIX века есть — на это уже бывали указания в русской литературе — явление того же порядка, как казацкая вольница прежних времен. Это — авангард народных масс, с годами все растущая и накапливающаяся группа смельчаков и зачинателей, в которой раньше и острее, чем в толще масс, обнаружались нарастающие в народном сознании и быту стремления. Русский радикальный интеллигент-«разночинец» по происхождению обычно, в подавляющем большинстве, был семинарист, попович. Духовенство было основным и едва ли не единственным сколько-нибудь значительным, промежуточным слоем между дворянством и народными массами, и формировавшаяся из него радикальная интеллигенция сыграла в России, за отсутствием настоящей сложившейся буржуазии, роль tiers état\*. По своему социальному, бытовому и образовательному уровню она стояла гораздо ближе к низшим слоям, чем к господствующему классу. И потому она первая подняла знамя бунта и явилась авангардом того шапествия внутренних варваров, которое переживала и переживает Россия. В уяснении пафоса ее общественного настроения большинство из нас долго заблуждалось. Слишком много внимания было уделено моменту любви, сострадания к низшим, обездоленным; образ «кающегося дворянина» слишком заслонил собою гораздо более основной и доминирующий образ озлобленного разночинца. В основе революционного настроения интеллигенции лежало то же основное чувство социальной, бытовой и культурной «обиды», та же ненависть к образованному, господствующему, владеющему материальными и духовными благами «барскому сословию», та же глухая злоба к носителям власти, словом, то же самое ressentiment\*\*, которое жило и в

\* Третье сословие (лат.).

\*\* Озлобление (франц.).

народных массах в более скрытой и до поры бездейственной форме. Из книг, из западного влияния этот тип «железняка-нигилиста» воспринимал лишь то, что шло на потребу его чувства,— все упрощенно-отрицательные, нигилистические влияния: позитивизм, атеизм, материализм, политический радикализм, социализм — все, что можно было найти бунтарского и разрушительного. В конце концов революционный социализм — порождение западноевропейского пролетарского *ressentiment*, идейно оплодотворенного иудейским бунтарско-религиозным эсхатологизмом,— с его учением о классовой борьбе и о прыжке, с ее помощью, в «царство свободы» стал адекватным выражением давнишнего, исконно русского мужицко-разночинского чувства враждебности к дворянству и его культуре. В учении Маркса о классовой борьбе сперва интеллигентский авангард мужицкой массы, а потом, в решающий момент, и вся масса почуяла что-то родное, знакомое, истинное и важное. Этим объясняется — по крайней мере со стороны социально-политической — тот факт, что «интеллигенция» оказалась проводником — и столь успешным проводником — революционного социализма в народные массы.

Как ни значительна была действительная роль социализма в русской революции — к оценке ее мы еще вернемся,— но было бы глубоким заблуждением, ориентируясь на внешность революционного процесса, отождествлять русскую революцию с социалистическим движением. Русская революция произведена мужиком, который никогда, даже в апогее своего безумия, в 17—18 годах, не был социалистом. Поскольку можно для характеристики русской революции использовать какое-нибудь понятие западной политической мысли, важно отметить, что русская революция основана на демократическом движении. При этом, во избежание пагубных недоразумений, нужна тотчас же существенная оговорка. Под «демократией» в этой связи нельзя разуметь какой-либо формы правления или государственного устройства. Все нынешние интеллигентские споры о монархии и республике лишены объективной исторической почвы. Ни в чем не обнаружилось столь явно равнодушие мужика к форме правления и к основным началам государственного устройства, как в легкости, с которой было разогнано Учредительное собрание и попраны все демократические принципы. Русская революция есть демократическое движение в совершенно ином смысле: это есть движение народных масс, руководимое смутным, политически не оформленным, по существу скорее психологически-бытовым идеалом самочинности и самостоятельности. По объективному своему содержанию это есть процесс проникновения низших слоев во все области государственно-общественной жизни и культуры и переход их из состояния пассивного объекта воздействия в состояние активного субъекта строительства жизни. В этом отношении также важно отметить, для правильной оценки революции — в противоположность как ее защитникам, так и ее противникам,— что русская революция сама по себе не создала ничего принципиально нового. Проникновение «мужика» — сначала в лице его авангарда, а потом во все более широких массах — во все области русской общественной, государственной, культурной жизни, бытовая «демократизация» России в этом смысле есть, быть может, самый значительный и совершенно роковой, стихийный процесс, который совершался неудержимо и со все растущей интенсивностью, по крайней мере с момента освобождения крестьян. Демократизация средней и высшей школы, литературы, чиновничества, личного состава местной жизни есть характерное явление, которое замечалось всеми внимательными наблюдателями русской жизни. Недаром в 80-х годах, в эпоху кажущегося наибольшего благополучия старого, монархически-дворянского уклада, так остро стоял вопрос о «кухаркиных детях»<sup>6</sup>. Последним дореволюционным проявлением этого процесса был возникший в 1916 году бросавшийся в глаза тип прапорщика из мужиков — быть может, главного деятеля надвигающейся революции. Шаг за шагом, с неуклонностью стихийно-растительного процесса выдвигалась повсюду крестьянская Россия, надвигалась на дворянскую Россию и заставляла последнюю уступать себе место. Повторим, революция не внесла в этот процесс ничего принципиально нового; в ней лишь — и это, конечно, было величайшим несчастьем — процесс демократизации из состояния постепенного просачивания перешел в состояние бурного наводнения. Русская революция по своему внутреннему социально-политическому существу есть болезненный кризис острой демократизации России — не больше, но и не меньше.

Нельзя достаточно подчеркнуть всю важность осознания этой истины, которая



сохраняет свое основополагающее познавательное значение, совершенно независимо от того или иного принципиального отношения к идеям и идеалам революции. Будем ли мы веровать в «равенство», как в высший идеал общественной жизни, или вместе с К. Леонтьевым видеть в «смесительном уравнении» гибель всяческой жизни,—мы, во всяком случае, должны осознать неустрашимый факт демократизации России как отправную точку всех наших сознательных стремлений. Старая дворянская Россия, постепенно старевшая и умиравшая, начиная со второй половины XIX века, и потому постепенно отступавшая перед натиском мужицкой России, ныне окончательно умерла, и взамен ее созревает и слагается мужицкая Россия. Для людей, не отуманенных ложными и смутными демократическими «идеалами» и умеющих понимать конкретную действительность, совершенно очевиден глубокий трагизм этого факта. Ибо, в общем и целом, за немногими исключениями, дворянская Россия за последние два века была тождественна с русской культурой. Дворянская Россия — это есть Россия Пушкина и Тютчева, Толстого и Достоевского, Глинки и Чайковского, Россия славянофилов, Чаадаева и Герцена. И эта Россия теперь умерла, и на смену ей идет только что зарождающаяся, еще неведомая мужицкая Россия. Если даже медленный процесс отступления и угасания дворянской России и продвижения и нарастания разночинско-мужицкой России сопровождался явственным упадком уровня духовной и общественной культуры, то чем грозит нам наступивший мужицкий потоп? И все же мы должны, прежде всего, иметь мужество просто констатировать этот факт и усмотреть его неотменность. И затем, нужна достаточная объективность, чтобы, несмотря на трагизм этого факта, оценить его значение во всей его полноте.

Этот процесс стихийной демократизации России может быть охарактеризован как нашествие внутреннего варвара. Но, подобно нашествию внешних варваров на античный мир, он имеет двойной смысл и двоякую тенденцию. Он несет с собой частичное разрушение непонятной и чуждой варвару культуры и имеет своим автоматическим последствием понижение уровня культуры именно в силу приспособления его к духовному уровню варвара. С другой стороны, нашествие это движимо не одной лишь враждой к культуре и жадой ее разрушения; основная тенденция его — стать ее хозяином, овладеть ею, напиться ее благами. Нашествие варваров на культуру есть поэтому одновременно распространение культуры на мир варваров; победа варваров над культурой есть в конечном счете все же победа сохранившихся от катастрофы остатков этой культуры над варварами. Здесь нет в строгом смысле слова победителя и побежденного, а есть, среди хаоса разрушения, взаимное проникновение и слияние двух стихий в новое живое целое. Тем более это можно сказать о переживаемом нами нашествии внутреннего варвара, который, несмотря на всю отчужденность от старой культуры, имеет все же с ней и некоторую органическую связь. Напор дикой мужицкой стихии, разрушившей в настоящее время в России науку и школу, хозяйственную и правовую культуру, все жизненные условия духовного творчества, предавший унижению и издевательствам носителей духовной и общественной культуры,—этот напор сопровождается все же каким-то наивным и потому практически бесплодным, но искренним уважением к учености, к искусству, к знанию и умению во всех областях культуры («спец»!) и, главное, жадой усвоения культуры. Отчужденность от «барина» и презрение к нему есть переходящая форма, под которой скрывается зависть к барину, желание самому стать «бариним» не только в материальном, но и в духовном отношении. Жажда приобщения к культуре среди революционно настроенных народных масс есть совершенно бесспорный факт, который лишь заслоняется более явственными (и доселе более действенными по результату) разрушительными инстинктами. Для оценки же способности этой стихии к усвоению культуры и культурному творчеству необходимо, несмотря на бесспорность дворянского характера всей новой русской культуры, помнить, что культура, по существу, есть продукт национального гения, гения народа как единой духовной субстанции. Пушкин и Достоевский суть обнаружения не только дворянской культуры, но прежде всего русского духа. С другой стороны, недворянская, отчасти даже прямо мужицкая Россия уже дала нам Ломоносова, Кольцова, Сперанского, Гл. Успенского, Вл. Соловьева. При всей опасности того духовного кризиса, который переживает Россия в факте отживания давнего главнейшего носителя ее культуры и усиления роли культурно не подготовленного ее слоя,—веруя в гений, в талантливость, в духовно-творческие потенции русского народа как нации, нельзя не веровать и в будущую культуру мужицкой России. Действительна здесь основная задача — оберечь и охранить от разрушения максимум из

старого культурного наследия, чтобы оплодотворить им новый личный материал для грядущей эпохи русской культуры.

Но каким образом случилось, что революция, крестьянская по своему социальному субстрату, внутренне руководимая влечением крестьянина к самостоятельности и самочинности, то есть, в сущности, собственническим инстинктом, стала социалистической по своему содержанию? В этом заключается главное трагическое недоразумение русской революции, своеобразное содержание ее трагической бессмыслицы (ибо в той или иной форме, как мы старались разъяснить это выше, бессмыслица присуща всякой революции). Для объяснения этого нужно, прежде всего, констатировать, что социализм увлек народные массы не своим положительным идеалом, а своей силой отталкивания от старого порядка, не тем, к чему он стремился, а тем, против чего он восставал. Учение о классовой борьбе, как уже указано, нашло себе почву в исконном мужицком чувстве вражды к «барам»; борьба против «капитализма» воспринималась и с упоением осуществлялась народными массами как уничтожение ненавистных «господ». Революция, антидворянская по своему внутреннему устремлению, стала антибуржуазной по своему осуществлению; купец, лавочник, всякий зажиточный «хозяин» пострадал от нее не меньше дворянина, отчасти потому, что он в глазах народа уже принял облик «барина», отчасти потому, что он, выросши на почве старого порядка, естественно представлялся его союзником. Бурные волны мужицкого потока затопили и уничтожили не только старые, действительно отживавшие слои, но и те обильные молодые ростки, которые были проявлениями самого процесса демократизации России в стадии ее медленного мирного просачивания. Революционная волна, огромная и разрушительная, снесла все, что выросло на почве, уже раньше орошенной приливом, часть которого она сама составляет. Абсолютная бессмыслица — с рациональной точки зрения — этого факта сознается теперь в России всеми, в том числе даже, в глубине души, самими коммунистами; для этого достаточно только окинуть взором картину нэпа. Огромные запасы накопленного богатства и значительная часть личного состава русской промышленности и торговли, крупной и мелкой, а также и сельскохозяйственных предприятий были разрушены просто отчасти по бессмысленной злобе, отчасти в процессе их перераспределения, перехода из одних рук в другие — так же, как неисчислимое количество предметов домашнего хозяйства погибло просто в процессе его расхищения. В социально-политическом отношении существенно отметить, что народные массы стремились не к социализму, а просто к дележу буржуазного богатства, и социализм имел успех, потому что своими полемическими тенденциями он давал идейную санкцию этому дележу (хотя по своему положительному содержанию, конечно, ему противоречил). Чисто политически народные массы восприняли социализм (также, конечно, вопреки его подлинному смыслу) просто как проповедь крайнего демократизма; большевизм захватил своим лозунгом мужицкого самоуправления (популярность «советов», идеи «рабоче-крестьянского правительства»). Это стихийное движение вынесло и укрепило власть сектантов-фанатиков, которые стали уже планомерно насаждать подлинный социализм, то есть творить дело вдвойне бессмысленное и губительное — бессмысленное не только по своей объективной нецелесообразности (ибо социализм, как это теперь очевидно всякому, есть внутренне ложная, несостоятельная система народного хозяйства), но и по своему полному несоответствию даже стихийным потребностям и инстинктам народных масс. Хозяйственная и общественная самостоятельность мужика, «советы», «рабоче-крестьянская власть» — все это оказалось фикцией, живущей лишь в душах ослепленных и обманутых народных масс; реально же осуществилась чуждая и претящая мужику деспотическая власть коммунистической бюрократии, насаждающей социалистическую опеку. Как во всякой революции, народ оказался у разбитого корыта и теперь уже довольно отчетливо начинает это сознавать.

Но именно это полное несоответствие между замыслом народного движения и тем, что им реально осуществлено, между не сформулированной отчетливо, но глубоко исповедуемой политической программой народных масс и доктринерски-безжизненной и калечащей жизнь программой, реально осуществляемой революционной властью, — это несоответствие, которое в конечном счете необходимо должно привести, в той или иной форме, к крушению советской власти, доселе — как бы это ни звучало парадоксально — есть причина ее относительной устойчивости и длительности. Ибо народ, в преобладающей своей части уже разочаровавшийся в осуществленной революции, еще не разочаровался в ее замысле. И потому в

борьбе между приверженцами революционной власти и противниками революции он доселе сохраняет нейтральное, колеблющееся положение. Он отвергает политическую программу революционной власти и охотно помог бы свергнуть саму власть, если бы не боялся, что свержение ее окажется уничтожением и ликвидацией его собственного замысла революции. Советская власть — это нужно твердо и ясно сознать как факт, опять-таки совершенно независимо от той или иной принципиальной его оценки — держится не только механически, с помощью своей системы чудовищного принуждения и террора, и даже не только на силе исторической инерции, естественной после такого огромного размаха; она держится, прежде всего, на колеблющемся, окончательно не определившемся еще отношении к ней народных масс. Народ — если не абсолютное его большинство, то, во всяком случае, то активное меньшинство, которое всюду является решающим, — видит в нынешней власти своего союзника-врага — союзника по борьбе с его исконным врагом — «господами», и врага в деле положительного устройства жизни. Последняя и основная причина неудач белого движения коренится именно в этом. При приближении «белых», в которых народ — правомерно или нет, это в данном случае безразлично — видел насадителей старой власти, власти «господ», он забывал свои, так сказать, «домашние», «семейные» счета с опостылевшей ему советской властью и снова давал ей свою поддержку.

Отсюда вытекает конкретное уяснение того основного вывода, который в отвлеченной форме есть общая социологическая аксиома: преодолеть революцию и низвергнуть установленную ею власть сможет лишь тот, кто сумеет овладеть ее внутренними силами и направить их по разумному пути. Лишь тот, кто сумеет — как это в свое время сумели большевики — найти опорную точку для своих стремлений в стремлениях и верованиях народных масс, кто в глазах народа явится осуществителем его заветных чаяний и надежд, кто сумеет, вопреки слепым и безумным силам революции и в борьбе с ними, в известном смысле все же разумно осуществить саму историческую тенденцию революции, — лишь тот сможет победоносно осуществить и свои собственные политические идеалы. Всякая успешная борьба с революцией есть дело ее преодоления через посредство внутреннего овладения ее силами, через планомерное осуществление того, что необходимо и исторически правомерно в ее стремлениях. Эта истина, в сущности, до банальности очевидная для всякого исторически и политически образованного человека, все же в настоящее время, в пылу страстей, поднятых революцией, не сознается во всей своей необходимости и во всей своей творческой значительности. Одним кажется, что для преодоления революции достаточно противопоставить энергично ее лозунгам — свои лозунги, ее воле — свою собственную волю, словом, что преодоление революции возможно через механическое подавление или истребление ее сил. Другим, напротив, представляется, что выход из невыносимого положения заключается в некоторой, хотя бы частичной, капитуляции перед самим безумием революции, более того, что нужно самому до некоторой степени заразиться безумием и, вопреки разуму и совести, поклониться перед ним, чтобы им овладеть. Но подлинное, чуждое обоим этих заблуждений понимание указанной истины не может быть дано в рамках социально-политического рассматривания вопроса и требует уяснения духовной или идеологической стороны русского революционного движения, которого мы доселе касались лишь мимоходом и к которому нам давно уже пора обратиться.

Нельзя достаточно подчеркнуть истину, тоже, в сущности, в настоящее время до банальности бесспорную и все же из-за полемических страстей постоянно забываемую. Всякий строй и всякое движение, как бы нелепы, разрушительны и бессмысленны они ни были, сколько бы ни соучаствовало в них насилия, принуждения и сознательной корысти и обмана, в конечном счете всегда опираются на искреннюю и непосредственную веру, суть обнаружения истинных или ложных по содержанию, но всегда объективных, сверхличных и потому бескорыстных духовных сил. Пресловутой теории экономического материализма, для которой все исторические формы бытия и движения суть продукты или отражения, в конечном счете, личной корысти, должно быть решительно противопоставлено утверждение, что последняя сила общественной жизни есть сила духовная, сила верований и живых общих идей, что всякий строй возникает из веры в него и держится до тех пор, пока, хотя бы в меньшинстве его участников, сохраняется эта вера, пока есть хотя бы относительно небольшое число «праведников» (в субъективном смысле слова), которые бескорыстно

в него веруют и самоотверженно ему служат\*. В этом смысле важно признать, что и русская революция, сколько бы корысти и личной порочности ни обнаружили и носители ее власти, и участвовавшие в ней народные массы, есть проявление сверхличных, духовных страстей, есть определенный период состояния народного духа. Ее преодоление есть поэтому необходимое преодоление одной веры другою, внутренний духовный перелом.

В этом, духовном своем плане, русская революция есть плод и выражение глубочайшего кризиса русского религиозного миросозерцания. Хотя этот кризис имеет много общего с соответствующим кризисом западноевропейского миросозерцания, так что в известном смысле можно сказать, что русская революция есть одно из крупнейших событий общеевропейской истории, именно истории развития общеевропейского духа, но вместе с тем она имеет глубокие корни в русской духовной культуре. Выше мы уже отметили поверхностность того представления, для которого русская революция есть плод идей, импортированных интеллигенцией из Западной Европы и распространенных ею среди народных масс. Мы указали там, что это объяснение не объясняет ни происхождения самого специфически русского явления «интеллигенции», ни одностороннего содержания извлеченных ею с Запада идей, ни, наконец, влиятельности этих идей в народных массах. Поистине, чтобы объяснить, как «народ-богоносец» стал большевиком и вместо своих национальных святителей избрал своим духовным вождем Карла Маркса, недостаточно сослаться на появление среди него агитаторов, которые его «распропагандировали» и соблазнили. Поверхностность этого объяснения практически изобличена уже тем, что департамент полиции, исходивший в своей деятельности именно из такой точки зрения, оказался бессильным в борьбе с этим злом.

В общей перспективе истории духовной культуры русская революция есть последнее проявление того процесса пробуждения и нарастания идеи самочинной личности и связанного с ним процесса секуляризации культуры, который на Западе идет с эпохи Возрождения и Реформации, а в России начался с реформ Петра Великого. Но есть две основные особенности русского процесса, отличающие его от западноевропейского его образца. Одна определена временем и характером его возникновения и течения, другая, напротив, состоит в внутреннем, качественном своеобразии русского духовного мира.

То, что может быть в России поставлено в аналогию с западноевропейскими процессами раскрепощения личности и секуляризации культуры, возникает в своих первых проявлениях на целых два века позднее, в эпоху Петра Великого, и совсем иначе, чем на Западе. На Западе этот процесс начинается с могущественного и совершенно спонтанного духовного и религиозного движения — с Ренессанса и Реформации. Секуляризованная культура и национальная государственность есть там зрелый и постепенно нараставший плод этого духовного движения. Мы, напротив, не имели ни Ренессанса, ни Реформации. У нас дело началось сразу как бы с периферии — с секуляризации государственности и связанных с нею внешних, граждански-юридических форм культуры; в этом смысле Петр Великий — *toutes proportions gardées*\*\* — был действительно первым русским революционером, и не случайно большевики, при последнем ограблении церковью, ссылались на его пример. Когда эти, идущие от периферии культуры, тенденции начали у нас проникать в глубины личного духа, на Западе первый, творческий период этого процесса был уже изжит и уже явно проступали симптомы вырождения и разрушения как последние его результаты. Первое проявление секуляризованной и автономной лично-духовной культуры есть «вольнодумный» круг вельмож Екатерины II; это было в эпоху, когда Ренессанс и Реформация на Западе сменились уже плоским атеистическим просветительством и когда уже вплотную надвинулся грандиозный крах этого движения в лице великой французской революции. А когда в России, лишь во второй половине XIX века, то же движение раскрепощения и секуляризации начало проникать из дворянских верхов в низшие слои и

\* Разительным примером этой истины может служить обнаружившаяся в России слабость «буржуазного порядка». Трудно было поверить, что массовая экспроприация крупной, а отчасти даже «мелкой» буржуазии может быть осуществлена так легко, при таком слабом сопротивлении, и, вероятно, сами круги, ее производившие, этого не ожидали. Собственников и собственнических интересов было в России очень много; но они были бессильны и были с легкостью попораны, потому что не было собственнического «миросозерцания», бескорыстной и сверхличной веры в святость принципа собственности.

\*\* При равных условиях (франц.).

когда оно, на пороге XX века, дошло и до народных масс,— Запад уже изжил все потенции «освободительного» духа и дошел до идей, в которых выразилась агония и саморазложение этого духа,— до социализма. Вот почему в том духовном процессе, который был у нас как бы запоздавшим суррогатом Ренессанса и Реформации, нам пришлось питаться уже не богатыми и сочными первыми плодами западного духа, а лишь последними черствеющими крохами и разлагающимися объедками с его пиршественного стола. Мы никогда не имели той, несмотря на всю ее односторонность, глубокой и богатой внутренней духовной почвы, из которой на Западе произрастали все «освободительные», секуляризирующие, бунтарские движения. Чтобы конкретно осознать это, достаточно сопоставить, например, английскую революцию XVII века (тоже глубоко максималистскую и в этом смысле «большевистскую») с нынешней русской революцией — крушение английской монархии и от ярости сурового пуританского религиозного духа с духовным ничтожеством так называемой «живой церкви», зародившейся в лоне большевистского «госполитуправления» как последний результат крушения русской монархии.

Но ни одной лишь запоздалостью этого процесса в России, ни характером его распространения от государственной оболочки к личному духовному ядру нельзя сполна объяснить его своеобразия — уже потому, что обе эти особенности в свою очередь требуют объяснения. Последнее возможное здесь объяснение состоит в усмотрении своеобразия качественного содержания русской духовной культуры.

Уже Достоевский, с присущей ему гениальной проницательностью, отметил своеобразный характер господствующего влияния западных идей на русских людей. Поскольку русские «западники» оставались русскими, они заимствовали с Запада преимущественно радикальные и социалистические идеи, то есть идеи, в сущности отрицавшие устои западной культуры; и, наоборот, поскольку они воспринимали положительные принципы западной культуры, например, католицизм или подлинный буржуазный либерализм, они переставали быть русскими людьми. Существует совершенно бесспорное, имеющее глубочайшие исторические корни различие в основной структуре всего духовного восприятия жизни и отношения к ней между русским и западным человеком. И здесь опять-таки существенно иметь в виду, что ясное осознание того различия важно само по себе, совершенно независимо от оценки сравнительных достоинств и недостатков сопоставляемых начал. Не углубляясь в всегда проблематичное и для наших целей не нужное определение самих субстанциальных основ русского и западного духа, попытаемся уяснить себе это различие на его объективных исторических проявлениях.

Религиозный дух западного мира с самого зарождения европейского общества в эпоху раннего средневековья с огромной энергией вложился в дело внешнего строительства жизни. Народы Запада прошли с раннего своего детства суровую теократическую школу. Церковь формировала жизнь, она создала религиозно-освященные устои государственного и гражданского бытия. Вера в эти устои столь прочно укоренилась в душе западного человека, что когда в эпоху Ренессанса и Реформации настала пора великого духовного перелома, этот перелом лишь видоизменил, деформировал основные принципы жизненных отношений, оторвал их от их теократической первоосновы, но не нарушил непрерывности культурно-исторического развития, потому что не смог истребить из души западного человека саму веру в «священные принципы», определяющие строй жизни. Даже такие чисто секулярные начала, как право собственности, свобода личности, парламентаризм,— все основные принципы того правового содержания, которое выражено в Code civil\* и в основных конституциях западных государств, суть последнее наследие этого религиозно-теократического духа, наложившего неизгладимую печать на европейское жизнепонимание. Поэтому процесс секуляризации и раскрепощения личности, будучи по существу и по последним своим результатам бунтарством, саморазрушением творческой религиозной первоосновы жизни, шел на Западе постепенно, как бы постоянно заражаясь от разрушаемого им религиозного начала его творчески формирующей силой и потому лишь реформируя, а не разрушая жизнь, то есть создавая новые порядки, основанные на исторически укорененных «священных принципах». Отмирание религиозных корней общественности, то обоготворение самоchinного человеческого жизнеустройства, которое лежит в основе современного европейского общества, не привело западную культуру к чистой анархии — несмотря на то, что на этом пути она не раз доходила и в наши дни снова дошла до края бездны.

\* Гражданский кодекс (лат.).

В последний момент ее всегда — доселе, по крайней мере, — спасали глубокие консервативные силы, дремлющие в ее лоне, — последние пережитки ее религиозно-теократического воспитания. Западное безверие приводит не к всеуничтожающему нигилизму, а к идолопоклонству, к обоготворению земных «богов» — ряда морально-политических идеалов и принципов, вера в которые, несмотря на их ложность и относительность, сдерживает разрушающие тенденции безверия.

Иначе в России. Великая духовная энергия, почерпаемая из безмерной сокровищницы православной веры, шла едва ли не целиком вглубь, почти не определяя эмпирическую периферию жизни; во всяком случае — по причинам, которых мы здесь далее касаться не можем, — она не определила собою общественно-правового уклада русской жизни, не воспитала веры в какие-либо, освященные ею, принципы гражданских и государственных отношений. Поэтому мораль и право в светском, отрешенном от религиозной первоосновы смысле с трудом прививаются душе русского человека. Русский человек либо имеет в своей душе истинный «страх Божий», подлинную религиозную просветленность — и тогда он являет черты величия и благодати, изумляющие мир, — либо же есть чистый нигилист, который уже не только теоретически, но и практически ни во что не верит и которому «все позволено». Нигилизм — неверие в духовные начала и силы, в духовную первооснову общественной жизни — есть — рядом и одновременно с глубокой религиозной верой — коренное, исконное свойство русского человека. Поэтому у нас религиозно-психологически невозможны те промежуточные духовные тенденции, на которых уже давно зиждется западная жизнь, — ни реформация, ни либерализм, ни гуманизм, ни отвлеченный безрелигиозный национализм и этатизм, ни даже умеренный социал-демократизм. Исконный русский нигилизм, однако, отнюдь не исчерпывается анархическими, общественно-революционными тенденциями. Напротив, общее существо его духа независимо от того политического содержания, в которое он вкладывается. Он всегда тяготеет к крайностям, к отрицанию всяких духовных начал, к вере в одну лишь физическую силу — но эти общие тенденции могут окрашиваться то в «правый», то в «левый» цвет. Деспотизм и анархия, беспринципное подавление всяческой жизни и беспринципное разнуждение ее стихийных сил одинаково адекватно выражают собою нигилизм, который беспрестанно переходит от одного к другому или, вернее, живет в их роковом двуединстве. Поэтому существует глубочайшее духовное сродство, более того, в сущности, полное тождество между русским черносотенством и русским большевизмом, если брать то и другое не в их поверхностных политических обнаружениях, а в их истинном существе. Посетители пресловутых «чаен» союза русского народа и участники еврейских погромов при старом режиме были подлинными большевиками, так же как, с другой стороны, вся огромная масса палачей, провокаторов, всяческих держиморд большевистского режима суть подлинные черносотенцы, отчасти, и в весьма значительной мере, здесь, как известно, есть даже полное тождество личного состава. Но даже на несколько более высоком уровне мы замечаем то же единство. Тип старого русского администратора, презирающего всяческие сентименты и утонченности, равнодушного к праву и закону и водворяющего справедливость или воспитывающего людей попросту, с помощью палки и мордобоя, внутренне почти совпадает с типом «честного» большевистского комиссара: очень значительная часть русской бюрократии и офицерства — именно та часть, которая всегда верила только в палку и муштровку, презирала «либерализм», «образованность» и «гуманность» и была, казалось, наиболее консервативно настроена, — необычайно легко, почти безболезненно освоилась с большевизмом; ибо по своему духу, по своему, так сказать, морально-эстетическому бытовому облику она непосредственно ощущает свое духовное сродство с ним. По одной и той же причине — именно по причине этого исконного русского нигилизма, роковым образом развивающегося всюду в русской душе, где она непосредственно не просветлена и не облагорожена истинной религиозной верой, — ни русский консерватизм, ни русское освободительное движение не могли и не могут утвердиться в гуманитарных формах, а имеют неизменное и неудержимое стремление вырождаться в цинизм и насильничество. Знаменательная предсмертная речь П. Н. Дурново в Государственном Совете накануне революции — эта вдохновенная проповедь палки как единственного средства управления — была как бы предсмертным заветом государственной мудрости, который «старый режим» передал «новому».

Роковой конец старого порядка был определен тем, что он связал идею консерватизма, задачу охраны священных заветов национальной русской культуры с ни-

листическим деспотизмом и насильничеством. Совершенно так же роковая судьба русского «освободительного движения» состояла в том, что исторически назревшая и, по существу, правомерная потребность русского общества и народа в духовной самостоятельности и автономности слилась в ней с бунтарской стихией нигилизма. Русский народ стоит перед неотвратимой и великой задачей создать для себя формы общежития, основанные на духовной свободе и самостоятельности. В муках вынашивает он этот созревающий в нем плод; но первый опыт рождения кончился бесплодными, губительными потугами и судорогами большевистской революции. Поняв свободу как бесчинство разнузданности, он обрел лишь новый и жесточайший деспотизм, неслыханный по глубине и универсальности своего действия. Коммунистический идеал, в известном смысле действительно совершенно искусственно навязанный русскому народу, мог осуществиться лишь потому, что народное стремление к свободе, связавшись с нигилизмом и безверием, дало свою поддержку тому абсолютному нигилизму предельной социалистической доктрины, который не верит даже в личность как автономного хозяйственного субъекта и убежден, что даже хозяйственную жизнь легче всего построить насилем, по команде и под угрозой палки и расстрелов.

И в этом отношении русской революции суждено, надо полагать, сыграть огромную историческую роль не столько во внешней, сколько во внутренней духовной судьбе русского народа. В ней впервые за последние два-три века русский народ в целом получил живой опыт самоустроения, ощутил общественный порядок не как что-то извне данное, а как попытку осуществления своих собственных чаяний и стремлений: и этот опыт кончился глубочайшим разочарованием. Впервые народные массы на живом неотразимо убедительном опыте узнали внутреннюю, имманентную противоречивость идеала самочинности, основанного на нигилистическом отрицании сверхиндивидуальных, в конечном счете, религиозных начал общественной жизни. Он понял всем своим существом — или по крайней мере начинает понимать, — что свобода есть не отрицательное, а положительное понятие; что свобода, отрицающая власть, авторитет, иерархию, служение, ведет через анархию к деспотизму, то есть к самоотрицанию, и что, наоборот, его жажда подлинного самоопределения может быть удовлетворена лишь через самопреодоление, внутреннюю дисциплину духа, уважение к сверхличным ценностям и началам. То, что таилось в его душе как смутное чувство, основанное на детской вере и давней традиции — мысль, что «без Бога не проживешь», — становится теперь прочным убеждением, вынесенным из горького и безмерно тяжкого личного опыта. Думается, что не только в общерусской, но и во всемирно-исторической перспективе русская революция есть грандиозное экспериментальное *reductio ad absurdum*\* нигилизма, безверия, секуляристического начала безрелигиозной самочинности духа. Во всяком случае, в русской истории революция, которая уже начинает изживать и исчерпывать себя, есть порог, через который русский народ вступает в совершенно новую эпоху своего духовно-общественного бытия. Эпоха раздвоения — как внешнего, социально-политического, так и внутреннего, духовного — кончается и сменяется эпохой новой целостности.

Но для того, чтобы этот глубоко значительный и целительный процесс, купленный столь безмерно дорогой ценой, совершался отныне относительно безболезненно и планомерно, необходимо полное осознание его существа и смысла.

Для этого нужно, прежде всего, до конца понять, что преодоление революции не есть возврат к старому, дореволюционному состоянию, а есть переход к чему-то подлинно новому (хотя это новое — как все живое новое — должно, конечно, иметь корни в исходных исторических началах русского духа и русской жизни). «Старое состояние» было отравлено именно той болезнью, которая в бурной своей форме и выразилась как революция; в этом смысле не сама революция, в которой лишь разрядились разрушительные силы прошлого, а именно лишь преодоление революции есть тем самым преодоление старого духа. И, с другой стороны, отсюда уже ясно, что то «новое», что должно осуществиться, как единственный живой плод революции, есть не выполнение, хотя бы частичное, ее сознательных умыслов, а есть здоровое осуществление той органической потребности народного духа, которая лишь в извращенной форме сказала в революции и которая может очиститься и выявить свое подлинное существо только через опыт разочарования в революции. Глубочайшее существо тех сил, которые, в своем роковом извращении, определили наступление револю-

\* Доведение до абсурда (*лат.*)

ции,—о плодотворенное внутренней, духовной реакцией на революцию,—должно получить свое удовлетворение и тем самым приблизить русский народ к общественному состоянию, соответствующему его духовным потребностям.

Исторически неизбежная реакция на революцию может иметь две формы, которые, несмотря на внешнее, поверхностное их сходство, внутренне коренным образом противоположны и из которых одна в такой же мере была бы губительна и телеологически несостоятельна, в какой другая — спасительна и телеологически необходима. Реакция может принять форму внешней, механической контрреволюции — чисто политического торжества приверженцев «старого порядка» над ныне господствующими силами,—торжества, которое будет использовано для механического подавления всего целостного комплекса сил и потенций, приведших к революции, и для восстановления, в меру возможности, старого порядка. Но не говоря уже о том, что попытка восстановления status quo ante\* просто неосуществима в силу гибели и невосстановимости всего социально-политического материала, из которого он был построен,—существенно понять, что старый порядок невосстановим прежде всего как подлинный государственный порядок, то есть как строй, основанный на веровании в него и целостном правосознании всего русского народа. Государственное здоровье и духовная целостность были ведь утрачены задолго до революции, процессы разложения, раздора, бунта совершались под оболочкой «старого порядка» задолго до того, как они его разрушили. Реакция в этом смысле была бы не восстановлением утраченного единства государственного сознания, а просто подавлением одной из отколовшихся сторон — другой. Поэтому она привела бы не к подлинному искоренению революционных сил, а, напротив, к искусственному консервированию и новому взращиванию в народном сознании того самого больного и порочного умонастроения, которое привело к революции и которое, естественно, изживается и преодолевается в самом опыте революции. С исторической точки зрения такая внешняя, механическая победа над стихийной революцией была бы не окончанием революции, не выздоровлением от государственной болезни, ее породившей, а лишь временным этапом в ходе болезни — этапом, который, вероятно, закончился бы новым революционным кризисом. Наблюдая чисто объективно назревание социально-психических сил в процессе русской революции, нужно признать, что в порядке чисто стихийного процесса такой несчастный, неудачный исход довольно вероятен. Большевицкий режим и вся мерзость революционного разложения вполне естественно возбуждают, прежде всего, простейшие чувства ненависти, жажды мести, истребления и, следовательно, волю к простому механическому восстановлению старого. Если это случится, это будет значить, что Россия не излечилась, что она лишь перешла из одной стадии одержимости в другую, не победив в себе того злого духа, которым она одержима.

Подлинно «вырваться из круга и вздохнуть от бедствий» (по выражению древних орфиков) Россия сможет лишь через реакцию совершенно иного порядка — через внутреннее духовное оздоровление тех самых сил, которые в своем извращении привели к революции и через опыт революции же преодолевают это свое извращение. Реакция должна быть пережита не как механическая, извне наложенная на народную волю, карающая сила, а как изнутри созревший итог покаяния и самопросветления народной воли. В опыте революции совершается великий духовно-очистительный процесс. Его можно определить как процесс преодоления нигилизма, разрыва между органической волей к самоопределению и самодетельности и разрушительно-нигилистическим мирозерцанием, которое в течение едва ли не целого века отравляло и искажало эту волю. Этот глубокий процесс очень сложен и в разных слоях народа и просто различных русских натурах имеет различное содержание и разную степень широты и глубины. Самой элементарной и наиболее распространенной его формой, о которой можно сказать, что она уже в значительной мере внутренне осуществилась в народном сознании, является преодоление наивных социалистических чаяний, как они жили раньше в народной душе. Народ на опыте сознал, что простым расхищением, ограблением и «классовой борьбой» против богатых нельзя ничего добиться, кроме собственного разорения и обнищания; не только впервые «на собственной шкуре» народ узнал необходимость и благодетельность неприкосновенного права собственности и обеспечивающего его правового порядка, но вместе с тем он сознал тщетность и обманчивость мечты об обогащении с помощью каких-

\* Прежнее положение (лат.).



либо вообще механических государственных или революционных мероприятий и органическую зависимость экономического благосостояния от трудолюбия, энергии, деловитости и знаний личности. Можно смело сказать, что ужасный социалистический эксперимент имел своим последствием рождение, хотя и в самой элементарной и примитивной форме, духовно-нравственных устоев «собственнического» мировоззрения. Это есть преодоление — или первый, но вместе с тем решающий шаг к преодолению — экономического нигилизма. Параллельно ему идет процесс преодоления политического нигилизма — того непонимания или отрицания положительного смысла государственной власти, которым до революции был заражен сверху донизу, можно сказать, весь русский народ, за исключением маленькой кучки самого правящего слоя. Прежде всего на ужасном опыте анархии и выросшего из нее свирепого и циничного коммунистического деспотизма народ научился скептически относиться к мечте о всяческом бунтарстве; еще важнее, что широкие массы демократической интеллигенции и активного меньшинства народа, вплоть до простых рабочих и крестьян, имели за время революции опыт власти, прикоснулись к механизму государственного управления, поняли и положительные задачи власти, и трудность их осуществления и отучились смотреть на власть анархически-безответственно, как на ненужное стеснение свободы подчиненного. Как бы парадоксально это ни звучало в обстановке беспощадного деспотизма советской власти, но старое, рабское русское отношение к власти как к инстанции, чуждой подчиненным и извне, с какой-то недосыгаемой высоты принудительно определяющей их волю, совершенно исчезло из народного сознания; ибо коммунистическая власть ощущается народом вообще не как «высшая», верховная государственная власть, а просто как фактическая власть захватчиков, не имеющих высшего социального ранга; и распространенный сервиллизм в отношении к этой власти основан на простом расчете, а не опирается на подлинное чувство государственной подвластности. И вместе с тем, одновременно с отвращением к коммунистической псевдовласти, в народном сознании растет потребность в подлинной государственно-устройющей власти и сознание ее необходимости. Глубокое, органическое народное влечение к самоопределению и самоустроению — в своем болезненном искажении приведшее к бунтарству революции — постепенно переходит в народном самосознании из анархической стадии в стадию государственную. Как уже выше было отмечено, это совсем не значит, что народ сознательно стремится к демократической «форме правления». Напротив, традиционные западноевропейские формы демократического устройства — парламентаризм и всеобщее голосование — не только совершенно чужды и непонятны народному сознанию, но скорее даже оттолкнули бы его своей неорганической, чисто механической конструкцией. Но, с другой стороны, столь же, если не еще более чуждой, была бы отныне для народа всякая форма патриархально-монархической, чисто трансцендентной, сверху опекающей власти. О «форме правления» в техническом смысле слова народное сознание, конечно, не размышляет и никакого готового и определенного идеала в этом смысле не имеет. Но в нем нарастает и созревает понимание власти как начала, им самим сотворенного, как бы выросшего из недр его собственного духа и из его жизненной нужды, и вместе с тем подлинно государственного, то есть по неким объективным, высшим принципам устроющего его жизнь.

Зрелость и глубина этого возрождения государственного духа зависит, в конечном итоге, от силы третьей, и высшей, формы духовного исцеления — от религиозно-нравственного обновления народного сознания. Ибо основная сущность болезни русского духа есть не социализм и не анархизм — то и другое суть только проявления болезни, — а нигилизм. Духовная эволюция, которая совершается за годы революции в народном сознании, для непредвзятого наблюдения представляется комплексом разнородных тенденций. Необходимо признать, что в довольно значительной части народа за эти годы развилось и укрепилось атеистическое мировоззрение. Не следует приписывать главную вину в этом официальной пропаганде атеизма и соответствующему казенному воспитанию молодежи. Конечно, некоторая часть молодежи просто развращена коммунистической властью и превращена в хулиганов на казенном содержании. Но именно поэтому она не влиятельна и не показательна. Но, вообще говоря, всякая казенная пропаганда, как в былое время, так и теперь, не имеет в России успеха и по большей части приводит к обратным результатам. Подобно тому, как прежде наши духовные семинарии были рассадниками атеизма, так теперь все школы коммунизма, в силу мертвого бездушия, бездарности и однообразия проповедуемых в

них доктрин, вызывают в учащихся чаще всего чувство протеста и скуки и жажду чего-то иного и противоположного. И основная ложь нигилистического морализма, на котором зиждется официальное миросозерцание — требование самоотвержения и бескорыстного служения человечеству на основе материалистического отрицания всех духовных ценностей,— теперь жизнью уже окончательно разоблачена и отчасти остро сознается даже самими коммунистами, которые за последние годы очень заняты попыткой — разумеется, тщетной — как-либо повысить моральный уровень коммунистической молодежи и привить ей какие-либо моральные импульсы. Гораздо значительнее и влиятельнее та совершенно спонтанная, независимая от каких-либо воздействий власти волна атеизма, которая выросла за эти годы в связи с пробуждением в народном сознании духа индивидуалистической самочинности и рождением типа дельца, верящего только в собственную энергию и жаждущего материального обогащения. Это умонастроение подкрепляется некоторой дешевой, самодельной, просветительной мудростью, жизненной философией «американизма», отрицающего всякие «предрасудки» и «сентименты» и верующего только в здравый смысл, личный труд, энергию, предприимчивость и практическую сообразительность. Этому весьма распространенному типу, из которого рекрутируются и многие деятели нынешней власти, официально приписанные к коммунизму, несомненно суждено сыграть большую роль, и не одну лишь отрицательную, в будущем строительстве России. Но, разумеется, осуществить государственно-творческое дело он не может именно в силу своей нигилистической безыдейности и неспособности к какому-либо подвигу.

Но одновременно с этой тенденцией, менее заметно, чем она, ибо совершаясь в более глубоких и интимных пластах души, идет нарастание религиозного отношения к жизни. Прежде всего в рядах старой интеллигенции, во всех остатках старого культурного слоя. Здесь старая «интеллигентская» идеология рухнула окончательно, подорвана в самом своем корне — в атеизме. В этих кругах, и в особенности именно в молодом поколении из более культурного слоя, жажда религиозного миросозерцания и религиозного обоснования жизни выступает в настоящее время с поразительной остротой и стихийной силой. Но та же самая тенденция обнаруживается и в демократических низах, и притом в двух проявлениях. С одной стороны, в глубинах крестьянской массы, среди старшего ее поколения, помнящего прошлое и сознательно участвовавшего в революции 17-го года, нарастает чувство греховности совершившегося и глубоко покаянное настроение, отвергающее, как злую и бессмысленную волю, проявленное тогда бунтарство. Бедствия, пережитые значительной частью крестьянства за последние годы, рассматриваются как кара Божья за содеянный грех революции. С другой стороны, среди демократической молодежи, впервые начавшей сознательно жить уже после революции и в ее атмосфере, замечается — поскольку она ищет идейного обоснования и осмысления жизни — глубокое разочарование казенным коммунистически-атеистическим миросозерцанием и жажда новой, более глубокой веры. Эта жажда выражается в довольно беспомощных и наивных формах, она часто формулируется даже как задача углубления и расширения «революции», именно перенесения «революции» с социально-политической области в область духовную, и в таком виде высказывается даже в кругах идейных коммунистов, потрясенных тем духовным разложением, которым сопровождалось внешнее торжество коммунизма. При всей убогости и извращенности таких исканий, в них сказывается факт кардинальной важности — тот факт, что внутренняя духовная потенция революционного миросозерцания — нигилистическая настроенность — идейно окончательно изжита и что поэтому всюду, где есть искания идейного осмысления жизни, — а в этом отношении важно отметить, что эти характерно русские искания веры присущи и молодежи из демократических низов, — они идут в направлении, прямо противоположном прежнему. В смысле оформления этих исканий новейшие гонения на церковь и ее служителей, как и безобразные надругательства над религиозной верой в «комсомольских» демонстрациях, сыграют несомненно а *contrario*\* большую положительную роль.

Так, медленно и сложными путями, через жизненный опыт революции и духовную реакцию на нее, идет процесс духовного созревания и пробуждения народного сознания, рождения в нем подлинной творческой зиждательной настроенности. Это внутреннее преодоление революции есть вместе с тем, как уже указано, движение по пути подлинного осуществления тех органических народных потребностей и чаяний, которые, в болезненном своем извращении, привели

\* От противного (лат.).

к революции. Ибо последние, глубочайшие корни революции — это надо еще раз подчеркнуть со всею силой — лежали не в корыстных вожделениях, а в духовной неудовлетворенности народа, в искании целостной и осмысленной жизни. Старый порядок, основанный на опеке народных масс, на управлении ими как пассивным материалом, и притом управлении, осуществляемом высшим слоем, духовная культура которого была непонятна и чужда народу, рухнул в тот момент, как порвался единственный его народный корень — вера в патриархальную власть царя. Это событие, как и все доселе длящееся господство большевистской революции, есть не порождение нового порядка, а лишь крушение старого, в лучшем случае одни лишь судороги рождения нового. Но те самые силы, которые в разрушительной своей стадии погубили прошлое и привели к безумию революции, в самом опыте революции переходят в стадию созидательную. Искание жизни, основанной на самодеятельности, на имманентной близости власти и общественного порядка к духовному строю и потребностям самого народа, — это искание начинает осуществляться именно через преодоление своей нигилистически-бунтарской формы и нащупывание подлинно творческих жизненных путей.

Со стороны мыслящей части русского общества, стремящегося к национальному возрождению родины и призванного руководить им, нужна величайшая внимательность к народной душе, преодоление всех слепых чувств мести и ненависти, величайшая политическая трезвость и духовная свобода, чтобы облегчить и ускорить этот процесс, от нормального осуществления которого зависит вся судьба России.

Впервые — в редактируемом П. Струве журнале «Русская мысль» (Прага — Берлин), 1923, кн. VI—VIII.

<sup>1</sup> Платонов С. Ф. (1860—1933) — русский историк. Наиболее известен его труд «Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI—XVII вв.» (М 1899).

<sup>2</sup> Статья А. И. Герцена «Лишние люди и желчевики» (1860) рассматривается как начало полемики между двумя поколениями русских революционеров: «людей сороковых годов», преимущественно выходцев из дворян, — и шестидесятников-разночинцев.

<sup>3</sup> В 1889 году были введены должности земских начальников, совмещавших исполнительную и судебную власть в деревне и назначавшихся только из дворян. Тем самым в управлении крестьянами устанавливалось сословное начало.

<sup>4</sup> См. письмо Пушкина П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 года.

<sup>5</sup> Имеется в виду статья В. Розанова «Ослабнувший фетиш (Психологические черты русской революции)» (М. 1906). (Указано В. Сукачем.)

<sup>6</sup> Так называли циркуляр министра народного просвещения графа И. Д. Делянова, вводящий ограничения на прием в гимназии представителей низших сословий.

## ПО ТУ СТОРОНУ «ПРАВОГО» И «ЛЕВОГО»

Что такое «правое» и «левое»? И к какому из этих двух направлений надо себя причислять, какому из них надо сочувствовать?

Еще совсем недавно ответ на первый вопрос был ясен для всякого политически грамотного человека. Ответ на второй вопрос для нас, русских, тоже не возбуждал сомнений до 1917 и тем более до 1905 года. «Правое» — это реакция, угнетение народа, аракчеевщина, подавление свободы мысли и слова, произвол власти; «левое» — это освободительное движение, освященное именами декабристов, Белинского, Герцена, требования законности и уничтожения произвола, отмены цензуры и гонений на иноверцев, забота о нужде низших классов, сочувствие земству и суду присяжных, мечта о конституции. «Правое» есть жестокость, формализм, человеконенавистничество, высокомерие власти; «левое» — человеколюбие, сочувствие всем «униженным и оскорбленным», чувство достоинства человеческой личности, своей и чужой. Коллебай быть не могло; «у всякого порядочного человека сердце бьется на левой стороне», как сказал Гейне. Ибо коротко говоря — «правое» было зло, «левое» — добро.

Все это исчезло, провалилось в какую-то бездну небытия, испарилось как дым. Нынешнему молодому поколению, даже «левого» направления, эта цельность чувств уже недоступна. Отчасти теперь в русской эмиграции (и отчасти и в самой России) «правое» и «левое» просто переменились местами: «левое» стало синонимом произвола, деспотизма, унижения человека, «правое» — символом стремления к достойному человеческому существованию; словом, правое стало добром, левое — злом. Но это — только отчасти. За этим поворотом скрывается другой, гораздо более значительный, хотя менее явственный: нарастает чувство непонятности, неадекватности, смутности самих определений «правого» и «левого». Позволю себе личное признание, быть может, неинтересное читателю, но необходимое мне как отправная точка для дальней-

ших размышлений. В ранней молодости я был, как все русские молодые интеллигенты того времени, «крайним левым» — марксистом, социал-демократом. Потом в течение всей жизни постепенно «правел», не дойдя, впрочем, до настоящей «правизны», а тяготел скорее к «центру» между «правым» и «левым»; но всегда сознавал себя на каком-то месте линии, идущей слева направо. Революция 1917 года была для меня, как для всех русских людей, не утерявших совести и здравого смысла, непосредственным толчком к решительному «поправению». Но по мере того, как впечатления отлагались в душе, начался и новый процесс: сами понятия «правого» и «левого» начали становиться все более случайными, шаткими, теряли свой былой однозначный смысл, становились призрачными и неактуальными. В них ощущалось даже что-то оскорбительно-неуместное: человеку, тонущему в водовороте и пытающемуся спасти свою жизнь, не время думать, «правый» ли он или «левый»; человеку, попавшему в плен к разбойникам или сумасшедшим, не до партийной политики; человек, потерявший родину, потерял все — в том числе и ту почву, на которой он мог идти направо и налево. И когда меня — человека, хотя и не принимавшего активного участия в политике, но всю жизнь интересовавшегося политическими вопросами и достаточно образованного в них, — спрашивают теперь, «правый» ли я или «левый», то я испытываю странное чувство неловкости, недоумения и неспособности дать прямой ответ на вопрос. Поразмыслив над этим чувством, я пришел к убеждению, что повинна в нем не неопределенность моего политического мировоззрения, а неуместность самого вопроса. Теперь я предпочитаю, вместо ответа на этот вопрос, с своей стороны спрашивать вопрошающего: «А вы сами причисляете себя к какой партии — к «гвельфам» или к «гибеллинам»? Тогда я испытываю удовольствие привести вопрошающего в такое же замешательство, какое он причинил мне.

В самом деле, мы привыкли употреблять слова «правый» и «левый» как понятия, которые, во-первых, имеют всем известный, точно определенный смысл и, во-вторых, в своей совокупности исчерпывают всю полноту возможных политических направлений и потому имеют всеобъемлющее значение каких-то вечных «категорий» политической мысли. Мы забываем, что эти понятия имеют лишь исторически обусловленный смысл, определенный своеобразием эпохи, в которой они возникли и действовали (или действуют), и что им рано или поздно суждено, как всем историческим течениям, исчезнуть, потерять актуальный смысл, смениться новыми группировками. И мы, отдаваясь рутине мысли, не замечаем, что в современной политической действительности есть очень существенные тенденции, которые уже не укладываются в эти старые, привычные рубрики.

Что разумеется, в конце концов, под этими понятиями «правого» и «левого»? Конечно, можно брать их в совершенно формальном и общем смысле, в котором они действительно становятся некоторыми вечными, имманентными категориями общественно-исторической жизни. А именно, можно разуметь под ними «консерватизм» и «реформаторство» в общесоциологическом смысле — с одной стороны, склонность охранять, беречь уже существующее, старое, привычное, и, с другой стороны, противоположное стремление к новизне, к общественным преобразованиям, к преодолению старого новым. Но прежде всего при этом понимании логично было бы не дву-членное, а трехчленное деление. Наряду со «староверами» и «реформаторами» должны найти себе место и те, кто сочетает обе тенденции, кто стремится к обновлению именно через его реформу, через приспособление его к новым условиям и потребностям жизни. Такое не «правое» и не «левое», а как бы «центральное» направление совсем не есть, как часто у нас склонны думать, какое-то эклектическое сочетание обоих первых направлений; оно качественно отличается от них тем, что, в противоположность им, его пафос есть идея полноты, примирения. Практически крайне важно, что различие в этом смысле между «правым» и «левым» менее существенно, чем различие между умеренностью и радикализмом (все равно — «правым» или «левым»). Сохранение наперекор жизни, во что бы то ни стало старого и стремление во что бы то ни стало переделать все заново сходны в том, что оба не считаются с органической непрерывностью развития, присущей всякой жизни, и потому вынуждены и хотя бы действовать принуждением, насильственно — все равно насильственной ли ломкой или насильственным «замораживанием». И всяческому такому, «правому» или «левому», радикализму противостоит политическое умонастроение, которое знает, что насилие и принуждение может быть в политике только подсобным средством, но не может заменить собою естественного, органического, почвенного бытия.

Но главное в нашей связи — то, что понятия «правого» и «левого», употребляемые в этом чисто формально-общем, универсально-социологическом смысле, очевидно, не имеют ничего общего с политическим содержанием, которое обычно вкладывается в эти понятия, и лишь в силу случайной исторической обстановки могли психологически ассоциироваться с ними. Мы привыкли, в силу еще недавно господствовавших политических порядков, что «правые» находятся у власти и охраняют существующий порядок, а «левые» стремятся к перевороту, к установлению нового, еще не существующего порядка. Но когда этот переворот уже совершился, когда господство принадлежит «левым», то роли, очевидно, меняются: «левые» становятся охранителями существующего — а при длительности установившегося порядка даже приверженцами — «старого» и «традиционного», тогда как «правые» при этих условиях вынуждены взять на себя роль реформаторов и даже революционеров. Если мы будем спутывать общесоциологические понятия «охранителей» и «реформаторов» (или еще общее: «довольных» и «недовольных») с политическими понятиями «правых» и «левых», то мы должны будем в республиканско-демократическом строе назвать республиканцев и демократов «правыми», а монархистов — «левыми» или всех противников советского строя называть «левыми», а самих коммунистов — «правыми», то есть дойти до совершенной нелепости и полной путаницы понятий.

Итак, каково же, собственно, конкретно-политическое содержание понятий «правого» и «левого»? Но прежде чем ответить на этот вопрос, еще одно замечание общелогического порядка. Если мы отвлечемся на мгновение от этих понятий или этикеток и непредвзятым взором попытаемся обозреть все возможное многообразие политических мировоззрений, то чисто логически заранее очевидно, что оно не может быть исчерпано делением его на два противоположных типа. Политическое мировоззрение есть комплекс или система, слагающаяся из совокупности ответов на ряд существенных вопросов общественной жизни. Каждый вопрос допускает разные решения; ясно, как неисчерпаемо велико возможное многообразие политических мировоззрений. Конечно, всякое многообразие допускает классификацию по основным высшим родам, в том числе иногда и дихотомическое деление. Но для этого деление должно быть произведено по единому и притом существенному признаку, то есть такому, видоизменение которого определит различие хотя бы основных и важнейших из остальных признаков. Удовлетворяет ли деление на «правое» и «левое» указанному требованию единства и существенности признака деления? Бесспорно, что долгое время оно практически ему удовлетворяло — иначе оно не могло бы достигнуть такого широкого распространения и всеобщего признания.

Однако для судьбы этих понятий в наше время существенно, что интуитивно-психологическое единство обоих мировоззрений не определялось логически-необходимой связью идей в них. Дело в том, что оба этих соотносительных понятия лишены внутреннего единства и не могут быть определены на основе какой-либо одной, центральной для каждого из них и объединяющей его идеи. Наоборот, вдумываясь в них, мы заключаем, что в них по историческим, с точки зрения существа дела случайным, условиям скрестились три ряда духовных и политических мотивов, по существу совершенно разнородных. Прежде всего — чисто философское различие между традиционализмом и рационализмом, между стремлением жить по историческим и религиозным преданиям, по логически не проверяемой традиционной вере (по вере и обычаям отцов) и стремлением построить общественный порядок чисто рационально, умышленно планомерно; во-вторых, чисто политическое различие между требованием государственной опеки над общественной жизнью и утверждением начала личной свободы и общественного самоопределения (в этом смысле «правый» значит государственник, этатист, сторонник сильной власти, в противоположность «левому» — либералу); и, наконец, чисто социальный признак — позиция, занимаемая в борьбе между высшими, привилегированными, богатыми классами, стремящимися сохранить или утвердить свое господство в государстве и обществе, и низшими классами, стремящимися освободиться от подчиненности и занять равное или даже господствующее положение в обществе и государстве. В этом смысле «правый» значит сторонник аристократии или буржуазии, «левый» — демократ или социалист.

Некоторая связь, по существу, между этими тремя парами тенденций, соединяющая первые члены их в понятие «правого», а последние — в понятие «левого», бесспорно есть. Так, рационализм, выступая против традиционной веры, требует свободы

«критической» мысли, и в этом смысле первый признак связан со вторым, и точно так же свобода, в качестве общественного самоопределения, требует всеобщности и в этом смысле равенства в свободе (формального равноправия всех людей, в том числе и членов низших классов) и этим соединяется с третьим признаком. Этими двумя связями определено единство либерально-демократического или радикально-демократического мирозерцания, а тем самым, отрицательно, и единство его антипода — консервативно-аристократического умонастроения. Однако связи эти очень относительны и столь же легко — чисто логически и потому и практически — могут уступать место и отталкиваниям, и взаимной борьбе. Так, чистый рационализм, требуя свободы отвлеченной, «критической» мысли и основанного на ней общественного действия, с другой стороны, в своей враждебности к вере и традиции, может и должен стремиться к стеснению свободы религиозной веры и к подавлению свободного пользования традиционным порядком, обычаями, нравами (якобинство, «комбизм», коммунистическое преследование веры и традиций). Более того — и это здесь самое существенное: рационализм, требуя свободы для себя, в своей идее устройства жизни на основании рационального порядка имеет сильнейшую имманентную тенденцию к началу государственного регулирования, к подавлению той иррациональности и сверхрациональности, которая образует самое существо свободы личности (просвещенный абсолютизм, якобинство, коммунизм в его теории и практике; ср. программу Шигалева в «Бесах»: «начав с провозглашения свободы, утвердим всеобщее рабство»). Еще более очевидна слабость связи между вторым и третьим признаком. Лишь в процессе борьбы низшие классы требуют для себя свободы, и идея свободы легко связывается с идеей равенства. По существу, притязание низших классов на улучшение их правового и, в особенности, материального положения не имеет, очевидно, ничего общего с требованием свободы. По существу, начала свободы и равенства, как известно, скорее антагонистичны, что не раз и обнаруживалось в историческом опыте; начало свободы личности предполагает, правда, всеобщность самодеятельности и в этом смысле формальное равноправие всех, но, с другой стороны, стоит в резком антагонизме к началу реального равенства: в силу фактического неравенства способностей, условий жизни, удачи между людьми свобода должна вести к неравенству социальных положений, и, наоборот, реальное равенство осуществимо только через принуждение, через государственное регулирование и ограничение свободной самодеятельности личностей, свободного выбора жизненных возможностей. К этому присоединяется и то, что народные массы, представляя собой низший духовный уровень человека, вообще более склонны к деспотизму, легче мирятся с ним и охотнее им пользуются, чем высшие слои общества. Наконец, уже совершенно очевидно, что первая пара признаков (традиционализм и радикализм) только случайно исторически в нашу эпоху сплелась с третьей парой (господство высших классов и восстание низших) и не имеет с последней никакой связи по существу. Рационализм и просветительство, стремление переделать жизнь по отвлеченно-намеченным планам, по требованиям «разума», естественно составляет особенность слоев образованных, привыкших к работе мысли, тогда как народные массы, по общему правилу, более склонны к традиционализму, к вере и жизни по примеру отцов. До совсем недавнего времени консервативная власть всегда опиралась на народные массы против образованных классов, и, напротив, власть, вступая на путь радикального и планомерного переустройства общества, наталкивалась на оппозицию народных масс (реформы Петра Великого и стрельцкие бунты). В настоящее время, начиная с середины XIX века и вплоть до современности, это соотношение, правда, радикально изменилось: рационализм, потеряв в значительной мере свой кредит у образованных, стал достоянием народных масс. И все же и теперь примитивность инстинктов низших классов, несмотря на весь их рационализм, часто приводит к утверждению или даже воскрешению старых форм быта, по крайней мере поскольку для них существенна грубость и упрощенность нравов. Этим в значительной мере определены реакционные результаты господства коммунистически настроенных масс в Советской России.

Так, эти столь разнородные, по существу, между собой не связанные или лишь весьма слабо связанные три пары соотносительно противоположных тенденций в силу своеобразных исторических условий с конца XVIII века и в течение XIX века почвенно связались между собой и совместно образовали ту характерную для этой эпохи противоположность, которую мы называем борьбой между «правыми» и «левыми». Однако в настоящее время историческая ситуация уже настолько изменилась, что цель

ность этих понятий в значительной мере расшатана и сами они поэтому по существу устарели, непригодны для ориентировки в содержании наиболее острых и существенных проблем современности и продолжают господствовать лишь по исторической инерции мысли, проще говоря — по недомыслию.

Начать с того, что в большинстве европейских стран цель «левых» стремлений уже осуществлена. «Левые партии» — демократы и социалисты либо являются, по общему правилу, господствующими, как во Франции, Германии и Англии, либо уже успели сдать свое господство политическим новообразованиям, которые никак нельзя подвести под традиционное понятие «правых» (фашизм, коммунизм). Можно было подумать, что господство «левых» приводит только к перемене мест между этими двумя направлениями, не меняя их содержания и смысла, — то есть, что «правые» партии из господствующих превращаются в оппозиционные (что мы фактически и видим в большинстве европейских государств). Однако эта простая видимая политической эмпирии скрывает под собой гораздо более существенное изменение духовной реальности, не замечаемое обычным недомыслием. Известно, что «левые», достигнув власти, обычно, по крайней мере отчасти, перестают быть «левыми» — «правеют». Этот общеизвестный факт имеет не только житейски-практическое, но и принципиальное значение; политический фронт меняет свое направление: «левые», стоя у власти, получают на опыте государственное воспитание, научаются понимать и ценить то, что раньше яростно отвергали; «правые», оттесненные в оппозицию, напротив, часто по крайней мере до некоторой степени приобщаются к прежней психологии «левых» и пользуются их лозунгами. Так один из признаков, образующий понятия «правого» и «левого», меняет свое место: принцип свободы обычно мало прельщает властвующих и есть естественное достояние оппозиции. Поэтому в новой обстановке требование свободы в значительной мере характеризует политические устремления, в иных отношениях именуемые «правыми». Господствующий рационализм склонен отныне вступать в сочетании с принципом государственной опеки, традиционализм, напротив, требует свободы. И если опыт «левого» деспотизма или увлечения государственным централизмом научает «правых» ценить свободу, так что консерваторы становятся либералами, не переставая быть консерваторами, то, с другой стороны, опыт анархии и смут, определенных нежеланием «крайних левых» подчиняться даже «левой» государственной власти, научает «левых», что единственная прочная основа свободы есть государственный порядок, поддерживаемый сильной властью; на этом пути либералы и демократы, не переставая быть таковыми, становятся консерваторами; оба обстоятельства уже совершенно спутывают обычные понятия.

Если эта перемена касается перераспределения первой и второй пары изложенных выше признаков «правого» и «левого» (а отчасти и изменения самого смысла первой пары признаков) — то столь же существенное изменение совершается и с местом третьего из вышеупомянутых признаков. С исчезновением прежних высших классов или с потерей ими политического и общественного влияния «правые» не только тактически-демагогически должны искать себе опоры в низших классах, но часто и принципиально становятся выразителями вождельей и интересов той части низших классов, которая еще живет в идее традиционализма. «Правые» (или, по крайней мере, известная их группа) становятся отныне вождями части народных масс, мечтают о народном восстании и в этом смысле занимают позицию «крайних левых». Несмотря на свою острую ненависть к «левым» в других отношениях, они иногда солидаризируются с теми «крайними левыми», которые сами находятся в оппозиции и не удовлетворены господствующей в государстве левой властью, и эту связь выражают даже в своем имени («национал-социалисты» в Германии). Отсюда возникает многозначительный, весьма знаменательный для будущего, раскол в прежде единой «правой» партии — раскол настолько существенный, что перед его лицом старое общее обозначение обеих групп как «правых» почти теряет реальный политический смысл. А именно, прежние «правые» раскалываются на консерваторов-либералов, отстаивающих интересы свободы и культуры, права образованного слоя на руководящую роль в государстве, и на реакционеров, опирающихся на вождельей черни и во всяком развитии свободы и культуры усматривающих зло либеральной демократии. Если обе эти группы борются с господствующей демократией и в этом смысле являются союзниками, то нельзя за этим тактическим и полемическим единством упускать из виду их радикальную противоположность: они нападают на демократию, находящуюся в промежулке между ними, с двух противоположных сторон — хотелось бы сказать: слева

и справа, если бы эти термины не имели уже своего особого, не подходящего сюда, исторически определенного смысла.

Весьма достопримечательно, что русская политическая терминология за последнее десятилетие (со времени возникновения «белого» движения) уже фиксировала это различие и эту противоположность в терминах «белого движения» и «черносотенства». Что вернее, мудрость ли языка, которая инстинктивно фиксировала максимальную противоположность двух направлений в пределах того, что зовется обычно «правым» (что может быть большей противоположностью, чем различие между «белым» и «черным?»), или наши традиционные понятия, не усматривающие здесь никакого существенного различия? Конечно, личный состав обоих направлений часто тесно переплетается (именно ввиду невыявленности и неосознанности их идейной противоположности); вполне естественно также, что оба направления в борьбе с общим врагом — большевизмом — объединяются между собой (союз в борьбе против общего врага так же мало означает во внутренней политике сущностную солидарность союзников, как в политике внешней). Мы думаем, что язык тут вполне прав и что после ликвидации большевизма именно борьба между этими двумя направлениями (условимся их называть «белым» и «черным», пользуясь счастливым обстоятельством, что язык дает здесь меткие новые имена взамен истрепанных «правого» и «левого») составит центральную тему политической жизни будущего в России. Здесь на общей почве традиционализма (понимаемого, впрочем, тоже весьма различно) должно произойти решающее столкновение между поборниками свободы и культуры (и, следовательно, основанного на начале культуры, иерархического строения общества) и приверженцами принципа принуждения («палки» и «кнута») и демагогической нивелировки.

Тот же, в сущности, раскол совершается и в «левых» партиях. Мы ограничиваемся здесь русской политической мыслью (в западноевропейской все это еще гораздо менее выявлено). Не замечателен ли факт, что, например, так называемые «левые эсеры» сотрудничали с большевиками и доселе им идейно близки, тогда как «правые эсеры», прежде в этом отношении во многом грешные, теперь являются их яростными и непримиримыми врагами? То же самое мы имеем и в лагере русских социал-демократов: не лежит ли целая бездна между мировоззрением г. Дана и г. Потресова? Не имеем ли мы право обобщить эти явления, сказавши, что в «левом» лагере тоже намечается (здесь на общей почве привычного рационализма, которая, однако, для одной группы тоже начинает сильно шататься) та же самая (в принятом нами смысле) коренная противоположность между «белым» и «черным»?

Замечательно также, что «черносотенство» (в обычном смысле), будучи доселе в каком-то отношении политическим антиподом «красного», практически весьма часто обнаруживает свое духовное сродство с последним и близость к нему (как и обратно). Административный состав большевистской власти, преимущественно армии и полиции, был создан при существенном участии «черносотенства». Лица «черного» образа мыслей, при всей непривычности для них некоторых «красных» идей, чувствуют часто некоторое эстетическое и духовное сродство с «красным» стилем и относительно легко с ним сживаются и его усваивают (связующим звеном здесь является господство грубого насилия в управлении и момент демагогии). Прежнему типичному частному приставу и исправнику или некультурному армейскому офицеру демократического происхождения неизмеримо легче приспособиться к советским порядкам и найти применение своим старым навыкам, чем профессору-либералу и даже чем культурному революционеру. В подлинной черни различие между «черным» и «красным» вообще становится почти неуловимым. Толпа, участвовавшая в былые времена в еврейских погромах и еще в 1915 году устроившая в Москве по мнимонациональным мотивам немецкий погром, есть та самая толпа, которая совершила большевистский переворот, громила помещиков и «буржуев». С другой стороны, антисемитизм, эта традиционная черта «правого» умонастроения, стал, по достоверным известиям, общим достоянием коммунистической среды, и в особенности ее «левого» крыла. Типично «черный» национализм есть вообще характерная черта русского коммунизма, выражающаяся в его ненависти к «буржуазной» Европе.

Чтобы понять и оценить все эти явления, надо, однако, учесть одно общее обстоятельство, которое в еще неизмеримо большей мере, чем политическое торжество демократии, существенно содействует разложению традиционных понятий «правого» и «левого»: это есть торжество и практическое осуществление социализма.

Дело в том, что социализм с самого своего зарождения и по своему су-



шеству выходит за пределы противоположности между «правым» и «левым» и образует какое-то третье, самостоятельное, не учтенное этими наименованиями направление. Социализм возник, как известно, из сочетания двух противоположных духовных тенденций: просветительства и рационализма XVIII века (социального радикализма Руссо и Мабли и материализма Гельвеция и Гольбаха), с романтической реакцией начала XIX века против идей XVIII века (первые социалисты — сенсимонисты, ученики Сен-Симона, который в своем учении об «органической» эпохе в противоположность «критической» является последователем Жозефа де Местра). Уже с самого начала он, таким образом, не был ни «левым», ни «правым», будучи одновременно как бы «лево-правым». В дальнейшем развитии социализма второй его генетический корень сказался в характерном для социализма отрицании начала свободы. Таким образом, сочетая в себе первый и третий из вышеуказанных признаков «левого» направления (рационализм и борьбу низших классов против высших) и в этом отношении продолжая традиции французской революции, резко враждебный «правому» направлению в его традиционном смысле, вместе с тем принципиально отвергает самый, быть может, существенный признак «левого» унаследования — начало личной свободы и прав личности, которое он заменяет началом безграничного государственного принуждения. То обстоятельство, что социализм вообще не лежит на линии между «правым» и «левым», а в каком-то совсем ином измерении, могло оставаться незамеченным лишь в эпоху, когда социализм лишь боролся за свое существование, то есть находился в оппозиции к существующему порядку (определенному «правыми» началами) и потому в естественном союзе с «левым» направлением. «Революционность» социализма заслоняла тогда его собственное содержание как социализма. Социализм в процессе борьбы требовал для себя свободы и равноправия, вступал в союз с либерализмом и демократией и потому естественно причислялся и причислял сам себя к «левому» направлению. С момента захвата власти социалистами перед ними — в силу коренной противоположности между либеральной демократией и социализмом — оставались только два пути: либо отречься (фактически и на практике, если не в идеях) от социализма в пользу либерально-демократической программы, либо отказаться от всякой связи с либерально-демократическим, «левым» направлением в интересах подлинного осуществления социализма. Первый путь избрали европейские социалисты, ставшие поистине «социал-предателями» и обрекшие себя на лицемерие совершенного несоответствия между их теоретической программой и практической государственной деятельностью; по второму пути пошел, как известно, русский коммунизм. Оба пути — второй, впрочем, гораздо нагляднее и убедительнее, чем первый, — на опыте показали противоположность между социализмом и традиционным «левым» мировоззрением.

Надо сказать правду: сами коммунисты поняли и практически учли этот вывод гораздо более основательно и последовательно, чем многие «левые» (русские, а тем более — западноевропейские): коммунисты не стеснялись вести ожесточенную, ничем не ограничиваемую борьбу с «левыми» и открыто попирали все начала «левого» мировоззрения (равноправие, свободу и правовую защищенность личности, свободу веры и слова, демократический принцип всеобщности, участие в государственно-общественной жизни, выборное начало и пр.), тогда как многие «левые» продолжают еще по старой привычке, то есть по недомыслию, веровать в свою духовную близость к социализму.

Но как бы велико ни было недомыслие и сила исторической инерции, — отныне, с торжеством социализма в России, имеющим по крайней мере симптоматическое значение для всего мира, силой вещей, роковым и неотменимым образом фронт политической борьбы изменил направление. Отныне решающей и основополагающей является совсем иная группировка политических тенденций, чем та, которая выразилась в традиционной вековой противоположности между «правым» и «левым». Это инстинктивно ощущается — хотя, за отсутствием свободы слова и не может быть отчетливо опознано — в самой России. Напряженнейший антагонизм между властью и населением, изнемогающим от деспотизма этой власти, не имеет ничего общего с традиционной противоположностью между «правым» и «левым»; поскольку «правые» и «левые» еще вообще существуют (за пределами самой коммунистической партии, в которой эти обозначения имеют тоже совершенно своеобразный смысл), их былой антагонизм совершенно поблек, отступил на задний план перед противоположностью между всем населением и советским деспотизмом (подлинное историческое значение имеет та «трубка мира», которую бывший министр Макаров выкурил перед своей

казнью со своим сожителем по камере Чеки, социалистом-революционером). Конечно, это не значит, что все старые проблемы, разделявшие общество на «правых» и «левых», совсем исчезли. Но отчасти они перестали быть существенными, сняты с очереди дня, отчасти же проблемы как таковые сохранили значение, но типические традиционные формы о т в е т о в на них, полагавшие борьбу партий, устарели и изменили свой смысл.

В чем же заключается та основная новая группировка, та борьба противоположных начал, которая призвана сменить собой старую и устаревшую противоположность между «правым» и «левым»? Пока насильнический социализм в России не свергнут, он есть общий враг для всех, кто от него страдает, и, наоборот, для него все остальное, вне его стоящее, есть общий враг. Если, следуя за нашим намеченным выше анализом, разложить на составные элементы эти две враждебные силы, то мы получим следующую противоположность: на одной стороне — рационализм, безграничный государственный деспотизм, господство низших классов над классами культурными; на другой — права традиционализма и религиозной веры, принцип права и свободы личности, защита интересов культуры и образования (и, следовательно, иерархической структуры общества по признаку образования и культуры). Коротко говоря — борьба между нигилистически-демагогическим деспотизмом и идеей опирающегося на духовные ценности правового порядка; еще короче — борьба между «красным» и «белым» (в условленном выше смысле) — причем предполагается, что другие группы, причислявшие себя к «левым», поскольку они действительно враждебны насильническому социализму, уже не могут в этом смысле именоваться «красными».

Но «красное» в указанном выше смысле, как мы видели, весьма сродни «черному» и весьма легко может в него обратиться. Это значит, точнее говоря: «рационализм» может легко замениться вульгарно-грубым (и потому имеющим сильно рационалистический оттенок) «традиционализмом», при сохранении двух остальных связанных с ним моментов: демагогии и деспотизма (царство черни с помощью палки во имя извращенного национализма и извращенной религии). Тогда «левый» фронт против «красного» станет «белым» фронтом против «черного». На одной стороне будет истинный, духовно обоснованный традиционализм, неразрывно связанный со свободой и защитой интересов культуры, на другой — упрощенно-грубый и извращенный традиционализм, сочетающийся с демагогией и культом насилия.

Принятая нами терминология — замена противоположности между «правым» и «левым» противоположностью между «черно-красным» и «белым» — конечно, встретит возражения, психологически вполне естественные и отчасти правомерные: ведь и эти термины отягощены историческим прошлым и в силу власти прочных ассоциаций над умами лишь с трудом поддаются употреблению в новом смысле. Но суть дела не в терминологии, конечно, а в самом существе нового, намечаемого самим ходом вещей, соотношения тенденций. Фактически для этой новой группировки еще не найдены, и тем более еще не освящены общим употреблением, соответствующие названия; а известно, что реальность, не запечатленная в слове, в имени, воспринимается лишь с трудом и только немногими, более проницательными и независимыми умами. Поэтому еще долго, вероятно, будет идти на словах и в смутных мыслях борьба между отжившими, превратившимися в призрачные тени, понятиями «правого» и «левого»; еще долго будут существовать «правые» и «левые» люди без соответствующего им реального «правого» и «левого» дела; еще долго эти призраки будут вносить бесплодную путаницу и смуту в общественную жизнь и заслонять собой суровые требования реальности. В конце концов реальность, как всегда, одолеет отжившие идеи, и «правое» и «левое» из жизни уйдет в учебники истории, где оно упокоится, найдя себе место рядом с «гвельфами» и «гибеллинами».

Впервые — в журнале-альманахе «Числа» (Париж), 1931, кн. 4.

Статья написана весной 1930 года в Белграде, куда автор был приглашен на два месяца для чтения курса лекций в Русском Научном Институте. П. Струве, бывший в то время фактическим главой редакции газеты «Россия и славянство» (Париж, 1928—1933), предлагал опубликовать статью частями в этой газете, но Франк, не желая рабывать статью на несколько отрывков, отдал ее в «Числа». Позднее Франк писал об этой статье: «Я обосновывал в ней давно обдуманную и пережитую мной мысль, что перед лицом новейшего политического развития — я имел в виду коммунизм, фашизм и только что нарождавшийся тогда национал-социализм — понятия «правого» и «левого», обычно употребляемые как некие имманентно-вечные категории политической жизни, собственно, совершенно устарели, стали беспредметными абстракциями, неадекватными актуально и подлинно существенным разногласиям между политическими направлениями» (Франк С. Л. Биография П. Б. Струве. Нью-Йорк, 1956, стр. 157—158).

## ПРОБЛЕМА «ХРИСТИАНСКОГО СОЦИАЛИЗМА»

## I

С тех пор, как существует так называемый «социальный вопрос», — с тех пор, как примерно 100 лет тому назад у европейского человечества открылись глаза и пробудилась совесть в отношении нищеты, материальной нужды широких слоев трудящегося народа, — существуют и многообразные попытки занять христианскую позицию в этом вопросе, разрешить его с точки зрения христианской веры; в многообразных формах, которые мы не можем здесь перечислять и оценивать, существует так называемый «христианский социализм». По меньшей мере отдельные люди или группы людей сознают, что равнодушие, пассивное отношение христиан к горькой нужде множества ближних есть великий грех христианского мира; в католической церкви это сознание было официально возведено и церковно санкционировано в известных энцикликах пап Льва XIII и Пия XI<sup>1</sup>. Люди, желающие быть христианами, начинают чаще и острее ощущать, что было бы невыносимым фарисейством предаваться молитве или богословскому умозрению, упражняться в христианских добродетелях — и не испытывать при этом беспокойства о том, что за стенами церкви или нашего дома миллионы людей — в том числе старики, женщины, дети — голодают и гибнут от хозяйственной нужды. Если, по завету Христову, прежде чем приблизиться к алтарю, нужно примириться с ближним, который чувствует себя обиженным нами, — то можно ли оставаться равнодушным к тому, что миллионы нуждающихся живут с чувством горького озлобления против материально привилегированных членов общества, сплочно обрекающих их на голод? Правда, в церкви всегда проповедают милосердие, заботу о бедных, раздачу милостыни. Но ни для кого не секрет, что христианское благотворение в его обычной распространенной форме есть дело весьма дешевое, подача грошей, нечувствительная для дающего и не стоящая ни в каком отношении к нужде ближнего; такое «благотворение» совершается по общему правилу без истинной любви к ближнему, без малейшей воли к жертвенности; оно легко совмещается с холодностью, равнодушием и даже жестокостью к бедным во всей остальной, «внецерковной» нашей жизни и в особенности в наших «деловых» отношениях к ним; чаще всего такое дешевое благотворение есть само вид фарисейства. Но даже в самом лучшем случае такого рода благотворительность касается немногих отдельных людей, почему-либо нам близких или случайно нам встретившихся; то, что за этими пределами есть еще бесконечное количество нужды и нищеты, обычно мало беспокоит христианина; от укоров совести он обычно отделяется легкой бессердечной мыслью, что «нельзя же помочь всем». Может по праву почитаться истинным скандалом для христианского мира, что в противоположность этому распространенному в нем равнодушию к судьбе обездоленных подлинная, горячая забота о ней становится часто привилегией людей неверующих и противников христианства. Как совершенно справедливо заметил Н. А. Бердяев, успех и притягательная сила идей атеистического социализма и его самой крайней формы — материалистического коммунизма — в первую очередь определен историческими грехами христианского мира, его равнодушием к социальной нужде<sup>2</sup>. И социалист, и коммунист пользуются этим положением, чтобы доказывать, что христианская проповедь смирения, терпения и равнодушия к земным благам служит только целью удержать бедных от их стремления к достойному человеческому существованию и охранять бесстыдный эгоизм имущих классов. И к стыду христианского мира приходится признать, что это утверждение содержит долю беспорной истины: люди, именующие себя христианами — служители церкви и миряне, — действительно часто кощунственно пользовались священными заветами христианской веры, чтобы охранять привилегии имущих и препятствовать улучшению быта нуждающихся.

Исходя из этих простых и общих положений, могло бы показаться, что «христианский социализм» в принципе вообще не есть проблема. И действительно, поскольку под социализмом мы будем понимать не что иное, как настроение действительной любви к ближним, серьезного чувства ответственности за их материальную судьбу, всякий христианин, поскольку он хочет быть истинным христианином, должен в этом смысле быть «социалистом». Христианин будет, конечно, воздерживаться от ненависти к богатым — в своем обличении их греха эгоизма он будет руководиться любовью к обличаемым грешникам; и он будет остерегаться пытаться достигнуть социальной справедливости через демагогическое разнуздывание эгоистических страстей

бедняков. Но он не останется равнодушным к самому факту социальной несправедливости, и он открыто признает грехом равнодушие и холодность имущих в отношении нужды их обездоленных ближних. Он прежде всего будет сам в своей личной жизни стремиться к добродетели подлинной, действительной любви — будет, в меру своих сил, пытаться осуществлять завет Христа: делиться последним, что имеешь, с нуждающимся братом. И он будет призывать имущих к покаянию, к действительной любви, к заботе о бедных. Смирение, скромность, воздержание от корыстолюбия он будет в первую очередь проповедовать богатым, а не бедным; он будет сознавать, что проповедовать эти добродетели бедным, не впадая в фарисейство, можно лишь после того, как обнаружишь действительное участие в их нужде и разделишь с ними то, что имеешь. Повторяем: в этом смысле совершенно очевидно, что всякий, кто подлинно обладает христианской совестью и хочет быть христианином, должен быть и «христианским социалистом».

Однако подлинная проблематика того, что в специфическом смысле называется «христианским социализмом», вышесказанным еще несколько не затронута и только здесь и начинается. Эта проблематика содержит два существенных момента.

1. Опыт жизни, «мудрость века сего», свидетельствует с бесспорной очевидностью, что личная благотворительность, индивидуальные усилия любви недостаточны, чтобы не только устранить, но и сколько-нибудь существенно смягчить социальную нужду широких масс. Люди самоотверженные, исполненные подлинной христианской любви, всегда составляют ничтожное меньшинство; приходится считать с фактом, что огромное большинство людей корыстны, эгоистичны, равнодушны к нуждам ближних. При этих условиях устранения или сколько-нибудь существенного смягчения социальной нужды можно ожидать только от социальных реформ, то есть от принудительного регулирования социальных отношений государственной властью (ограничение рабочего времени, устанавливаемый законом минимум заработной платы, принудительное страхование, законодательное нормирование жилищных условий, аграрное законодательство и т. п.). Спрашивается, как должен относиться христианин — именно в качестве христианина, то есть из глубины своей специфически христианской жизненной установки, — к идее социальных реформ? Этот вопрос сводится в конечном счете к вопросу: как должен христианин оценивать меры внешнего, организационного порядка, направленные на удовлетворение материальных нужд людей?

2. Тот же вопрос выступает с особенной резкостью и приобретает особую остроту, поскольку речь идет о христианском отношении к «социализму» в специфическом смысле этого слова. Как известно, социалистическое учение утверждает, что так называемый «буржуазный строй», то есть строй, основанный на частной собственности и принципиальной свободе труда и экономической жизни, неизбежно приводит к обогащению немногих за счет нужды и нищеты большинства; поэтому он должен быть заменен строем «социалистическим», при котором экономическая жизнь и распределение народного дохода регулировались бы, в интересах справедливости, государственной властью или вообще каким-либо планомерно действующим органом коллективной народной воли. (Мы сознательно даем наиболее широкое определение социализма, под которое могут подойти разные типы его конкретного осуществления.) Оставляя здесь в стороне чисто экономическую или социологическую, то есть вообще эмпирическую проблематику, иначе говоря, допуская без спора — для упрощения вопроса и уяснения его принципиальной стороны, — что в отношении справедливого распределения дохода и вообще материального благополучия народных масс социалистический строй имеет преимущество перед так называемым буржуазным, то есть строем, основанным на частной собственности и экономической свободе\*, — поставим вопрос: должен ли христианин в силу этого быть (по мотивам своего христианского сознания) сторонником социалистического строя, или же он имеет свои, христианские, возражения против него — или, наконец, он может или даже должен оставаться индифферентным в этом споре, не занимая в нем никакой позиции (что есть, кажется, наиболее распространенная установка)?

Несмотря на несомненную связь двух указанных вопросов, мы для ясности должны их расчленить и рассмотреть каждый из них в отдельности.

\* По существу, мы думаем, что опыт социалистического хозяйства (и в России, и в Германии) опровергает это утверждение и свидетельствует о прямо противоположном.

## II

Итак, спросим себя прежде всего: каково должно быть христианское отношение к «социальному вопросу», поскольку этот вопрос практически разрешается не в порядке христианской любви и индивидуального благотворения, а в порядке осуществляемых государственной властью принудительных социальных реформ? Должен ли христианин, именно в качестве христианина, быть социальным реформатором и в этом смысле «социалистом»? Или задача принудительного, государственного осуществления социальной справедливости вообще выходит, в качестве проблемы чисто земного, материального устройства жизни, за пределы специфически христианского интереса? Или здесь возможна еще какая-нибудь иная, третья, установка?

Одно кажется нам, прежде всего, совершенно бесспорным. Если христианская вера есть обладание полной правды, то христианская религиозная жизнь и религиозная установка не есть какая-нибудь частная ограниченная сфера жизни, чуждая всем остальным областям жизни и равнодушная к ним; напротив, она должна охватывать всю нравственную и, тем самым, социальную жизнь и иметь в отношении ее свою, специфически христианскую, установку. Этим сразу отвергается, с одной стороны, индифферентизм в отношении социального вопроса и, с другой стороны, все попытки просто механически сочетать с христианством какие-либо господствующие в нехристианской среде типические воззрения по этому вопросу. Что касается последнего момента, то христианин должен, конечно, смиренно учиться правде, даже если ее высказывает неверующий; и в этом смысле нужно считать с фактом, что инициатива забот о социальной справедливости и о разрешении социального вопроса принадлежала — и, пожалуй, доселе принадлежит — неверующим. Христианский мир должен честно признать этот устыжающий его факт, должен смиренно учиться у неверующих самой их заботе о социальной правде. Но, с другой стороны, не может быть и речи о том, чтобы механически покорно признавать правильными и усваивать сами ответы неверующих на этот вопрос. Ложная религиозная установка может, правда, сочетаться с высоким уровнем нравственных стремлений, но никак не может лежать в основе истинного жизнепонимания. Поэтому христианское отношение к социальному вопросу, христианское понимание путей его разрешения не может быть простой копией понимания нехристианского, а должно носить на себе явственный отпечаток основоположной религиозной сущности общей христианской установки.

В чем заключается существо этой христианской установки, ее принципиальное отличие от установки нехристианской? Нельзя, конечно, уложить смысл христианского сознания в какую-либо одну отвлеченную формулу; однако можно все же отвлеченно выразить наиболее существенный его признак. Он состоит в том, что христианскому жизнечувствию и жизнепониманию присуще сознание коренной, «нераздельной и неслиянной», до конца мира и его чаемого последнего преобразования не устранимой двойственности сфер бытия, в которой живет и к которой причастен христианин. В каких бы словах мы ни формулировали эту двойственность — как царство «небесное» и царство «земное», как внутреннюю жизнь с Богом или «во Христе» — и жизнь в «мире», как сферу «церкви» (в основном, мистическом смысле этого понятия) и сферу «мира», или как сферу «благодати» и сферу «закона», — самый факт этой двойственности и его существенный смысл непосредственно понятен и очевиден всякому сознанию, внутренне причастному христианскому откровению. Из этой двойственности совсем не вытекает, как это часто думают, совершенное равнодушие к «миру», полная замкнутость в одном лишь «небесном»: такая позиция означала бы, наоборот, отсутствие указанной основоположной для христианского сознания двойственности. Если христианин обязан стремиться к подавлению и угашению своих собственных эгоистических «мирских» интересов, то в своей христианской любви к ближним он, напротив, не имеет права не считаться и с их «мирской», «земной» нуждой. Но одно все же следует из этой своеобразной христианской установки — именно сознание, что земными нуждами во всяком случае не исчерпывается нужда человека, более того — что духовная жизнь и ее нужда обладают неким онтологическим приматом над жизнью земной и ее интересами.

Отсюда для нашей темы выделяются некоторые, весьма существенные выводы. Поскольку действенная любовь к ближнему требует — для своего подлинно плодотворного осуществления — своего выражения в «социальных реформах», то есть в форме установления некоего нового организационного порядка, — нет никакого основания, чтобы христианин относился принципиально отрицательно или даже только равнодушно

к такого рода мероприятиям; напротив, в принципе он должен будет сочувствовать всем мерам, содействующим установлению социальной справедливости. Однако при всем своем принципиальном сочувствии социальным реформам, поскольку последние выражают в сфере организованной коллективной воли заботу о судьбе ближних, христианин никогда не сможет считать такое организационное преобразование человеческих отношений единственным и даже только на более существенным путем к преодолению человеческих бедствий. Ибо он знает, что эти бедствия и общий трагизм человеческой жизни имеют более глубокий, внутренний духовный источник, не доступный никаким политическим мерам. С одной стороны, человеческая душа имеет, кроме материальных нужд, и нужды духовные, которые, конечно, никакими «социальными реформами» удовлетворить нельзя. Если бы было непростительным лицемерием и ханжеством отводить ссылкой на эту заботу о материальной нужде ближнего, если первый долг христианина в отношении голодного — накормить его, а не читать ему проповеди, то этим все же не устраняется истина «не о едином хлебе жив человек». И с другой стороны, сами «земные» материальные нужды человека определены не только тем или иным социально-политическим строем, а общей греховной, несовершенной природой человека. Христианин не может разделять мысль Руссо, что зло человеческой жизни определено неправильными общественными отношениями. Поэтому христианин никогда не может быть социальным утопистом. Он никогда не будет разделять веры, что какие-либо социальные реформы или перевороты смогут устранить все несправедливости, все зло, все бедствия человеческой жизни; он не может верить в осуществление какими бы то ни было внешними организационными мерами царства правды, мира и блаженства — «царства Божия на земле». Он знает, что и социальное зло, как всякое зло, в конечном счете определено греховной природой человека и поэтому не может быть окончательно устранено никакими внешними человеческими средствами. Он знает, что страдать от неправды, царящей в мире, есть — впрямь до чаемого преобразования и окончательного обожения мира — роковая, ничем не преодолимая судьба человека. Правда, это убеждение не должно служить — как это, к несчастью, часто бывало в истории христианства — поводом к равнодушию или пассивности в отношении социальной нужды людей и попыток смягчить ее социальными реформами. Но при всей своей воле действительно соучаствовать в попытках организационного улучшения положения людей христианин, по самому существу своей жизненной установки, не сможет видеть в социальных реформах ни панацеи от всех бедствий, ни единственной задачи своей жизни.

Сказанное выше может на первый взгляд показаться общим местом или соображением формального порядка, из которого нельзя сделать никаких конкретных выводов по существу интересующего нас вопроса. Однако это не так. Из сказанного следуют, напротив, весьма существенные конкретные выводы в отношении христианской установки в социальном вопросе. Христианин не только не будет сочувствовать учению материалистического социализма, основанному на вере в одни земные блага, на возбуждении классовой ненависти и разнуздывании инстинктов корысти и зависти в народных массах — что понятно само собой, — но он и не может быть ни революционером (в социальном и политическом смысле), ни вообще политическим или социальным фанатиком. С одной стороны, он отклонит, как губительное заблуждение, великий радикальный переворот в социальных отношениях, который всегда опирается на надежду сразу, единым взмахом избавить человечество от всех, или хотя бы от наиболее существенных, его бедствий. Так как он заранее знает, что все человеческие реформы суть паллиативы, что с устранением одних бедствий, особенно чувствительных в данный момент, обнаружатся другие бедствия, о которых люди сейчас не думают, — то он будет склонен отдавать предпочтение постепенным и частичным реформам перед всякого рода мнимоспасительными переворотами, связанными с великими потрясениями. Именно в силу своего религиозного радикализма, именно в силу своей надмирной позиции христианин будет в сфере социально-политических реформ умеренным и реалистом; в отношении всех мирских забот и планов он отдаст предпочтение «здоровому смыслу», основанной на жизненном опыте холодной мудрости перед всяким страстным энтузиазмом, рождающимся из слепой и ложной веры. И с другой стороны, имея опыт духовной основы всей человеческой жизни, он всегда будет сознавать, что даже самая разумная и целесообразная социальная реформа, то есть организационная перемена внешних условий жизни, может быть подлинно плодотворной лишь в связи с внутренним нравственным

и духовным улучшением самих людей. Он никогда не забудет, что единственное, чему можно приписать универсальное значение в человеческой жизни, есть забота о внутреннем духовном строе человеческой души. И в этом отношении он поэтому также отдаст предпочтение постепенным реформам, связанным с перевоспитанием человека, с улучшением внутренних навыков его жизни, перед всякими поспешными, внезапными и радикальными переменами.

### III

Эти предварительные соображения готовят нас к ответу на второй из поставленных выше вопросов: какова должна быть позиция христианина при выборе между господствующим «буржуазным» порядком, основанным на частной собственности и хозяйственной свободе, то есть на хозяйственном индивидуализме, и социалистическим порядком, в котором государство или общество с помощью правовых норм, принудительно противодействующих хозяйственному эгоизму, заботится о материальном благосостоянии трудящихся масс? Как уже указано выше, для упрощения вопроса мы оставляем в стороне всю чисто экономическую или социально-политическую проблематику и сосредоточиваемся исключительно на религиозно-нравственной стороне вопроса.

Социализм в своей критике существующего буржуазного порядка утверждает, что частная собственность и неограниченная хозяйственная свобода личности не только приводят к хозяйственному неравенству, к разделению общества на богатых и бедных, но вместе с тем предоставляют богатым, как хозяйственно наиболее сильным, свободу эксплуатировать бедных; таким образом, при буржуазном строе социальная несправедливость узаконяется самим правом, которое, по существу, должно было бы быть выражением начала справедливости. Если право цивилизованных народов не терпит того, чтобы физически сильный истязал, угнетал, поработал физически слабого, то не должен ли этот же принцип — ограничение свободы сильнейшего, где она ведет к злоупотреблениям, — применяться и в отношении хозяйственной и социальной жизни? Формально свободный (в демократиях) бедняк в силу своей хозяйственной зависимости от богатого становится фактически рабом последнего. Не требует ли долг элементарной справедливости, чтобы государство, отменив или по крайней мере существенно стеснив индивидуальную хозяйственную свободу, принудило богатых считаться с правомерными интересами бедных?

На первый взгляд могло бы показаться, что именно при полной искренности и последовательности христианского умонастроения здесь вообще нет места для сомнений. Порядок, основанный на правовом санкционировании корысти и эгоизма и приводящий к эксплуатации бедных богатыми, сам по себе не может вызывать сочувствия христианина. Это непосредственное нравственное чувство есть психологическое основание распространенного убеждения, что искренний и добросовестный христианин должен тем самым быть социалистом, принципиально сочувствовать социалистическим требованиям. И все же вопрос не так прост, как это кажется с первого взгляда; и именно здесь нас подстерегает тяжелое и роковое искушение, и притом порядка чисто религиозно-нравственного.

А именно, основная проблематика заключена здесь в вопросе: можно ли и дозволительно ли, с точки зрения христианского сознания, добиваться справедливого братского отношения к ближним с помощью принуждения? Может ли христианская заповедь любви к ближнему быть превращена в принудительную норму права? Ответ на этот вопрос, думается, совершенно очевиден: он состоит в том, что это и фактически невозможно, и морально и религиозно недопустимо. Это невозможно, потому что любовь к ближнему, как, впрочем, и всякое моральное умонастроение, не может быть вынужденна, а может только свободно истекать из глубин человеческого духа и его свободного богообщения. Но именно поэтому это и недопустимо, ибо, не достигая своей подлинной цели, всякая попытка такого рода приводила бы лишь к лицемерию, к невыносимой фальсификации подлинного христианско-этического умонастроения. Всякая попытка вынудить какую-нибудь христианскую добродетель (идет ли речь о физическом принуждении, как в норме права, или даже только о моральном принуждении) означала бы сама измену христианскому умонастроению — измену религии благодати и свободы — и впадение в фарисейство, в религию законничества и внешних дел. «Господь есть Дух; и где Дух Господен, там и свобода». Как бы часто, в самых многообразных направлениях, хри-

стианский мир ни погрешал против этой истины — она остается все же основоположной аксиомой христианского сознания.

С этой точки зрения столь, казалось бы, естественный, почти незаметный переход от истинного христианского умонастроения к этически-политической позиции «христианского социализма» (в специфическом смысле этого понятия, с которым мы имеем здесь дело) оказывается схождением с истинного пути — заблуждением, по существу совпадающим с искушением «Большого Инквизитора» у Достоевского. К самому существу христианской веры принадлежит, что христианин стоит перед тяжелой альтернативой: либо он остается со Христом, то есть с христианским идеалом жизни, основанным на свободной любви, — идя при этом на риск внешнего неуспеха своего дела, — либо же он поддается стремлению облегчить человеческие нужды с помощью земной, внешней силы принуждения — и тем самым фактически отрекается от истинного существа христианской жизненной установки, осуществимой лишь при полной внутренней свободе и отрешенности от мысли о внешнем успехе. Последний член этой альтернативы не перестает быть искушением, впадением в ересь оттого, что побуждением к нему служит благородный, морально правомерный мотив любви к людям. И положение тут таково, что чем отзывчивее человек на чужие страдания, чем более страстно он ищет правды в человеческих отношениях, тем легче ему впасть в это заблуждение. Ведь исходя именно из такого подлинного осуществления правды на земле, противники христианства вообще рассматривают христианскую веру как «религию постоянной неудачи»; они ссылаются при этом на исторический опыт, показывающий невозможность христианизировать мир, обратить его к правде на пути свободного следования заповеди Христа. Но именно поэтому мы стоим здесь на роковом распутии и должны сделать выбор между путем христианским и путем социалистическим.

Но что же это значит? Значит ли это, что христианин, признав ложным путь «социалистический», тем самым должен солидаризироваться с духом «буржуазного» строя, основанного, как мы видели, на корысти и эгоизме? И как согласовать вывод, к которому мы сейчас пришли, с высказанным выше утверждением, что христианин может и даже должен быть сторонником социальных реформ, которые ведь тоже суть принудительные меры к осуществлению социальной справедливости и к облегчению человеческой нужды? Не приводит ли конкретно намеченная нами мысль — вопреки всему, признанному нами выше, — к оправданию равнодушия христианина к социальной нужде, то есть к некоему очевидному, с христианской точки зрения, *reductio ad absurdum*?

Разрешение этого сомнения подводит нас наконец к усмотрению подлинного, «царственного» пути христианского сознания в проблематике социального вопроса.

Основоположная, сущностная установка христианского сознания, вытекающая из самого существа христианства как религии благодати, как жизни в Боге, есть установка свободы, свободной любви. Но из этого совсем не следует топорное, рационалистическое, «толстовское» утверждение, что всякое вообще принуждение и всякое вообще мероприятие внешнего, организационного порядка противоречит христианскому сознанию и недопустимо для христианина. Выше было указано, что из существа христианской жизненной установки вытекает двойственность между «жизнью в Боге» и принадлежностью к «миру». Именно эта двойственность определяет неизбежную двойственность путей христианского овладения жизнью. Признавая единственным путем спасения мира и человечества таинственную, незримую богочеловеческую активность, совершающуюся в глубинах человеческого духа и в стихии свободы и любви, — христианин одновременно сознает свою задачу — в пределах мира ограждать жизнь от сил зла и содействовать торжеству правды и добра. Эта последняя задача именно и есть внешняя, организационная задача, для которой неизбежно внешнее принуждение. С христианской точки зрения недопустимо не просто всякое принуждение как таковое (которое, напротив, при известных условиях, обязательно), — недопустимо только смешение организационной задачи — общее говоря, задачи внешнего противодействия злу и содействия добру — с существенным преображением жизни, осуществимым лишь через свободную любовь. Одно дело — спасение и внутреннее возрождение или просветление человеческой жизни, и совсем другое дело — принятие внешних мер к ее охране и к содействию росту ее внутренних сил. Сознание этого существенного различия дает нам возможность точного определения отношения христианина к «социализму», к «буржуазному строю» и к «социальной форме».



Прежде всего, само понятие «христианский социализм» — поскольку под социализмом разуместь не умонастроение, а некий общественный «строй» или «порядок» — содержит опасное смешение понятий и есть *contradictio in adjecto*\* уже в том общем смысле, в котором противоречиво понятие «христианского общественного строя». Сферой христианской жизни в непосредственном и подлинном смысле слова может быть только церковь в смысле свободного любовного единства людей во Христе, а не какой-либо государственный или общественный порядок. Если теперь, за пределами этого общего соображения, мы спросим, какой строй или порядок более соответствует — в плане правового порядка — христианскому идеалу, то ответ на это не представит затруднения. С точки зрения христианской веры и христианского жизнепонимания предпочтение имеет тот общественный строй или порядок, который в максимальной мере благоприятен развитию и укреплению свободного братско-любовного общения между людьми. Сколько бы это ни казалось парадоксальным, но таким строем оказывается не «социализм», а именно строй, основанный на хозяйственной свободе личности, на свободе индивидуального распоряжения имуществом. Ибо социалистический строй, лишаящий личность свободного распоряжения имуществом и принудительно осуществляющий социальную справедливость, тем самым лишает христианина возможности свободно осуществлять завет христианской любви (конечно, в той мере, в какой осуществление христианского завета вообще зависит от внешних условий). Социализм — не в какой-либо случайной, отдельной форме своего осуществления, а в самом своем существе и общем замысле — есть система жизни, отвергающая христианский идеал свободной братской любви (с ссылкой на его неосуществимость ввиду эгоистической природы человека) и заменяющая его государственно-правовым, то есть принудительным осуществлением социальной справедливости. Напротив, правовой строй, признающий свободу личного распоряжения в хозяйственной жизни, есть необходимое или, по меньшей мере, наиболее благоприятное условие для осуществления христианской любви вплоть до жертвования всем своим имуществом и свободно-любовной общности имущества. (На этом основана имущественная общность первохристианской общины, как это особенно отчетливо показано в Деяниях Апостолов, в истории Анании и Сапфиры<sup>3</sup>; и на этом же, по существу, основан монастырский уклад совместной жизни; совершенно очевидно, что здесь дело идет не о принудительном осуществлении социальной справедливости, а о добровольном решении людей, свободных распоряжаться своей собственностью, составить единую христианскую семью.) И можно сказать, что так называемый «буржуазный» строй таких стран, как, например, Франция и Англия, есть необходимое условие для существования «христианских социалистов», то есть людей, одушевленных любовью к нуждающимся ближним и жертвенно отдающим им свое имущество; тогда как в таких странах, как коммунистическая Россия или национал-социалистическая Германия, где социальная солидарность (в разных формах) предписана начальством и осуществляется принудительно, «христианский социализм» есть явление почти невысказанное.

В этой связи нам отчетливо уясняется принципиальное различие между социализмом (как правовым строем) и социальными реформами. Социализм есть, как указано, замысел принудительного осуществления правды и братства между людьми; в качестве такового он прямо противоречит христианскому сознанию свободного братства во Христе. Идея же социальных реформ или социального законодательства состоит в том, что государство ограничивает хозяйственную свободу там, где она приводит к недопустимой эксплуатации слабых сильными; государство с помощью принудительных мер защищает бедных, имущественно слабых, налагает запрет на известные действия или отношения, которые оно считает недопустимыми с точки зрения социальной справедливости; в остальном же оно не стесняет хозяйственной свободы граждан. Последняя установка, конечно, и с христианской точки зрения есть единственно правильная. Поясним это соотношение простой аналогией. Существование полиции и суда, ограждающих членов общества от преступных и неправомерных действий отдельных людей, конечно, необходимо и вполне правомерно — суждение христианина в этом отношении не будет отличаться от суждения всякого здравомыслящего человека («начальник, носящий меч, есть Божий слуга, отмститель в наказание делающему зло», Римл. 13, 4<sup>4</sup>). Но совсем другое дело —

\* Противоречие в определении (лат.).

заранее признав всех людей преступными и злыми, запереть их всех в тюрьму или сделать рабами, чтобы иметь возможность принудительно опекать их и заставлять их вести себя справедливо.

Рискуя тем, что христианскому умонастроению будет сделан упрек в лицемерии и в равнодушии к материальной нужде людей, нужно решительно настаивать на том, что с христианской точки зрения свобода как условие духовной жизни, — а тем самым и хозяйственная свобода — ценнее всякого материального благополучия. Джон Ст. Милль, когда-то — вопреки утилитаризму — формулировал положение: «недовольный Сократ лучше довольной свиньи» Это есть единственно правильная христианская точка зрения. Сытым рабам (повторяем: даже если бы таковые были возможны, то есть если бы порабощение не приводило, как показывает опыт, и к обнищанию) надо безусловно предпочесть свободных людей, даже сознавая, что свобода связана с материальной необеспеченностью, с опасностью хозяйственной нужды. Только поскольку хозяйственная свобода сама вырождается в порабощение человека и тем затрудняет и его духовную жизнь, право должно принудительно полагать ей, в социальном законодательстве, предел.

Но в этом принципиальном предпочтении добровольности принуждению не возвращаемся ли мы к позиции, уже опровергнутой опытом экономической истории? Не противоречим ли мы нашему собственному признанию, что ввиду корыстности и эгоистичности большинства людей свобода приводит к эксплуатации экономически слабых экономически сильными? Для христианского сознания есть только один выход из этой трудности, но выход совершенно очевидный и возвращающий нас — после всего этого ориентирования в производном слое христианской жизни — к центральной христианской жизненной установке. Христианская вера есть ведь по самому существу нечто парадоксальное, то есть противоречащее жизненному «опыту», «мудрости века сего». Так и в рассматриваемом вопросе Перед лицом трагической социальной судьбы человечества, сознавая свою христианскую ответственность за нее, надо, вопреки всякому опыту, верить во всепобеждающую силу жертвенной братской любви к людям и проповеди этой любви. Если вере дано двигать горами, то она во всяком случае способна побеждать зло и неправду в жизни людей. Основная христианская позиция в социальном вопросе есть крестовый поход любви для овладения миром. Никто не в состоянии установить заранее незыблемые границы для плодотворного действия одушевленных верой и любовью подвигов братолюбия — индивидуальных и коллективных (вспомним, например, влияние некоторых католических орденов в эпоху их расцвета). Социальные реформы, законодательное ограждение интересов бедных и угнетенных есть дело нужное, разумное, праведное и с христианской точки зрения. Но основное христианское решение социального вопроса есть — вопреки всем усмешкам скептиков, неверующих, мудрецов века сего — вольная, жертвенная любовь к ближним, вдохновленная верой во Христа и Его Правду — исповедание не на словах, а на деле, всемогущества Бога любви.

Впервые — в редактируемом Н. А. Бердяевым религиозно-философском журнале «Путь» (Париж), 1939, № 60.

В той же книге журнала опубликована полемическая статья Бердяева «Христианская совесть и социальный строй (Ответ С. Л. Франку)» Автор оспаривает главную мысль Франка, предлагая «трудовую собственность» вместо «капитализированной».

<sup>1</sup> Энциклика папы Льва XIII «*Recurramus ad deum*» («О новом порядке»), появившаяся в 1891 году, считается главным документом Ватикана в сфере социальной политики. В ней осуждается социализм как «ложное лекарство», но одновременно совершается поворот католической церкви к рабочему вопросу. Энциклика папы Пия XI «*Quadragesimo anno*» («В сороковую годовщину») появилась в 1931 году в ознаменование сорокалетнего юбилея предыдущего послания Подтверждая идеи последнего, особо подчеркивает положительную роль частной собственности

<sup>2</sup> Излюбленная мысль Н. А. Бердяева, неоднократно повторенная во многих работах, в частности, отчетливо выражена в статье «Христианство и социализм»: «Социализм есть знак того, что христианство не осуществило своей задачи в мире» (в кн.: «Сборник статей, посвященных Петру Бернгардовичу Струве». Прага, 1925, стр. 352).

<sup>3</sup> См. Деяния, 5, 1—10.

<sup>4</sup> Франк цитирует неточно.

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА

\*

## СКВОЗЬ ЗВЕЗДЫ К ТЕРНИЯМ

*Смена литературных циклов*

1

... **С** начала — говор, разговоры, обычный московский слухок: «В «Новом мире» в ноябрьском номере будет...» — «Да кто хоть он, кто?» — «Не знаю, не знаю, сам первый раз слышу! Слаженицын, Лаженицын...» — «Да кто все-таки, откуда?» — «Просто учитель математики из Рязани».

Произошло торжественно — российские интеллигенты еще не утратили взгляда на вещи, свойственного тем, кому они были наследниками, еще радовались тому, что нечто новое и значительное объявилось не здесь, под рукой, а в глубинке, в демократических, неброских одеждах.

И вот открылась страница журнала — и цепко, железными пальцами ээка схватил за плечо неведомый прежде автор и не выпустил уж из рук до последних освобождающих — завершением вдоха и выдоха правды — строк («Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...»).

Так и просидели мы все не шевелясь, пока не дочитали. Разве не так — подтвердите, соотечественники, первые читатели..

Новизна проступала в первом уже абзаце настораживающими реалиями: «В пять часов утра, как всегда, пробило подъяём — молотком об рельс у штабного барака\*». Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стёкла, намёрзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать». С первой фразы глаз и внутренний слух читателя привычно искали того, кто рассказывает. Еще не виден был герой, выставленный в заглавие. Опыт отечественного читателя легко подставлял прочно сложившееся за несколько десятилетий представление о всеведущем и всенаблюдающем «авторе» — он и держал, как правило, в руках повествование. Но что-то мешало ступить на этот изъезженный путь — заодно с такого рода автором, его глазами глядя. Личное восприятие старожителя еще неведомых нам мест проступило в словах «как всегда». Кто-то вводил свое, отличное от безликого «автора» время, кто-то имел здесь опыт наблюдения, достаточный для такого обобщения.

Кто же повествовал? Повествующий не был, во всяком случае, целиком отделен от автора — как в сказе, приближающемся к устной речи нелитератора; некоторая утонченность слога («Перерывистый звон слабо прошёл сквозь стёкла...») подтверждала интеллигентность, профессиональность повествователя.

Во втором абзаце появлялся герой в не очень удобном каком-то виде — «когда Шухов вставал к параше...». К тому времени многие уже перечитали или прочитали впервые «Зависть» Ю. Олеси и могли вспомнить эпатирующую первую фразу: «Он поет по утрам в клозете». Но тут был явно другой какой-то клозет.

«Звон утих, а за окном всё так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три жёлтых фонаря: два — на зоне, один — внутри лагеря».

Наращивалась лексика, определявшая для читателя место действия, к бараку и надзирателю добавлялись параша, зона, лагерь. Читательский опыт подталкивал в хорошо известную по отечественной беллетристике сторону, маячил сте-

\* Разрядка в цитатах моя. — М. Ч.

реотип — советский человек в немецком концлагере. Но непосредственное, нерациональное восприятие уже металось, ощущая томящее несоответствие стереотипу своей, со школьной скамьи привычной беллетристики, где параше, во всяком случае, места не находилось. Это томление не в последнюю очередь было связано с тревожными знаками длительности существования того жизненного уклада, который с такой стремительностью и обстоятельностью (в сочетании которых и была, среди прочего, литературная мощь) разворачивалась перед читателем — «как всегда», «никогда не просыпал» и снова «всегда»... Этот уклад был не только до странности длителен, но и до странности протяженен. «За окном... была тьма и тьма» — за этой тьмой вставало какое-то уж слишком большое и пустынное, незаселенное, какое-то не европейское по размаху пространство. И основательность, фактурность деталей — та самая бочка параша, которую дневальные должны были брать неведомым читателю образом на палки, — порождала предствление об особенном и цельном мире, давно и прочно устроенном.

К этому моменту в повествовании мелькнуло уже несколько слов-сигналов — «неохота была», «не слышать было», союз «да», редкий для нормированной литературной речи. Включенные без авторской оговорки, они придали повествованию едва заметную развальцу некижности.

Герой при первом своем появлении не перенимал рассказ из рук автора — скорее уж оказывался в ряду всего описываемого, но это описываемое стало теперь изнутри освещаться его присутствием, его, героя, взглядом на вещи. Со второго упоминания имени — «Шухов никогда не просыпал подъяма, всегда вставал по нему...» — герой утверждался в центре рассказа. По ходу длинной фразы (оборванной нами в самом ее начале) совершалась окончательная перестройка читательского зрения. Разом опадал «ветхий грим» всего фасада отечественной литературы с ее сюжетно-тематическим каркасом и стилиевой обличовкой. Медленно, как хорошо закатанный в брезент труп, случайно подцепленный тросом судна и теперь неминуемо должный погубить судьбу героя фильма, всплывал со dna социума на свет литературы тщательно затопленный, никому доселе не видимый мир со своими законами морали и быта, со своим детально разработанным регламентом поведения, — регламентом, по которому можно и нужно «богату бригадиру подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться вокруг кучи, не выбирать», но нельзя ни в коем случае «миски лизать». Оглушенный размахом этого неведомого до сих пор литературе мира, чья давность существования, повторим, удостоверялась словами «никогда», «всегда» и апелляцией к старожилам («... кто знает лагерную жизнь...»), читатель как последний и все объясняющий удар встречал упоминание о лагерном волке, который «сидел к девяносто сорок третьему году уже двенадцать лет...», и о пополнении, привезенном с фронта. Перед нами разворачивался мир наоборот, где не на фронт, а с фронта привозят пополнение.

Но мы уже были подчинены каждой фразе непредсказуемого, напряженного повествования.

Событием был сам язык; в него окунались с головой, дочитывали фразу — и нередко возвращались к ее началу. Это был тот самый великий и могучий, и притом свободный, язык, с детства внятный, а позже все более и более вытесняемый речезаменителями учебников, газет, докладов, воляпоком учрежденческих кабинетов и коридоров, жаргоном полунинтеллигентных посиделок. Русский язык с силой забил, как ключ, с первых строк — играя и почти физически ощутимо утоляя жажду.

И герой уже с четвертого-пятого абзаца вроде бы прибирал повествование к рукам: «Только береженье их — на чужой крови... отходил маленько... где тут угрешься... поди вынеси, не пролья!.. всё тело размывает... народу помёнено... спокойней...»

И именно после этого сочинения — как отпустило — многие потянулись к народной речи, понесли ее в литературу. Но мало кому удалось пройти по этому пути не споткнувшись.

Новый литературный герой — очень редкая в литературе, с большими интервалами в ней появляющаяся находка — вставал, вырастая перед нами от абзаца к абзацу, от страницы к странице, будто поднимаясь с земли во весь рост. Это не просто был новый герой, но тот самый, из народа, которого отечественная литература все тщилась изобразить с первых послереволюционных лет, которого одни стремились вылепить сами, а других все больше гнали к его изображению тычками до тех пор, пока этот герой к 30-м годам не превратился в совершеннейшую абстракцию, и уже сама критика, продолжавшая его надсадно требовать, ужаснулась бы, если б кто и правда попробовал изобразить реального мужика — крестьянина. Где бы нашел он его? В ра-

зоренной деревне, только в книжках управляемой Давыдовыми, а в реальности — людьми пострашнее? В сибирской ссылке? Когда на излете уже послевоенных лет В. Померанцев, взыскуя искренности, показал свою «бой-бабу» (так называлась главка о предприимчивой современнице в его очерке «Об искренности в литературе») — какой же страшный бой повели с ним, ужаснувшись реальности, просунувшейся в литературу, давно и организованно от нее избавившуюся.

...Да, это был тот самый герой из народа, которого сначала рисовали себе в облике пролетария, а потом плавно перешли в своих рассуждениях и к крестьянину (всегда более неудобной, некомпактной фигуре для литераторов «пролетарского государства»), между тем как Андрей Платонов неутомимо изображал и того и другого, и рукописи его романов одна за другой погружались на дно литературного потока, и он со своей неподражаемой душевной грацией, с какой-то «божественной стыдливостью страдания» все извнялся перед Горьким за то, что пишет так, а не эдак и беспокоит людей.

Никто не хотел узнавать черты нового героя и в зоценковском «полупролетарии». А Зоценко первым в нашей литературе реализовал, решил им же самим себе поставленную задачу — и это понял и оценил Мандельштам. Как бы желая оборвать читательский смех, заглушающий возможность серьезного обсуждения этой задачи, он с вызовом прошел прямо к сердцевине замысла, будто и не заметив пародийного построения. «У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зоценки. Единственного человека, который нам показал трудящегося, мы втоптали в грязь. Я требую памятников для Зоценки по всем городам и местечкам или, по крайней мере, как для дедушки Крылова, в Летнем саду» («Четвертая проза»). Это писано на рубеже 30-х годов — и уже тогда совершенно очевидна неузнанность нового героя: к концу 30-х годов и долгие годы позже о нем тем более не могло быть и речи.

Попытка взглянуть в лицо человеку, представляющему судьбу миллионов, была сделана в начале 1962 года — в рассказах В. Аксенова:

«Кирпиченко подошел и оттер капиталиста плечом. Тот удивился и сказал: «Ай эм сори», что, конечно, означало: «Смотри, нарвешься, паренек».

— Спокойно,— сказал Кирпиченко.— Мир — дружба.

Он знал политику» («На полпути к луне»).

«Кирпиченко знает, как обходиться с «капиталистами»,— отмечали мы с соавтором в статье, писавшейся в том же 1962 году, на исходе которого и должна была появиться повесть А. Солженицына.— Не думайте, что он питает какую-нибудь особенную злобу ко всей «загранице». Он не так прост. Есть у него любимая пластинка, где три французских парня поют на разные голоса «о том, что они прошли весь белый свет и видели такое, чего тебе и не увидеть никогда». И если всякий иностранец для него «капиталист», то это просто потому, что множество понятий и слов живет в его сознании, так сказать, в эмбриональном виде, сохранившись в неприкосновенности с первых школьных лет, а может, и еще раньше — с тех самых времен, с которых, наверно, застряла в памяти Кирпиченко строчка Корнея Чуковского: «Неужели в самом деле?»

...Да и сам «капиталист», нахально болтающий по-английски («Знаем мы эти разговорчики»), чем-то напоминает нам «мистера Твистера, миллионера», который великолепной своей почти плакатной четкостью так легко укладывался когда-то в детское сознание.

Конечно, тогда, в детстве, все эти понятия, все эти слова звучали, жили; теперь Кирпиченко произносит их без особых эмоций, как какое-нибудь крепкое словцо. Есть в его памяти еще строчки о «бананово-лимонном Сингапуре» — сигналы неизвестного ему мира. «Кирпиченко очень любил такие песни».

Груз элементарных понятий за долгие годы слежался в его сознании. Надо бы перетряхнуть, посмотреть — что оставить, что выбросить. Но было ли время и необходимость думать об этом? «Что он делал: тянул прицепы на перевал, а потом вниз на всех тормозах, пил спирт, смотрел кино, летом ездил на танцы в рыбкоомбинат. Жил он в общежитии. Всегда он жил в общежитиях, казармах, бараках. Койки, койки, простые и двухэтажные, нары, рундуки...»

При всей внешней раскованности и независимости поведения и мысли на самом деле Кирпиченко скован, «запеленат» условиями всей своей предшествующей жизни, ограничен в своих связях с миром.

В Валерии Кирпиченко мы угадываем черты нового литературного героя. В сущности, в этом рассказе Аксенова, как и в рассказе «Папа, сложи!», видны поиски какого-то в определенном слое бытующего типа с его «средней» психологией (задача, кото-

рую уже когда-то ставил перед собою Зощенко — и тоже стремился к описанию этого персонажа в категориях его собственной мысли и языка)»<sup>1</sup>.

Позволяю себе привести такую большую цитату из нашей давней статьи еще и для того, чтобы сказать, какую бурю вызвали в тогдашней — несомненно самой прогрессивной — редколлегии слова о «новом литературном герое! Ни А. Г. Дементьев, ни А. И. Кондратович (разговор с ним на самых высоких тонах шел около часа) ни за что не хотели признать, что этот охламон Валерий Кирпиченко — новый литературный герой. Литература приучила за протекшие десятилетия к героическим представлениям о литературных героях.

...Но где же был этот герой из народа, которого наша литература так долго искала и уже давно бросила искать? Где нашел его неведомый нам писатель и предъявил в ноябре 1962 года?

Перед нами был наш собственный, советский концлагерь. Нет, это была не тема — закрытая ли, открытая ли, открываемая, — это был иной мир, это была переломка и самого поля литературного произведения, и нашего взгляда.

То, что звучало в отчаянном возгласе человека, извлеченного прохожим из топочей грязи (когда появился этот анекдот? в 60-е или позже?) — «Живу я здесь, живу!», — предстало воочию как реально, давно существующий, прочно устроенный мир с огромным количеством давно и умело обживших его обитателей. Забытое литературой за три с лишним десятилетия человеческое естество — жизнь человеческая в ее отмеренной протяженности, не на гигантские стройки с теряющимися в небесах вершинами рассчитанная, — забрезжило, на глазах уплотняясь. Сидел Шухов, ел горячую вечернюю бандаду. «Вот он, миг короткий, для которого и живёт ээк!»

Знакомое понаслышке, только по устным рассказам переживших или знавших — предстало вдруг в кованных формах подлинной литературы. Мир живой народной жизни, который будто бы и старались все пишущие воплотить, споря до хрипоты то о месте в романе производственных проблем, то (уже в конце 50-х) о месте в нем же проблемы отцов и детей, — этот вот самый мир раскинулся перед нами во всю ширь на страницах повести (автор называл ее впоследствии рассказом). В нем, этом мире, тоже шла производственная деятельность и подрастала рядом с отцами да и дедами, только чужими, молодежь, и старшие вдумчиво относились к ее будущему: «Из Гопчика правильный будет лагерник. Ещё года три подучится, подрастёт — меньше как хлебобрезом ему судьбы не прочтат».

«Окошек всего пять: три раздаточных общих, одно для тех, кто по списку кормится (больных язвенных человек десять, да по блату бухгалтерия вся), ещё одно — для возврата посуды (у того окна дерутся, кто миски лижет). Окошки невысоко — чуть выше пояса. Через них поваров самих не видно, а только руки их видно и черпаки.

Руки у повара белые, коленные, а волосатые, здоровы́. Чистый боксёр, а не повар».

Что-то напоминал, однако, этот язык, хотя и совершенно самостоятельный, чистым и новым голосом звучащий. Он ложился в русло какой-то традиции, особенно в тех местах, где на время становился как бы речью самого Шухова, только идеальной его речью, какую стал бы он говорить, если бы освободил себя от всего мешающего высказаться самой своей сути. Вспоминался «Кавказский пленник» Толстого, а потом уже что-то более близкое к нашим дням и тоже, как и рассказ Толстого, читанное в детстве. Не Житков ли, один из лучших наших по своим возможностям писателей? Не детская ли его энциклопедия «Что я видел»?

## 2

Чтобы сравнение это не показалось читателям игрой в парадоксы, вернемся от 1962 года на четверть века назад.

В 1938 году пишет Борис Житков мастерский рассказ «История корабля». Он описывает, как в далекие времена «ведет кормчий хозяйское судно. Хитро ведет. Он знает, когда бывает под берегом и где, когда скорей найдешь ветер в море. В надежных гаванях, на тяжелых якорях он отстаивается, выжидает, пока продуют противные ветры. Он жалеет силы гребцов: они понадобятся, чтобы из штилевой полосы добраться к ветру или чтобы подгрестись к берегу, когда с гор начинает задуть штормовой ветер».

Нельзя идти против сильного ветра. Когда именно стало ясно это такому литерато-

<sup>1</sup> М. Чуданова, А. Чудаков, «Искусство целого (Заметки о современном рассказе)» («Новый мир», 1963, № 2, стр. 249).

ру, как Борис Житков? Когда этот ветер был осознан им как дующий против? Не сразу, во всяком случае. Семья с прочными революционными традициями дала ему закалку надолго. Рассказы о первой русской революции писались истово, «от души». Но все же к концу 30-х годов эти поиски подветренной стороны у него, как и у десятков собратьев по цеху, уже вполне осознанны.

Когда Шкловский еще в середине 20-х годов убеждал литературную молодежь иметь вторую профессию — он, может быть, скорее своей острейшей социолитературной интуицией, чем аналитически, предвидел ту ситуацию, когда эта профессия понадобится.

Когда С. Маршак собирал людей, у которых вторая профессия была пока еще первой, и уговаривал их рассказать о своей профессии в книжке для детей (то есть овладеть профессией писателя, но писателя детского) — он понимал, я думаю, что именно он делает, и понимал в какой-то степени почему. Он готовил оптимальные условия для процесса, который уже шел сам собой — помимо его воли — как результат искривления неких направлений литературной эволюции под социальным прессом.

Первые пореволюционные годы застали отечественную литературу в состоянии довольно динамичном. С начала века стронулись с привычных мест, подвергнуты были сомнению те ценности, которые лежали в основе творчества, воздействовали на взаимоотношения автора с героями.

Литература 20-х годов интенсивно перетряхивала репертуар этих тем и ценностей, и постепенно на сите оставалось все меньше и меньше.

Литература предвоенного десятилетия с каждым месяцем, а вскоре в буквальном смысле с каждым днем, с каждой новой газетной статьей все сильнее зависела от диктата внешних обстоятельств. Зависимость эта проявлялась двояко: те, кто продолжал органический путь, переходили поневоле в рукописность, а те кто старался, не теряя себя, остаться на поверхности литературного процесса, не выпасть из него, изыскивали средства спасения. Нет ничего проще чем представить литературу 30-х годов расплюсченной под молотом терроризирующей страны власти. Но это будет неверно. В литературе явно сохранялась жизнь, хотя и загнанная и метавшаяся в поисках спасения.

К середине 30-х годов условия существования печатной литературы определились отчетливо.

Во-первых, был исключен весь слой интеллектуальной рефлексии: судьба страны — прошлое, настоящее и будущее; философия истории; судьба человека — ее простые и не имевшим альтернатив эталоном стала жертвенность во имя будущего, демонстрируемая на примерах начиная с далеких исторических эпох и кончая гражданской войной, сделавшейся как бы постоянным местом действия текущих сочинений. Современность же все более предстала как достижение полноты бытия, самодостаточность.

Совершившийся разрыв между прозой двух первых десятилетий века (отзвуки которой ощущались до конца 20-х годов) и «горизонтом ожиданий» читателя середины 30-х зафиксирован в предисловии К. Зелинского к посмертному изданию романа А. Белого «Петербург» (М. 1935):

«Есть книги, запечатлевшие в себе такой строй мыслей, что нужно сделать над собой немалое усилие, чтобы проникнуть в них. Книга Андрея Белого из таких книг. Открывая их, вступаешь сразу в мир, где все живое погружено в фосфорический сумрак. Представляется мне наш новый советский читатель погружающимся в эту многозначную туманность. Беспокойство охватит читателя. Захочется ему назад, в ясный день, где все понятно и ощутимо. Труден переход от нашего умственного строя, четкого и дисциплинированного, от наших промфинпланов, пятилетки, физкультурников, лабораторий, наших съездов, наших газет — сразу в сумерки «Петербурга». Что-то совсем далекое надвинется оттуда на нас.

Надвинется недавняя в сущности полоса русской жизни — не прошло еще и трети века, а кажется, что время это ушло в глубину веков вместе с николаевской Россией, — надвинется полоса тревог, напряжений, кризисов, ожидающих зрелищ событий».

Перед нами — набор того, чего не может быть в современной литературе.

Во-вторых, был обусловлен определенный набор сюжетных ситуаций и нововведения исключались. Так, из литературного обихода исчезло все, что получило название «натурализм», — описание жестоких убийств, подробное описание болезней. Мил-

лионы кошмарных смертей от голода и пыток в реальности — и одновременно нарастание «очищенного» от натуральных подробностей способа описания с постепенным завоеванием им всего пространства литературной жизни. К этому же влекли и некоторые черты общественного быта, отражавшиеся в печати, — возродилась и усилилась с 1933 года медицинская демагогия о победе над смертью: хлопотали о приживлении отрезанных голов (опыты С. Брюхоненко на собаках) в годы ежедневного умерщвления тысяч людей.

Были исключены и языковые новации — каждому автору предстояло войти в тотое языковое русло. Ясность синтаксиса, скромность словаря становились одним из условий. Приобретал универсальный характер лозунг доступности литературы, в 20-е годы, несомненно, имевший альтернативный характер.

Реальность повседневной жизни — с ее тяжелым бытом и прочим — растворялась, выводилась из наблюдения. Начались поиски возможности писать вне конкретного материала текущей жизни, вне реальной современности. Открылось два таких пути — историческая проза и литература для детей. Заметим, что исторические книжки для детей, совмещавшие оба выхода, быстро стали излюбленным и плодотворным жанром: в них к тому же выступали уж совсем не профессиональные писатели, а ученые, такие, скажем, как С. Я. Лурье. Приток этих новых авторов быстро заполнял пустоты, образуемые в теле собственно литературы, — в обществе еще немало было интеллектуального и творческого потенциала.

В 60-е годы, пытаясь осмыслить литературный процесс 30-х, я нашла, как мне казалось, ключ к этому явлению — или, по крайней мере, один из ключей — в статье Д. С. Лихачева об этикете в древнерусской литературе. Часто повторяющиеся в произведениях одни и те же словесные формулы связаны, показывал исследователь, не с канонами определенного жанра, как можно было бы предположить, а с самим описываемым предметом: «„Именно предмет, о котором идет речь, является как бы сигналом для несложного подбора трафаретных формул“. Так, в каком бы жанре ни встретилось нам описание жизни братьев-мучеников Бориса и Глеба, „автор стремится заставить их вести себя так, как надлежит вести себя святым“». Определенные ситуации также принято было описывать определенным и никаким иным образом: «Из произведения в произведение переносилось в первую очередь то, что имело отношение к этикету: речи, которые должны были бы произнесть в данной ситуации, поступки, которые должны были бы быть совершены действующими лицами при данных обстоятельствах, приличествующая случаю авторская интерпретация происходящего и т. д.».

Я стремилась показать, как усилия многих незаурядных литераторов 30-х годов были направлены на то, чтобы их описания не разошлись с современными им, уже закрепившимися (не без их помощи) представлениями «о приличествующем и должном» (Д. С. Лихачев) <sup>2</sup>.

Катерина Кларк в своей в значительной степени пионерской работе «Советский роман: история как ритуал», говоря о генезисе и структуре советского романа, пишет, что «процедура создания романа вскоре стала напоминать средневековую процедуру писания икон. Советский романист должен был копировать не только отдельные... характеры и отношения между ними, но и должен был организовать замысел романа в соответствии с образцом. Фактически с 30-х годов большинство романов было написано по одному главному клише, синтезирующему замыслы нескольких официально признанных моделей (прежде всего «Матери» и «Цемент»)» <sup>3</sup>.

Не зная, к сожалению, до прошлого года книгу К. Кларк, я в своей статье «Без гнева и пристрастия» тоже писала о стремлении «к созданию образца, некоего «отправного» для новой литературы произведения, которое было, возможно, определяющим в работе Д. Фурманова над романом «Чапаев» (1923), А. Серафимовича над романом «Железный поток» (1924) и в наибольшей мере А. Фадеева над «Разгромом» (1927)» («Новый мир», 1988, № 9, стр. 241).

Ориентация на текст-образец, полное вымывание к началу 30-х годов большого списка тем (глубокие душевные травмы и кризисы, психическое неравновесие героя

<sup>2</sup> Цит. по кн.: М. Чудакова. Эффенди Капиев М 1970, стр. 173—174. Там же отразились попытки анализа «этикета» 30-х годов, предпринятые в 1984 году в моей первой диссертации.

<sup>3</sup> K. Clark. Soviet novel: History as ritual. Chicago—London. 1981, p. 4—5.



и т. п.) и подходов, даже эмоций, которые могли бы окрашивать произведения (невозможна была окраска глубокопессимистическая)<sup>4</sup>,— это придавало текущей литературной продукции все более и более детские черты: она становилась рассчитанной скорее на детей, на обучаемых, чем на взрослых читателей.

Размывалась реальная современность (или современная реальность) как объект художественного рассматривания — ее заменяла своего рода новая сказка. И это опять-таки предполагало инфантилизацию читателя.

К этому же подталкивала и все более громко провозглашаемая, как уже говорилось, и все шире реализуемая идея «понятности». Время эксперимента кончилось, каждый входящий в литературу должен был обучиться общему для всех, сложившемуся к концу 20-х, но только в 30-е ставшему универсальным художественному языку. Система литературной учебы, вполне установившаяся к середине 30-х годов, этим обучением и была главным образом занята.

Тогда становится понятным существенный историко-литературный смысл явления, которое многие годы описывалось в сентиментальных тонах (сантимент сохранялся и у прогрессивных, несомненно, оппонировавших официозу авторов) как расцвет детской литературы в советское время. При этом до сих пор оставался в тени тот немаловажный факт, что расцвет этот пришелся на вторую половину 30-х годов.

Становится понятно, что живые силы литературы естественным образом (в неестественной ситуации не прекращающегося социального давления) устремились в ту сторону, где редуция тем и упрощение языка, возникая перед пишущим в качестве предпосылки, могли быть, во всяком случае, мотивированы жанрово — в сторону литературы собственно детской, то есть детям адресованной. Этот жанр, освобождая от регламента, разработанного для большой формы — для «взрослого» романа, — давал возможность сравнительно свободного движения героя в литературном пространстве. Можно (и нужно) было писать о пионерах, о Павлике Морозове, но можно было и не писать — вот что не всегда видно сегодняшнему наблюдателю. Была известная свобода формирования этого жанра — все внимание официальной критики было направлено в сторону «большой литературы». Лучшие силы печатной (подчеркиваем это слово) литературы двигались сюда, надеясь говорить здесь о том, о чем невозможно было и думать сказать в романе. «Два капитана» В. Каверина, оставшиеся едва ли не лучшим его сочинением, — замечательное свидетельство удачи, которая могла ожидать писателя на этом пути.

Не сразу, но, во всяком случае, уже с конца 20-х годов этот нарождающийся жанр помогал восполнить существенную лакуну «большой» литературы — в нем можно было рискнуть обратиться к собственному дореволюционному «непролетарскому» детству (закрытому в качестве темы «взрослой» литературы). Конечно, свой регламент был и здесь — необходимо было детство трудное, конфликтное по отношению к строю и имущему сословию, то есть порой даже к собственным родителям, но зато внутри этой рамки можно было воссоздавать фактуру, остающуюся за пределами других жанров и питательную для читателя. Классическим примером здесь может служить сохранившаяся до сей поры в благодарной памяти читателей и недавно переизданная «Повесть о рыжей девочке» Будогоской (1929), где девочка (характерно имя героини — Ева Кюн: иностранная фамилия, как уже приходилось говорить, была более проходимой) убегает от деспота отца и последней фразой повести становится торжественное и торжествующее сообщение бабушки: «Пришло ему возмездие... Убили его...»

Это постепенное открытие темы «барского» детства и отрочества — того, что М. Булгаков еще в 1924—1925 годах бесстрашно вписал во «взрослый» роман, — к середине 30-х годов, времени постановлений о преподавании в школе отечественной

<sup>4</sup> К. Кларк верно обращает внимание на то, что с 30-х годов роман должен был строиться и методом суммирования и методом исключения: «Советский роман должен был быть своего рода эклектической суммой (курсив здесь и далее автора. — М. Ч.) всех великих литератур», а в то же время из этой суммы исключались «формализм» (от пародии до самоосознания), «пессимистическая» литература, литература, основанная на религиозных ценностях, и т. д. (указанное сочинение, стр. 36). Опираясь на теорию и терминологию М. Элиаде (см.: М. Элиаде. Космос и история. М 1987), К. Кларк так описывает ситуацию 30-х годов: «Октябрьская революция, гражданская война и поворотные моменты биографии Сталина становятся канонизированным Великим Временем. В то же время будущее, как оно представляется в официальной истории, — несет функцию другого Великого Времени, когда жизнь будет качественно отличаться от повседневной реальности» (указанное сочинение, стр. 40—41).

истории и о русских классиках, обозначилось ясно. Одновременно навис шлагбаум над дорогой к «большой» и «взрослой» форме. Валентин Катаев со своим неподражаемым ощущением социальных условий, хода времени — в узком и прагматическом смысле слова —отреагировал на то и на другое едва ли не первым. Он понял, что надо менять регистр, если хочешь остаться в литературе, если не хочешь, чтобы время вынесло тебя из нее в перед ногами, если позволителен такой грубый каламбур. В мае 1936 года в журнале «Красная новь» уже печатается его повесть «Белеет парус одинокий» — несомненно, одно из лучших сочинений этих лет.

Жанр позволял избежать грубой деформации «образа автора», производившейся в широком масштабе,— исчезало «первое лицо» повествователя («Записки покойника» Булгакова, писавшиеся в 1936—1937 годах, выламывались из нормы и в этом отношении — кроме всех прочих), изглаживалась энергия личного тона, получало полное преобладание эпического «третье лицо» (повествователь, скажем, трилогии К. Федина). В «детском» же повествовании возникали разные возможности, диапазон был пока достаточно широким.

Итак, наступила полоса, когда все больше требовалось, по слову Зощенко, «что-нибудь простенькое, вроде Володи», без «формализма», без «изысков», и именно в детской литературе можно было в какой-то степени следовать по этому пути, не стыдясь себя, увещевая и утешая себя тем, что нельзя же действительно обращаться к детям на языке Андрея Белого. Здесь можно было рассчитывать на какое-то согласие с самим собой.

Другое дело, что одновременно стирается грань между двумя литературами — детской и взрослой — и, скажем, «Историю одной перековки» М. Зощенко (историю, рассказываемую «перевоспитавшимся» на Беломорканале вором) или повесть о Керенском («Возмездие») уже затруднительно было отнести к той или другой литературе.

### 3

26 июля 1939 года критик В. Перцов напечатает в «Литературной газете» статью с удачным по своей простоте названием — «О лучшем»:

«Я прочитал несколько десятков беллетристических произведений в журналах этого года. Лучшими из законченных вещей мне показались: «Сказка» Михаила Светлова, «Телеграмма» Гайдара и «Лисичкин хлеб» Пришвина. Эти вещи я перечитывал и раз, и другой не для писания, а для удовольствия,— с произведениями современной литературы это бывает не так часто.

Все три произведения написаны для детей. Рассказом Гайдара «Красная новь» открыла в этом году свою вторую книжку. Рассказ этот, написанный для дошкольников, быстро стал в полном смысле слова семейным рассказом. Книга рассказов Пришвина «Лисичкин хлеб» напечатана тоже не в детском журнале, а в «Новом мире», причем автор указывает, что идеальным рассказом он считает такой, который одинаково интересен для всех поколений <...> Я стал припоминать, что за последние годы именно детская литература выдвинула ряд лучших наших произведений <...> И вот сейчас — три новых детских произведения, наиболее поэтические из всей нашей журнальной продукции 1939 года».

У Гайдара, писал критик, «против обыкновения для нашего времени, никто из действующих лиц, ни взрослые, ни дети, не совершает никаких героических поступков, но в нем чувствуется, как и в «Сказке» Светлова, дыхание исключительной нашей эпохи. <...> Не насилая свой материал в угоду «выводу», Гайдар придает серьезность забавному житейскому происшествию и призрачным светом своей художественной манеры превращает в фантастику самое обыкновенное и заурядное».

Но именно это свойство совсем в ином свете виделось другим критикам в тот же самый исторический момент.

И никогда не умевший изменить своему видению литературы как только литературы — вне обстоятельств, вне скидки на деформацию под прессом социума, будто не видя этого прессы,— беспощадно срывал Шкловский одежды тонкой и даже тончайшей мимикрии, палкой шевелил с трудом оторванные безопасные литературные норы. Похвалив журнал «Пионер», свежие номера которого взрослые, к неудовольствию детей, начинают читать первыми, он определял как «слабую» ту часть журнала,

где печатается проза: «...рассказ «Голубая чашка» не рассказ, а игра в рассказ... Это игра в ссору, а не ссора. Настоящий сюжет «Голубой чашки» состоит в том, что рассказчик ревнует свою жену. У него другая обида... Этот второй план повести непонятен для детского читателя. Самая эта ревность тоже полусуштлива». Все так и было, но Гайдар уже выстраивал свой собственный универсум, приучая читателя к игре, ко второму плану, к двойному дну, формируя ту поэтику подставных проблем, которая с наибольшей полнотой воплотится в «Судьбе барабанщика» и дойдет до слуха читателя, уже настроенного «Голубой чашкой» на это двойное звучание.

Рассказ Паустовского, продолжал Шкловский (речь шла об одном из рассказов цикла «Летние дни»), «чем-то напоминает рассказ Гайдара», и сходство было увидено безошибочно:

«Это опять не рассказ, а игра в рассказ.

Пеликан попал в лес. В лесу его приняли за черта.

Колхоз, в котором поймали этого пеликана, стал знаменитым.

Человеку, который поймал редкую птицу, подарили новые штаны.

Это очень анекдотично, и кажется, что людям трудно описать колхоз, если туда не запустить пеликана или хотя бы какого-нибудь деда-бородоеда, который врал бы что-нибудь несусветно интересное. <...>

Но где же наша страна?

Возьмите Аксакова, Тургенева, Горького, из иностранцев возьмите Диккенса, Марка Твена. Человек прежде всего описывает мир вокруг себя.

Волгу, Миссури, лондонскую улицу, русскую деревню.

Он делает ближе и драгоценнее нашу жизнь, учит ее понимать.

Литература не дача и не дом отдыха. <...> Нужно печатать рассказы о нашей стране, о городе, о колхозе»

В рассказе «Вторая родина» Паустовский «описывает подмосковное место, как своеобразные тропики. Он не приближает к нам нашу действительность, а романтизирует ее, приучает искать своеобразные эстетические заповедники в нашей стране»<sup>5</sup>.

Между тем и Гайдар и Паустовский все силы свои начиная с середины 30-х годов («Школа» Гайдара написана совсем иначе!) направляли именно на то, чтобы не дать себе приблизиться к «нашей действительности», а по возможности отдалить ее от себя. Направление их тогдашней работы я стремилась описать в 1964 году следующими осторожными словами:

«В середине 30-х годов, рядом с драматическими и трагедийными коллизиями «Тихого Дона» и сложной многоплановой картиной века в «Жизни Клима Самгина», рядом с тревожной атмосферой книг о ближайшей войне и особыми задачами исторического романа (О. Форш, А. Толстой, Ю. Тынянов и др.), рядом с творчеством М. Зощенко и А. Платонова, развивается художественная практика писателей, ставящих перед собой иные творческие задачи.

В одной коротенькой заметке о рыбной ловле Паустовский писал (в 1939 году): «Дикий и тонкий запах дождя и мокрых прибрежных песков проникает в палатку, и под шепот дождя очень свежо думать, вспоминать и ощущать жизнь как неторопливое счастье». Эта фраза может быть понята как лейтмотив многих произведений тех лет <...> И Паустовский, и Пришвин, и Гайдар (в названных произведениях) <...> изображают в своих «неторопливых» рассказах безусловно счастливых людей. Интересно при этом, что пристрастие к именно таким ситуациям характерно для многих (причем едва ли не лучших) произведений тех лет, которые никак нельзя назвать самыми счастливыми в жизни нашей страны. С чем же связана эта творческая особенность? Почему в рассказах этих писателей она оказалась художественно оправданной? Присмотримся к ним ближе. Рассказы К. Паустовского «Летние дни» (которые были признаны едва ли не лучшими в творческой работе писателя таким взыскательным и тонким критиком, как А. Роскин) — это рассказы о рыбной ловле, о деле, которым занимаются для отдыха. «Отдыхает» и герой рассказов Пришвина — охотник-любитель. Отдыхает герой «Голубой чашки» Гайдара, живущий на даче, путешествующий с дочкой по окрестностям. Это рассказы о людях, настоящее дело которых не показано; однако оно подразумевается. Почти все эти рассказы — о писателях, о людях искусства. Их непосредственная работа не показана, но только люди творчества

<sup>5</sup> В. Шкловский, «Об удаче и ее качестве» («Детская литература», 1937, № 7, стр. 16, 18, 19).

могут жить, так свободно и естественно отдаваясь жизненным впечатлениям, как герои «Летних дней» <...>

Итак, за плечами героев этих писателей ощущается дело, профессия, многообразные связи с обществом. Однако это дело, которое не тяготит, связи, которые не опутывают. Герои этих рассказов — внутренне свободные люди. Они просты и искренни в отношении друг с другом, доверчивы и нерасчетливы, лишены мелочности и подозрительности. Ощущение свободы, душевной раскованности (относящееся часто не столько к героям, сколько к облику самого автора-рассказчика) поражает и в рассказах Гайдара и Пришвина тех лет<sup>6</sup>.

Поиски покоя стали одним из слагаемых поэтики подставных проблем. 10 января 1939 года в «Литературной газете» в статье «Праздник и будни» Сергей Бондарин писал, с привычной тщательностью выбирая слова и даже пунктуацию, не дающую особенно сосредоточиться недоброежелательному взгляду на смысле сказанного: «Среди молодых писателей говорят о своевременности спокойного тона, свободного от неумеренной патетичности». И в следующей статье, 10 февраля: «Разрывается круг обусловленных тем, читатель разделяет с автором ощущение своевременности этой реакции жанра, она оказывает свое благотворное влияние, новые рассказы и повести читаются с интересом. Ничего героического не происходит в этих рассказах. Люди не едут на новостройки, не ломают свой быт, а уже сами живут в быту: они хотя присматриваются к своим соседям по квартире, они знакомятся, едят, спят, влюбляются и работают, но не на тракторе, а за письменным столом, или варят обед в коммунальной кухне, и их отношения определяются повседневностью интересов». Но тут же он предостерегал — «будничная книга бесполезна», поясняя, что «нельзя называть совершенной правдой искусства то, что имеет ценность лишь корректива к бессодержательной, фальшивой патетичности, к увлечению обусловленными сюжетами...»; и Евгений Петров в статье «Серые этюды» (полемизируя со статьей Н. Атарова «Обыкновенные этюды») вносил свои уточнения: «Дело не в том, писать о буднях или о героических делах, а в том, чтобы писать хорошо» («Литературная газета», 15 июля 1939 года).

Так литераторы, стремившиеся уйти от «обусловленных тем», ставили себе два новых условия — непренной поэтизации изображаемого («будничность» и «патетика» вставляли для них почти в один ряд) и определенного уровня мастерства («писать хорошо»).

А что же происходило в то же самое время — в 1939 и 1940 годах — за письменными столами тех, кто стремился удержаться в рамках «большого жанра», кто не хотел уйти в поэтичные рассказы о летних днях заслуженного досуга?

Лозунг «даешь красного Льва Толстого» реализовался — вопреки темпераментным предостережениям еще в 20-е годы Михаила Зощенко и самого талантливого и цельного теоретика Лефа Сергея Третьякова. Школа Толстого безусловно победила в 30-е годы (и победа эта была закреплена в 50-х годах, когда «толстовское» повествование стало признаком респектабельности — от Симонова до Ананьева).

Подобно тому как от толстовства оказался возможен и даже короток путь к большевизму, идея переделки, перековки человека, «обновления» всего его существа под влиянием событий народной жизни, которая стала в 30-е годы непренной частью идеологически-сюжетного костяка романного повествования, тоже естественным образом находила повествовательную опору в романах Толстого (конечно, упрощая изображенный Толстым путь героя до примитивной схемы).

В 1940 году, накануне ареста и гибели, один из немало обещавших в первой половине 20-х годов писателей, Михаил Козырев, бьется в поисках «большой формы», удовлетворительной для перепаханной кровавым плугом литературно-издательской

<sup>6</sup> М. О. Чудакова. Творчество Эффенди Капиева. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М. 1964, стр. 12—13. Заметка Паустовского, кстати сказать, печаталась под рубрикой «Как мы отдыхаем». Там же и Пришвин утверждал: «Я сейчас один из самых счастливых граждан, существующих на свете. Свое счастье я могу сравнить только со счастьем Грига, который забирался куда-то в горы, встречал там маленькую девочку и сочинял для нее свои прекрасные симфонии. А так как живу я теперь, как хочется, и то, что мне хочется, чудесно совпало с тем, что надо нашей стране от такого человека, как я, то я работаю и отдыхаю нераздельно» («Литературная газета», 26 июня 1939 года). Пожалуй, можно сказать, что и Гайдар, и Пришвин, и Паустовский достигли на какой-то краткий миг равновесия с властью: в тот момент их чувство найденного равновесия как-то совпало с тем, что от них было надо.

среды. Он пишет роман под названием, запечатлевшим отказ от творчества и сдачу на милость принятой схемы,— «Рост». В центре — герой, ушедший из деревни в год повальной коллективизации и вливающийся постепенно в ряды тех, кто становится участником индустриализации, разорвав с деревней, как бы канувшей во внеисторическое бытие. Прочитируем несколько фрагментов по рукописи оставшегося не опубликованного романа, чтобы увидеть прямое подражание знаменитым описаниям «Воскресения» и «Войны и мира»: «Семя медленно, тихо набухает во влажной прогретой земле — и вдруг, только секунда одна — вскрывается почка, и свежий росток пробивает землю. Так же медленно назревала в деревне потребность в новых формах хозяйства, возникала, росла и крепла упорная мысль...» — и т. д. (ЦГАЛИ, ф. 2230, 1.10, л. 71). Эта метафорика, эти «вешние воды» стали широчайше распространенным приемом, заместив и аналитический взгляд автора, и реальную фактуру быта.

Последние страницы романа фиксировали обновление героя. Правка в рукописи зримо передает отчаянные попытки автора сохранить хоть отчасти лицо — и тут же происходящее погружение его в затопляющий большую форму, не преодолимый единичными усилиями, перешедший в разряд тектонических явлений шаблон (авторские вычеркивания — в квадратных скобках): «— Я и в самом деле другой человек теперь,— ответил Кирилл. [Многого я не понимал, до многого дошел, Анна]. Отметим характерную инверсию в вычеркнутой строке — один из шаблонных ходов в упреждавшей к концу 30-х риторике. Инверсии служили ложным знаком эмоции, повторы — ложным знаком развивающейся (на самом деле стоящей на месте) мысли. Создавалась та квазипростонародная, или простая, речь, которая потом перейдет из литературы на страницы «Правды».

Продолжим цитату:

«Никогда еще Кирилл не разговаривал так с женой. Суровые глаза Анны осветились лаской и радостью. (Напомним дату — 1940 год, когда в литературном пространстве отсутствует точка зрения, с которой возможно пародирование этой фразы.— М. Ч.)

— Все мы теперь другие,— сказала она. [— Вот и я сейчас себя прежней ни за что не признала бы. Подумаю, как только мы жили словно слепые. А теперь глаза будто бы открылись|».

Как ясно видно в этих авторских вычеркиваниях своей же рукой воспроизведенного шаблона попытка удержаться на краю хоть какого-то подобия творчества! Дело было именно не в нехватке таланта — у Козырева в нормальных условиях его вполне хватило бы. Дело было в серьезнейших мутациях, в полном распаде форм, прекращении личных творческих поисков. И в слепках с толстовских форм ищется подобие искусства, живет надежда, что подражание уже совершившемуся искусству — гарантия искусства. Конец романа Козырева особенно примечателен в этом смысле:

«Кирилл не стал ждать подвода. Рано, когда все еще спали, вышел он из деревни, так же, как и тогда, когда уходил в неверное темное для него будущее. Было такое же прохладное осеннее утро, так же расстилался синий дымок над деревней, так же сквозили легкие солнечные лучи в бледно-желтых листьях берез — все было как тогда, только не было той томящей, сжимающей сердце грусти.

И так же, как шесть лет назад, сел он отдыхать у соснового бора.

— А где же эта корявая сосна? — вспомнил он.

Ее уже не было. Весенние воды подмыли корни, буря свалила ее, кто-то спилил и ствол и сучья ее на дрова, и только голый пенг гнил теперь под дождем и солнцем, цепляясь за рыхлый сыпучий песок полусгнившими обнаженными корнями.

Кирилл не заметил этого пня. Он прошел мимо, заглядевшись на бор, на ушедшие в прозрачную голубизну едва колеблемые ветром вершины прямых, высоких, могучих и дружных сосен, на медно-красных стволах которых зайчиками играло золотое осеннее солнце<sup>7</sup>. В рукописи далее — «конец» и даты работы — «6/X—3/XII-40 г.».

Из «взрослого» романа можно было только уйти.

В «Судьбе барабанщика» А. Гайдара (1939) одним из самых интересных сочинений конца 30-х годов, сложно сочтались разные пласты художественной реальности, разные способы связи искусства с материалом. Подобно тому как в рассказе Уэллса два путника идут по дороге навстречу друг другу в разных эпохах — в дале-

<sup>7</sup> «Уже было начало июня, когда князь Андрей, возвращаясь домой, въехал опять в ту березовую рощу, в которой этот старик, корявый дуб так странно и памятно поразило его. Вубенчик еще глуше звенели в лесу, чем месяц тому назад...» — и все последующее описание, со школы всем памятное (Л. Толстой, «Война и мир», т. 2, ч. 3, III).

ком прошлом и в современности,— так в этой повести рисуется один мир, вернее, туманная, плывущая проекция этого мира, а сквозь него проглядывает или, скорее, подает неясные сигналы другой.

Читает книжку герой о мальчишке-барабанщике, которого заподозрили в измене, а его смелые поступки в помощь своему отряду присвоил себе толстый и трусливый музыкант. «Ярость и негодование охватили меня при чтении этих строк, и слезы затуманили мне глаза... „Это я... то есть это он, смелый, хороший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокий, всеми покинутый, с опасностью для жизни подавал тревожные сигналы“».

Стоит взглянуть на страницы этой повести — она рассчитана была, несомненно, на медленное чтение.

«...у меня заболела голова и пересохла губы...» И несколькими страницами дальше:

«Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Свет от огромного фонаря, что стоял у нас во дворе, против метростроевской шахты, бил мне прямо в глаза. Пошатываясь, я встал, подошел к крану, напился <...>

И опять, как когда-то раньше, непонятная тревога впрорхнула в комнату, легко зашуршала крыльями, осторожно присела у моего изголовья и, в тон маятнику от часов, стала меня баюкать:

Ай-ай!

Ти-ше!

Слы-шишь?

Ти-ше!»

Физическая разбитость; боль, свет бьет ночью прямо в глаза. И снова чтение: «...читал старую «Ниву». Мелькали передо мной портреты царей, императоров, русских и не русских генералов. Какие-то проворные палачи кривыми короткими саблями рубили головы пленным китайцам. А те, как будто бы так и нужно было, притихли, стоя на коленях. И не видать, чтобы кто-нибудь из них рванулся, что-нибудь палачам крикнул или хотя бы плюнул».

И снова тревога, не объяснимая ни героем, ни автором, но окутывающая читателя: «Я вышел и в тамбуре остановился. Окно было распахнуто. Ни луны, ни звезд не было. Ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. «Куда это мы мчимся? — глотая воздух, подумал я. — <...> Эх, поехали! Эх, кажется, далеко поехали!»

То рубят головы, но давно, на картинках, то звучат вроде бы выстрелы, ан и не выстрелы, то выбегает с топором человек, кричит что-то странное:

«Волосы ее были растрепаны, и она что-то кричала.

Тотчас же вслед за ней из кухни с топором в руке выбежал ее престарелый сын; лицо у него было мокрое и красное.

— Послушай! — запыхавшись и протягивая мне топор, крикнул он. — Не можешь ли ты отрубить ей голову?

— Нет, нет, не могу! — завопил я, отскакивая. — Я... я кричать буду!

— Но она же, дурак, курица!» Ах, курица, это курица... «— Нет, нет! — еще не оправившись от испуга, бормотал я. — И курице не могу... никому не могу...»

Нет, не совсем все-таки это курица... «Вы погодите... Вот придет дядя, он все может».

Что же это за мир, в котором все может произойти, хотя ничего вроде не происходит? «Я пробрался к себе и лег на кровать». «Пробрался» вроде бы мальчик, но «к себе» — это уже взрослый; и так всегда у Гайдара. «Было теперь неловко, и я чувствовал себя глухим. Чтобы отвлечься (так мальчик все же или взрослый, замученный странной, тягостно-необъяснимой жизнью? — М. Ч.), я развернул и стал читать газету». (Взрослый, взрослый! Все они в те годы с утра впились в газеты.) «Прочел передовицу. В Испании воевали, в Китае воевали. Тонули корабли, гибли под бомбами города. А кто топил и кто бросал бомбы, от этого все отказывались». Не про нас, не про нас, но все же гибель ходит где-то рядом.

«А на горе, над обрывом, громоздились белые здания, казалось — дворцы, башни светлые, величавые. И пока мы подъезжали, они неторопливо разворачивались, становились вполоборота, проглядывая одно за другим через могучие каменные плечи, и сверкали голубым стеклом, серебром и золотом. <...>

— Это что? — как в полусне, спросил я, указывая рукой за окошко.

И правда, не в полусне ли все — и герой, и автор, и читатели? Настоящее — мираж будущего. Все время — иллюзия вот-вот готовой объявиться прекрасной жизни. Не продолжение ли это «Чевенгура» А. Платонова? Как в пустыне, движутся все за миражем, слыша и не слыша выстрелов, видя и не видя льющейся крови, льющейся где-то там, в невидимой или призрачной, как на книжной странице, действительности.

«Светел и прекрасен был этот веселый и зеленый город. Росли на широких улицах высокие тополи и тенистые каштаны. Раскинулись на площадях яркие цветники. Били сверкающие под солнцем фонтаны. Да как еще били!» Что же это за город, где находится? Не в Государстве ли Солнца?

«Рвались до вторых, до третьих этажей, переливали радугой, пенились, шумели и мелкой водяной пылью падали на веселые лица, на открытые и загорелые плечи прохожих.

И то ли это слепило людей южное солнце, то ли не так, как на севере, все были одеты — ярче, проще, легче, — только мне показалось, что весь этот город шумит и улыбается.

— Киевляне! — вытирая платком лоб, усмехнулся дядя. — Это такой народ! Его колоти, а он все танцевать будет».

И вот в другом месте «дядя», самый реальный и самый двусмысленный персонаж повести, «дукаво глянул на меня и, ударив по струнам, спел такую песню:

Скоро спустится ночь благодатная,  
Над землей загорится луна,  
И под нею заснет необъятная  
Превосходная наша страна.  
Спят все люди с улыбкой умильной,  
Одеялом покрывшись своим,  
Только мы лишь, дорогою пыльной  
До рассвета шагая, не спим».

Песня эта отделяет фальшивый, и з о б р а ж а е м ы й мир, где кто-то, возможно, и спит «с улыбкой умильной» (но кто? уже почти никто в том году, когда пишется повесть, только в кино, только в книгах), зная не зная про мир другой, от которого и отделен он невидимой чертой. А кто-то, находящийся как бы на грани двух этих миров, вообще не спит, ожидая с минуты на минуту вторжения неведомого, но страшного, ирреального (так как о нем ничего почти не известно), но более, чем этот, реального.

Тот, реальный мир, мощно притягивающий к себе лишь одним — своей реальностью, просовывает свои руки меж картонных деревьев парка культуры, среди веселых и страшных масок. Герой не знает, кто такой «дядя», но они с ним из одного мира — реального. «Дядя» потому и получается у Гайдара столь выразительным, что за ним не выраженный, неизвестный псевдосчастливицам из парка культуры неподдельный мир. И в вагонном рассказе «дядя» вдруг проступают самые подлинные реалии скрытой от глаз современника жизни — «Узник же получал, как вы сами понимаете(!), всего шестьсот граммов, то есть полтора фунта», — «дядя» издевался над теми, кто еще не сидел и не знал того мира. «Ведь ничего этого вовсе так не бывает...» — подает слабый голос один из слушателей. Но как бывает? Этого здесь не знает никто.

Один из важных в создании этой двойственности фрагментов — описание станции московского метрополитена.

На двойное прочтение настраивает (вольно или невольно — такой вопрос был бы неправомерен здесь, как, впрочем, и почти везде в литературе), становясь одновременно частью одного, явного, и другого, неявного, текста, первая же фраза:

«Точно кто-то за мной гнался, выскочил я из дому и добежал до метро. Поезда только что прошли во все стороны, и на платформах никого не было.

Из темных тоннелей дул прохладный ветерок. Далеко под землей тихо что-то гудело и постукивало. Красный глаз светофора глядел на меня не мигая, тревожно».

Это тянет из весьма далеких тоннелей могильным холодом, преобразованным в прохладный ветерок, это оттуда глядит тревожно красный глаз невидимой, но миллионнами ощущаемой беды и гибели. Снова появляется стихок-заклинание:

«И опять я заколебался.

Ай-ай!

Ти-ше!

Слы-шишь?

Ти-ше!»

И вот тревожное ожидание разрушается: «Вдруг пустынные платформы ожили, зашумели. Внезапно возникли люди. Они шли, торопились. Их было много, но становилось все больше — целые толпы, сотни...»

Кто эти сотни?.. Из какого мира?

А в конце повести перифраз из уже запрещенной к тому времени — из-за Ягоды и других имен — книги о Беломорканале: «Я взрывал землю, я много думал и крепко работал. И вот меня выпустили...»

...Как будто бы звуки будущей речи автора и героя «Одного дня...» слышны и на некоторых страницах самой этой страшной книги. Вот начало одной из главок:

«Уже четыре месяца Костюков на канале, но вставать ему каждый раз трудно. <...> Костюков закрыл глаза. Вероятно, в деревне сейчас бабы тоже повставали. Затопили печи. Или, может быть, на печи еще греются? Дали моей-то трудовни? — спохватывался он. <...> — Ну, ты, глина смоленская, — дергает кто-то Костюкова за ногу. — Раз мечтался. Дожидаешься бабы. Она тесто ставит.

Общий хохот раздался у него над ухом. И Костюков вскочил на ноги взерошенный. Кинулся к огню.

— Братцы, — взмолился он тотчас. — Товарищи, что же это, украли мои валенки и положили сгорелые. Как же я на работу теперь пойду? Ведь других валенок мне сегодня не выдадут?!

— Пойдешь, — уверенно ответил Паруга (десятник. — М. Ч.). — обмотаешься и пойдешь. Что же мне терять из-за тебя проценты!

Процент — это слово, как нательная рубаша, было понятно Костюкову. Знал: выполни процент — отворится тебе все. И в ларек пропуск дадут, и билетик в кино, и свидание с родными. За большой процент дни засчитывались — три за пять».

Как осколки натурального металла торчат среди фальшивой породы то там, то сям точные реалии и интонации:

«— Ну, ты, идешь, что ли, пошевеливайся! — прикрикнул на Костюкова Цыган.

Костюков наматал на ногу тряпье, сунул ее в дырявый валенок и выбежал вслед за остальными. <...> Удивляла Костюкова также бодрость начальников-чекистов. Костюков видит, как вот уже три часа над котлованом недвижно стоит человек. Вероятно, мороз пробирает его люто. Тачку возишь и то остываешь, а этот стоит один на ветру. Но все он смотрит, все замечает» («Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. История строительства». М. 1934, стр. 380—381, 383—384).

#### 4

Оценивая весенний номер «Красной нови» 1939 года, критик Александр Роскин размышлял о среднем рассказе среднего писателя: «Отнюдь нельзя сказать, что он плохо написан. Наоборот, читаешь его и невольно думаешь о том, как, в сущности, незаметно, под аккомпанемент привычных разговоров о недостатке мастерства у наших литераторов поднялся средний уровень этого самого мастерства. Сравните апрельский номер «Красной нови» от 1939 года с любым апрельским номером самого лучшего дореволюционного толстого журнала: вы тотчас заметите, насколько выше наша «средняя» журнальная проза оригинальностью образов, отделкой фразы, сжатостью выражений. Вот как описывает В. Кожевников пейзаж с высоты: «С трубы можно было видеть облака в профиль... Запах сырости туч доносился сюда. Тучи пахли погребом». Можно быть уверенным, что соответствующее описание, извлеченное из какого-нибудь рассказа в «Вестнике Европы» или «Современном мире», было бы, конечно, более вялым и банальным».

И далее — пожалуй, с болью — видишь, как точно идет по касательной к сути дела талантливый и умный литератор, так привыкнув не говорить об этой сути, как не задумываясь идут по дороге к дому: «Но в том-то и дело, что в этой самой умелости, в этом стремлении все описывать обязательно с «нажимом», с обязательной оригинальной выразительностью есть своя банальность, свой шаблон — и притом очень опасный для подлинной поэзии. В стилистической эlegantности таких рассказов <...> есть нечто чрезмерно старательное, напряженное. Хочется сосредоточить внимание на людях и событиях, избранных Кожевниковым, а вместо этого вы начинаете оценивать эпитеты <...> «Хорошо поставленная» фраза уводит Кожевникова от простых и верных



слов, которые надо сказать ему о своих героях»<sup>8</sup>. Но в том и дело было, что литературную учебу на мастера слова проходили люди, уже не надеявшиеся, даже, возможно, и не думавшие сказать «простых и верных слов» о своих героях. — они обучались тому универсальному языку, который позволял Вадиму Кожевникову продержаться почти полвека, до середины 80-х, в рядах известных и широко читаемых в своей стране писателей (я думаю, в некоторых читательских слоях его читают и до сих пор).

А. Письменный (тот самый, кого в 1933 году ругал Е. Петров за «серые этюды») вспоминал восхищенно «о впечатлении, которое произвел на меня и на моих товарищей газетный очерк Ив. Катаева „Третий пролет“», и цитировал: «„Сначала даже и не мы увидели моста, а лишь идею моста, мелкий и легчайший абрис, повисший в свечении воздуха и воды. Утро было неяркое, ровная облачная пелена, но на таком раздолье — света не занимать, река белая с искрой, балтийского серебра. Проходит час, линии моста постепенно чернеют, он воплощается. Уже различимы пологие дуги всех шести пролетов, тоненькие — отсюда — устоя, и от них — опущенные в воду черточки отражений“ За „опущенные в воду черточки отражений“ за „балтийское серебро“ много можно было отдать»<sup>9</sup>.

Описание хорошее и неплохой писатель, но только почему ж — «можно было...»? Именно отдал и очень много, за возможность выучиться рисовать эти «черточки» и, главное, за право демонстрировать печатно результаты этой учебы, плоды мастерства. Стремясь при помощи «черточек» передать на страницы печати человеческие чувства, которые как-то надо было сохранять и передавать по наследству, Паустовский вел в Литинституте семинар по этим именно «черточкам», очерчивающим эти чувства, не касаясь в своих очертаниях грешной земли, и был почти канонизирован при жизни — для того чтобы очень вскоре, увы улечуться из литературы, или, скорее, расплыться, как те самые «черточки отражений».

И снова вернемся к Гайдару Кто реален в его «Судьбе барабанщика»? Двоющийся, неясный, оборотнем предстающий перед юным рассказчиком на последних страницах «дядя» да еще «старик Яков».

«И окрик их, злобный и властный, показал, что ни меня, ни моего оружия они совсем не боятся.

Так и есть! С перекошенными ненавистью и презрением лицами они шли на меня прямо.

Тогда я выстрелил раз, другой, третий . . .

Два «матерых волка» слились, став почти близнецами. Но кто они? В кого стреляет герой?

Как двоится рассказ «дяди» (в поезде) о тюрьме, вокруг которой «раскинулись придавленные пятой самодержавия низенькие домики робких обывателей» и из которой бежал «старик Яков», не дожидаясь «маловероятной амнистии по поводу какой-либо годовщины, точнее сказать, императорской свадьбы рождения или коронации» и оттолкнув конвоира «по пути с дровозаготовок», а затем выдав себя перед крестьянами «за ответственного работника приехавшего на посевную», так двоится художественная функция персонажей. Под давлением непредставимого в предшествующие эпохи развития русской литературы гнета литература сама себя защищала — сопротивлялась ее глубинные слои ее ядро. Пропагандистская направленность (призыв к бдительности), вводимая в обязательном порядке, преодолевалась в повести Гайдара вторым слоем — слоем истинных чувств, возбужденных неназываемыми обстоятельствами. (Мы оставляем в стороне гезеис повести — известно что сначала Гайдар писал о том, что отец Сергея был арестован по ложному доводу, но вынужден был под давлением обстоятельств изменить фавулу: для нашего рассмотрения важен печатный текст повести — его художественное строение, его участие в литературном процессе, его читательское восприятие.)

Герой пел песню:

Горные вершины  
Спят во тьме ночной...

«Как не солдатская? Очень даже солдатская», — уверял Сергея отец.

Что-то силится понять герой повести, но не может, и автор не имеет сил и возможности подсказать ему. Все смешалось; где-то в эфире между «горных вершин» пла-

<sup>8</sup> А. Роскин, «Пять рассказов» («Литературная газета», 5 июня 1939 года).

<sup>9</sup> Александр Письменный. Фарт. М. 1980, стр. 55.

ваит общечеловеческое, относящееся к жизни и к смерти каждого, не только «шахтер-комиссара», но не может родиться, оплотниться, выживиться.

«Солдатское» ощущение отсутствия зримой мишени, зримого виновника тоски, мучающей героя и самого автора, виновника страха, окутывающего жизнь храбрых по природе людей рождает сосущее, саднящее чувство у героя и у читателя. «Крупные слезы катились по моим горячим щекам <...>

— Так будь же все проклято! — гневно вскричал я и ударил носком по серой каменной стене. — Будь ты проклята, — бормотал я, — такая жизнь, когда человек должен всего бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь! Я не хочу так!» Это реальный гнев, реальное отчаяние и реальные проклятия, только заключенные в прочную структуру поэтики подставных проблем

Поиски виновника-врага автор «Судьбы барабанщика» ведет в повести бок о бок с пропагандистской машиной, которой он служит, которой подыгрывает, — и сливается. Казалось бы, с ней в конце, изображая убийц-диверсантов, в которых стреллет герой повести.

Но выстрел целит дальше. Недаром конец повести оставляет впечатление неразрешенности, неудовлетворенности, а значит, и пропагандистское начало остается оголенным (можно было бы привести немало примеров того, как подобная оголенность в детской литературе, державшейся, что называется, до последнего <sup>10</sup>, обычно замечалась критикой и раздражала ее). Для Сергея и его вернувшегося из лагеря отца начинается счастливая, казалась бы, но призрачная жизнь — повесть кончилась, в сущности, с выстрелом Сергея, целящим, повторим, дальше — в художественном смысле слова. И недаром бесплотны «положительные» персонажи повести: они сами должны исчезнуть из этого видимого, но ирреального мира и переселиться в невидимый, но реальный, все более поглощающий страну. «Их было много, но становилось все больше — целые толпы, сотни...» Это мгновенный мираж, это видение автора, который хотел бы, возможно, сказать — «толпы, миллионы...». И все исчезает — «этот народ едет веселиться в парк культуры».

В поле повести действуют оборотни и призраки. «Дядя» и «Яков» — это одновременно и те, кто замешает в повествовании врага, исполняя пропагандистскую функцию, и пришельцы из того реального мира «дровозаготовок», и напоминатели о нем в той едва ли не единственной в своем роде форме, которая оказалась литературно возможной. «Дядя» — оборотень вполне в согласии с господствующими официальными и официозными установками. Но этим не дан ли и полусознанный, возможно, самим автором намек: не оборотень ли и весь этот мир, «превосходная наша страна»?

Так оказывается, на наш взгляд, возможным проследить один, но важный мотив в деформированной предвоенной литературе: проникновение в нее (или слабое отражение в ней?) обширной области второго мира — мира ГУЛАГа, крайней точки в целом игнорируемой печатной литературой реальности.

Что предсказывало, предвосхищало в создаваемом Гайдаром художественном мире следующий — далекий — цикл литературного развития? В чем, кроме серии подстановок, проступала тень иной, скрытой, но существенной жизни? Пожалуй, мы назвали бы чувство жалости, незнакомое большинству современных Гайдару литераторов. Это тот взгляд, которым смотрит на людей явившийся в нашу литературу двадцать с лишним лет спустя Шухов вместе с автором: «На глазах доходит капитан, щеки ввалились, а бодрый»

А что же Житков? Что его феюга, так добротнo оснащенная, с запасом остойчивости, так мастерски сработанная, с командой таких выносливых и умелых гребцов? Пронеслась, описав точнейшую, выверенную дугу, мимо, мимо текущего дня, и вчерашнего дня, и позавчерашнего. А ведь писал он о свободе — о том, как рабы-гребцы спасали от пиратского преследования хозяйский корабль, спасали, навалившись что есть силы на весла, потому что капитан обещал им за спасение корабля свободу.

«— Как это? — сказал брат хозяина. Он перестал всхлипать, отшатнулся и испуганно глядел на капитана. — Ведь не ты их покупал! Или ты обещаешь их выкупить?»

— Они себя выкупили: спасли корабль, — сказал капитан. — А на всякий случай меньше разговаривай, потому что я приказал освободить их ноги от оков.

<sup>10</sup> «К сожалению, новый, 1937 год журнал не ознаменовал поворотом к новым задачам. Та же апатичность, то же равнодушие к интересам советских дошкольников характеризует и первый номер...» (А. Бабушкина, «Чиж». — «Детская литература», 1937, № 8, стр. 31).

Брат хозяина нахмурился и глядел капитану в глаза.

— Торговаться не приходится,— сказал капитан.— Ты бы лучше радовался, что остался цел. А то продали бы тебя пираты... в гребцы. И пахал бы ты тяжеленным веслом. Ты знаешь: их двое умерло сейчас за свою свободу, спасая тебя и твое добро. И капитан пошел к гребцам».

Так кончается это сочинение — один из многих образцов создававшейся в 30-е годы добротной литературы, никак не задевавшей ни настоящее, ни недавнее прошлое, литературы, сделавшей единственным объектом своего изображения очень далекое или сравнительно далекое прошлое — и не выкупившей себя.

Детская литература 30-х годов в какой-то степени переняла, на наш взгляд, ту роль, которую, по мысли Тынянова, играет пародия,— он писал об «огромной эволюционной работе, проделываемой пародией», о том, что она способствует л и т е р а т у р н о й э в о л ю ц и и (исторической динамике литературных форм, накоплению новых художественных качеств).

Эволюционная роль детской литературы проявилась в том, что в годы, когда движение литературы замирало, именно в этом жанре возникали и разрабатывались новые формы. Это остросюжетный сказ Бориса Житкова, уже тем интересней, что он соединил две линии, противопоставленные в литературе начала 20-х годов (разные формы сказа с их орнаментальным, игровым отношением к слову и сюжетная проза), а кроме того, поставил в центр прочно сработанной новеллы вполне убедительного героя. Это проза Гайдара, давшая камертон (особенно рассказами «Голубая чашка» и «Чук и Гек») специфическому жанру, укрепившемуся в отечественной литературе на несколько лет (о нем речь дальше). Это охотничий рассказ Пришвина, открывший путь целому отряду литераторов на долгие годы вперед.

Именно в детской литературе можно было найти то разнообразие психологических коллизий и человеческих чувств, которому давно не было места в упростившейся — в соответствии с возобладавшими элементарными идеологическими схемами — «взрослой» литературе. В ней отработывались важные литературные узлы, и без этой отработки вряд ли мог быть быстро собран двадцать лет спустя тот механизм, который позволил сделать столь существенный скачок в развитии отечественной словесности.

Даже конкретность изображения любого ручного труда, основанная на доскональном его знании, не отозвалась ли она в неторопливом описании споровистой работы Ивана Денисовича, в самом языке этого описания? Ничего не возникает на пустом месте, и сделанное в литературе витает в воздухе, воздействует даже и на тех, кто мог вовсе не читать того или иного сочинения.

«Разварили клею столарного у хозяйки на керосинке — говорим, койку будем чинить. Она рада: «Вот дельные хлопцы»,— говорит. А тут Гришка проткнул дырку в колбасе, потом обернул карандашик в бумажку и всадил в эту дырку карандаш до самого пороха. Кто его выучил, долговязого? И теперь ну мазать веревку в клею и эту колбасину укручивать клейкой веревкой. Да плотно и накрепко» (Б. Житков, «С Новым годом!». 1935).

Тяготение к речи простонародной и к той письменной старорусской традиции, которую А. Ремизов еще в начале века изоциренно противопоставил и «гладкописи» литературы XIX столетия, и церковнославянскому «плетению словес», в последующие десятилетия не просто ослабло, а потеряло всякое значение, было выведено за пределы актуального литературного сознания. Оно косвенно реализовывалось сначала в специфических формах «уральских сказов» (что не исключало появления очень хороших в своем роде образцов — проза Бажова), отгороженных от жанров неспецифических, чтобы на следующем витке воплотиться в уродливые формы послевоенных писаний Евгения Пермяка, издававшихся непредставимо огромными тиражами и долгевших свой псевдорбочий говорок до газетных страниц: официоз канонизировал эту речь в качестве голоса «класса-гегемона». В то время едва ли не только в прозе Житкова шла такая углубленная работа над живым, произносимым, с народной русской речью связанным словом — сложно соотносилось слово героя и автора.

Если среди немногих путей выхода из внелитературного тупика были историческая проза и детская литература, то любопытно приглядеться к тому, каким образом пополнялась в эти годы полка исторической романистики. Произведение, задуманное автором как детское, в диффузии 30-х годов меняло свою функцию — «Кюхля» Ю. Тынянова, «повесть о декабристе» для детей и юношества, стала полноправным историческим романом; «детская» история декабризма дала камертон последующей отечествен-

ной популярной декабристике. Отечественная история с 30-х годов — с государственного поворота к далекому прошлому (что помогло отвести взгляд от прошлого недавнего — историю Советского государства не изучали: ее затверживали в предъявленных властью очертаниях) — приняла эту детскую (юношескую) адресацию. «Смерть Вазир-Мухтара» (1928) и «Восковая персона» (1931) Тынянова были последней возможностью литературного эксперимента в области исторической (или близкой к исторической — биографической) прозы — во второй половине 30-х годов эта проза уже не могла играть в отличие от «детской» литературы эволюционной роли (что запечатлено и в работе Тынянова над так и не завершенным им романом «Пушкин»).

Как Гайдар подошел к краю неназываемого мира невидимой современности, так Житков вплотную, кажется, приблизился к возможности живописать невыдуманную народную жизнь словом. (Литература ведь искала в 30-е годы не менее двух вещей — экологические ниши для сохранения и приумножения мастерства, но и достаточно безопасные подступы к запретным темам.) Странное диссонансное впечатление производит творчество Житкова, если увидеть его в целом: умение описывать хорошо сбитым, народным в своей основе словом саму фактуру реальности (от которой сознательно отходил Паустовский, которую лишь в природно-охотничьем ее изводе впустил в свою прозу Пришвин, в которой, как мы видели, почти вовсе не нуждался Гайдар, пропускавший реальность через множество призм) — и полная оторванность от фактуры и сути современной ему жизни, современного быта города ли, деревни.

Именно современная жизнь была заклтым, «заколдованным» местом. Шкловский написал после смерти Житкова, что его мальчик из «Метели», спасающий своих седоков, — «тот тип человека, которого выбрал своим героем Житков, — это новый русский человек»<sup>11</sup>. Рассказ — действительно превосходный — напечатан в 1927 году и не мог бы уже быть написан в конце 30-х. Герой его — тот деревенский подросток начала 20-х, следы которого потерялись вскоре в российской бескрайности. Никто не мог решиться его изобразить, когда он стал парнем и мужиком, — литература забыла на тридцать с лишним лет о его существовании. Русский человек — крестьянин в первую голову — исчез из виду русского писателя.

Ведь и Григорий Мелехов — не новый герой, а скорее уж завершение череды героев, не писателями XX века созданных героев, а их предшественниками. Новизна «Тихого Дона» — в центральном положении этого героя и в той ситуации небывалого выбора, в которой он оказался. В этом вся сила романа, весь огромный интерес.

И в 30-е годы, в последних книгах «Тихого Дона», герой остается в начале того исторического периода, в какой вверглась Россия в 1917—1919 годах. В этом смысле роман нисколько не заполнял той третины, которая зияла несколько десятилетий между литературой и российской реальностью.

Тип «нового русского человека», или русского человека в новых условиях, остался задачей не просто не выполненной, но постепенно и забытой.

М. Зощенко был, на наш взгляд, литературно прав, когда в 1936 году (в тот год почти никто уже из литераторов не только не решался вынести на страницы печати хоть какое-либо свое серьезное, доподлинное убеждение, но мало кто, по-видимому, и отдавал себе отчет в собственных убеждениях!) написал в статье под характерным названием «Литература должна быть народной»:

«В нашей литературе слишком много внимания уделено «переживанию» и «перестройке» интеллигента и слишком мало «переживаниям» нового человека. У нас до сих пор идет традиция прежней интеллигентской литературы, в которой, главным образом, предмет искусства — психологические переживания интеллигента. Надо разбить эту традицию, потому что нельзя писать так, как будто в стране ничего не случилось.

Вот где создаются ножицы. И вот где, на мой взгляд, основной порок, если говорить о народности... Но это еще не значит, что с литературной повестки дня целиком следует снять интеллигентские вопросы. Это неверно, если думать, что народ интересуется только собой и только о себе хочет читать. Тут опять-таки дело в пропорции».

Это один из последних голосов, настойчиво напоминающих о новом герое как литературной задаче, после чего призывы «создать героя» целиком перешли — более чем на двадцать лет — в ведомство официальной критики.

<sup>11</sup> «Детская литература», 1938, № 18-19, стр. 132.

В 1940—1941 годах завершался весь цикл литературного развития, начавшийся в первые пореволюционные годы и охвативший литературную жизнь поколения 1890-х годов рождения — творческие усилия этого поколения формировали цикл, обозначали его начало и конец. В эти годы была освоена и воспроизведена литературой родившаяся и укоренившаяся новая речь (М. Зощенко, А. Платонов) и договорена «старая» (М. Булгаков). В жанре «детской» литературы интенсивно отработывалась техника построения особого художественного мира — вне всякой связи с реальностью современного взрослого мира, — и это был в немалой степени мир полноценной этики (назову хотя бы прекрасную книгу С. Могилевской «Марка страны Гонделушы»). На пересечении успехов литературы «детской» и инфантилизации литературы «взрослой» возник особый жанр. Его определил в предновогоднем номере «Литературной газеты» (31 декабря 1939 года) критик Я. Рыкачев, описывая свое знакомство с рукописными рассказами начинающего автора. В одном его более всего поразили «спокойная устойчивость и гармоническая распределенность опыта, свойство, вообще говоря, присущее классике. Один из рассказов я назвал мысленно советской *идиллией*; это бесхитрое повествование об увеселительной поездке скромной советской семьи за город, в Одинцово. Жизненная полнота и цельность этого рассказа удивительны. Прозрачность и легкость текста, не отягощенного никаким мелким пристрастием, отсутствие предвзятости или схематического распределения персонажей, моральная чистота и глубочайшая любовь к советским людям, хотя бы самым малым и незаметным, говорили о высокой душевной культуре автора и невольно приводили на память — страшно сказать! — «Капитанскую дочку». Повторяю, если я говорю в данном случае о классичности, то я имею в виду отнюдь не размер дарования автора, а лишь характер его дарования. Подобный рассказ — и подобный писатель — не мог появиться ни два, ни три года назад, ни тем более ранее. За последние годы мы пережили события такой колоссальной важности, что мы сейчас еще не в состоянии дать себе отчет в их значении для нашей культуры <...> О полноте и завершенности ощущения советской действительности, не нуждающегося ни в каких сравнениях и контрастах, ни в каких схемах и предпосылках, свидетельствуют и все другие рассказы этого автора. Конечно, эти черты характеризуют в той или иной степени и многие другие произведения советской литературы последних лет <...> Я давно занимаюсь вопросами молодой литературы, главным образом только-только зарождающейся. И должен сказать, что еще никогда не видел я такого обилия талантливых и своеобразных людей, как за последний год».

Какие ни делай тут поправки на время, место, на литературную биографию критика, но не оставим последнюю его фразу вовсе без внимания.

Как ни странно это прозвучит, литература в 1939—1940 годах достигла действительно некой полноты — возможной полноты печатного проявления в рамках той эпохи. Те, кто готовилась вступить в эту литературу, по крайней мере лучшие из них, о чем-то мечтали, на что-то, несомненно, надеялись.

Нет, назначались сроки,  
Готовились бои,  
Готовились в пророки  
Товарищи мои,—

написал Б. Слуцкий о предвоенном настроении своего поколения, пусть и переназав это ощущение на языке середины 50-х.

Грянувшая война разом расколола эту литературную чашу полноты и гармонии бытия.

Уже завершившийся цикл как бы удлинился. Военная тема легко вошла в приготовленное 30-ми годами русло: 1) конкретизировался, овеществился образ врага: немец-фашист встал на место «шпиона», «враг» же отечественного происхождения легко ваялся в быстро прочерченный пропагандой контур «пленника», проклятого его собственной страной; 2) безмятежное, идиллическое настоящее честных советских людей немногими движениями было переоборудовано в безмятежное, мирное прошлое — являлся довоенный гармонический мир, литературный строительный блок долгого действия; 3) теми же средствами неопределенное будущее, работа для которого, в пользу которого была долгом персонажей 30-х годов, автоматически переключилось в гораз-

до более конкретную и понятную будущую победу; 4) теперь мог вновь развернуться приглушенный к концу 30-х годов, но не забытый мотив жертвенности — жизнь окончательно обесценилась, долг встал над всем; 5) тема предательства получила неограниченные права (от Мечика «Разгрома» легко было перейти — и писателю и читателю — к Стаховичу «Молодой гвардии»). Перечень этот можно было бы, естественно, продолжить.

С 1943 года появились и социопсихологические и литературные предвестия нового цикла.

А горизонты с перспективами!  
А новизна народной роли!  
А вдали летящее прорываю  
И победившее раздолье! —

это голос не одного Пастернака (в неоконченной поэме 1943 года «Зарево»).

1945 — начало 1946 года — короткий, но примечательный промежуток, когда совершился всплеск, было сделано несколько попыток нового письма.

Следующее семилетие стало периодом остановленного литературного времени, когда динамика литературного процесса прекратилась, эволюция двинулась как бы по кругу.

С середины 50-х часы отечественной литературы пошли.

Быстро явилась «юношеская» (для журнала «Юность» и писавшаяся) повесть. Воспитанная на «детской» литературе второй половины 30-х годов, литературная молодежь этих лет отнюдь не спешила воспользоваться школой мастерства своих старших современников. Они писали «плохо», и Анатолий Гладилин был, пожалуй, наиболее ярким образцом того стиля, который В. Катаев назвал мовизмом — и к Гладилину же полуиронически-полусерьезно прилепил ярлык.

Это был, подчеркнем, несомненно сознательный отказ от мастерства как скомпрометированного средства спасения несвободной литературы. Едва ли не один Юрий Казаков делал усилие показать полутона приблизившейся к художнику реальности — и писал рассказы, то есть избрал жанр, ставший с середины 30-х годов копилкой мастерства. И все же многие из его талантливых рассказов отдавали эпитонством, а в авангард литературы вырвалась неухоженная, будто наспех написанная короткая повесть.

Молодая литература конца 50-х — начала 60-х, минуя 30-е годы, обратилась к 20-м — им наследовала их эксперимент, их готовность к неудаче и отказ от «совершенства» и, главное, их иронию взяла на вооружение.

Разрушена была квазиепическая, безличная, авторская форма повествования — явилось забытое (только в лирике и жившее, да и то с опаской, с вызовом симоновского пошиба) «первое лицо». В центре вновь оказалась фигура «интеллигента». Мы слышали рассказы из жизни большого и малого города.

Деревня входила потихоньку, с заднего крыльца — в очерках В. Овечкина, а затем Е. Дороша. Не боясь преувеличения и риторики, можно сказать, что литература ожидала крупной фигуры, способной соединить накопленные когда-то мастерство, разработки сказовых форм (давно оставленных литературой и испорченных «державным» употреблением) с реалиями народной жизни, соединить народное слово, существовавшее в литературе с конца 20-х отдельно от течения народной жизни, с реальной фигурой героя из народа.

И если «шестидесятники» (начавшиеся в конце 50-х) прошли по пятам 20-х годов — Солженицын обратился к мастерству, накопленному к концу 30-х, но оставшемуся втуне, без соединения со стоящим предметом изображения...

«Пропорция» же писания о народной жизни и жизни более видной, заметной, привычной для взгляда литературы, а значит, и читателя, вплоть до начала 60-х оставалась такой, что герой, объявившийся в центре произведения нового автора в ноябре 1962 года, и потряс, и в то же время многих озадачил.

Честный и талантливый Борис Балтер говорил в апреле 1963 года, обсуждая повесть со мной и А. П. Чудаковым: «Я не люблю его героя. Трагедию времени воплощает не он, а кавторанг Иван Денисович принял правила игры здесь, в лагере, как принял когда-то колхозы Посади его на вышку — он будет стрелять из пулемета. Он соблюдает правила игры, навязанной ему. Бригадир — второй тип; он требует, чтобы и другие соблюдали Кавторанг — он искренне верил, а не играл. И теперь он эту игру не понимает. Трагический смысл имеет именно его характер. Сол-

женицын,— говорил он дальше, выражая, как всегда, уже твердо сформировавшееся свое мнение,— описывает людей, оставшихся с краю, сохранивших свой характер в неприкосновенности. А нам хотелось бы увидеть людей, по которым проехались эпоха».

С такою силой действовал на умы многолетний литературно-психологический стереотип: люди «умственного труда» привыкли видеть себя страдающей стороной — и только себя так видеть; в центре же литературного произведения они рассчитывали всегда видеть «переживания интеллигента» (М. Зощенко) — героя, «социально близкого» этому читателю и, конечно же, самому автору, человеку одного с читателем слоя.

Стереотип этот складывался на протяжении всего первого цикла развития литературы советского времени — с первых пореволюционных лет до начала 40-х. Именно в первые же годы после Октября губительным для творчества образом соединились для вступающих в новую жизнь людей две разные задачи — формирования литературной позиции и социального поведения. Автор выдвигал на авансцену героя-интеллигента — и рефлексия этого героя о революции, и положительное решение кардинального вопроса, «принимать или не принимать», были свидетельством лояльности автора.

Это продолжилось до 50-х. Люди, которые когда-то молились на народ, потом готовно неслись вместе со «стихийей», потом слепо шли за давно уже мнимыми «интересами большинства», перенесшие такие мытарства в своих интеллектуальных отношениях с самим понятием «народ» (а мы-то кто? и кто — народ? «советский народ»?), уже с недоверием и опаской взирали на этот самый народ, готовые увидеть в нем неизменную опору казавшейся неизменной власти.

С недоверием вслушивались в речь Ивана Денисовича, вглядывались в спорную его работу на своих же тюремщиков; с недоверием вчитывались и в рассказ о Матрене, уверяя даже (и не худшие, не худшие в том уверяли!), что таких Матрен не существует вовсе. А Солженицын описывал, как воспитанница Матрены надумала отодрать да увести завещанную ей часть дома, не дожидаясь смерти владельца:

«Даже мне, постояльцу, было больно, что начнут отрывать доски и выворачивать брёвна дома. А для Матрёны было это — конец её жизни всей.

Но те, кто настаивал, знали, что её дом можно сломать и при жизни».

В обоих этих рассказах отечественная литература на наших глазах свободным взмахом освобождалась и от завещанного ей когда-то народопоклонства, завещанного, а потом многие годы насаждаемого записного народолюбия параллельно с постоянным натаскиванием попираемого народа на попираемую интеллигенцию.

На глазах читателя в повести А. Солженицына разом — с мгновенностью удара — слетели ветхие одежды оговорок, умолчаний, иносказаний, подразумеваний. Автор, вводя нового героя, вводил и нового читателя — и тут же самым словом своим его формируя. Отменялась полувековая инфантилизация этого читателя — к нему обратились впервые за много лет как к лицу правоспособному, вменяемому, способному отдать себе отчет в своих мыслях и оценках.

Отменялись поэтапность освоения реальности и все оттенки политиканства, а наследники российской интеллигенции недоумевали, в толк не могли взять, как прогрессивный вроде бы автор позволял своему персонажу, размещившемуся в центре повествования, воспроизводить — без всякого корректива! — сомнительный какой-то разговор об Эйзенштейне, тогда как режиссер еще не до конца «реабилитирован» и не полностью издан.

Все круче и круче шел этот сказ, поднималась невидимая прежде «страна огромная», давно ведущая невидимый «смертный бой». Мы оказывались в страшной, но наконец-то своей, не выдуманной стране. Мы были у себя дома.

Начинался новый, надолго задержанный, но давно предощущаемый цикл литературного развития.

# КНИЖНИ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

\*

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Винтор Леглер. Ненавязчивая мудрость.

### Политика и наука

## НЕНАВЯЗЧИВАЯ МУДРОСТЬ

Эрик Берн. Игры, в которые играют люди (Психология человеческих взаимоотношений). Люди, которые играют в игры (Психология человеческой судьбы). Перевод с английского. М. «Прогресс». 1988. 400 стр.

Сирил Норткот Паркинсон. Законы Паркинсона. Перевод с английского. М. «Прогресс». 1989. 448 стр.

Дейл Карнеги. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить. Перевод с английского. М. «Прогресс». 1989. 714 стр.

Судьбы этих книг сходны. Все они имеют почтенный возраст, будучи впервые изданы в своих странах двадцать, тридцать и пятьдесят лет назад. Все давно и прочно знамениты. Более или менее известны они и советскому читателю по журнальным отрывкам, ведомственным публикациям, самиздату. И все-таки как приятно видеть знакомые тексты целиком и под красивыми переплетами! Почему же эти совершенно безобидные, аполитичные книги нельзя было напечатать до того, как случилась перестройка? Мне думается, дело в том, что наша хозяйственная система абсолютно несовместима с душевным устройством обычного человека. Скажем, в ней постоянным, повседневным трудовым мотивом должно быть бескорыстное стремление к общечеловеческому счастью при полном равнодушии к своей собственной выгоде. Потому-то реальную человеческую психику пришлось засекретить и запретить. Взамен был выдуман искусственный, необидительный «советский человек». Наши учебники психологии начинаются с того, что собака отделяет слюну. Непосредственно за этим следует, что наш человек предан, идеен, интернационален, что он друг, товарищ и брат... В результате каждый из нас мало что знает о себе и много от этого теряет.

Вообще какова структура наших знаний о мире? Почти все мои знакомые женщины знают, что для успеха вооруженного вооружения надо захватить мосты, вокзалы и

телеграф. Без этого они не смогли бы в свое время стать медсестрами или искусствоведками, но я искренне надеюсь, что в жизни эти знания не понадобятся им никогда. Зато большинство из них не слышали правил Паркинсона, касающихся замужества. А многие из бесчисленных житейских конфликтов, которые мне приходилось наблюдать, были бы разрешены мирно, если бы их участники в свое время прочли книгу Карнеги...

Три рецензируемые книги как раз и рассказывают нам о нас самих. Берн описывает в основном отдельного человека — в гостях, в семье, на работе. Паркинсон показывает, как ведут себя люди в организации, какие законы действуют в группах, коллективах. Карнеги не просто рассказывает, но учит читателя, как использовать только что приобретенные знания.

Книга Берна наиболее специальна, она для тех, кто интересуется психологией больше обычного. В начале книги автор пишет о тех жизненных потребностях человека, удовлетворить которые можно только через общение с другими людьми. Это необходимость физического-эмоционального контакта (сенсорный голод), потребность в признании со стороны других людей (одна из форм ее может выражаться словом «честолюбие»), потребность в «структурировании времени» (структурный голод). Эти потребности, по Берну, не менее важны, чем потребность в пище. Как он пишет, «младенцы, лишен-



ные в течение длительного времени физического контакта с людьми, деградируют и в конце концов погибают. Следовательно, отсутствие эмоциональных связей может иметь для человека фатальный исход... Дефицит сенсорных и эмоциональных стимулов ведет к биологическому вырождению... Если скука, тоска длятся достаточно долгое время, то они... могут иметь те же последствия... Любое общение (по сравнению с его отсутствием) полезно и выгодно для людей... Только человеческая близость может полностью удовлетворить сенсорный и структурный голод и потребность в признании. Прототипом такой близости является акт любовных, интимных отношений». Затем следует анализ различных моделей поведения, общения, труда, планирования жизни. Демонстрируются типовые психологические ситуации продолжительностью от одного разговора до целой человеческой жизни и даже жизни нескольких поколений одной семьи. Некоторые типовые ситуации взаимоотношений автор называет играми, отличая их от времяпрепровождений и ритуалов. Берн приводит сотни примеров игр, и местами книга по насыщенности информацией напоминает учебник математики. Запом ее не одолеть, но читатель, проявивший некоторое трудолюбие, будет вознагражден.

Что касается книг Паркинсона и Карнеги, они становятся по-настоящему интересными для нас только сейчас. Скажем, глава из Паркинсона о том, как спроектировать свой дом, не могла остро интересовать людей, которым в ближайших двух поколениях приобретение собственного дома не грозило. Паркинсон и Карнеги описывают все-таки жизнь в демократическом обществе. Мы до определенного момента находились «ниже» законов Паркинсона. Зато сейчас действительно живем по его законам. Вот один злободневный пример. Все шутки Паркинсона по поводу парламента относятся к парламенту действующему, и они никак не распространялись на наш старый бутафорский Верховный Совет. Нынешний Верховный Совет тоже в основном подобрался аппаратом по старому критерию послушности. И вот депутаты, вовсе к тому не подготовленные, на самом деле управляют страной. Как умеют. Виноваты ли они, что это у них часто происходит по Паркинсону? Оттеснение «мелких» вопросов вроде годового государственного бюджета на задний план величественной громадой вопроса о торгово-закупочных кооперативах убедительно иллюстрирует один из тезисов главы о «комитетоведении»: «Время, потраченное на

обсуждение пункта, обратно пропорционально рассматриваемой сумме». Слегка перефразировав Паркинсона, можно сказать: «Никто не знает, 70 миллиардов на оборону — много это или мало, но всякий знает, сколько стоит бутылка пива», — и вот вам формула работы сегодняшнего Верховного Совета.

Паркинсон известен в первую очередь как исследователь бюрократических организаций. Один из его законов гласит: количество служащих постоянно возрастает независимо от того, уменьшается, увеличивается или вообще исчезает потребность в работе. Организации, не встречающие на этом пути препятствий, в конце концов не выдерживают конкуренции и погибают. (Государство в целом, по мнению Паркинсона, слишком велико, чтобы обанкротиться, но сегодня мы знаем, что и с государством может случиться нечто подобное.) Вот как в книге описывается учреждение, в котором развитие по этому закону дошло до конца: «Самодовольство сменяется апатией. Сотрудники больше не хвастают и не сравнивают себя с другими... На доске висит объявление о концерте четырехлетней давности... Разбитые окна заклеены неровными кусками картона. Из выключателей бьет слабый, но неприятный ток. Штукатурка отваливается, а краска на стенах пузырится. Лифт не работает, вода в уборной не спускается. С застекленного потолка падают капли в ведро, а откуда-то снизу доносится вопль голодной кошки... Лечить поздно. Можно считать, что учреждение скончалось». Вы нигде не наблюдали подобной картины?

Как это умеют только англичане, Паркинсон очень смешно пишет о серьезных вещах. Есть у него даже специальная глава о природе юмора. Но чтение этой развеселой книги наводит порой на очень невеселые мысли. «Мужчина, готовый как уютно баловать девушку, на которой он женился, по-человечески куда привлекательнее фанатика, мечтающего лишь о марксистском будущем, в котором его ближних будут преследовать за еретические взгляды. Делать деньги — занятие не из самых благородных, но есть и куда более порочные желания. Стремление к власти, например. Оно куда менее похвально, чем стремление к комфорту. В этом смысле нет места печальнее, чем коммунистический город, где ничего нельзя купить».

Исследуя проблемы национализированного сектора экономики (весьма значительного в Англии 60-х годов), Паркинсон приходит к неожиданному выводу о его несовместимости с политической демократией. Когда промышленные монополии отождествлены с

государством, пишет он, «выбор невелик: либо диктатура, либо полный крах»...

Последние три года наша интеллектуальная жизнь напоминает инвентаризацию после большого пожара. «Эй,— доносится из одного угла пепелища,— у нас тут наука пропала!» «Да?— отзываются с другой стороны.— А мы культуру не находим!» «А у нас генофонд исчез!» — «Трудовых навыков нет». — «Природа погибла...»

К сожалению, этот список пока еще не закончен. Вот еще один пропавший предмет: социальная ткань общества. Нормальное общество — не броуновский хаос индивидов. Оно состоит из родственников, друзей и знакомых, дворов, клубов и религиозных общин, убеждений, правил, ритуалов и обычаев, из которых вырастают идеологии и законы. Эта сложная структура дает человеку смысл существования, чувство укорененности, защищенности, жизненного уюта. Она — из самых тяжелых наших потерь. Голод, террор, прописка, войны и эмиграции, армейские казармы, институты, интернаты, тюрьмы, оргнабор, целина, БАМ, непроспективные деревни, лимиты, общежития, микрорайоны... Больше полувека происходит непрерывное гигантское перемешивание. Социальная ткань рассекается, дерн снова и снова перелопачивается, превращаясь в груды песка и пыли.

Речь идет не просто об одиночестве. Друзей можно найти за одну ночь на вокзале или в казарме. Речь о том, что утрачивается само умение жить в обществе. «Во всем мире,— пишет Берн,— родители учат детей хорошему манерам, учат их произносить при встрече приветствия, обучают ритуалам еды, ухаживания, траура, а также умению вести разговоры на определенные темы, поддерживая необходимый уровень критичности и доброжелательности». Вас этому учили, уважаемый читатель?

Мне однажды пришлось переехать из мос-

ковского микрорайона, населенного миллионом незнакомых друг другу людей, в сибирский городок, который по воле случая обошли стороной демографические катастрофы нынешнего века. Я был поражен богатством и сложностью сохранившейся социальной ткани. Именно о ней, об этой ткани, пишут, вспоминая каждый свою малую родину, Ф. Искандер и В. Астафьев... Того городка уже нет: в него пришла великая стройка.

Мои сверстники ощущают себя выросшими в социальной пустыне, над которой воют холодные ветры идеологии. А между тем желание жить в человеческом обществе не каприз. Это биологическая необходимость. Если содрать бульдозером растительный покров на лугу, обнажив бесплодную глину, то луг на этом месте восстановится не сразу. Долгое время здесь не будет ничего, кроме крапивы да сорняков. Заросли «социальных сорняков» у нас уже есть. Как отмечают социологи, в тюрьме, в армии, в городских молодежных бандах возникают сегодня очаги первобытного общества с соответствующим ему уровнем интеллекта и морали.

В последнее время в некоторых местах идут эксперименты по воссозданию ритуалов и обычаев. Вырабатывается культура телефонных звонков, детских праздников, домашних микроклубов, совместных путешествий... Возрождается та социальная почва, из которой только и могут вырасти стабильные человеческие сообщества (профессиональные, религиозные, политические...). Эта деятельность не может быть введена законом и вменена в обязанность. Часто это дополнительный труд. Но и щедро вознаграждаемый: ведь тот, кто восстановил вокруг себя нормальную общественную структуру, перестал быть одиноким и, следовательно, несчастным.

**Виктор ЛЕГАЕР.**

## МНИМЫЕ ЗАГАДКИ

«**Д**ве дороги к одному обрыву» — вероятно, самая интересная работа. И. Шафаревича вне области математики (мне недоступной). Там есть несколько страниц о кризисе цивилизации, которые читаешь с сочувствием. Правда, все время вспоминаешь читанное раньше: Габриеля Марселя и Мартина Бубера, Хайдеггера и Фромма, Маргарет Мид и А. Дж. Тойнби...

Запад очень хорошо сознает кризис своей цивилизации — и напряженно ищет выхода из него (у нас это объяснялось усталостью буржуазии, ее страхом перед будущим и т. п.; но факт остается фактом). Все практические средства, которые предлагает Шафаревич, на Западе уже обсуждались. Особенность его концепции только в том, что тревожное сознание реального кризиса переплетается с несколькими ложными идеями, которые хотелось бы отбросить.

Одна из решающих ошибок — злоупотребление словом «утопия». Шафаревич оперирует словами живого языка так, словно это математические термины, имеющие строго определенный смысл, и притом именно тот, которым наделил их сам автор. Между тем гуманитарные науки не случайно предпочитают обычный, разговорный язык; так удобнее мыслить о предметах, которые никогда не могут быть до конца определены, а, напротив, заново определяются в каждом новом контексте. И во всех выкладках Шафаревича об утопичности западной цивилизации пропадает важнейшая особенность утопии: это нечто несбыточное, нечто вроде вечного двигателя. Между тем западная цивилизация осуществлялась, состоялась и за несколько веков распространилась по всем континентам. Так же, как покорил доступную (в то время) часть земли Рим. Односторонняя рациональность римского права кончилась катастрофой. На краю катастрофы оказался и современный мир, но это не значит, что он утопичен.

Утопия — не просто чересчур рациональная, придуманная социальная жизнь. Придуманы, не укоренены в традиции кооперативы, профсоюзы, тресты, социальное страхование, конституция Соединенных Штатов и даже целая страна — Израиль с мертвым языком, на котором заговорили в быту живые люди (до 1948 года это было утопией, а после стало реальностью). Напротив, национально-культурная автономия, казавшаяся реальностью, оказалась утопией в гитлеровской Германии и в сталинской России. Утопией оказалась попытка сохранить в XX веке империю, хотя бы и переодеть в новую одежду; и вполне можно назвать утопичной мысль Шафаревича, высказанную в сборнике «Из-под глыб» и поддержанную «Вечем» В. Н. Осипова, — что народы согласятся с ролью младших братьев в имперской системе, если им хорошенько объяснить связанные с этим выгоды.

И. Шафаревич прав, отмечая сходство между некоторыми чертами некоторых утопий и некоторыми чертами западной цивилизации; но он очень преувеличивает близость двух групп явлений. Перекос в сторону рациональной динамики (или в сторону традиционного консерватизма) свойствен всем цивилизациям. Чересчур традиционные застывают и в конце концов уничтожаются своими более динамичными соседями (такова судьба Тибета, а ранее — Византии; она же скорее всего ожидала и Московию, если бы не Петр). Чересчур рациональные теряют органическое единство и оказываются на грани внутреннего развала<sup>1</sup>. Рим из этого кризиса не выбрался; Китай, после революционной династии Цинь, сумел его преодолеть; Индия в него никогда не попала, она тяготеет скорее к застою, чем к развалу. Полное равновесие в истории недостижимо; приходится различать умеренные перекосы (с которыми можно мириться) и перекосы катастрофические, грозящие немедленной гибелью. Цивилизация Запада закономерно пришла к кризису, но она с огромной энергией, свойственной фаустовско-

<sup>1</sup> Ср. популярное изложение этих идей в журнале «Знание — сила», 1989, № 6, 7.

му духу, ищет выхода из него. Как же приравнять ее к нашему застою? Мы действительно перед обрывом, а Запад...

На Западе даже «центрально-административная экономика» отлично работала в ходе подготовки и ведения войны. Ленин исходил из первого варианта этой экономики, кайзеровского (1914—1918), и попытался распространить принципы немецкой военной экономики на всю хозяйственную жизнь народа. Через несколько лет стало ясно, что опыт провалился. Отсюда нэп. А потом Сталин ликвидировал нэп, и утопия воцарилась в нашей стране надолго и всерьез. Во время войны военно-экономическая модель сравнительно неплохо работала, но в условиях долгого мира стала нелепой. Этот пример еще раз показывает, что граница между утопией и творческим нововведением довольно условна, текуча. И нет ничего мудреного в том, что европейские интеллигенты, сочувствующие социалистическому эксперименту, не сразу в нем разобрались. Загадка здесь только для Шафаревича.

Социалистическое движение породило прежде всего неудовлетворенность человека свободной конкуренцией в ее первоначальной, безжалостной, ничем не ограниченной форме (неудовлетворенность идеями и практикой мистера Домби и Петра Петровича Лужина из романа «Преступление и наказание»), жажда более нравственного пути развития. В основе «Утопии» сэра Томаса Мора лежит факт, что «овцы съели людей», что развитие разоряет народ. Некоторые социалистические проекты были нелепы, другие — разумны и практичны (например, кооперативы). Опыт в конце концов показал, что абстрактное отрицание частной собственности и свободной конкуренции — лекарство, которое хуже самой болезни. Но до недавнего времени подобного опыта у человечества не было. Была мировая война, обнажившая язвы старого, классического капитализма. Было активное неприятие национализма, втолкнувшего Европу в отвратительную бойню, — неприятие не менее сильное, чем то негативное чувство, которое испытывает Шафаревич к «интернационал-социализму» (после Воркуты и Колымы). И вдруг Россия в 1917 году рванулась к чему-то новому...

Даже террор 30-х годов не смог разрушить сочувствия к советскому эксперименту. Помню печатавшиеся тогда «Драмы революции», автор которых, Ромен Роллан, убеждал наших читателей: да, мы тоже наломали дров — с Робеспьером, Кутоном, Фукье-Тенвилем, но в конце концов мы освободились от призраков, которым приносились человеческие жертвы, а разумное осталось, и новый порядок лучше старого, так будет и у вас...

Очень поддержал просоветские настроения на Западе приход нацистов к власти в Германии. Скорее всего без эксцессов русской революции такого бы не случилось. Но как бы то ни было, мир оказался перед выбором: Сталин или Гитлер. Гитлер был хуже тем, что хотел завоевать (и завоевал) Европу; а Сталин строил (и убивал) у себя дома. Ну и пусть себе строит, думалось со стороны. (Недаром на союз со Сталиным пошел и Черчилль, у которого социалистических симпатий не было.)

Во время войны в сторону Сталина рванулась и первая русская эмиграция, и на каком-то митинге Бердяев, апологет свободы, сидел под портретом Сталина... Человек, загнанный в тупик и вынужденный выбирать одно зло против другого, склонен идеализировать свой выбор. «Конструирование желанного» — общая человеческая черта, черта скверная, постыдная; но кто от нее свободен? Свободнее ли от нее правые, чем левые? Разница только в том, что правые другого желают и другое романтизируют...

Нет ничего странного, что сочувствие левых западных интеллигентов сошло на нет, когда им наконец открылось, что в результате сталинского строительства создана агрессивная, угрожающая всему миру империя. Шафаревич напрасно видит здесь некую тайну: «...оценка западным либеральным общественным мнением положения в нашей стране не была все время одной и той же, она стала резко меняться где-то в 50-е годы. Но вот что загадочно: раньше они не хотели замечать творившейся у нас трагедии, а потом вдруг стали все строже судить нашу жизнь как раз тогда, когда миллионы заключенных были отпущены и жизнь стала постепенно смягчаться... Этот процесс захватил 60-е и 70-е годы. Если в 60-х годах в Европе учреждались общественные «трибуналы» для суда над действиями американцев во Вьетнаме, то в 70-е годы на таких же «трибуналах» и «чтениях» осуждалось уже нарушение «прав человека» в СССР».

Тут, видимо для большей загадочности, пропущены некоторые факты. Отношение к СССР портилось еще при Сталине — в период корейской войны и дела врачей. Оно

улучшилось после XX съезда, снова стало меняться в худшую сторону из-за Венгрии, из-за дела Пастернака, из-за процесса Синявского и Даниэля и окончательно испортилось после чехословацких событий 1968 года, то есть после конца (а не начала!) эпохи реформ. Ничего иррационального, загадочного, заставляющего искать тайные причины случившегося, здесь не было. Подозрительность Шафаревича сама по себе загадочна и требует разгадки. Так же как его отношение к борьбе за права человека (по-настоящему близкое к позициям советской прессы времен застоя): «Я не помню, чтобы права человека поминались в связи, например, с коллективизацией у нас или «культурной революцией» в Китае», — с китайской политикой ограничения рождаемости или с разрушением биосферы американской промышленностью<sup>2</sup>: «...США существуют за чужой счет — за счет нас и наших потомков, угрожая самому их существованию. Но я никогда не слышал, чтобы такая ситуация связывалась с категорией «прав человека». Зато ограничение эмиграции (это прежде всего!), запреты демонстраций или партий и связанные с нарушением таких запретов аресты рассматриваются как нарушение столь фундаментальных «прав человека», что оказываются препятствием в переговорах по ограничению вооружений, в торговле или по расширению научных связей. Создается впечатление, что понятие «права человека» не имеет какого-то самоочевидного содержания. Такая неопределенность дает возможность пользоваться этим понятием как полемическим приемом. И в отношении к нашей стране это скорее всего именно такой полемический прием, а сама причина враждебности лежит где-то глубже (стр. 150)<sup>3</sup>.

Можно ответить напрямую, что без «прав человека», без легальной оппозиции, без права Сахарова выступать против правительства и предупреждать Запад от ошибок переговоры об ограничении вооружений не стоят ломаного гроша. Однако мне хочется углубиться в историю и проверить аргументацию Шафаревича на других фактах. Разве лорды, вырвавшие у Иоанна Безземельного Великую хартию вольностей, были самыми обездоленными в Англии? Разумеется, нет. Но они осознали права личности и потребовали признания этих прав государством. Опыт показал, что именно такой путь исторического развития, берущий свое начало с осознания своего достоинства и свобод просвещенным меньшинством, приводит в конечном итоге к свободе для всех. Напротив, стихийное движение темных, обездоленных и бесправных масс может привести, в случае его победы, к обновлению деспотизма. (Г. П. Федотов оценивал так гипотетические последствия победы пугачевщины в России. В Китае вождем крестьянского восстания, свергнувшего космополитическую династию Юань и основавшего национальную династию Мин, был одним из самых жестоких деспотов в истории Поднебесной.)

Права человека, за которые вступался Запад, это прежде всего права личности, их осознание и за них борющейся. Запад не вступился за китайских крестьян, убивающих новорожденных девочек, потому что крестьяне оставались в замкнутом кругу китайских обычаев. Но когда китайские студенты потребовали политических реформ и были расстреляны — не протестовал только Советский Союз.

Запад откликнулся на события в Китае так же, как и на события в России. Это принципиальная позиция. Никакой общей враждебности к Китаю (синофобии) не было. Так же как нельзя объяснить враждебностью к нашей стране (русофобией) то, что Запад последовательно защищал личность от произвола государства: Синявского и Даниэля, Гинзбурга и Галанцова, Литвинова и Богораз, наконец — Сахарова и Солженицына, когда на них обрушивались прямые репрессии сверху и поток клеветы в прессе.

Нельзя сказать, что крестьян, умиравших в 30-е годы, вовсе не защищали. О них писали, и была целая кампания против советского демпинга (вывоза дешевого зерна и леса во время голода). Но писали мало. Отчасти из-за общеполитической обстановки, о которой уже говорилось. Отчасти из-за ограниченных возможностей прессы.

Диссиденты имели возможность и мужество нарушить советское табу: Литвинов и Богораз создали первую в нашей стране диссидентскую пресс-конференцию, за ней пошли другие. Не Запад обратился к ним — они сами предпочли обратиться к Западу.

<sup>2</sup> Проблема эта сама по себе ставилась, и неоднократно. Первыми ее поставили сами американцы.

<sup>3</sup> Последние слова как бы отсылают читателей «Нового мира» (1989, № 7) к другой статье И. Шафаревича, «Русофобия», опубликованной в журнале «Наш современник» (1989, № 6).

Крестьяне не могли этого сделать. А зарубежных корреспондентов в районы голода не пускали. Когда режим достигает такой степени закрытости, как сталинский, его не уколупнешь. Корреспонденты получили возможность вкладывать свои персты в язвы только после того, как сами язвы полуоткрылись, то есть после известной либерализации. А в 30-е годы достоверных фактов не хватало. Слухи опровергались. В советских газетах печатались фотографии упитанных немцев-колонистов, уверявших, что никакого голода на Украине нет. Я эти фотографии помню, хотя и не верил им (у меня была своя «неформальная» информация с Украины). А левые интеллигенты, захваченные своими проблемами, могли закрывать глаза на «отдельные перегибы».

И. Шафаревич считает русофобией всякую попытку исследовать, почему Россия первой бросилась в утопию. Он цитирует прекрасную работу Ксении Григорьевны Мяло «Оборванная нить» («Новый мир», 1988, № 8) в доказательство того, что утопия была России навязана. Но статья Мяло посвящена староверам, то есть очень малой части русского крестьянства, сохранившей допетровскую культуру и в то же время накопившей опыт угнетенного и преследуемого меньшинства. Столыпин не рассчитывал на эту уникальную группу и сделал ставку на отруб, то есть на переход от крестьянина к фермеру. Я верю на слово Ксении Григорьевне, что стоило попробовать программу Чаянова, поскольку она была лучше бухаринского ТОЗа (товарищества по совместной обработке земли). Но мне кажется, что это вряд ли сохранило бы традиционный крестьянский мир во всей России. Любая форма сельскохозяйственной кооперации, как показал опыт многих стран, не в меньшей степени, чем частное хозяйство, опирается на науку (а не на космическое чувство; крестьянская цивилизация ни в одной стране не устояла перед промышленным переворотом и НТР). Статья Мяло — конкретное исследование; оно доказывает, что староверческие общины могли бы уцелеть. Хочется в это поверить. Однако что у Мяло верно, то в системе доказательств Шафаревича становится неверным. Никакие частные парадоксы не способны упразднить логику исторического развития, которая все больше отдаляет человека от непосредственного и бессознательного (или мифологически осознанного) единства с природой и в то же время требует восстановления единства через культуру созерцания, искусство и культ. Выход из позднеантичного общества человечество обрело не в возвращении к племенному жизненному укладу, а в христианской церкви, создавшей внутреннее духовное пространство в огромном обезличенном мировом городе — Константинополе. И сегодня возвращение в деревню возможно только в случае гибели 99 процентов человечества в результате какой-нибудь катастрофы. Если не погибнут наши города, наши коммуникации, превратившие земной шар в единый большой дом, попытки перенести в этот мир деревенскую психологию заранее обречены. Наиболее плодотворный для нас путь — переключка с другими странами, ищущими выхода из «переразвитости». Там есть течения, создающие новые связи с целостным и вечным взамен связей разрушенных. Решающая проблема всей мировой цивилизации — как создать чувство полноты жизни и творческое состояние у горожанина, только изредка восстанавливающего прямой контакт с природой, а через нее с мирозданием. Впрочем, здесь нет возможности подробно разрабатывать эту в а ж н е й ш у ю тему.

Вернемся, однако, к истории России. В ней было не только патриархальное крестьянство со своим космическим чувством, но и опричина, и реформы Петра, и военные поселения, и другие взрывы «административного восторга». Командно-административная система побеждала не во всех странах, а только в странах с традицией «административного восторга»; побеждала в России и Китае, но не в Англии и не в Индии. Заражение идей подобно заражению туберкулезом. Кроме палочек Коха, нужно еще отсутствие иммунитета. У России не оказалось иммунитета к утопии. И это не следствие внешнего давления. Это коренное, медленно, веками складывавшееся свойство. Оно существовало уже в прошлом. Угрюм-Бурчеев и ретивый начальник — не инородцы.

Очень важно понять, к чему мы возвращаемся и от чего отталкиваемся. Не только от чужого отталкиваемся — но и от своего (глуповского). Не только к исконному, корневому возвращаемся, но и к всемирной отзывчивости, к ощущению связи со всем духовно ищущим миром. И. Шафаревич выступает против того, что он называет схемой, но превеличие западной рассудочности и бездуховности — тоже схема. Чрезмерное копирование западных образцов нам пока мало грозит. Мы все еще недостаточно перенимаем чужой хороший опыт и по-прежнему настаиваем на своих доморощенных проектах (вроде процеживающих комиссий на выборах). И есть опасность,

что старые «прогрессивные» прожекты будут заменены прожектами консервативными, с ориентацией на идеал вечной Тимонихи.

Человечество, «возможно, по крайней мере освободится от мертвых схем... Одной из таких схем и представляется мне противопоставление командной системы западному пути как двух диаметрально противоположных выходов, из которых только и возможен выбор».

Нет слов, все европейское (и американское) надо подгонять по своему росту (как это успешно сделала Япония). Только не дай нам бог опять попытаться выпрыгнуть из истории и заняться разработкой очередного «вечного двигателя», который и естественную среду не погубит, и нравственность укрепит, но останется лишь на бумаге, а работать не будет. И снова придется искать вредителей, подсышающих песок в бумсы...

«Особый путь» — это претензия на роль самостоятельного «культурного круга» (Шпенглер), «цивилизации» (Тойнби), «субкумены» (термин, принятый автором этих строк). В прошлом Россия этим никогда не была, так что возвращаться нам не к чему, память здесь не поможет. Но были великие ожидания, и для них даже сейчас есть какие-то возможности.

Всякая культура, развивающаяся на перекрестке субкумен, может породить новый синтез и стать центром новой группировки культур. Такие процессы начинались в Тибете, еще раньше в Византии, но субкуменальные узлы, образовавшиеся там, были смяты историческим процессом. Духовный взлет России в XIX веке вызвал у Шпенглера ожидания, что Россия станет новым культурным кругом. В этом свете (почти как Белый и Блок) Шпенглер воспринял и революцию. Такие надежды до известной степени разделял Тойнби. Но после неутешительных итогов XX века он отказал России в звании самостоятельной цивилизации. На сегодняшний день вопрос остается теоретически открытым, но практически на выжженной экспериментами земле нет ни материальных, ни духовных ресурсов для прокладывания новых путей. России предстоит еще освоить огромный опыт XX века, усвоить тысячи идей и множество форм жизни и только потом, возможно, их опровергать.

Хомяков и Достоевский знали Европу, с которой спорили, и нам прежде всего надо узнать и усвоить кое-что жизненно нужное, без чего в XX веке не проживешь.

Г. ПОМЕРАНЦ.



# КОРОТКО О КНИГАХ

\*

**ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ И ДРУГИЕ ДРЕВНИЕ ЛЕГЕНДЫ.** Под общей редакцией Корнея Чуковского. «Книжное обозрение», 1989, № 29—31, 33, 38—39.

**БИБЛЕЙСКИЕ ЛЕГЕНДЫ В ПЕРЕСКАЗЕ МИХАИЛА БАРТЕНЕВА.** «Веселые картинки», 1989, № 9, 11; 1990, № 2, 3, 4.

Эта книга была подготовлена к печати более двадцати лет назад, но по стечению обстоятельств света тогда не увидела; ныне еженедельник «Книжное обозрение» полностью — с иллюстрациями Г. Дорэ — напечатал четырнадцать библейских историй, пересказанных для детей Г. Снегиревым, Н. Гребневой, Т. Литвиновой, В. Смирновой, Н. Роскиной, В. Берестовым, М. Агурским. В предисловии К. Чуковский объяснял необходимость сборника «чудесных легенд еврейского народа» тем, что дети и взрослые должны понимать живопись, основанную на библейских сюжетах, знать смысл и происхождение множества обиходных выражений, имеющих источником Ветхий и Новый завет (суждения бесспорные и обращенные исключительно к «инстанциям»).

В. Каверин вспоминал о Чуковском: «Он задумал издать Библию для детей — и разрешили, но потом спохватились: „Можно, но при условии, что в книге не будут упоминаться евреи“». Похоже на анекдот, но, вчитавшись в книгу, понимаешь, что анекдот весьма близок к истине. Для многих «перелагателей» слова «еврей», «Израиль», «сыны Израилевы» оказались вынужденным табу. В плену у фараона находятся — ну кто бы вы думали? — «рабы египетские». Иерусалим, разграбленный Навуходоносором, скромно именуется городом. От Валаама требуют проклясть — евреев? — Нет, просто «соседей». Впрочем, в «Юности Давида» упоминается Иудея. Не менее прихотливы отношения авторов с Богом и всеми силами небесными. Не Бог, а звезды, деревья и птицы спрашивают у Каина: «Где брат твой Авель?» Родителям Самсона является не Ангел, а некий странник. Моисей видит горящий и непонятно почему (просто так) не сгорающий куст и думает: «Так и мой народ в рабстве горит — не сгорает... Надо спасти его от власти насильников...» Заповеди на скрижалях он сочиняет сам<sup>1</sup>.

Библейские тексты интерпретируются в «Вавилонской башне» чисто атеистически — именно как легенды, даже сказки («волшебник Ятве»); но есть ведь существенная разница между древнегреческими мифами,

легендами о Дон Жуане, короле Артуре, Лорелее и книгами Ветхого завета; первые воспринимаются как вымысел, хотя и связанный с сутью бытия (никто уже не верит в Зевса), а Библия является Священным Писанием, истиной для миллионов иудеев и христиан наших современников. Это действительно особая книга хотя бы уже потому, что миллионы считают ее таковой.

Тут необходимо исключительное чувство такта. Но, кроме качества и направленности пересказа, не менее важна проблема контекста. Конечно, в наших ненормальных условиях периодические издания вынуждены брать на себя не свойственные им функции; но если «Вавилонская башня» при всех оговорках не выглядит неуместной на страницах «Книжного обозрения», а «Священная история Ветхого и Нового завета» (М. 1968) — на страницах «Литературной России», Нагорная проповедь — на страницах «Работницы», а новый перевод Четвероевангелия — на страницах «Литературной учебны», то публикация пересказа библейских легенд в детском юмористическом журнале «Веселые картинки» приобретает, прямо скажем, кощунственную окраску.

Рецензент «Советской культуры», ожидая, судя по всему, возражений против публикации М. Бартенева только со стороны казенных атеистов, упирает на то, что детей с малолетства надо приобщать к мировой культуре, и успокаивает оппонентов тем, что дети, прочитав переложение Библии в «Веселых картинках», не побегут сразу в церковь. А если и побегут? Не этого надо бояться. Как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад; вот и редакция журнала, желая просветить маленьких читателей, на деле внушает им (именно на уровне под-сознания), что, скажем, ветхозаветная история грехопадения и забавный комикс о том, как Артемон учился плавать, печатающийся на соседних страницах, — явления одного ценностного уровня.

Все это с трудом укладывается в идею подлинного просвещения и свидетельствует не столько о нравственном возрождении, сколько о степени нашего одиночества (так же как исчезновение в переизданной книге С. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила» раздела о крестной силе; или как воспроизведенный в московской газете плакат на тему дружбы народов, автор которого использовал в качестве «полуфабриката» изображение «Троицы» святого Андрея Рублева, заменив двух ангелов на мусульманина и буддиста...). Впрочем, остается слабая надежда, что дети хотя бы не увидят на страницах юмористического журнала «сказку» о страстях Христовых.

Андрей Василевский.

<sup>1</sup> «Книжное обозрение» (1989, № 52) сообщало, что сборник библейских легенд создавался «в условиях жесткой цензуры» и те из авторов, кто ныне здравствует, намерены переработать свои тексты, устранить «компромиссные решения».



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

\*

## ПОЛИТИЗДАТ

**Н. И. Бухарин.** Проблемы теории и практики социализма. 512 стр. Цена 2 р. 70 к.  
**Ю. Вучков.** Искусство жить. Перевод с болгарского. 288 стр. Цена 55 к.  
**Ю. Тавровский.** Двухэтажная Япония. 287 стр. Цена 1 р. 20 к.  
**Человек и социальное развитие.** Вопросы и ответы. 320 стр. Цена 95 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**М. Булгаков.** Собрание сочинений. В 5-ти тт. Т. 1. 623 стр. Цена 6 р.  
**К. Вагинов.** Козлиная песнь. Труды и дни Свистонова. Бамбочада. («Забытая книга») 477 стр. Цена 1 р. 60 к.  
**Пословицы русского народа.** Сборник В. Даля. В 2-х тт. Т. 1. 431 стр. Цена 3 р. 30 к.  
**Чудное мгновение.** Любовная лирика русских поэтов. («Классики и современники») Кн. 1. 447 стр. Цена 1 р. 30 к. Кн. 2. 431 стр. Цена 1 р. 30 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Г. Белая.** Дон-Кихоты 20-х годов. «Перевал» и судьба его идей. 397 стр. Цена 1 р. 70 к.  
**День поэзии. 1989.** Ленинград. Л. 272 стр., с илл. Цена 1 р. 80 к.  
**Именем закона.** Современный советский детектив. 734 стр. Цена 5 р.  
**М. Саат.** Король Туманной горы. Роман, рассказы. Перевод с эстонского. 319 стр. Цена 1 р. 90 к.

## «СОВРЕМЕНИК»

**К. Воробьев.** Заметы сердца. Из архива писателя. 238 стр. Цена 1 р.  
**Горячим словом убеждать.** «Современник» Некрасова — Чернышевского. («Память») 542 стр., с илл. Цена 2 р. 10 к.  
**Е. Рейн.** Береговая полоса. Стихотворения. 110 стр. Цена 40 к.

## «РАДУГА»

**Д. Буццати.** Татарская пустыня. Роман. Рассказы. Увеличенный портрет. Повесть. Перевод с итальянского. («Мастера совре-

менной прозы Итали») 422 стр. Цена 3 р. 90 к.

**Т. Готье.** Эмали и камни. Сборник на французском языке с параллельным русским текстом. 365 стр. Цена 1 р. 80 к.  
**В. Жуковский.** На троне в Блабоне. Сказ. Рассказы. Перевод с польского. 318 стр. Цена 1 р. 90 к.  
**Т. Маграт.** ...Кроме последнего. Роман. Перевод с английского. 382 стр. Цена 1 р. 80 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**А. Беляев.** Изобретения профессора Вагнера. 253 стр. Цена 40 к.  
**М. Джалиль.** Пылай, моя песня! Стихи, поэмы. Перевод с татарского. 396 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**А. Ремизов.** Огонь вещей. Пляшущий демон. Встречи. 527 стр. Цена 2 р. 50 к.  
**В. Солухин.** Луговая гвоздика («Писатель и время») 127 стр. Цена 35 к.

## «КНИГА»

**В. Вацуро. С.Д.П.** Из истории литературного быта пушкинской поры. 415 стр. Цена 2 р. 40 к.  
**Н. Мандельштам.** Воспоминания («Время и судьба») 479 стр. Цена 2 р.  
**Г. Поженян.** Прощание с морями. Стихотворения. 303 стр. Цена 4 р. 50 к.  
**А. Пушкин.** Письма Т. 1. 1815—1825. Репринтное воспроизведение издания 1926 г. («Пушкинская библиотека») 539 стр. Цена 8 р. 20 к.

## МЕСТНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**А. Аверченко.** Неизлечимые Рассказы («Листая старые страницы») М СП «Вся Москва». 14 стр. Цена 35 к.  
**Р. Бах.** Чайка по имени Джонатан Ливингстон. Повесть-притча. Перевод с английского. Новосибирск. Книжное издательство 102 стр. Цена 20 к.  
**А. Ларина (Бухарина).** Незабываемое. М. Издательство АПН. 365 стр., с илл. Цена 2 р. 90 к.  
**О. Мандельштам.** Отклик неба. Стихотворения, проза. Алма-Ата. «Жазушы». 287 стр. Цена 1 р. 50 к.

Редакция рукописи не рецензирует и объемом меньше 2 печатных листов не возвращает.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

**В. П. Астафьев, А. Г. Битов, В. М. Борисов, А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Ф. К. Видрашку** (зам. главного редактора), **Р. Г. Гамзатов, Д. А. Гранин, И. Я. Зиедонис, В. А. Костров** (зам. главного редактора), **Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, Б. И. Олейник, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, М. В. Тимофеева, Е. Л. Храмов, О. Г. Чухонцев, В. А. Ярошенко**

Технический редактор **А. Гиязбург**

Адрес редакции: 103806. ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 18.01.90 г. Подписано к печати 10.04.90 г. А 08457.  
Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн. Высокая печать Объем 17 п. л.  
(23,8 усл.-печ. л., 24,0 усл. кр.-отт.). 27,02 уч.-изд. л.

Тираж 2.710.000 экз. (9-й завод 2.000.001—2.710.000 экз.). Зак. 355. Цена 1 р. 20 к.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
103798, Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

## *К читателям «Нового мира»*

После наших сообщений о возможности подписки на семитомное собрание сочинений А. И. Солженицына читатели спрашивают, где и как можно оформить подписку на это издание. Нами в этом направлении предпринято следующее:

в «Новом мире» уже напечатаны главы из «Архипелага ГУЛАГ». С первого номера 1990 г. начато печатание романа «В круге первом», до конца этого и в начале 1991 г. мы намерены опубликовать «Раковый корпус» и «Бодался теленок с дубом». Эти произведения подготовлены к печати самим автором, и право на их отдельное книжное издание предоставлено созданному при «Новом мире» Издательскому центру;

с «Союзкнигой» согласован вопрос о порядке проведения подписки на семитомник.

Тираж «Нового мира» по состоянию на 1 января 1990 года — 2 млн. 668 тыс., и нам хотелось бы удовлетворить просьбы всех подписавшихся. Однако осуществление этих намерений наталкивается на большие трудности, в связи с которыми Издательский центр обращается к целюлозно-бумажным комбинатам, полиграфическим предприятиям, к ведомствам, общественным организациям и трудовым коллективам, которые, располагая бумагой, производственными мощностями и инвалютой, пожелали бы принять участие в реализации этой программы.

*С предложениями просим обращаться по адресу: 103806, Москва, М. Путьинковский пер., 1/2, «Новый мир», Издательский центр.*